This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

SLav 4345.28.2

Harvard College
Library

THE GIFT OF
Archibald Cary Coolidge
Class of 1887
PROFESSOR OF HISTORY

6

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА

КИРѢЕВСКАГО.

ТОМЪ II,

изданный

А. И. КОШЕЛЕВЫМЪ.

МОСКВА.
Въ типографіи П. Бахметева.

1861.

Slav 4345.28.2

HARVARD COLLEGE LIBRARY
GIFT OF
ARCHIBALD CARY COOLIDGE
APR 9 1924

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва, 21-го декабря 1861 года.

Цензора: *Н. Гиляровъ-Платоновъ.*
А. Петровъ.

a 9 17

ОБОЗРѢНІЕ СОВРЕМЕННАГО СОСТОЯНІЯ ЛИТЕРАТУРЫ.

I.

Было время, когда, говоря: *словесность*, разумѣли обыкновенно изящную литературу; въ наше время изящная литература составляетъ только незначительную часть словесности. Потому мы должны предупредить читателей, что, желая представить современное состояніе литературы въ Европѣ, мы по неволѣ должны будемъ обращать болѣе вниманія на произведенія философскія, историческія, филологическія, политико-экономическія, богословскія, и т. п., чѣмъ собственно на произведенія изящныя.

Можетъ быть, отъ самой эпохи такъ называемаго возрожденія наукъ въ Европѣ, никогда изящная литература не играла такой жалкой роли, какъ теперь, особенно въ послѣдніе годы нашего времени, — хотя, можетъ быть, никогда не писалось такъ много во всѣхъ родахъ и никогда не читалось такъ жадно все, что пишется. Еще 18-й вѣкъ былъ по преимуществу литературный; еще въ первой четверти 19-го вѣка чисто литературные интересы были одною изъ пружинъ умственнаго движенія народовъ; великіе поэты возбуждали великія сочувствія; различія литературныхъ мнѣній производили страстныя партіи; появленіе новой книги отзывалось въ умахъ, какъ общественное дѣло. Но теперь отношеніе изящной литературы къ обществу измѣнилось; изъ великихъ, всеувлекающихъ поэтовъ не осталось ни одного; при множествѣ стиховъ и, скажемъ еще, при множествѣ замѣчательныхъ талантовъ, — нѣтъ поэзіи: незамѣтно даже ея потребности; литературныя мнѣнія повторяются безъ участія; прежнее, магическое сочувствіе между авто-

ромъ и читателями прервано; изъ первой блистательной роли изящная словесность сошла на роль наперсницы другихъ героинь нашего времени; мы читаемъ много, читаемъ больше прежняго, читаемъ все, что попало; но все мимоходомъ, безъ участія, какъ чиновникъ прочитываетъ входящія и исходящія бумаги, когда онъ ихъ прочитываетъ. Читая, мы не наслаждаемся, еще меньше можемъ забыться; но только принимаемъ къ соображенію, ищемъ извлечь примѣненіе, пользу; — и тотъ живой, безкорыстный интересъ къ явленіямъ чисто-литературнымъ, та отвлеченная любовь къ прекраснымъ формамъ, то наслажденіе стройностію рѣчи, то упоительное самозабвеніе въ гармоніи стиха, какое мы испытали въ нашей молодости, — наступающее поколѣніе будетъ знать объ немъ развѣ только по преданію.

Говорятъ, что этому надобно радоваться; что литература потому замѣнилась другими интересами, что мы стали дѣльнѣе; что если прежде мы гонялись за стихомъ, за фразою, за мечтою, то теперь ищемъ существенности, науки, жизни. Не знаю, справедливо ли это; но признаюсь, мнѣ жаль прежней, непримѣняемой къ дѣлу, безполезной литературы. Въ ней было много теплаго для души; а что грѣетъ душу, то можетъ быть не совсѣмъ лишнее и для жизни.

Въ наше время изящную словесность замѣнила словесность журнальная. И не надобно думать, что бы характеръ журнализма принадлежалъ однимъ періодическимъ изданіямъ: онъ распространяется на всѣ формы словесности, съ весьма немногими исключеніями.

Въ самомъ дѣлѣ, куда ни оглянемся, вездѣ мысль подчинена текущимъ обстоятельствамъ, чувство приложено къ интересамъ партіи, форма принаровлена къ требованіямъ минуты. Романъ обратился въ статистику нравовъ; — поэзія въ стихи на случай (*); — исторія, бывъ отголоскомъ прошедшаго,

(*) Уже Гёте предугадалъ это направленіе и подъ конецъ своей жизни утверждалъ, что истинная поэзія есть *поэзія на случай* (Gelegenheits-Gedicht). — Впрочемъ Гёте понималъ это по своему. Въ послѣднюю эпоху его жизни большая часть поэтическихъ случаевъ, возбуждавшихъ его вдохновеніе, были придворный балъ, почетный маскерадъ, или чей нибудь день рожденія. Судьба Наполеона и перевернутой имъ Европы едва оставила слѣды во всемъ

старается быть вмѣстѣ и зеркаломъ настоящаго, или доказательствомъ какого нибудь общественнаго убѣжденія, цитатомъ въ пользу какого нибудь современнаго воззрѣнія; — философія, при самыхъ отвлеченныхъ созерцаніяхъ вѣчныхъ истинъ, постоянно занята ихъ отношеніемъ къ текущей минутѣ; — даже произведенія богословскія на Западѣ, по большей части, порождаются какимъ нибудь постороннимъ обстоятельствомъ внѣшней жизни. По случаю одного Кёльнскаго епископа написано больше книгъ, чѣмъ по причинѣ господствующаго невѣрія, на которое такъ жалуется Западное духовенство.

Впрочемъ это общее стремленіе умовъ къ событіямъ дѣйствительности, къ интересамъ дня, имѣетъ источникомъ своимъ не однѣ личныя выгоды или корыстныя цѣли, какъ думаютъ нѣкоторые. Хотя выгоды частныя и связаны съ дѣлами общественными, но общій интересъ къ послѣднимъ происходитъ не изъ одного этого разсчета. По большей части, это просто интересъ сочувствія. Умъ разбуженъ и направленъ въ эту сторону. Мысль человѣка срослась съ мыслію о человѣчествѣ. Это стремленіе любви, а не выгоды. Онъ хочетъ знать, что дѣлается въ мірѣ, въ судьбѣ ему подобныхъ, часто безъ малѣйшаго отношенія къ себѣ. Онъ хочетъ знать, что бы только участвовать мыслію въ общей жизни, сочувствовать ей изнутри своего ограниченнаго круга.

Не смотря на то, однако, кажется не безъ основанія жалуются многіе на это излишнее уваженіе къ минутѣ, на этотъ всепоглощающій интересъ къ событіямъ дня, къ внѣшней, дѣловой сторонѣ жизни. Такое направленіе, думаютъ они, не обнимаетъ жизни, но касается только ея наружной стороны, ея несущественной поверхности. Скорлупа, конечно, необходима, но только для сохраненія зерна, безъ котораго она свищь; можетъ быть, это состояніе умовъ понятно, какъ состояніе переходное; но безсмыслица, какъ состояніе высшаго развитія. Крыльцо къ дому хорошо какъ крыльцо; но если

собраніи его твореній. Гёте былъ всеобъемлющій, величайшій и, вѣроятно, послѣдній поэтъ *жизни индивидуальной*, еще не сопроникнувшейся въ одно сознаніе съ жизнію общечеловѣческою.

мы расположимся на немъ жить, какъ будто оно весь домъ, тогда намъ отъ того можетъ быть и тѣсно и холодно.

Впрочемъ замѣтимъ, что вопросы собственно политическіе, правительственные, которые такъ долго волновали умы на Западѣ, теперь уже начинаютъ удаляться на второй планъ умственныхъ движеній, и хотя при поверхностномъ наблюденіи можетъ показаться, будто они еще въ прежней силѣ, потому, что по прежнему еще занимаютъ большинство головъ, но это большинство уже отсталое; оно уже не составляетъ выраженія вѣка; передовые мыслители рѣшительно переступили въ другую сферу, въ область вопросовъ общественныхъ, гдѣ первое мѣсто занимаетъ уже не внѣшняя форма, но сама внутренняя жизнь общества, въ ея дѣйствительныхъ, существенныхъ отношеніяхъ.

Излишнимъ считаю оговариваться, что подъ направленіемъ къ вопросамъ общественнымъ я разумѣю не тѣ уродливыя системы, которыя извѣстны въ мірѣ болѣе по шуму, ими произведенному, чѣмъ по смыслу своихъ недодуманныхъ ученій: эти явленія любобытны только какъ признакъ, а сами по себѣ несущественны; нѣтъ, интересъ къ вопросамъ общественнымъ, замѣняющій прежнюю, исключительно политическую заботливость, вижу я не въ томъ или другомъ явленіи, но въ цѣломъ направленіи литературы Европейской.

Умственныя движенія на Западѣ совершаются теперь съ меньшимъ шумомъ и блескомъ, но очевидно имѣютъ болѣе глубины и общности. Вмѣсто ограниченной сферы событій дня и внѣшнихъ интересовъ, мысль устремляется къ самому источнику всего внѣшняго, къ человѣку, какъ онъ есть, и къ его жизни, какъ она должна быть. Дѣльное открытіе въ наукѣ уже болѣе занимаетъ умы, чѣмъ пышная рѣчь въ Камерѣ. Внѣшняя форма судопроизводства кажется менѣе важною, чѣмъ внутреннее развитіе справедливости; живой духъ народа существеннѣе его наружныхъ устроеній. Западные писатели начинаютъ понимать, что подъ громкимъ вращеніемъ общественныхъ колесъ таится неслышное движеніе нравственной пружины, отъ которой зависитъ всё, и потому въ мысленной заботѣ своей стараются перейти отъ явленія къ причинѣ, отъ формальныхъ внѣшнихъ вопросовъ хотятъ возвыситься къ тому объему идеи

общества, гдѣ и минутныя событія дня, и вѣчныя условія жизни, и политика, и философія, и наука, и ремесло, и промышленность, и сама религія, и вмѣстѣ съ ними словесность народа, сливаются въ одну необозримую задачу: усовершенствованіе человѣка и его жизненныхъ отношеній.

Но надобно признаться, что если частныя литературныя явленія имѣютъ отъ того болѣе значительности и, такъ сказать, болѣе *соку*, за то литература въ общемъ объемѣ своемъ представляетъ странный хаосъ противорѣчащихъ мнѣній, несвязанныхъ системъ, воздушныхъ разлетающихся теорій, минутныхъ, выдуманныхъ вѣрованій, и въ основаніи всего: совершенное отсутствіе всякаго убѣжденія, которое могло бы назваться не только общимъ, но хотя господствующимъ. Каждое новое усиліе мысли выражается новою системою; каждая новая система, едва рождаясь, уничтожаетъ всѣ предыдущія, и уничтожая ихъ, сама умираетъ въ минуту рожденія, такъ, что безпрестанно работая, умъ человѣческій не можетъ успокоиться ни на одномъ добытомъ результатѣ; постоянно стремясь къ построенію какого-то великаго, заоблачнаго зданія, нигдѣ не находитъ опоры, чтобы утвердить хотя одинъ первый камень для нешатающагося фундамента.

Отъ того во всѣхъ сколько нибудь замѣчательныхъ произведеніяхъ словесности, во всѣхъ важныхъ и не важныхъ явленіяхъ мысли на Западѣ, начиная съ новѣйшей философіи Шеллинга и оканчивая давно забытою системою Сенъ-Симонистовъ, обыкновенно находимъ мы двѣ различныя стороны: одна почти всегда возбуждаетъ сочувствіе въ публикѣ, и часто заключаетъ въ себѣ много истиннаго, дѣльнаго и двигающаго впередъ мысль: это сторона *отрицательная*, полемическая, опроверженіе системъ и мнѣній, предшествовавшихъ излагаемому убѣжденію; другая сторона, если иногда и возбуждаетъ сочувствіе, то почти всегда ограниченное и скоро проходящее: это сторона *положительная*, то есть, именно то, что составляетъ особенность новой мысли, ея сущность, ея право на жизнь за предѣлами перваго любопытства.

Причина такой двойственности Западной мысли очевидна. Доведя до конца свое прежнее десятивѣковое развитіе, новая

Европа пришла въ противорѣчіе съ Европою старою и чувствуетъ, что для начала новой жизни ей нужно новое основаніе. Основаніе жизни народной есть убѣжденіе. Не находя готоваго, соотвѣтствующаго ея требованіямъ, Западная мысль пытается создать себѣ убѣжденіе усиліемъ, изобрѣсть его, если можно, напряженіемъ мышленія, — но въ этой отчаянной работѣ, во всякомъ случаѣ любопытной и поучительной, до сихъ поръ еще каждый опытъ былъ только противорѣчіемъ другаго.

Многомысліе, разнорѣчіе кипящихъ системъ и мнѣній, при недостаткѣ одного общаго убѣжденія, не только раздробляетъ самосознаніе общества, но необходимо должно дѣйствовать и на частнаго человѣка, раздвояя каждое живое движеніе его души. Отъ того, между прочимъ, въ наше время такъ много талантовъ и нѣтъ ни одного истиннаго поэта. Ибо поэтъ создается силою внутренней мысли. Изъ глубины души своей долженъ онъ вынести, кромѣ прекрасныхъ формъ, еще самую душу прекраснаго: свое живое, цѣльное воззрѣніе на міръ и человѣка. Здѣсь не помогутъ никакія искусственныя устроенія понятій, никакія разумныя теоріи. Звонкая и трепещущая мысль его должна исходить изъ самой тайны его внутренняго, такъ сказать, надсознательнаго убѣжденія, и гдѣ это святилище бытія раздроблено разнорѣчіемъ вѣрованій, или пусто ихъ отсутствіемъ, тамъ не можетъ быть рѣчи ни о поэзіи, ни о какомъ могучемъ воздѣйствіи человѣка на человѣка.

Это состояніе умовъ въ Европѣ довольно новое. Оно принадлежитъ послѣдней четверти девятьнадцатаго вѣка. Восьмнадцатый вѣкъ, хотя былъ по преимуществу невѣрующій, но тѣмъ не менѣе имѣлъ свои горячія убѣжденія, свои господствующія теоріи, на которыхъ успокоивалась мысль, которыми обманывалось чувство высшей потребности человѣческаго духа. Когда же за порывомъ упоенія послѣдовало разочарованіе въ любимыхъ теоріяхъ, тогда новый человѣкъ не выдержалъ жизни безъ сердечныхъ цѣлей: господствующимъ чувствомъ его стало отчаяніе. Байронъ свидѣтельствуетъ объ этомъ переходномъ состояніи, — но чувство отчаянія, по сущности своей, только минутное. Выходя изъ него, Западное самосознаніе распалось на два противоположныя стремленія. Съ одной стороны,

мысль, не поддержанная высшими цѣлями духа, упала на службу чувственнымъ интересамъ и корыстнымъ видамъ; отсюда промышленное направленіе умовъ, которое проникло не только во внѣшнюю общественную жизнь, но и въ отвлеченную область науки, въ содержаніе и форму словесности, и даже въ самую глубину домашняго быта, въ святость семейныхъ связей, въ волшебную тайницу первыхъ юношескихъ мечтаній. Съ другой стороны, отсутствіе основныхъ началъ пробудило во многихъ сознаніе ихъ необходимости. Самый недостатокъ убѣжденій произвелъ потребность вѣры; но умы, искавшіе вѣры, не всегда умѣли согласить ея Западныхъ формъ съ настоящимъ состояніемъ Европейской науки. Отъ того нѣкоторые рѣшительно отказались отъ послѣдней и объявили непримиримую вражду между вѣрою и разумомъ; другіе же, стараясь найти ихъ соглашеніе, или насилуютъ науку, чтобы втѣснить ее въ Западныя формы религіи, или хотятъ самыя формы религіи переобразовать по своей наукѣ, или, наконецъ, не находя на Западѣ формы, соотвѣтствующей ихъ умственнымъ потребностямъ, выдумываютъ себѣ новую религію безъ церкви, безъ преданія, безъ откровенія и безъ вѣры.

Границы этой статьи не позволяютъ намъ изложить въ ясной картинѣ того, что есть замѣчательнаго и особеннаго въ современныхъ явленіяхъ словесности Германіи, Англіи, Франціи и Италіи, гдѣ тоже загорается теперь новая, достойная вниманія мысль религіозно-философская. Въ послѣдующихъ нумерахъ Москвитянина надѣемся мы представить это изображеніе со всевозможнымъ безпристрастіемъ. — Теперь же въ бѣглыхъ очеркахъ постараемся обозначить въ иностранныхъ словесностяхъ только то, что онѣ представляютъ самаго рѣзко замѣчательнаго въ настоящую минуту.

Въ *Германіи* господствующее направленіе умовъ до сихъ поръ остается преимущественно философское; къ нему примыкаетъ, съ одной стороны, направленіе исторически-теологическое, которое есть слѣдствіе собственнаго, болѣе глубокаго развитія мысли философской, а съ другой, направленіе политическое, которое, кажется, по большей части надобно приписать чужому вліянію, судя по пристрастію замѣчательнѣйшихъ писателей этого рода

къ Франціи и ея словесности. Нѣкоторые изъ этихъ Нѣмецкихъ патріотовъ доходятъ до того, что ставятъ Вольтера, какъ философа, выше мыслителей Германскихъ.

Новая система Шеллинга, такъ долго ожиданная, такъ торжественно принятая, не согласовалась, кажется, съ ожиданіями Нѣмцевъ. Его Берлинская аудиторія, гдѣ въ первый годъ его появленія съ трудомъ можно было найти мѣсто, теперь, какъ говорятъ, сдѣлалась просторною. Его способъ примиренія вѣры съ философіей не убѣдилъ до сихъ поръ ни вѣрующихъ, ни философствующихъ. Первые упрекаютъ его за излишнія права разума и за тотъ особенный смыслъ, который онъ влагаетъ въ свои понятія о самыхъ основныхъ догматахъ Христіанства. Самые близкіе друзья его видятъ въ немъ только мыслителя *на пути къ вѣрѣ*. «Я надѣюсь,—говоритъ Неандеръ, (посвящая ему новое изданіе своей церковной исторіи)—я надѣюсь, что милосердый Богъ скоро содѣлаетъ васъ вполнѣ нашимъ.» Философы, напротивъ того, оскорбляются тѣмъ, что онъ принимаетъ, какъ достояніе разума, догматы вѣры, не развитые изъ разума по законамъ логической необходимости. «Если бы система его была сама святая истина,—говорятъ они,—то и въ такомъ случаѣ она не могла бы быть пріобрѣтеніемъ философіи, покуда не явится собственнымъ ея произведеніемъ.»

Этотъ, по крайней мѣрѣ, наружный неуспѣхъ дѣла всемірно значительнаго, съ которымъ соединялось столько великихъ ожиданій, основанныхъ на глубочайшей потребности духа человѣческаго, смутилъ многихъ мыслителей; но вмѣстѣ былъ причиною торжества для другихъ. И тѣ и другіе забыли, кажется, что новотворческая мысль вѣковыхъ геніевъ *должна* быть въ разногласіи съ ближайшими современниками. Страстные Гегельянцы, вполнѣ довольствуясь системою своего учителя и не видя возможности повести мысль человѣческую далѣе показанныхъ имъ границъ, почитаютъ святотатственнымъ нападеніемъ на самую истину каждое покушеніе ума развить философію выше теперешняго ея состоянія. Но, между тѣмъ, торжество ихъ при мнимой неудачѣ великаго Шеллинга, сколько можно судить изъ философскихъ брошюръ, было не совсѣмъ

основательное. Если и правда, что новая система Шеллинга въ той особенности, въ какой она была имъ изложена, нашла мало сочувствія въ теперешней Германіи, то тѣмъ не менѣе его опроверженія прежнихъ философій, и преимущественно Гегелевой, имѣло глубокое и съ каждымъ днемъ болѣе увеличивающееся дѣйствіе. Конечно, справедливо и то, что мнѣнія Гегельянцевъ безпрестанно шире распространяются въ Германіи, развиваясь въ примѣненіяхъ къ искусствамъ, литературѣ и всѣмъ наукамъ (выключая еще наукъ естественныхъ); справедливо, что они сдѣлались даже почти популярными; но за то многіе изъ первоклассныхъ мыслителей уже начали сознавать недостаточность этой формы любомудрія и ясно чувствуютъ потребности новаго ученія, основаннаго на высшихъ началахъ, хотя и не ясно еще видятъ, съ какой стороны можно имъ ожидать отвѣта на эту незаглушимую стремящагося духа потребность. Такъ по законамъ вѣчнаго движенія человѣческой мысли, когда новая система начинаетъ спускаться въ низшіе слои образованнаго міра, въ то самое время передовые мыслители уже сознаютъ ея неудовлетворительность и смотрятъ впередъ, въ ту глубокую даль, въ голубую безпредѣльность, гдѣ открывается новый горизонтъ ихъ зоркому предчувствію.

Впрочемъ надобно замѣтить, что слово Гегельянизмъ не связано ни съ какимъ опредѣленнымъ образомъ мыслей, ни съ какимъ постояннымъ направленіемъ. Гегельянцы сходятся между собой только въ методѣ мышленія и еще болѣе въ способѣ выраженія; но результаты ихъ методы и смыслъ выражаемаго часто совершенно противоположны. Еще при жизни Гегеля, между нимъ и Гансомъ, геніальнѣйшимъ изъ его учениковъ, было совершенное противорѣчіе въ примѣняемыхъ выводахъ философіи. Между другими Гегельянцами повторяется то же разногласіе. Такъ напр., образъ мыслей Гегеля и нѣкоторыхъ изъ его послѣдователей доходилъ до крайняго аристократизма; между тѣмъ какъ другіе Гегельянцы проповѣдуютъ самый отчаянный демократизмъ; были даже нѣкоторые, выводившіе изъ тѣхъ же началъ ученіе самаго фанатическаго абсолютизма. Въ религіозномъ отношеніи иные держатся протестантизма въ самомъ строгомъ, древнемъ смыслѣ этого слова, не отступая не только

отъ понятія, но даже отъ буквы ученія; другіе, напротивъ того, доходятъ до самаго нелѣпаго безбожія. Въ отношеніи искусства, самъ Гегель началъ съ противорѣчія новѣйшему направленію, оправдывая романтическое и требуя чистоты художественныхъ родовъ; многіе Гегельянцы остались и теперь при этой теоріи, между тѣмъ какъ другіе проповѣдуютъ искусство новѣйшее въ самой крайней противоположности романтическому и при самой отчаянной неопредѣленности формъ и смѣшанности характеровъ. Такъ, колеблясь между противоположными направленіями, то аристократическая, то народная, то вѣрующая, то безбожная,—то романтическая, то ново-жизненная,—то чисто Прусская, то вдругъ Турецкая, то наконецъ Французская, — система Гегеля въ Германіи имѣла различные характеры, и не только на этихъ противоположныхъ крайностяхъ, но и на каждой ступени ихъ взаимнаго разстоянія образовала и оставила особую школу послѣдователей, которые болѣе или менѣе склоняются то на правую, то на лѣвую сторону. Потому ничто не можетъ быть несправедливѣе, какъ приписывать одному Гегельянцу мнѣніе другаго, какъ это бываетъ иногда и въ Германіи, но чаще въ другихъ литературахъ, гдѣ система Гегеля еще не довольно извѣстна. Отъ этого недоразумѣнія большая часть послѣдователей Гегеля терпитъ совершенно незаслуженныя обвиненія. Ибо естественно, что самыя рѣзкія, самыя уродливыя мысли нѣкоторыхъ изъ нихъ всего скорѣе распространяются въ удивленной публикѣ, какъ образецъ излишней смѣлости или забавной странности, и, не зная всей гибкости Гегелевой методы, многіе невольно приписываютъ всѣмъ Гегельянцамъ то, что принадлежитъ, можетъ быть, одному.

Впрочемъ, говоря о послѣдователяхъ Гегеля, необходимо отличать тѣхъ изъ нихъ, которые занимаются приложеніемъ его методы къ другимъ наукамъ, отъ тѣхъ, которые продолжаютъ развивать его ученіе въ области философіи. Изъ первыхъ есть нѣкоторые писатели замѣчательные силою логическаго мышленія; изъ вторыхъ же до сихъ поръ неизвѣстно ни одного особенно геніальнаго, ни одного, который бы возвысился даже до живаго понятія философіи, проникъ бы далѣе ея внѣшнихъ формъ и сказалъ бы хотя одну свѣжую мысль,

не почерпнутую буквально изъ сочиненій учителя. Правда, *Эрдманъ* сначала обѣщалъ развитіе самобытное, но потомъ однако 14 лѣтъ сряду не устаетъ постоянно переворачивать однѣ и тѣ же общеизвѣстныя формулы. Та же внѣшняя формальность наполняетъ сочиненія *Розенкранца, Мишлета, Маргейнеке, Гото Рётчера* и *Габлера,* хотя послѣдній кромѣ того еще переиначиваетъ нѣсколько направленіе своего учителя и даже самую его фразеологію,—или отъ того, что въ самомъ дѣлѣ такъ понимаетъ его, или, можетъ быть, такъ *хочетъ* понять, жертвуя точностію своихъ выраженій для внѣшняго блага всей школы. *Вердеръ* пользовался нѣкоторое время репутаціей особенно даровитаго мыслителя, покуда ничего не печаталъ и былъ извѣстенъ только по своему преподаванію Берлинскимъ студентамъ; но издавъ логику, наполненную общихъ мѣстъ и старыхъ формулъ, одѣтыхъ въ изношенное, но вычурное платье, съ пухлыми фразами, онъ доказалъ, что талантъ преподаванія еще не порука за достоинство мышленія. Истиннымъ, единственно вѣрнымъ и чистымъ представителемъ Гегельянизма остается до сихъ поръ все еще самъ *Гегель* и одинъ онъ,—хотя можетъ быть никто болѣе его самого не противорѣчилъ въ примѣненіяхъ основному началу его философіи.

Изъ противниковъ Гегеля легко было бы высчитать многихъ замѣчательныхъ мыслителей; но глубже и сокрушительнѣе другихъ, кажется намъ, послѣ Шеллинга, *Адольфъ Тренделенбургъ,* человѣкъ, глубоко изучившій древнихъ философовъ и нападающій на методу Гегеля въ самомъ источникѣ ея жизненности, въ отношеніи чистаго мышленія къ его основному началу. Но и здѣсь, какъ во всемъ современномъ мышленіи, разрушительная сила Тренделенбурга находится въ явномъ неравновѣсіи съ созидательною.

Нападенія Гербартіянцевъ имѣютъ, можетъ быть, менѣе логической неодолимости, за то болѣе существеннаго смысла, потому, что на мѣсто уничтожаемой системы ставятъ не пустоту безмыслія, отъ которой умъ человѣческій имѣетъ еще болѣе отвращенія, чѣмъ физическая природа; но предлагаютъ дру-

гую, уже готовую, весьма достойную вниманія, хотя еще мало оцѣненную систему Гербарта.

Впрочемъ, чѣмъ менѣе удовлетворительности представляетъ философское состояніе Германіи, тѣмъ сильнѣе раскрывается въ ней потребность религіозная. Въ этомъ отношеніи Германія теперь весьма любопытное явленіе. Потребность вѣры, такъ глубоко чувствуемая высшими умами, среди общаго колебанія мнѣній, и, можетъ быть, вслѣдствіе этого колебанія, обнаружилась тамъ новымъ религіознымъ настройствомъ многихъ поэтовъ, образованіемъ новыхъ религіозно-художническихъ школъ и болѣе всего новымъ направленіемъ богословія. Эти явленія тѣмъ важнѣе, что они, кажется,—только первое начало будущаго, сильнѣйшаго развитія. Я знаю, что обыкновенно утверждаютъ противное; знаю, что видятъ въ религіозномъ направленіи нѣкоторыхъ писателей только исключеніе изъ общаго, господствующаго состоянія умовъ. И въ самомъ дѣлѣ оно исключеніе, если судить по матерьяльному, числительному большинству такъ называемаго образованнаго класса; ибо надобно признаться, что этотъ классъ, болѣе чѣмъ когда нибудь, принадлежитъ теперь къ самой лѣвой крайности раціонализма. Но не должно забывать, что развитіе мысли народной исходитъ не изъ численнаго большинства. Большинство выражаетъ только настоящую минуту и свидѣтельствуетъ болѣе о прошедшей, дѣйствовавшей силѣ, чѣмъ о наступающемъ движеніи. Чтобы понять направленіе, надобно смотрѣть не туда, гдѣ больше людей, но туда, гдѣ больше внутренней жизненности и гдѣ полнѣе соотвѣтствіе мысли вопіющимъ потребностямъ вѣка. Если же мы возмемъ во вниманіе, какъ примѣтно остановилось жизненное развитіе Нѣмецкаго раціонализма; какъ механически онъ двигается въ несущественныхъ формулахъ, перебирая одни и тѣ же истертыя положенія; какъ всякое самобытное трепетаніе мысли видимо вырывается изъ этихъ однозвучныхъ оковъ и стремится въ другую, теплѣйшую сферу дѣятельности;—тогда мы убѣдимся, что Германія пережила свою настоящую философію, и что скоро предстоитъ ей новый, глубокій переворотъ въ убѣжденіяхъ.

Чтобы понять послѣднее направленіе ея Лютеранскаго бого-

словія, надобно припомнить обстоятельства, служившія поводомъ къ его развитію.

Въ концѣ прошедшаго и въ началѣ настоящаго вѣка, большинство Нѣмецкихъ теологовъ было, какъ извѣстно, проникнуто тѣмъ популярнымъ раціонализмомъ, который произошелъ изъ смѣшенія Французскихъ мнѣній съ Нѣмецкими школьными формулами. Направленіе это распространилось весьма быстро. *Землеръ*, въ началѣ своего поприща, былъ провозглашенъ вольнодумнымъ новоучителемъ; но при концѣ своей дѣятельности и не перемѣняя своего направленія, онъ же самый вдругъ очутился съ репутаціей закоснѣлаго старовѣра и гасильника разума. Такъ быстро и такъ совершенно измѣнилось вокругъ него состояніе богословскаго ученія.

Въ противоположность этому ослабленію вѣры, въ едва замѣтномъ уголкѣ Нѣмецкой жизни сомкнулся маленькій кружокъ людей *напряженно вѣрующихъ*, такъ называемыхъ Піетистовъ, сближавшихся нѣсколько съ Гернгутерами и Методистами.

Но 1812 годъ разбудилъ потребность высшихъ убѣжденій во всей Европѣ; тогда, особенно въ Германіи, религіозное чувство проснулось опять въ новой силѣ. Судьба Наполеона, переворотъ, совершившійся во всемъ образованномъ мірѣ, опасность и спасеніе отечества, переначатіе всѣхъ основъ жизни, блестящія молодыя надежды на будущее, — все это кипѣніе великихъ вопросовъ и громадныхъ событій не могло не коснуться глубочайшей стороны человѣческаго самосознанія и разбудило высшія силы его духа. Подъ такимъ вліяніемъ образовалось новое поколѣніе Лютеранскихъ теологовъ, которое естественно вступило въ прямое противорѣчіе съ прежнимъ. Изъ ихъ взаимнаго противодѣйствія въ литературѣ, въ жизни и въ государственной дѣятельности произошли двѣ школы: одна, въ то время новая, опасаясь самовластія разума, держалась строго символическихъ книгъ своего исповѣданія; другая позволяла себѣ ихъ разумное толкованіе. Первая, противоборствуя излишнимъ, по ея мнѣнію, правамъ философствованія, примыкала крайними членами своими къ піетистамъ; послѣдняя, защищая разумъ, граничила иногда

съ чистымъ раціонализмомъ. Изъ борьбы этихъ двухъ крайностей развилось безконечное множество среднихъ направленій.

Между тѣмъ несогласіе этихъ двухъ партій въ самыхъ важныхъ вопросахъ, внутреннее несогласіе разныхъ оттѣнковъ одной и той же партіи, несогласіе разныхъ представителей одного и того же оттѣнка, и наконецъ, нападенія чистыхъ раціоналистовъ, уже не принадлежащихъ къ числу вѣрующихъ, на всѣ эти партіи и оттѣнки вмѣстѣ взятые,—все это возбудило въ общемъ мнѣніи сознаніе необходимости болѣе основательнаго изученія Священнаго Писанія, нежели какъ оно совершалось до того времени, и болѣе всего: необходимости твердаго опредѣленія границъ между разумомъ и вѣрою. Съ этимъ требованіемъ сошлось и частію имъ усилилось новое развитіе историческаго и особенно филологическаго и философскаго образованія Германіи. Вмѣсто того, что прежде студенты университетскіе едва разумѣли по-Гречески, теперь ученики гимназіи начали вступать въ университеты уже съ готовымъ запасомъ основательнаго знанія въ языкахъ: Латинскомъ, Греческомъ и Еврейскомъ. Филологическія и историческія каѳедры занялись людьми замѣчательныхъ дарованій. Богословская философія считала многихъ извѣстныхъ представителей, но особенно оживило и развило ее блестящее и глубокомысленное преподованіе *Шлейермахера*, и другое, противоположное ему, хотя не блестящее, но не менѣе глубокомысленное, хотя едва понятное, но, по какому-то невыразимому, сочувственному сцѣпленію мыслей, удивительно увлекательное преподаваніе профессора *Дауба*. Къ этимъ двумъ системамъ примкнула третья, основанная на философіи Гегеля. Четвертая партія состояла изъ остатковъ прежняго Брейтшнейдеровскаго популярнаго раціонализма. За ними начинались уже чистые раціоналисты, съ голымъ философствованіемъ безъ вѣры.

Чѣмъ ярче опредѣлялись различныя направленія, чѣмъ многостороннѣе обработывались частные вопросы, тѣмъ труднѣе было ихъ общее соглашеніе.

Между тѣмъ сторона преимущественно вѣрующихъ, строго держась своихъ символическихъ книгъ, имѣла великую внѣш-

нюю выгоду надъ другими: только послѣдователи Аугсбургскаго исповѣданія, пользовавшагося государственнымъ признаніемъ, вслѣдствіе Вестфальскаго мира, могли имѣть право на покровительство государственной власти. Вслѣдствіе этого многіе изъ нихъ требовали удаленія противомыслящихъ отъ занимаемыхъ ими мѣстъ.

Съ другой стороны, эта самая выгода была, можетъ быть, причиною ихъ малаго успѣха. Противъ нападенія мысли прибѣгать подъ защиту внѣшней силы—для многихъ казалось признакомъ внутренней несостоятельности. Къ тому же въ ихъ положеніи была еще другая слабая сторона: самое Аугсбургское исповѣданіе основалось на правѣ личнаго толкованія. Допускать это право до 16-го вѣка и не допускать его послѣ — для многихъ казалось другимъ противорѣчіемъ. Впрочемъ, отъ той или отъ другой причины, но раціонализмъ, пріостановленный на время и не побѣжденный усиліями законно-вѣрующихъ, сталъ снова распространяться, дѣйствуя теперь уже съ удвоенной силой, укрѣпившись всѣми пріобрѣтеніями науки, покуда, наконецъ, слѣдуя неумолимому теченію силлогизмовъ, оторванныхъ отъ вѣры, онъ достигъ самыхъ крайнихъ, самыхъ отвратительныхъ результатовъ.

Такъ результаты, обнаружившіе силу раціонализма, служили вмѣстѣ и его обличеніемъ. Если они могли принести нѣкоторый минутный вредъ толпѣ, подражательно повторяющей чужія мнѣнія; за то люди, откровенно искавшіе твердаго основанія, тѣмъ яснѣе отдѣлились отъ нихъ и тѣмъ рѣшительнѣе избрали противоположное направленіе. Вслѣдствіе этого, прежнее воззрѣніе многихъ протестантскихъ теологовъ значительно измѣнилось.

Есть партія, принадлежащая самому послѣднему времени, которая смотритъ на протестантизмъ уже не какъ на противорѣчіе католицизму, но напротивъ Папизмъ и Тридентскій Соборъ отдѣляетъ отъ католицизма и видитъ въ Аугсбургскомъ исповѣданіи самое законное, хотя еще не послѣднее выраженіе безпрерывно развивающейся Церкви. Эти протестантскіе теологи, даже въ среднихъ вѣкахъ, признаютъ уже не уклоненіе отъ Христіанства, какъ говорили Лютеранскіе богословы до сихъ поръ,

но его постепенное и необходимое продолженіе, почитая не только внутреннюю, но даже и внѣшнюю непрерывающуюся церковность однимъ изъ необходимыхъ элементовъ Христіанства.—Вмѣсто прежняго стремленія оправдывать всѣ возстанія противъ Церкви Римской, теперь они склонны болѣе къ ихъ осужденію. Охотно обвиняютъ Вальденсовъ и Виклифитовъ, съ которыми прежде находили такъ много сочувствія; оправдываютъ Григорія VII и Иннокентія III, и даже осуждаютъ Гуся, за *сопротивленіе законной власти Церкви,* — Гуся, котораго самъ Лютеръ, какъ говоритъ преданіе, называлъ предшественникомъ своей лебединой пѣсни.

Согласно съ такимъ направленіемъ, они желаютъ нѣкоторыхъ измѣненій въ своемъ богослуженіи и особенно, по примѣру Епископальной Церкви, хотятъ дать большій перевѣсъ части собственно литургической надъ проповѣдью. Съ этою цѣлью переведены всѣ литургіи первыхъ вѣковъ, и составлено самое полное собраніе всѣхъ старыхъ и новыхъ церковныхъ пѣсенъ. Въ дѣлѣ пасторства требуютъ они не только поученій въ храмѣ, но и увѣщаній на домахъ, вмѣстѣ съ постояннымъ наблюденіемъ за жизнію прихожанъ. Къ довершенію всего, они желаютъ возвратить въ обычай прежнія церковныя наказанія, начиная отъ простаго увѣщанія до торжественнаго изверженія, и даже возстаютъ противъ смѣшанныхъ браковъ. И то и другое въ Старо-Лютеранской церкви (*) уже не желаніе, но догма, введенная въ дѣйствительную жизнь.

(*) *Старо-Лютеранская* церковь есть явленіе новое. Она произошла отъ сопротивленія нѣкоторой части Лютеранъ противъ соединенія ихъ съ Реформатами. Нынѣшній Король Прусскій позволилъ имъ исповѣдывать свое ученіе открыто и отдѣльно; вслѣдствіе того, образовалась новая церковь, подъ названіемъ Старо-Лютеранской. Она имѣла свой полный Соборъ въ 1841 году, издала свои особыя постановленія, учредила для своего управленія независящій ни отъ какихъ властей свой *Высшій Церковный Совѣтъ,* засѣдающій въ Бреславлѣ, отъ котораго одного зависятъ низшіе совѣты и всѣ церкви ихъ исповѣданія. По ихъ постановленіямъ, рѣшительно запрещаются смѣшанные браки для всѣхъ принимающихъ участіе въ церковномъ управленіи или въ воспитаніи. Другимъ же, если не прямо запрещаются, то по крайней мѣрѣ отсовѣтываются, какъ предосудительные. Смѣшанными же браками называютъ они не только соединеніе Лютеранъ съ Католиками, но и Старо-Лютеранъ съ Лютеранами соединенной, такъ называемой Евангелической церкви.

Впрочемъ само собою разумѣется, что такое направленіе принадлежитъ не всѣмъ, но только нѣкоторымъ протестантскимъ богословамъ. Мы замѣтили его болѣе потому, что оно новое, чѣмъ потому, что оно сильное. И не надобно думать, чтобы вообще законно-вѣрующіе Лютеранскіе теологи, одинаково признающіе свои символическія книги и согласные между собой въ отверженіи раціонализма, были отъ того согласны въ самой догматикѣ. Напротивъ, разногласія ихъ еще существеннѣе, чѣмъ можетъ представиться съ перваго взгляда. Такъ, напримѣръ, *Юліусъ Мюллеръ*, который почитается ими за одного изъ самыхъ законномыслящихъ, тѣмъ не менѣе отступаетъ отъ другихъ въ своемъ ученіи *о грѣхѣ*; не смотря на то, что этотъ вопросъ едва ли не принадлежитъ къ самымъ центральнымъ вопросамъ богословія. *Генгстенбергъ*, самый жестокій противникъ раціонализма, не у всѣхъ находитъ сочувствіе къ этой кайности своего ожесточенія, а изъ числа ему сочувствующихъ весьма многіе разногласятъ съ нимъ въ нѣкоторыхъ частностяхъ его ученія, какъ, напримѣръ, въ понятіи *о Пророчествѣ*, — хотя особенное понятіе о пророчествѣ непремѣнно должно вести за собою особенное понятіе о самомъ отношеніи человѣческой натуры къ Божеству, то есть, о самой основѣ догматики. *Толукъ*, самый тепломыслящій въ своемъ вѣрованіи и самый тепловѣрующій въ своемъ мышленіи, обыкновенно почитается своею партіею за излишне либеральнаго мыслителя, — между тѣмъ какъ то или другое отношеніе мышленія къ вѣрѣ, при послѣдовательномъ развитіи, должно измѣнить весь характеръ вѣроученія. *Неандеру* ставятъ въ вину его всепрощающую терпимость и мягкосердечное сочувствіе съ иноученіями, — особенность, которая не только опредѣляетъ его отличительное воззрѣніе на исторію церкви, но вмѣстѣ и на внутреннее движеніе человѣческаго духа вообще, и слѣдовательно отдѣляетъ самую сущность его ученія отъ другихъ. *Ничь* и *Люкке* тоже во многомъ несогласны съ своею партіей. Каждый влагаетъ въ свое исповѣданіе отличительность своей личности. Не смотря на то, однакоже, *Беккъ*, одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ представителей новаго вѣрующаго направленія, требуетъ отъ протестантскихъ теологовъ составленія общей, полной,

наукообразной догматики, чистой отъ личныхъ мнѣній и независимой отъ временныхъ системъ. Но, сообразивъ все сказанное, мы можемъ, кажется, имѣть нѣкоторое право сомнѣваться въ удобоисполнимости этого требованія.—

О новѣйшемъ состояніи *Французской* литературы мы скажемъ только весьма немногое, и то, можетъ быть, лишнее, потому, что словесность Французская извѣстна Русскимъ читателямъ врядъ ли не болѣе отечественной. Замѣтимъ только противоположность направленія Французскаго ума направленію мысли Нѣмецкой. Здѣсь каждый вопросъ жизни обращается въ вопросъ науки; тамъ каждая мысль науки и литературы обращается въ вопросъ жизни. Знаменитый романъ Сю отозвался не столько въ литературѣ, сколько въ обществѣ; результаты его были: переобразованіе въ устройствѣ тюрьмъ, составленіе человѣколюбивыхъ обществъ и т. п. Другой выходящій теперь романъ его, очевидно, обязанъ своимъ успѣхомъ качествамъ не литературнымъ. Бальзакъ, имѣвшій такой успѣхъ до 1830 года потому, что описывалъ господствовавшее тогда общество,—теперь почти забытъ именно по этой же причинѣ. Споръ духовенства съ университетомъ, который въ Германіи породилъ бы отвлеченныя разсужденія объ отношеніи философіи и вѣры, государства и религіи, подобно спору о Кёльнскомъ епископѣ, во Франціи возбудилъ только большее вниманіе къ настоящему состоянію народнаго воспитанія, къ характеру дѣятельности Іезуитовъ и къ современному направленію общественной образованности. Всеобщее религіозное движеніе Европы выразилось въ Германіи новыми догматическими системами, историческими и филологическими розысканіями и учеными философскими толкованіями; во Франціи, напротивъ того, оно едва ли произвело одну или двѣ замѣчательныя книги, но тѣмъ сильнѣе обнаружилось въ религіозныхъ обществахъ, въ политическихъ партіяхъ и въ миссіонерскомъ дѣйствіи духовенства на народъ. Науки естественныя, которыя достигли такого огромнаго развитія во Франціи, не смотря на то, однакоже, не только исключительно основываются на одной эмпиріи, но и въ самой полнотѣ развитія своего чуждаются спекулятивнаго интереса, заботясь преимуще-

ственно о примѣненіи къ дѣлу, о пользахъ и выгодахъ существованія,—между тѣмъ какъ въ Германіи каждый шагъ въ изученіи природы опредѣленъ съ точки философскаго воззрѣнія, включенъ въ систему и оцѣненъ не столько по своей пользѣ для жизни, сколько по отношенію своему къ умозрительнымъ началамъ. Такимъ образомъ въ Германіи *теологія* и *философія* составляютъ въ наше время два важнѣйшіе предмета общаго вниманія, и соглашеніе ихъ есть теперь господствующая потребность Германской мысли. Во Франціи, напротивъ того, философское развитіе составляетъ не потребность, но роскошь мышленія. Существенный вопросъ настоящей минуты состоитъ тамъ въ соглашеніи *религіи* и *общества*. Писатели религіозные, вмѣсто догматическаго развитія, ищутъ дѣйствительнаго примѣненія, между тѣмъ какъ мыслители политическіе, даже не проникнутые убѣжденіемъ религіознымъ, изобрѣтаютъ убѣжденія искусственныя, стремясь достигнуть въ нихъ безусловности вѣры и ея надразумной непосредственности.

Современное и почти равносильное возбужденіе этихъ двухъ интересовъ: религіознаго и общественнаго, двухъ противоположныхъ концовъ, можетъ быть, одной разорванной мысли,—заставляетъ насъ предполагать, что участіе нынѣшней Франціи въ общемъ развитіи человѣческаго просвѣщенія, ея мѣсто въ области науки вообще, должно опредѣлиться тою особенною сферою, откуда исходятъ оба и гдѣ смыкаются въ одно эти два различныя направленія. Но какой результатъ произойдетъ отъ этого устремленія мысли? Родится ли отъ того новая наука: наука *общественнаго быта*,—какъ въ концѣ прошедшаго вѣка, отъ совмѣстнаго дѣйствія философскаго и общественнаго настроенія Англіи, родилась тамъ новая *наука народнаго богатства?* Или дѣйствіе современнаго Французскаго мышленія ограничится только измѣненіемъ нѣкоторыхъ началъ въ другихъ наукахъ? Суждено ли Франціи совершить или только предначать это измѣненіе? Отгадывать это теперь было бы пустою мечтательностью. Новое направленіе только начинаетъ, и то едва замѣтно, выказываться въ словесности, — еще несознанное въ своей особенности, еще несобранное даже въ одинъ вопросъ. Но во всякомъ случаѣ

это движеніе науки во Франціи не можетъ не казаться намъ значительнѣе всѣхъ другихъ стремленій ея мышленія, и особенно любопытно видѣть, какъ оно начинаетъ выражаться въ противорѣчіи прежнимъ началамъ политической экономіи, — науки, съ предметомъ которой оно болѣе всего соприкасается. Вопросы о конкурренціи и монополіи, объ отношеніи избытка произведеній роскоши къ довольству народному, дешевизны издѣлій къ бѣдности работниковъ, государственнаго богатства къ богатству капиталистовъ, цѣнности работы къ цѣнности товара, развитія роскоши къ страданіямъ нищеты, насильственной дѣятельности къ умственному одичанію, здоровой нравственности народа къ его индустріальной образованности,—всѣ эти вопросы представляются многими въ совершенно новомъ видѣ, прямо противномъ прежнимъ воззрѣніямъ политической экономіи и возбуждаютъ теперь заботу мыслителей. Мы не говоримъ, чтобы новыя воззрѣнія вошли уже въ науку. Для этого они еще слишкомъ незрѣлы, слишкомъ односторонни, слишкомъ проникнуты ослѣпляющимъ духомъ партіи, затемнены самодовольствомъ новорожденія. Мы видимъ, что до сихъ поръ самые новѣйшіе курсы политической экономіи составляются еще по прежнимъ началамъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ мы замѣчаемъ, что къ новымъ вопросамъ возбуждено вниманіе, и хотя не думаемъ, чтобы во Франціи могли они найти свое окончательное рѣшеніе, но не можемъ однакоже не сознаться, что ея словесности предназначено первой внести этотъ новый элементъ въ общую лабораторію человѣческаго просвѣщенія.

Это направленіе Французскаго мышленія происходитъ, кажется, изъ естественнаго развитія всей совокупности Французской образованности. Крайняя бѣдность низшихъ классовъ служила къ тому только внѣшнимъ, случайнымъ поводомъ, а не была причиною, какъ думаютъ нѣкоторые. Доказательства этому можно найти во внутренней несвязности тѣхъ воззрѣній, для которыхъ народная бѣдность была единственнымъ исходомъ, и еще болѣе въ томъ обстоятельствѣ, что бѣдность низшихъ классовъ несравненно значительнѣе въ Англіи, чѣмъ во Франціи, хотя тамъ господствующее движеніе мысли приняло совершенно другое направленіе.

Въ *Англіи* вопросы религіозные хотя возбуждаются положеніемъ общественнымъ, но тѣмъ не менѣе переходятъ въ споры догматическіе, какъ, напримѣръ, въ Пусеизмѣ и у его противниковъ; вопросы общественные ограничиваются мѣстными требованіями, или подымаютъ крикъ (a cry, какъ говорятъ Англичане), выставляютъ знамя какого нибудь убѣжденія, котораго значеніе заключается не въ силѣ мысли, но въ силѣ интересовъ, ему соотвѣтствующихъ и вокругъ него собирающихся.

По наружной формѣ, образъ мыслей Французовъ часто весьма сходенъ съ образомъ мыслей Англичанъ. Это сходство проистекаетъ, кажется, изъ одинаковости принятыхъ ими философскихъ системъ. Но внутренній характеръ мышленія этихъ двухъ народовъ также различенъ, какъ оба они различны отъ характера мышленія Нѣмецкаго. Нѣмецъ трудолюбиво и совѣстливо выработываетъ свое убѣжденіе изъ отвлеченныхъ выводовъ своего разума; Французъ беретъ его, незадумавшись, изъ сердечнаго сочувствія къ тому или другому мнѣнію; Англичанинъ ариѳметически разсчитываетъ свое положеніе въ обществѣ и, по итогу своихъ разсчетовъ, составляетъ свой образъ мыслей. Названія: Вигъ, Тори, Радикалъ, и всѣ безчисленные оттѣнки Англійскихъ партій выражаютъ не личную особенность человѣка, какъ во Франціи, и не систему его философскаго убѣжденія, какъ въ Германіи, но мѣсто, которое онъ занимаетъ въ государствѣ. Англичанинъ упрямъ въ своемъ мнѣніи, потому, что оно въ связи съ его общественнымъ положеніемъ; Французъ часто жертвуетъ своимъ положеніемъ для своего сердечнаго убѣжденія; а Нѣмецъ, хотя и не жертвуетъ однимъ другому, но за то мало и заботится о ихъ соглашеніи. Французская образованность движется посредствомъ развитія господствующаго мнѣнія, или моды; Англійская — посредствомъ развитія государственнаго устройства; Нѣмецкая — посредствомъ кабинетнаго мышленія. Отъ того Французъ силенъ энтузіазмомъ, Англичанинъ—характеромъ, Нѣмецъ—абстрактно-систематическою фундаментальностію.

Но чѣмъ болѣе, какъ въ наше время, сближаются словесности и личности народныя, тѣмъ болѣе изглаживаются ихъ особенности. Между писателями Англіи, пользующимися болѣе другихъ знаменитостью литературнаго успѣха, два литератора, два представителя современной словесности, совершенно противоположные въ своихъ направленіяхъ, мысляхъ, партіяхъ, цѣляхъ и воззрѣніяхъ, не смотря на то однакоже, оба, въ различныхъ видахъ, обнаруживаютъ одну истину: что пришелъ часъ, когда островитянская отдѣленность Англіи начинаетъ уже уступать всеобщности континентальнаго просвѣщенія и сливаться съ нимъ въ одно сочувствующее цѣлое. Кромѣ этого сходства, *Карлиль* и *Дизраели* не имѣютъ между собою ничего общаго. Первый носитъ глубокіе слѣды Германскихъ пристрастій. Слогъ его, наполненный, какъ говорятъ Англійскіе критики, неслыханнымъ доселѣ Германизмомъ, встрѣчаетъ во многихъ глубокое сочувствіе. Мысли его облечены въ Нѣмецкую мечтательную неопредѣленность; направленіе его выражаетъ интересъ мысли, вмѣсто Англійскаго интереса партіи. Онъ не преслѣдуетъ стараго порядка вещей, не противится движенію новаго; онъ оцѣняетъ оба, онъ любитъ оба, уважаетъ въ обоихъ органическую полноту жизни, и самъ, принадлежа къ партіи прогресса, самымъ развитіемъ ея основнаго начала уничтожаетъ исключительное стремленіе къ нововведеніямъ.

Такимъ образомъ здѣсь, какъ и во всѣхъ современныхъ явленіяхъ мысли въ Европѣ, *новѣйшее* направленіе противорѣчитъ *новому*, разрушившему *старое*.

Дизраели не зараженъ никакимъ иноземнымъ пристрастіемъ. Онъ представитель *юной Англіи*, — круга молодыхъ людей, выражающихъ особый, крайній отдѣлъ партіи Тори. Однако не смотря на то, что молодая Англія дѣйствуетъ во имя самой крайности сохранительныхъ началъ, но, если вѣрить роману Дизраели, самая основа ихъ убѣжденій совершенно разрушаетъ интересы ихъ партіи. Они хотятъ удержать старое, но не въ томъ видѣ, какъ оно существуетъ въ теперешнихъ формахъ,

а въ его прежнемъ духѣ, требующемъ формы, во многомъ противоположной настоящему. Для пользы аристократіи, хотятъ они живаго сближенія и сочувствія *всѣхъ* классовъ; для пользы церкви Англиканской, желаютъ ея уравненія въ правахъ съ церковью Ирландскою и другими разномыслящими; для поддержанія перевѣса земледѣльческаго, требуютъ уничтоженія хлѣбнаго закона, ему покровительствующаго. Однимъ словомъ, воззрѣніе этой партіи Тори очевидно разрушаетъ всю особенность Англійскаго Торизма, а вмѣстѣ съ тѣмъ и все отличіе Англіи отъ другихъ государствъ Европы.

Но Дизраели жидъ, и потому имѣетъ свои особенные виды, которые не позволяютъ намъ вполнѣ полагаться на вѣрность изображенныхъ имъ убѣжденій молодаго поколѣнія. Только необыкновенный успѣхъ его романа, лишеннаго впрочемъ достоинствъ собственно литературныхъ, и болѣе всего успѣхъ автора, если вѣрить журналамъ, въ высшемъ Англійскомъ обществѣ, даетъ нѣкоторое правдоподобіе его изложенію.

Исчисливъ такимъ образомъ замѣчательнѣйшія движенія литературъ Европы, мы спѣшимъ повторить сказанное нами въ началѣ статьи, что, обозначая современное, мы не имѣли въ виду представить полной картины настоящаго состоянія словесностей. Мы хотѣли только указать на ихъ послѣднія направленія, едва начинающія высказываться въ новыхъ явленіяхъ.

Между тѣмъ, если мы соберемъ все замѣченное нами въ одинъ итогъ и сообразимъ его съ тѣмъ характеромъ Европейскаго просвѣщенія, который, хотя развился прежде, но продолжаетъ еще до сихъ поръ быть господствующимъ, то съ этой точки зрѣнія откроются намъ нѣкоторые результаты, весьма важные для уразумѣнія нашего времени.

— *Отдѣльные роды словесности смѣшались въ одну неопредѣленную форму.*

— *Отдѣльныя науки не удерживаются болѣе въ своихъ прежнихъ границахъ, но стремятся сблизиться съ науками, имъ смежными, и въ этомъ расширеніи предѣловъ своихъ примыкаютъ къ своему общему центру — философіи.*

— *Философія въ послѣднемъ окончательномъ развитіи сво-*

емъ ищетъ такого начала, въ признаніи котораго она могла бы слиться съ вѣрою въ одно умозрительное единство.

— *Отдѣльныя Западныя народности, достигнувъ полноты своего развитія, стремятся уничтожить раздѣляющія ихъ особенности и сомкнуться въ одну обще-Европейскую образованность.*

Этотъ результатъ тѣмъ замѣчательнѣе, что онъ развился изъ направленія ему прямо противуположнаго. Преимущественно произошелъ онъ изъ стремленій каждаго народа изучить, возстановить и сохранить свою національную особенность. Но эти стремленія чѣмъ глубже развивались въ историческихъ, философскихъ и общественныхъ выводахъ, чѣмъ болѣе доходили до коренныхъ основъ отдѣленныхъ народностей, тѣмъ яснѣе встрѣтили въ нихъ начала не особенныя, но общія Европейскія, равно принадлежащія всѣмъ частнымъ національностямъ. Ибо въ общей основѣ Европейской жизни лежитъ одно господствующее начало.

— Между тѣмъ это господствующее начало Европейской жизни, отдѣляясь отъ народностей, тѣмъ самымъ является уже какъ отжившее, какъ прошедшее по смыслу своему, хотя еще продолжающееся по факту. Отъ того современная особенность Западной жизни заключается въ томъ общемъ, болѣе или менѣе ясномъ сознаніи, что это *начало Европейской образованности, развивавшееся во всей исторіи Запада, въ наше время оказывается уже неудовлетворительнымъ для высшихъ требованій просвѣщенія.* Замѣтимъ также, что и это сознаніе неудовлетворительности Европейской жизни вышло изъ сознанія прямо ему противоположнаго, изъ убѣжденія недавно прошедшаго времени, что Европейское просвѣщеніе есть послѣднее и высшее звено человѣческаго развитія. Одна крайность обратилась въ другую.

— Но сознавая неудовлетворительность Европейской образованности, общее чувство тѣмъ самымъ отличаетъ ее отъ другихъ началъ всечеловѣческаго развитія и, обозначая его какъ особенное, обнаруживаетъ намъ *отличительный характеръ Западнаго просвѣщенія въ его частяхъ и совокупности, какъ преимущественное стремленіе къ личной и самобытной разум-*

ности въ мысляхъ, въ жизни, въ обществѣ и во всѣхъ пружинахъ и формахъ человѣческаго бытія. Этотъ характеръ безусловной разумности родился также изъ предшествовавшаго ему, давно прошедшаго стремленія, изъ прежняго усилія— не воспитать, но насильственно запереть мысль въ одной схоластической системѣ.

— Но если общее ощущеніе неудовлетворительности самыхъ началъ Европейской жизни есть не что иное, какъ тёмное или ясное сознаніе *неудовлетворительности безусловнаго разума*, то, хотя оно и производитъ стремленіе къ *религіозности вообще*, однако, по самому происхожденію своему изъ развитія разума, не можетъ подчиниться такой формѣ вѣры, которая бы совершенно отвергала разумъ,—ни удовлетвориться такою, которая бы поставляла вѣру въ его зависимость.

— Искусства, поэзія и даже едва ли не всякая творческая мечта только до тѣхъ поръ были возможны въ Европѣ, какъ живой, необходимый элементъ ея образованности, покуда господствующій раціонализмъ въ ея мысли и жизни не достигъ послѣдняго, крайняго звена своего развитія; ибо теперь онѣ возможны только какъ театральная декорація, не обманывающая внутренняго чувства зрителя, который прямо принимаетъ ее за искусственную неправду, забавляющую его праздность, но безъ которой его жизнь не потеряетъ ничего существеннаго. *Правда для поэзіи Западной можетъ воскреснуть только тогда, когда новое начало будетъ принято въ жизнь Европейскаго просвѣщенія.*

Этому отчужденію искусства отъ жизни предшествовалъ періодъ всеобщаго стремленія къ художественности, окончившійся вмѣстѣ съ послѣднимъ художникомъ Европы—съ великимъ Гёте, который выразилъ смерть поэзіи второю частію своего Фауста. Безпокойство мечтательности перешло въ заботы промышленности. Но въ наше время разногласіе поэзіи съ жизнію еще яснѣе обнаружилось.

— Изо всего сказаннаго слѣдуетъ еще, что современный характеръ Европейскаго просвѣщенія, по своему историческому, философскому и жизненному смыслу, совершенно однозначителенъ съ характеромъ той эпохи Римско-Греческой

образованности, когда, развившись до противорѣчія самой себѣ, она по естественной необходимости должна была *принять въ себя другое, новое начало, хранившееся у другихъ племенъ, не имѣвшихъ до того времени всемірно-исторической значительности.*

Каждое время имѣетъ свой господствующій, свой жизненный вопросъ, надъ всѣми преобладающій, всѣ другіе въ себѣ вмѣщающій, отъ котораго одного зависитъ ихъ относительная значительность и ограниченный смыслъ. Если же справедливо все замѣченное нами о настоящемъ состояніи Западной образованности, то нельзя не убѣдиться, что на днѣ Европейскаго просвѣщенія, въ наше время, всѣ частные вопросы о движеніяхъ умовъ, о направленіяхъ науки, о цѣляхъ жизни, о различныхъ устройствахъ обществъ, о характерахъ народныхъ, семейныхъ и личныхъ отношеній, о господствующихъ началахъ внѣшняго и самаго внутренняго быта человѣка, — всѣ сливаются въ одинъ существенный, живой, великій вопросъ объ отношеніи Запада къ тому незамѣченному до сихъ поръ началу жизни, мышленія и образованности, которое лежитъ въ основаніи міра Православно-Словенскаго.

Когда же мы отъ Европы обратимся къ нашему отечеству, отъ этихъ общихъ результатовъ, выведенныхъ нами изъ словесностей Западныхъ, перейдемъ къ обозрѣнію словесности въ нашемъ отечествѣ, то увидимъ въ ней странный хаосъ недоразвитыхъ мнѣній, противорѣчащихъ стремленій, разногласныхъ отголосковъ всѣхъ возможныхъ движеній словесностей: Германской, Французской, Англійской, Итальянской, Польской, Шведской, разнообразное подражаніе всѣмъ возможнымъ и невозможнымъ Европейскимъ направленіямъ. Но объ этомъ надѣемся мы имѣть удовольствіе говорить въ слѣдующей книгѣ.

—

II.

Въ первой статьѣ нашего обозрѣнія сказали мы, что словесность Русская представляетъ совокупность всѣхъ возможныхъ вліяній различныхъ литературъ Европейскихъ. Доказывать истину этого замѣчанія кажется намъ излишнимъ: каждая книга можетъ служить для того очевиднымъ свидѣтельствомъ. Объяснять это явленіе мы также почитаемъ неумѣстнымъ: причины его въ исторіи нашей образованности. Но замѣтивъ его, сознавъ это всепріемлющее сочувствіе, эту безусловную зависимость нашей словесности отъ различныхъ словесностей Запада, мы въ этомъ самомъ характерѣ нашей литературы видимъ, вмѣстѣ съ наружнымъ сходствомъ, и коренное отличіе ея отъ всѣхъ литературъ Европейскихъ.

Развернемъ нашу мысль.

Исторія всѣхъ словесностей Запада представляетъ намъ неразрывную связь между движеніями литературы и всею совокупностію народной образованности. Такая же неразрывная связь существуетъ между развитіемъ образованности и первыми элементами, изъ которыхъ слагается народная жизнь. Извѣстные интересы выражаются въ соотвѣтственномъ устройствѣ понятій; опредѣленный образъ мыслей опирается на извѣстныя отношенія жизни. Что одинъ испытываетъ безъ сознанія, то другой ищетъ постигнуть мыслію и выражаетъ отвлеченною формулой, или, сознавая въ сердечномъ движеніи, изливаетъ въ поэтическихъ звукахъ. Сколь ни отличны кажутся, съ перваго взгляда, несвязныя, безотчетныя понятія простаго ремесленника или безграмотнаго пахаря, отъ плѣнительно-стройныхъ міровъ художественной фантазіи поэта, или отъ глубокой систематической думы кабинетнаго мыслителя, но при внимательномъ разсмотрѣніи очевидно, что между ними лежитъ та же внутренняя постепенность, та же органическая послѣдовательность, какая существуетъ между сѣменемъ, цвѣткомъ и плодомъ одного дерева.

Какъ языкъ народа представляетъ отпечатокъ его природной логики и, если не выражаетъ его образа мыслей вполнѣ, то, по крайней мѣрѣ, представляетъ въ себѣ то

основаніе, изъ котораго безпрестанно и естественно исходитъ его умственная жизнь; такъ и разорванныя, не развитыя понятія народа, еще не мыслящаго, образуютъ тотъ корень, изъ котораго выростаетъ высшая образованность націи. Отъ того всѣ отросли просвѣщенія, находясь въ живомъ сопроницаніи, составляютъ одно неразрывно сочлененное цѣлое.

По этой причинѣ, всякое движеніе въ литературѣ Западныхъ народовъ истекаетъ изъ внутренняго движенія ихъ образованности, на которую въ свою очередь дѣйствуетъ литература. Даже тѣ словесности, которыя подчиняются вліянію другихъ народовъ, принимаютъ это вліяніе только тогда, когда оно соотвѣтствуетъ требованіямъ ихъ внутренняго развитія, и усвояютъ его только въ той мѣрѣ, въ какой оно гармонируетъ съ характеромъ ихъ просвѣщенія. Иноземное для нихъ не противорѣчіе ихъ особенности, но только ступень въ лѣстницѣ ихъ собственнаго восхожденія. Если мы видимъ, что въ теперешнюю минуту всѣ словесности сочувствуютъ другъ другу, сливаются, такъ сказать, въ одну обще-Европейскую литературу,—то это могло произойти единственно отъ того, что образованности различныхъ народовъ развились изъ одинакаго начала и, проходя каждая своимъ путемъ, достигли наконецъ одинакаго результата, одинакаго смысла умственнаго бытія. Но не смотря на это сходство, и теперь еще Французъ не только не вполнѣ принимаетъ Нѣмецкую мысль, но можетъ быть даже не вполнѣ и понимаетъ ее. Въ Германіи большею частію офранцуживаются Жиды, воспитавшіеся въ разрывѣ съ народными убѣжденіями и только впослѣдствіи принявшіе философское христіанство. Англичане еще менѣе могутъ освободиться отъ своихъ національныхъ особенностей. Въ Италіи и Испаніи, хотя и замѣтно вліяніе литературы Французской, но это вліяніе болѣе мнимое, чѣмъ существенное, и Французскія готовыя формы служатъ только выраженіемъ внутренняго состоянія ихъ собственной образованности; ибо не Французская литература вообще, но одна словесность XVIII вѣка господствуетъ до сихъ поръ въ этихъ запоздалыхъ земляхъ (*).

(*) Глубокомысленныя сочиненія Розмини, обѣщающія развитіе новаго самобытнаго мышленія въ Италіи, знакомы намъ только по журнальнымъ рецен-

Эта національная крѣпость, эта живая цѣлость образованности Европейскихъ народовъ, не смотря на ложность или истину направленія, сообщаетъ литературѣ ихъ особенное значеніе. Она служитъ тамъ не забавою нѣкоторыхъ круговъ, не украшеніемъ салоновъ, не роскошью ума, безъ которой можно обойтись, и не школьною задачей учащихся; но является необходимою, какъ естественный процессъ умственнаго дыханія, какъ прямое выраженіе и вмѣстѣ какъ неизбѣжное условіе всякаго развитія образованности. Несознанная мысль, выработанная исторіей, выстраданная жизнію, потемненная ея многосложными отношеніями и разнородными интересами, восходитъ силою литературной дѣятельности по лѣстницѣ умственнаго развитія, отъ низшихъ слоевъ общества до высшихъ круговъ его, отъ безотчетныхъ влеченій до послѣднихъ ступеней сознанія, и въ этомъ видѣ является она уже не остроумною истиною, не упражненіемъ въ искусствѣ риторики или діалектики, но внутреннимъ дѣломъ самопознанія болѣе или менѣе яснаго, болѣе или менѣе правильнаго, но во всякомъ случаѣ существенно значительнаго. Такимъ образомъ вступаетъ она въ сферу общаго всечеловѣческаго просвѣщенія, какъ живой неизъемлемый элементъ, какъ личность съ голосомъ въ дѣлѣ общаго совѣта; но къ внутреннему своему основанію, къ началу своего исхода возвращается она, какъ выводъ разума къ неразгаданнымъ обстоятельствамъ, какъ слово совѣсти къ безотчетнымъ влеченіямъ. Конечно, этотъ разумъ, эта совѣсть могутъ быть затемнены, испорчены; но эта порча зависитъ не отъ мѣста, которое литература занимаетъ въ образованности народа, а отъ искаженія его внутренней жизни; какъ въ человѣкѣ ложность разума и растлѣнность совѣсти происходитъ не отъ сущности разума и совѣсти, но отъ его личной испорченности.

Одно государство, между всѣхъ Западныхъ сосѣдей нашихъ, представило примѣръ противнаго развитія. Въ Польшѣ, дѣйствіемъ католицизма, высшія сословія весьма рано отдѣлились

зіямъ. Но сколько можно судить изъ этихъ разорванныхъ выписокъ, кажется, что 18-й вѣкъ скоро кончится для Италіи, и что ее ожидаетъ теперь новая эпоха умственнаго возрожденія, исходящаго изъ новаго начала мышленія, опирающагося на три стихіи Итальянской жизни: религію, исторію и искусство.

отъ остальнаго народа, не только нравами, какъ это было и въ остальной Европѣ, но и самымъ духомъ своей образованности, основными началами своей умственной жизни. Отдѣленіе это остановило развитіе народнаго просвѣщенія и тѣмъ болѣе ускорило образованность оторванныхъ отъ него высшихъ классовъ. Такъ тяжелый экипажъ, заложенный *гусемъ*, станетъ на мѣстѣ, когда лопнутъ переднія постромки, между тѣмъ какъ оторванный форрейтеръ тѣмъ легче уносится впередъ. Не стѣсненная особенностію народнаго быта, ни обычаями, ни преданіями старины, ни мѣстными отношеніями, ни господствующимъ образомъ мыслей, ни даже особенностію языка, воспитанная въ сферѣ отвлеченныхъ вопросовъ, Польская аристократія въ 15 и 16-мъ вѣкѣ была не только самою образованною, но и самою ученою, самою блестящею во всей Европѣ. Основательное знаніе иностранныхъ языковъ, глубокое изученіе древнихъ классиковъ, необыкновенное развитіе умственныхъ и общежительныхъ дарованій, удивляли путешественниковъ и составляли всегдашній предметъ реляцій наблюдательныхъ папскихъ нунціевъ того времени (*). Вслѣдствіе этой образованности, литература была изумительно богата. Ее составляли ученые комментаріи древнихъ классиковъ, удачныя и неудачныя подражанія, писанныя частію на щегольскомъ Польскомъ, частію на образцовомъ Латинскомъ языкѣ, многочисленные и важные переводы, изъ коихъ нѣкоторые до сихъ поръ почитаются образцовыми, какъ напримѣръ, переводъ Тасса; другіе доказываютъ глубину просвѣщенія, какъ напримѣръ, переводъ всѣхъ сочиненій Аристотеля, сдѣланный еще въ 16-мъ вѣкѣ. Въ одно царствованіе Сигизмунда III-го блистало 711 извѣстныхъ литературныхъ именъ, и болѣе чѣмъ въ 80-ти городахъ безпрестанно работали типографіи (**). Но между этимъ искусственнымъ просвѣщеніемъ и естественными элементами умственной жизни народа не было ничего общаго. Отъ того въ цѣлой образованности Польши произошло раздвоеніе. Между тѣмъ какъ ученые паны писали толкованія на Горація, переводили Тасса и неоспоримо сочувствовали всѣмъ явленіямъ

(*) Смотри: *Niemcewicz:* Zbior pamiętnikow o dawney Polszcze.

(**) Смотри: Chodzko, Tableau de la Pologne ancienne et moderne.

современнаго имъ Европейскаго просвѣщенія,—это просвѣщеніе отражалось только на поверхности жизни, не выростая изъ корня, и такимъ образомъ, лишенная самобытнаго развитія, вся эта отвлеченная умственная дѣятельность, эта ученость, этотъ блескъ, эти таланты, эти славы, эти цвѣты, сорванные съ чужихъ полей, вся эта богатая литература исчезла почти безъ слѣда для образованности Польской, и совершенно безъ слѣда для просвѣщенія общечеловѣческаго, для той Европейской образованности, которой она была слишкомъ вѣрнымъ отраженіемъ (*).

(*) Вотъ что говоритъ К. Мехеринскій въ своей Historya języka łacinskiego w Polsce, Krakow, 1835:

....Тогда было общее мнѣніе, что все, достойное уваженія и разумное, не иначе могло быть писано, какъ по-Латынѣ.—Между тѣмъ Краковская академія (основанная въ 1347 году), предупреждая всѣ Нѣмецкіе университеты, открыла для Польши новый Лаціумъ, гдѣ древнія Музы Гесперіи уже избрали себѣ постоянное мѣстопребываніе, и Полякамъ уже не нужно было искать наукъ за Альпами.

....Вскорѣ Ягеллонскія учебныя заведенія затмили своею славою многія Европейскія.

....Богословы-ораторы, посланные (изъ Польши) на Базельскій Соборъ, заняли тамъ первое мѣсто послѣ Боннонскихъ Тулліевъ.

....Казиміръ Ягайловичь завелъ множество Латинскихъ школъ и очень заботился о распространеніи языка Латынскаго въ Польшѣ; онъ даже издалъ строгое постановленіе, чтобы каждый, кто ищетъ какую нибудь значительную должность, умѣлъ хорошо говорить на языкѣ Латинскомъ. Съ тѣхъ поръ и вошло въ обычай, что каждый Польскій шляхтичь говорилъ по-Латынѣ.... Даже и женщины ревностно занимались Латинскимъ языкомъ. Яноцкій говоритъ, между прочимъ, что Елисавета, жена Казиміра II-го, сама написала сочиненіе: De institutione regii pueri.

....Какъ прежде математика, юриспруденція, такъ въ это время расцвѣли въ Польшѣ науки изящныя, и быстро поднялось изученіе Латыни.

Іор. Луд. Деціусъ (современникъ Сигизмунда I-го) свѣдѣтельствуетъ, *что у Сарматовъ* рѣдко встрѣтишь человѣка изъ хорошей фамиліи, который бы не зналъ трехъ или четырехъ языковъ, а по-Латынѣ знаютъ всѣ.

....Королева Варвара, жена Сигизмунда, не только совершенно понимала Латинскихъ классиковъ, но и писала къ королю, своему мужу, по-Латынѣ....

....И среди Лаціума, говоритъ Кромеръ, не нашлось бы столько людей, могущихъ доказать свое знаніе Латинскаго языка. Даже дѣвушки, какъ изъ шляхетныхъ, такъ и изъ простыхъ семей, и по домамъ и по монастырямъ, равно хорошо читаютъ и пишутъ по-Польски и по-Латынѣ.—А въ собраніи писемъ отъ 1390 г. по 1580 г. г. Камусара, современный писатель, говоритъ, что изъ ста шляхтичей едва ли можно отыскать двухъ, которые бы не знали языковъ: Латинскаго, Нѣмецкаго и Итальянскаго. Они научаются имъ въ школахъ, и это дѣлается само собою, потому что нѣтъ въ Польшѣ такой бѣдной деревеньки, или даже корчмы, гдѣ бы не нашлись люди, владѣющіе этими

Правда, однимъ явленіемъ въ области наукъ гордится Польша, одну дань принесла она въ сокровищницу всечеловѣческаго просвѣщенія: великій Коперникъ былъ Полякъ; но не забудемъ и то, что Коперникъ въ молодости своей оставилъ Польшу и воспитывался въ Германіи.

Слава Богу: между теперешнею Россіею и старою Польшею нѣтъ ни малѣйшаго сходства, и потому, я надѣюсь, никто не упрекнетъ меня въ неумѣстномъ сравненіи и не перетолкуетъ словъ моихъ въ иной смыслъ, если мы скажемъ,—что въ отношеніи къ литературѣ у насъ замѣтна такая же отвлеченная искусственность, такіе же цвѣты безъ корня, сорванные съ чужихъ полей. Мы переводимъ, подражаемъ, изучаемъ чужія словесности, слѣдимъ за ихъ малѣйшими движеніями,

---

тремя языками, и въ каждой, даже и самой маленькой деревенькѣ есть школа (см. Memoires de F. Choisnin). Этотъ важный фактъ имѣетъ въ глазахъ нашихъ весьма глубокое значеніе. А между тѣмъ, продолжаетъ авторъ, языкъ народный по большей части оставался только въ устахъ простолюдиновъ.....

...Жажда Европейской славы принуждала писать на всеобщемъ, Латинскомъ языкѣ; за то Польскіе поэты получали вѣнцы отъ Германскихъ императоровъ и отъ папъ, а политики пріобрѣтали дипломатическія связи.....

До какой степени Польша въ XV и въ XVI вѣкѣ превосходила другіе народы въ знаніи древнихъ литературъ, видно изъ множества свидѣтельствъ, особенно иностранныхъ. Де-Ту, въ своей исторіи, подъ годомъ 1573, описывая прибытіе Польскаго посольства во Францію, говоритъ, что изъ многочисленной толпы Поляковъ, въѣхавшихъ въ Парижъ на пятидесяти рыдванахъ, запряженныхъ четвернями, не было ни одного, который бы не говорилъ по-Латынѣ въ совершенствѣ; что Французскіе дворяне краснѣли отъ стыда, когда на вопросы гостей они должны были только подмигивать; что при цѣломъ дворѣ нашлись только двое, которые могли отвѣчать этимъ посланникамъ по-Латынѣ,— за что ихъ и выставляли всегда впередъ.—Знаменитый Муретъ, сравнивая ученую Польшу съ Италіею, выражается такъ: который же изъ двухъ народовъ грубѣе? Не рожденный ли на лонѣ Италіи? у нихъ едва ли найдешь сотую часть такихъ, которые бы знали по-Латынѣ и по-Гречески, и любили бы науки. Или? Поляки, у которыхъ очень много людей, владѣющихъ обоими этими языками, а къ наукамъ и къ искусствамъ они такъ привязаны, что весь вѣкъ проводятъ, занимаясь ими. (см. M. Ant. Mureti Ep. 66 ad Paulum Sacratum, ed. Kappii, p. 536).—То же говоритъ знаменитый членъ ученаго Тріумвирата, Юстъ Липсій (одинъ изъ первыхъ филологовъ того времени), въ письмѣ къ одному изъ своихъ пріятелей, жившему тогда въ Польшѣ: Какъ же мнѣ удивляться твоимъ знаніямъ? Ты живешь между тѣми людьми, которые были нѣкогда народомъ варварскимъ; а теперь мы передъ ними варвары. Они приняли Музъ, презрѣнныхъ и изгнанныхъ изъ Греціи Лаціума, въ свои радушныя и гостепріимныя объятія (см. Epist. Cont. ad Germ. et Gall. ep. 63).

усвояемъ себѣ чужія мысли и системы, и эти упражненія составляютъ украшенія нашихъ образованныхъ гостиныхъ, иногда имѣютъ вліяніе на самыя дѣйствія нашей жизни, но, не бывъ связаны съ кореннымъ развитіемъ нашей, исторически намъ данной образованности, они отдѣляютъ насъ отъ внутренняго источника отечественнаго просвѣщенія, и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлаютъ насъ безплодными и для общаго дѣла просвѣщенія всечеловѣческаго. Произведенія нашей словесности, какъ отраженія Европейскихъ, не могутъ имѣть интереса для другихъ народовъ, кромѣ интереса статистическаго, какъ показанія мѣры нашихъ ученическихъ успѣховъ въ изученіи ихъ образцовъ. Для насъ самихъ они любопытны какъ дополненіе, какъ объясненіе, какъ усвоеніе чужихъ явленій; но и для насъ самихъ, при всеобщемъ распространеніи знанія иностранныхъ языковъ, наши подражанія остаются всегда нѣсколько ниже и слабѣе своихъ подлинниковъ.

Само собою разумѣется, что я говорю здѣсь не о тѣхъ необыкновенныхъ явленіяхъ, въ которыхъ дѣйствуетъ личная сила генія. Державинъ, Карамзинъ, Жуковскій, Пушкинъ, Гоголь, хотя бы слѣдовали чужому вліянію, хотя бы пролагали свой особенный путь, всегда будутъ дѣйствовать сильно, могуществомъ своего личнаго дарованія, независимо отъ избраннаго ими направленія. Я говорю не объ исключеніяхъ, но о словесности вообще, въ ея обыкновенномъ состояніи.

Нѣтъ сомнѣнія, что между литературною образованностію нашею и коренными стихіями нашей умственной жизни, которыя развивались въ нашей древней исторіи и сохраняются теперь въ нашемъ такъ называемомъ необразованномъ народѣ, существуетъ явное разногласіе. Разногласіе это происходитъ не отъ различія степеней образованности, но отъ совершенной ихъ разнородности. Тѣ начала умственной, общественной, нравственной и духовной жизни, которыя создали прежнюю Россію и составляютъ теперь единственную сферу ея народнаго быта, не развились въ литературное просвѣщеніе наше, но остались нетронутыми, оторванныя отъ успѣховъ нашей умственной дѣятельности,—между тѣмъ какъ мимо ихъ, безъ отношенія къ нимъ, литературное просвѣщеніе наше истекаетъ

изъ чужихъ источниковъ, совершенно несходныхъ не только съ формами, но часто даже съ самыми началами нашихъ убѣжденій. Вотъ отъ чего всякое движеніе въ словесности нашей условливается не внутреннимъ движеніемъ нашей образованности, какъ на Западѣ, но случайными для нея явленіями иностранныхъ литературъ.

Можетъ быть, справедливо думаютъ тѣ, которые утверждаютъ, что мы Русскіе способнѣе понять Гегеля и Гёте, чѣмъ Французы и Англичане; что мы полнѣе можемъ сочувствовать съ Байрономъ и Диккенсомъ, чѣмъ Французы и даже Нѣмцы; что мы лучше можемъ оцѣнить Беранже и Жоржъ-Зандъ, чѣмъ Нѣмцы и Англичане. И въ самомъ дѣлѣ, отъ чего не понять намъ, отъ чего не оцѣнить съ участіемъ самыхъ противоположныхъ явленій? Если мы оторвемся отъ народныхъ убѣжденій, то намъ не помѣшаютъ тогда никакія особенныя понятія, никакой опредѣленный образъ мыслей, никакія завѣтныя пристрастія, никакіе интересы, никакія обычныя правила. Мы свободно можемъ раздѣлять всѣ мнѣнія, усвоивать себѣ всѣ системы, сочувствовать всѣмъ интересамъ, принимать всѣ убѣжденія. Но подчиняясь вліянію литературъ иностранныхъ, мы не можемъ въ свою очередь дѣйствовать на нихъ нашими блѣдными отраженіями ихъ же явленій; мы не можемъ дѣйствовать на собственную даже литературную образованность, подчиненную прямо сильнѣйшему вліянію словесностей иностранныхъ; не можемъ дѣйствовать и на образованность народную, потому, что между ею и нами нѣтъ умственной связи, нѣтъ сочувствія, нѣтъ общаго языка.

Охотно соглашаюсь, что взглянувъ съ этой точки на литературу нашу, я выразилъ здѣсь только одну ея сторону, и это одностороннее представленіе, являясь въ такомъ рѣзкомъ видѣ, не смягченное ея другими качествами, не даетъ полнаго, настоящаго понятія о цѣломъ характерѣ нашей словесности. Но рѣзкая, или смягченная сторона эта тѣмъ не менѣе существуетъ, и существуетъ какъ разногласіе, которое требуетъ разрѣшенія

Какимъ же образомъ можетъ выдти литература наша изъ своего искусственнаго состоянія, получить значительность, которой она до сихъ поръ не имѣетъ, придти въ согласіе со всею

совокупностью нашей образованности и явиться вмѣстѣ и выраженіемъ ея жизни и пружиною ея развитія?

Здѣсь слышатся иногда два мнѣнія, оба равно односторонія, равно неосновательныя, оба равно невозможныя.

Нѣкоторые думаютъ, что полнѣйшее усвоеніе иноземной образованности можетъ со временемъ пересоздать всего Русскаго человѣка, какъ оно пересоздало нѣкоторыхъ пишущихъ и непишущихъ литераторовъ, и тогда вся совокупность образованности нашей придетъ въ согласіе съ характеромъ нашей литературы. По ихъ понятію, развитіе нѣкоторыхъ основныхъ началъ должно измѣнить нашъ коренной образъ мыслей, переиначить наши нравы, наши обычаи, наши убѣжденія, изгладить нашу особенность и такимъ образомъ сдѣлать насъ Европейски просвѣщенными.

Стоитъ ли опровергать такое мнѣніе?

Ложность его, кажется, очевидна безъ доказательства. Уничтожить особенность умственной жизни народной такъ же невозможно, какъ невозможно уничтожить его исторію. Замѣнить литературными понятіями коренныя убѣжденія народа такъ же легко, какъ отвлеченною мыслію перемѣнить кости развившагося организма. Впрочемъ, еслибы мы и могли допустить на минуту, что предположеніе это можетъ въ самомъ дѣлѣ исполниться, то въ такомъ случаѣ единственный результатъ его заключался бы не въ просвѣщеніи, а въ уничтоженіи самого народа. Ибо что такое народъ, если не совокупность убѣжденій, болѣе или менѣе развитыхъ въ его нравахъ, въ его обычаяхъ, въ его языкѣ, въ его понятіяхъ сердечныхъ и умственныхъ, въ его религіозныхъ, общественныхъ и личныхъ отношеніяхъ, однимъ словомъ, во всей полнотѣ его жизни? Къ тому же мысль, вмѣсто началъ нашей образованности ввести у насъ начала образованности Европейской, уже и потому уничтожаетъ сама себя, что въ конечномъ развитіи просвѣщенія Европейскаго нѣтъ начала господствующаго. Одно противорѣчитъ другому, взаимно уничтожаясь. Если остается еще въ Западной жизни нѣсколько живыхъ истинъ, болѣе или менѣе еще уцѣлѣвшихъ среди всеобщаго разрушенія всѣхъ особенныхъ убѣжденій, то эти истины не Европейскія, ибо въ противорѣчіи со всѣми

результатами Европейской образованности;—это сохранившіеся остатки Христіанскихъ началъ, которые, слѣдовательно, принадлежатъ не Западу, но болѣе намъ, принявшимъ Христіанство въ его чистѣйшемъ видѣ, хотя, можетъ быть, существованія этихъ началъ и не предполагаютъ въ нашей образованности безусловные поклонники Запада, не знающіе смысла нашего просвѣщенія и смѣшивающіе въ немъ существенное съ случайнымъ, собственное, необходимое съ посторонними искаженіями чужихъ вліяній: Татарскихъ, Польскихъ, Нѣмецкихъ и т. п.

Что же касается собственно до Европейскихъ началъ, какъ они выразились въ послѣднихъ результатахъ, то взятыя отдѣльно отъ прежней жизни Европы и положенныя въ основаніе образованности новаго народа, — что́ произведутъ они, если не жалкую каррикатуру просвѣщенія, какъ поэма, возникшая изъ правилъ піитики, была бы каррикатурою поэзіи? Опытъ уже сдѣланъ. Казалось, какая блестящая судьба предстояла Соединеннымъ-Штатамъ Америки, построеннымъ на такомъ разумномъ основаніи, послѣ такого великаго начала! — И что же вышло? Развились однѣ внѣшнія формы общества и, лишенныя внутренняго источника жизни, подъ наружною механикой задавили человѣка. Литература Соединенныхъ-Штатовъ, по отчетамъ самыхъ безпристрастныхъ судей, служитъ яснымъ выраженіемъ этого состоянія(*).—Огромная фабрика бездарныхъ стиховъ, безъ малѣйшей тѣни поэзіи; казенные эпитеты, ничего не выражающіе и не смотря на то, постоянно повторяемые; совершенное безчувствіе ко всему художественному; явное презрѣніе всякаго мышленія, не ведущаго къ матеріальнымъ выгодамъ; мѣлочныя личности безъ общихъ основъ; пухлыя фразы съ самымъ узкимъ смысломъ, оскверненіе святыхъ словъ: человѣколюбія, отечества, общественнаго блага, народности, до того, что употребленіе ихъ сдѣлалось даже не ханжество, но простой общепонятный штемпель корыстныхъ разсчетовъ; наружное уваженіе къ внѣшней сторонѣ законовъ,

(*) Куперъ, Вашингтонъ Ирвингъ и другія отраженія словесности Англійской не могутъ служить для характеристики собственно Американской.

при самомъ нагломъ ихъ нарушеніи; духъ сообщничества изъ личныхъ выгодъ, при некраснѣющей невѣрности соединившихся лицъ, при явномъ неуваженіи всѣхъ нравственныхъ началъ, (*) такъ, что въ основаніи всѣхъ этихъ умственныхъ движеній, очевидно лежитъ самая мѣлкая жизнь, отрѣзанная отъ всего, что поднимаетъ сердце надъ личною корыстію, утонувшая въ дѣятельности эгоизма и признающая своею высшею цѣлью матеріальный комфортъ, со всѣми его служебными силами. Нѣтъ! Если уже суждено будетъ Русскому, за какіе нибудь нераскаянные грѣхи, промѣнять свое великое будущее на одностороннюю жизнь Запада, то лучше хотѣлъ бы я замечтаться съ отвлеченнымъ Нѣмцемъ въ его хитросложныхъ теоріяхъ; лучше залѣниться до смерти подъ теплымъ небомъ, въ художественной атмосферѣ Италіи; лучше закружиться съ Французомъ въ его порывистыхъ, минутныхъ стремленіяхъ; лучше закаменѣть съ Англичаниномъ въ его упрямыхъ, безотчетныхъ привычкахъ, чѣмъ задохнуться въ этой прозѣ фабричныхъ отношеній, въ этомъ механизмѣ корыстнаго безпокойства.

Мы не удалились отъ своего предмета. Крайность результата, хотя и не сознанная, но логически возможная, обнаруживаетъ ложность направленія.

Другое мнѣніе, противоположное этому безотчетному поклоненію Запада и столько же одностороннее, хотя гораздо менѣе распространенное, заключается въ безотчетномъ поклоненіи прошедшимъ формамъ нашей старины, и въ той мысли, что со временемъ новопріобрѣтенное Европейское просвѣщеніе опять должно будетъ изгладиться изъ нашей умственной жизни развитіемъ нашей особенной образованности.

Оба мнѣнія равно ложны; но послѣднее имѣетъ болѣе логической связи. Оно основывается на сознаніи достоинства прежней образованности нашей, на разногласіи этой образованности съ особеннымъ характеромъ просвѣщенія Европейскаго, и наконецъ, на несостоятельности послѣднихъ результатовъ Европейскаго просвѣщенія. Можно не соглашаться съ каждымъ изъ

(*) Es finden allerdings rechtliche Zustände, ein formelles Rechtsgesetz statt, aber diese Rechtlichkeit ist ohne Rechtschaffenheit,—говоритъ Гегель въ своей Фил. Ист.

этихъ положеній; но, разъ допустивши ихъ, нельзя упрекнуть въ логическомъ противорѣчіи мнѣнія, на нихъ основаннаго, какъ, напримѣръ, можно упрекнуть мнѣніе противоположное, проповѣдующее просвѣщеніе Западное и не могущее указать въ этомъ просвѣщеніи ни на какое центральное, положительное начало, но довольствующееся какими нибудь частными истинами, или отрицательными формулами.

Между тѣмъ логическая непогрѣшимость не спасаетъ мнѣнія отъ существенной односторонности; напротивъ, придаетъ ей еще болѣе очевидности. Какова бы ни была образованность наша, но прошедшія ея формы, являвшіяся въ нѣкоторыхъ обычаяхъ, пристрастіяхъ, отношеніяхъ и даже въ языкѣ нашемъ, потому именно не могли быть чистымъ и полнымъ выраженіемъ внутренняго начала народной жизни, что были ея наружными формами, слѣдовательно, результатомъ двухъ различныхъ дѣятелей: одного, выражаемаго начала, и другаго, мѣстнаго и временнаго обстоятельства. Потому всякая форма жизни, однажды прошедшая, уже болѣе невозвратима, какъ та особенность времени, которая участвовала въ ея созданіи. Возстановить эти формы то же, что воскресить мертвеца, оживить земную оболочку души, которая уже разъ отъ нея отлетѣла. Здѣсь нужно чудо; логики недостаточно; по несчастію, даже недостаточно и любви!

Къ тому же, каково бы ни было просвѣщеніе Европейское, но если однажды мы сдѣлались его участниками, то истребить его вліяніе уже внѣ нашей силы, хотя бы мы того и желали. Можно подчинить его другому, высшему, направить къ той или другой цѣли; но всегда останется оно существеннымъ, уже неизъемлемымъ элементомъ всякаго будущаго развитіи нашего. Легче узнать все новое на свѣтѣ, чѣмъ забыть узнанное. Впрочемъ, еслибы мы и могли даже забывать по произволу, еслибы могли возвратиться въ ту отдѣленную особенность нашей образованности, изъ которой вышли, то какую пользу получили бы мы отъ этой новой отдѣленности? Очевидно, что рано, или поздно, мы опять пришли бы въ соприкосновеніе съ началами Европейскими, опять подверглись бы ихъ вліянію, опять должны бы были страдать отъ ихъ раз-

согласія съ нашею образованностію, прежде, чѣмъ успѣли бы подчинить ихъ нашему началу; и такимъ образомъ, безпрестанно возвращались бы къ тому же вопросу, который занимаетъ насъ теперь.

Но кромѣ всѣхъ другихъ несообразностей этого направленія, оно имѣетъ еще и ту темную сторону, что, безусловно отвергая все Европейское, тѣмъ самымъ отрѣзываетъ насъ отъ всякаго участія въ общемъ дѣлѣ умственнаго бытія человѣка; ибо нельзя же забывать, что просвѣщеніе Европейское наслѣдовало всѣ результаты образованности Греко-Римскаго міра, который въ свою очередь принялъ въ себя всѣ плоды умственной жизни всего человѣческаго рода. Оторванное такимъ образомъ отъ общей жизни человѣчества, начало нашей образованности вмѣсто того, чтобы быть началомъ просвѣщенія живаго, истиннаго, полнаго, необходимо сдѣлается началомъ одностороннимъ и, слѣдовательно, утратитъ все свое общечеловѣческое значеніе.

Направленіе къ народности истинно у насъ, какъ высшая ступень образованности, а не какъ душный провинціализмъ. Потому, руководствуясь этою мыслію, можно смотрѣть на просвѣщеніе Европейское, какъ на неполное, одностороннее, не проникнутое истиннымъ смысломъ, и потому ложное; но отрицать его какъ бы не существующее, значитъ стѣснять собственное. Если Европейское, въ самомъ дѣлѣ, ложное, если дѣйствительно противорѣчитъ началу истинной образованности, то начало это, какъ истинное, должно не оставлять этого противорѣчія въ умѣ человѣка, а напротивъ, принять его въ себя, оцѣнить, поставить въ свои границы и, подчинивъ такимъ образомъ собственному превосходству, сообщить ему свой истинный смыслъ. Предполагаемая ложность этого просвѣщенія нисколько не противорѣчитъ возможности его подчиненія истинѣ. Ибо все ложное, въ основаніи своемъ, есть истинное, только поставленное на чужое мѣсто: существенно ложнаго нѣтъ, какъ нѣтъ существенности во лжи.

Такимъ образомъ, оба противоположные взгляда на отношенія коренной образованности нашей къ просвѣщенію Европейскому, оба эти крайнія мнѣнія являются равно неосновательными.

Но надобно признаться, что въ этой крайности развитія, въ какой мы представили ихъ здѣсь, не существуютъ они въ дѣйствительности. Правда, мы безпрестанно встрѣчаемъ людей, которые въ образѣ мыслей своихъ уклоняются болѣе или менѣе на ту, или другую сторону, но односторонность свою они не развиваютъ до послѣднихъ результатовъ. Напротивъ, потому только и могутъ они оставаться въ своей односторонности, что не доводятъ ея до первыхъ выводовъ, гдѣ вопросъ дѣлается яснымъ, ибо изъ области безотчетныхъ пристрастій переходятъ въ сферу разумнаго сознанія, гдѣ противорѣчіе уничтожается собственнымъ своимъ выраженіемъ. Отъ того мы думеемъ, что всѣ споры о превосходствѣ Запада, или Россіи, о достоинствѣ исторіи Европейской, или нашей, и тому подобныя разсужденія, принадлежатъ къ числу самыхъ безполезныхъ, самыхъ пустыхъ вопросовъ, какіе только можетъ придумать празднолюбіе мыслящаго человѣка.

И что, въ самомъ дѣлѣ, за польза намъ отвергать, или порочить то, что̀ было, или есть добраго въ жизни Запада? Не есть ли оно, напротивъ, выраженіе нашего же начала, если наше начало истинное? Вслѣдствіе его господства надъ нами, все прекрасное, благородное, христіанское, по необходимости намъ свое, хотя бы оно было Европейское, хотя бы Африканское. Голосъ истины не слабѣетъ, но усиливается своимъ созвучіемъ со всѣмъ, что̀ является истиннаго, гдѣ бы то ни было.

Съ другой стороны, если бы поклонники Европейскаго просвѣщенія, отъ безотчетныхъ пристрастій къ тѣмъ или другимъ формамъ, къ тѣмъ или другимъ отрицательнымъ истинамъ, захотѣли возвыситься до самаго начала умственной жизни человѣка и народовъ, которое одно даетъ смыслъ и правду всѣмъ внѣшнимъ формамъ и частнымъ истинамъ; то безъ сомнѣнія должны бы были сознаться, что просвѣщеніе Запада не представляетъ этого высшаго, центральнаго, господствующаго начала, и, слѣдовательно, убѣдились бы, что вводить частныя формы этого просвѣщенія, значитъ разрушать, не созидая, и что, если въ этихъ формахъ, въ этихъ частныхъ истинахъ есть что либо существенное, то это существенное тогда только можетъ усвоиться намъ, когда оно выростетъ изъ нашего корня, будетъ слѣдствіемъ

нашего собственнаго развитія, а не тогда, какъ упадетъ къ намъ извнѣ, въ видѣ противорѣчія всему строю нашего сознательнаго и обычнаго бытія.

Это соображеніе обыкновенно выпускаютъ изъ виду даже тѣ литераторы, которые, съ добросовѣстнымъ стремленіемъ къ истинѣ, стараются отдать себѣ разумный отчетъ въ смыслѣ и цѣли своей умственной дѣятельности. Но что же сказать о тѣхъ, которые дѣйствуютъ безотчетно? Которые увлекаются Западнымъ только потому, что оно не наше, ибо не знаютъ ни характера, ни смысла, ни достоинства того начала, которое лежитъ въ основаніи нашего историческаго быта, и не зная его, не заботятся узнать, легкомысленно смѣшивая въ одно осужденіе и случайные недостатки и самую сущность нашей образованности? Что сказать о тѣхъ, которые женоподобно прельщаются наружнымъ блескомъ образованности Европейской, не вникая ни въ основаніе этой образованности, ни въ ея внутреннее значеніе, ни въ тотъ характеръ противорѣчія, несостоятельности, саморазрушенія, который, очевидно, заключается не только въ общемъ результатѣ Западной жизни, но даже и въ каждомъ ея отдѣльномъ явленіи,—очевидно, говорю я, въ томъ случаѣ, когда мы не довольствуемся внѣшнимъ понятіемъ явленія, но вникнемъ въ его полный смыслъ отъ основнаго начала до конечныхъ выводовъ.

Впрочемъ, говоря это, мы чувствуемъ между тѣмъ, что слова наши теперь еще найдутъ мало сочувствія. Ревностные поклонники и распространители Западныхъ формъ и понятій довольствуются обыкновенно столь малыми требованіями отъ просвѣщенія, что врядъ ли могутъ дойти до сознанія этого внутренняго разногласія Европейской образованности. Они думаютъ, напротивъ того, что если еще не вся масса человѣчества на Западѣ достигла послѣднихъ границъ своего возможнаго развитія, то, по крайней мѣрѣ, достигли ихъ высшіе ея представители; что всѣ существенныя задачи уже рѣшены, всѣ тайны раскладены, всѣ недоразумѣнія ясны, сомнѣнія кончены; что мысль человѣческая дошла до крайнихъ предѣловъ своего возрастанія; что теперь остается ей только распространяться въ общее признаніе, и что не осталось въ глубинѣ

человѣческаго духа уже никакихъ существенныхъ, вопіющихъ, незаглушимыхъ вопросовъ, на которые не могъ бы онъ найти полнаго, удовлетворительнаго отвѣта во всеобъемлющемъ мышленіи Запада; по этой причинѣ и намъ остается только учиться, подражать и усвоивать чужое богатство.

Спорить съ такимъ мнѣніемъ, очевидно, нельзя. Пусть утѣшаются они полнотою своего знанія, гордятся истиною своего направленія, хвалятся плодами своей внѣшней дѣятельности, любуются стройностію своей внутренней жизни. Мы не нарушимъ ихъ счастливаго очарованія; они заслужили свое блаженное довольство мудрою умѣренностію своихъ умственныхъ и сердечныхъ требованій. Мы соглашаемся, что не въ силахъ переубѣдить ихъ, ибо мнѣніе ихъ крѣпко сочувствіемъ большинства, и думаемъ, что развѣ только современемъ можетъ оно поколебаться силою собственнаго развитія. Но до тѣхъ поръ не будемъ надѣяться, чтобы эти поклонники Европейскаго совершенства постигли то глубокое значеніе, которое скрывается въ нашей образованности.

Ибо двѣ образованности, два раскрытія умственныхъ силъ въ человѣкѣ и народахъ, представляетъ намъ безпристрастное умозрѣніе, исторія всѣхъ вѣковъ и даже ежедневный опытъ. Одна образованность есть внутреннее устроеніе духа силою извѣщающейся въ немъ истины; другая—формальное развитіе разума и внѣшнихъ познаній. Первая зависитъ отъ того начала, которому покоряется человѣкъ и можетъ сообщаться непосредственно; вторая есть плодъ медленной и трудной работы. Первая даетъ смыслъ и значеніе второй, но вторая даетъ ей содержаніе и полноту. Для первой нѣтъ измѣняющагося развитія, есть только прямое признаніе, сохраненіе и распространеніе въ подчиненныхъ сферахъ человѣческаго духа; вторая, бывъ плодомъ вѣковыхъ, постепенныхъ усилій, опытовъ, неудачь, успѣховъ, наблюденій, изобрѣтеній и всей преемственно богатящейся умственной собственности человѣческаго рода, не можетъ быть создана мгновенно, ни отгадана самымъ геніальнымъ вдохновеніемъ, но должна слагаться мало по малу изъ совокупныхъ усилій всѣхъ частныхъ разумѣній. Впрочемъ очевидно, что первая только имѣетъ существенное значеніе для жизни,

влагая въ нее тотъ или другой смыслъ; ибо изъ ея источника истекаютъ коренныя убѣжденія человѣка и народовъ; она опредѣляетъ порядокъ ихъ внутренняго и направленіе внѣшняго бытія, характеръ ихъ частныхъ, семейныхъ и общественныхъ отношеній, является начальною пружиною ихъ мышленія, господствующимъ звукомъ ихъ душевныхъ движеній, краскою языка, причиною сознательныхъ предпочтеній и безсознательныхъ пристрастій, основою нравовъ и обычаевъ, смысломъ ихъ исторіи.

Покоряясь направленію этой высшей образованности и дополняя ее своимъ содержаніемъ, вторая образованность устрояетъ развитіе наружной стороны мысли и внѣшнихъ улучшеній жизни, сама не заключая въ себѣ никакой понудительной силы къ тому или къ другому направленію. Ибо, по сущности своей и въ отдѣленности отъ постороннихъ вліяній, она есть нѣчто среднее между добромъ и зломъ, между силою возвышенія и силою искаженія человѣка, какъ всякое внѣшнее свѣденіе, какъ собраніе опытовъ, какъ безпристрастное наблюденіе природы, какъ развитіе художественной техники, какъ и самъ познающій разумъ, когда онъ дѣйствуетъ оторванно отъ другихъ способностей человѣка и развивается самодвижно, не увлекаясь низкими страстями, не озаряясь высшими помыслами, но передавая беззвучно одно отвлеченное знаніе, могущее быть одинаково употреблено на пользу и на вредъ, на служеніе правдѣ или на подкрѣпленіе лжи.

Самая безхарактерность этой внѣшней, логическо-технической образованности позволяетъ ей оставаться въ народѣ или человѣкѣ даже тогда, когда они утрачиваютъ или измѣняютъ внутреннюю основу своего бытія, свою начальную вѣру, свои коренныя убѣжденія, свой существенный характеръ, свое жизненное направленіе. Оставшаяся образованность, переживая господства высшаго начала, ею управлявшаго, поступаетъ на службу другаго, и такимъ образомъ невредимо переходитъ всѣ различные переломы исторіи, безпрестанно возрастая въ содержаніи своемъ до послѣдней минуты человѣческаго бытія.

Между тѣмъ въ самыя времена переломовъ, въ эти эпохи упадка человѣка или народа, когда основное начало жизни раз-

двоется въ умѣ его, распадается на части и теряетъ такимъ образомъ всю свою силу, заключающуюся преимущественно въ цѣльности бытія: тогда эта вторая образованность, разумно-внѣшняя, формальная, является единственною опорой неутвержденной мысли и господствуетъ, посредствомъ разумнаго разсчета и равновѣсія интересовъ, надъ умами внутреннихъ убѣжденій.

Исторія представляетъ намъ нѣсколько подобныхъ эпохъ перелома, раздѣленныхъ между собою тысячелѣтіями, но близко связанныхъ внутреннимъ сочувствіемъ духа, подобно тому сочувствію, какое замѣчается между мышленіемъ Гегеля и внутреннимъ основаніемъ мышленія Аристотеля.

Обыкновенно смѣшиваютъ эти двѣ образованности. Отъ того въ половинѣ 18-го вѣка могло возникнуть мнѣніе, съ начала развитое Лессингомъ и Кондорсетомъ, и потомъ сдѣлавшееся всеобщимъ,—мнѣніе о какомъ-то постоянномъ, естественномъ и необходимомъ усовершенствованіи человѣка. Оно возникло въ противоположность другому мнѣнію, утверждавшему неподвижность человѣческаго рода, съ какими-то періодическими колебаніями вверхъ и внизъ. Можетъ быть, не было мысли сбивчивѣе этихъ двухъ. Ибо, если бы въ самомъ дѣлѣ человѣческій родъ усовершенствовался, то отъ чего же человѣкъ не дѣлается совершеннѣе? Если бы ничто въ человѣкѣ не развивалось, не возрастало, то какъ бы мы могли объяснить безспорное усовершенствованіе нѣкоторыхъ наукъ?

Одна мысль отрицаетъ въ человѣкѣ всеобщность разума, прогрессъ логическихъ выводовъ, силу памяти, возможность словеснаго взаимнодѣйствія, и т. п.; другая убиваетъ въ немъ свободу нравственнаго достоинства.

Но мнѣніе о неподвижности человѣческаго рода должно было уступить въ общемъ признаніи мнѣнію о необходимомъ развитіи человѣка, ибо послѣднее было слѣдствіемъ другаго заблужденія, принадлежащаго исключительно раціональному направленію послѣднихъ вѣковъ. Заблужденіе это заключается въ предположеніи, будто то живое разумѣніе духа, то внутреннее устроеніе человѣка, которое есть источникъ его путеводныхъ мыслей, сильныхъ дѣлъ, безоглядныхъ стремленій, задушевной поэзіи, крѣпкой жизни и высшаго зрѣнія ума, будто оно можетъ со-

ставляться искусственно, такъ сказать механически изъ одного развитія логическихъ формулъ. Это мнѣніе долго было господствующимъ, покуда, наконецъ, въ наше время начало разрушаться успѣхами высшаго мышленія. Ибо логическій разумъ, отрѣзанный отъ другихъ источниковъ познаванія и не испытавшій еще до конца мѣры своего могущества, хотя и обѣщаетъ сначала человѣку создать ему внутренній образъ мыслей, сообщить не формальное, живое воззрѣніе на міръ и самого себя; но, развившись до послѣднихъ границъ своего объема, онъ самъ сознаетъ неполноту своего отрицательнаго вѣденія и уже вслѣдствіе собственнаго вывода требуетъ себѣ инаго высшаго начала, недостижимаго его отвлеченному механизму.

Таково теперь состояніе Европейскаго мышленія,—состояніе, которое опредѣляетъ отношеніе Европейскаго просвѣщенія къ кореннымъ началамъ нашей образованности. Ибо если прежній, исключительно раціональный характеръ Запада могъ дѣйствовать разрушительно на нашъ бытъ и умъ, то теперь, напротивъ того, новыя требованія Европейскаго ума и наши коренныя убѣжденія имѣютъ одинакій смыслъ. И если справедливо, что основное начало нашей Православно-Словенской образованности есть истинное (что впрочемъ доказывать здѣсь я почитаю ни нужнымъ, ни умѣстнымъ),—если справедливо, говорю я, что это верховное, живое начало нашего просвѣщенія есть истинное: то очевидно, что какъ оно нѣкогда было источникомъ нашей древней образованности, такъ теперь должно служить необходимымъ дополненіемъ образованности Европейской, отдѣляя ее отъ ея особенныхъ направленій, очищая отъ характера исключительной раціональности и проницая новымъ смысломъ; между тѣмъ какъ образованность Европейская,—какъ зрѣлый плодъ всечеловѣческаго развитія, оторванный отъ стараго дерева,—должна служить питаніемъ для новой жизни, явиться новымъ возбудительнымъ средствомъ къ развитію нашей умственной дѣятельности.

По этому любовь къ образованности Европейской, равно какъ любовь къ нашей, обѣ совпадаютъ въ послѣдней точкѣ своего развитія въ одну любовь, въ одно стремленіе къ живому,

полному, всечеловѣческому и истинно Христіанскому просвѣщенію.

Напротивъ того, въ недоразвитомъ состояніи своемъ являются онѣ обѣ ложными: ибо одна не умѣетъ принять чужаго, не измѣнивъ своему; другая въ тѣсныхъ объятіяхъ своихъ задушаетъ то, что хочетъ сберечь. Одна ограниченность происходитъ отъ запоздалости мышленія и отъ незнанія глубины ученія, лежащаго основаніемъ нашей образованости; другая, сознавая недостатки первой, слишкомъ запальчиво спѣшитъ стать къ ней въ прямое противорѣчіе. Но при всей ихъ односторонности нельзя не сознаться, что въ основаніи обѣихъ могутъ лежать одинаково благородныя побужденія, одинакая сила любви къ просвѣщенію и даже къ отечеству, не смотря на наружную противоположность.

Это понятіе наше о правильномъ отношеніи нашей народной образованности къ Европейской и о двухъ крайнихъ воззрѣніяхъ необходимо было намъ высказать прежде, чѣмъ мы приступимъ къ разсмотрѣнію частныхъ явленій нашей словесности.

—

III.

Бывъ отраженіемъ словесностей иностранныхъ, наши литературныя явленія, подобно Западнымъ, преимущественно сосредоточиваются въ журналистикѣ.

Но въ чемъ же заключается характеръ нашихъ періодическихъ изданій?

Затруднительно журналу произносить свое мнѣніе о другихъ журналахъ. Похвала можетъ казаться пристрастіемъ, порицаніе имѣетъ видъ самохвальства. Но какъ же говорить о литературѣ нашей, не разбирая того, что составляетъ ея существенный характеръ? Какъ опредѣлить настоящій смыслъ словесности, не говоря о журналахъ? Постараемся не заботиться о той наружности, какую могутъ имѣть наши сужденія.

Старѣе всѣхъ другихъ литературныхъ журналовъ осталась теперь *Библіотека для Чтенія*. Господствующій характеръ

ея есть совершенное отсутствіе всякаго опредѣленнаго образа мыслей. Она хвалитъ нынче то, что вчера порицала; выставляетъ нынче одно мнѣніе и нынче же проповѣдуетъ другое; для того же предмета имѣетъ нѣсколько противоположныхъ взглядовъ; не выражаетъ никакихъ особенныхъ правилъ, никакихъ теорій, никакой системы, никакого направленія, никакой краски, никакого убѣжденія, никакой опредѣленной основы для своихъ сужденій; и, не смотря на то, однако, постоянно произноситъ свое сужденіе обо всемъ, что является въ литературѣ или наукахъ. Это дѣлаетъ она такъ, что для каждаго особеннаго явленія сочиняетъ особливые законы, изъ которыхъ случайно исходитъ ея порицательный или одобрительный приговоръ и падаетъ — на счастливаго. По этой причинѣ дѣйствіе, которое производитъ всякое выраженіе ея мнѣнія, похоже на то, какъ бы она совсѣмъ не произносила никакого мнѣнія. Читатель понимаетъ мысль судьи отдѣльно, а предметъ, къ которому относится сужденіе, также отдѣльно ложится въ умѣ его: ибо онъ чувствуетъ, что между мыслію и предметомъ нѣтъ другаго отношенія, кромѣ того, что они встрѣтились случайно и на короткое время, и опять встрѣтившись не узнаютъ другъ друга.

Само собою разумѣется, что это особеннаго рода безпристрастіе лишаетъ *Библіотеку для Чтенія* всякой возможности имѣть вліяніе на литературу, какъ *журналъ*, но не мѣшаетъ ей дѣйствовать, какъ *сборникъ* статей, часто весьма любопытныхъ. Въ редакторѣ ея замѣтно, кромѣ необыкновенной, многосторонней и часто удивительной учености, еще особый, рѣдкій и драгоцѣнный даръ: представлять самые трудные вопросы наукъ въ самомъ ясномъ и для всѣхъ понятномъ видѣ, и оживлять это представленіе своими, всегда оригинальными, часто остроумными замѣчаніями. Одно это качество могло бы сдѣлать славу всякаго періодическаго изданія, не только у насъ, но даже и въ чужихъ краяхъ.

Но самая живая часть Б. д. Ч. заключается въ *библіографіи*. Ея рецензіи исполнены остроумія, веселости и оригинальности. Нельзя не смѣяться, читая ихъ. Намъ случалось видѣть авторовъ, которыхъ творенія были разобраны, и кото-

рые сами не могли удержаться отъ добродушнаго смѣха, читая приговоры своимъ сочиненіямъ. Ибо въ сужденіяхъ Библіотеки замѣтно такое совершенное отсутствіе всякаго серьёзнаго мнѣнія, что самыя по наружности злыя нападенія ея получаютъ отъ того характеръ фантастически невинный, такъ сказать, добродушно сердитый. Ясно, что она смѣется не потому, чтобы предметъ былъ въ самомъ дѣлѣ смѣшонъ, а только потому, что ей хочется посмѣяться. Она переиначиваетъ слова автора по своему намѣренію, соединяетъ раздѣленныя смысломъ, раздѣляетъ соединенныя, вставляетъ, или выпускаетъ цѣлыя рѣчи, чтобы измѣнить значеніе другихъ, иногда сочиняетъ фразы совсѣмъ небывалыя въ книгѣ, изъ которой выписываетъ, и сама смѣется надъ своимъ сочиненіемъ. Читатель видитъ это, и смѣется вмѣстѣ съ нею, потому что ея шутки почти всегда остроумны и веселы, потому что онѣ невинны, потому что онѣ не стѣсняются никакимъ серьёзнымъ мнѣніемъ, и потому, наконецъ, что журналъ, шутя передъ нимъ, не объявляетъ притязанія ни на какой другой успѣхъ, кромѣ чести: разсмѣшить и забавить публику.

Между тѣмъ, хотя мы съ большимъ удовольствіемъ просматриваемъ иногда эти рецензіи, хотя мы знаемъ, что шутливость эта составляетъ, вѣроятно, главнѣйшую причину успѣха журнала, однако, когда размыслимъ, какою дорогою цѣною покупается этотъ успѣхъ, какъ иногда, за удовольствіе позабавить, продается вѣрность слова, довѣренность читателя, уваженіе къ истинѣ, и т. п., — тогда невольно приходитъ намъ въ мысли: что, если бы съ такими блестящими качествами, съ такимъ остроуміемъ, съ такою ученостію, съ такою многосторонностію ума, съ такою оригинальностію слова соединялись еще другія достоинства, напримѣръ, возвышенная мысль, твердое и не измѣняющее себѣ убѣжденіе, или хотя безпристрастіе, или хотя наружный видъ его? — Какое дѣйствіе могла бы тогда имѣть Б. д. Ч., не говорю на литературу нашу, но на всю совокупность нашей образованности? Какъ легко могла бы она посредствомъ своихъ рѣдкихъ качествъ овладѣть умами читателей, развить свое убѣжденіе сильно, распространить его широко, привлечь сочувствіе большинства,

сдѣлаться судьею мнѣній, можетъ быть, проникнуть изъ литературы въ самую жизнь, связать ея различныя явленія въ одну мысль и, господствуя такимъ образомъ надъ умами, составить крѣпко сомкнутое и сильно развитое мнѣніе, могущее быть полезнымъ двигателемъ нашей образованности? Конечно, тогда она была бы менѣе забавною.

Характеръ совершенно противоположный Библіотекѣ для Чтенія представляютъ Маякъ и Отечественныя Записки. Между тѣмъ какъ Библіотека въ цѣломъ составѣ своемъ болѣе сборникъ разнородныхъ статей, чѣмъ журналъ; а въ критикѣ своей имѣетъ цѣлію единственно забаву читателя, не выражая никакого опредѣленнаго образа мыслей: напротивъ того, Отечественныя Записки и Маякъ проникнуты каждый своимъ рѣзко опредѣленнымъ мнѣніемъ и выражаютъ каждый свое, одинаково рѣшительное, хотя прямо одно другому противоположное направленіе.

Отечественныя Записки стремятся отгадать и присвоить себѣ то воззрѣніе на вещи, которое, по ихъ мнѣнію, составляетъ новѣйшее выраженіе Европейскаго просвѣщенія, и потому, часто мѣняя свой образъ мыслей, онѣ постоянно остаются вѣрными одной заботѣ: выражать собою самую модную мысль, самое новое чувство изъ литературы Западной.

Маякъ, напротивъ того, замѣчаетъ только ту сторону Западнаго просвѣщенія, которая кажется ему вредною или безнравственною, и, чтобы вѣрнѣе избѣжать съ ней сочувствія, отвергаетъ все просвѣщеніе Европейское вполнѣ, не входя въ сомнительныя разбирательства. Отъ того одинъ хвалитъ, что другой бранитъ; одинъ восхищается тѣмъ, что въ другомъ возбуждаетъ негодованіе; даже одни и тѣ же выраженія, которыя въ словарѣ одного журнала означаютъ высшую степень достоинства, напр. *европеизмъ, послѣдній моментъ развитія, человѣческая премудрость,* и пр., —на языкѣ другаго имѣютъ смыслъ крайняго порицанія. Отъ того, не читая одного журнала, можно знать его мнѣніе изъ другаго, понимая только всѣ слова его въ обратномъ смыслѣ.

Такимъ образомъ, въ общемъ движеніи литературы нашей односторонность одного изъ этихъ періодическихъ изданій

полезно уравновѣшивается противоположною односторонностію другаго. Взаимно уничтожая другъ друга, каждый изъ нихъ, не зная того, дополняетъ недостатки другаго, такъ, что смыслъ и значеніе, даже образъ мыслей и содержаніе одного, основываются на возможности существованія другаго. Самая полемика между ними служитъ имъ причиною неразрывной связи и составляетъ, такъ сказать, необходимое условіе ихъ мысленнаго движенія. Впрочемъ, характеръ этой полемики совершенно различенъ въ обоихъ журналахъ. Маякъ нападаетъ на Отечественныя Записки прямо, открыто и съ геройскою неутомимостію, замѣчая ихъ заблужденія, ошибки, оговорки и даже опечатки. Отечественныя Записки мало заботятся о Маякѣ, какъ журналѣ, и даже рѣдко говорятъ о немъ; но за то постоянно имѣютъ въ виду его направленіе, противъ крайности котораго стараются выставить противоположную, не менѣе запальчивую крайность. Эта борьба поддерживаетъ возможность жизни обоихъ и составляетъ ихъ главное значеніе въ литературѣ.

Это противоборство Маяка и Отеч. Записокъ почитаемъ мы явленіемъ полезнымъ въ литературѣ нашей потому, что, выражая два крайнія направленія, они, своею преувеличенностію этихъ крайностей, необходимо представляютъ ихъ нѣсколько въ каррикатурѣ, и такимъ образомъ невольно наводятъ мысли читателя на дорогу благоразумной умѣренности въ заблужденіяхъ. Кромѣ того, каждый журналъ въ своемъ родѣ сообщаетъ много статей любопытныхъ, дѣльныхъ и полезныхъ для распространенія нашей образованности. Ибо мы думаемъ, что образованность наша должна вмѣщать въ себѣ плоды обоихъ направленій; мы не думаемъ только, чтобы эти направленія должны были оставаться въ ихъ исключительной односторонности.

Впрочемъ, говоря о двухъ направленіяхъ, мы имѣемъ въ виду болѣе идеалы двухъ журналовъ, чѣмъ самые журналы, о которыхъ идетъ рѣчь. Ибо, къ сожалѣнію, ни Маякъ, ни Отечественныя Записки далеко не достигаютъ той цѣли, которую они себѣ предполагаютъ.

Отвергать всё Западное и признавать только ту сторону нашей образованности, которая прямо противоположна Европей-

ской, есть, конечно, направленіе одностороннее; однако, оно могло бы имѣть нѣкоторое подчиненное значеніе, если бы журналъ выражалъ его во всей чистотѣ его односторонности; но, принимая его своею цѣлью, Маякъ смѣшиваетъ съ нимъ нѣкоторыя разнородныя, случайныя и явно произвольныя начала, которыя иногда разрушаютъ главное его значеніе. Такъ напримѣръ, полагая въ основаніе всѣхъ сужденій своихъ святыя истины нашей Православной вѣры, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ принимаетъ еще въ основаніе себѣ другія истины: положенія своей самосочиненной психологіи, и судитъ о вещахъ по тремъ критеріямъ, по четыремъ разрядамъ и по десяти стихіямъ. Такимъ образомъ, смѣшивая свои личныя мнѣнія съ общими истинами, онъ требуетъ, чтобы система его принята была за краеугольный камень національнаго мышленія. Вслѣдствіе этого же смѣшенія понятій, думаетъ оказать великую услугу словесности, уничтожая вмѣстѣ съ Отечественными Записками еще и то, что составляетъ славу нашей словесности. Такъ доказываетъ онъ, между прочимъ, что поэзія Пушкина не только ужасная, безнравственная, но что еще въ ней нѣтъ ни красоты, ни искусства, ни хорошихъ стиховъ, ни даже правильныхъ риѳмъ. Такъ, заботясь объ усовершенствованіи Русскаго языка и стараясь придать ему *мягкость, сладость, звучную прелесть*, которыя бы сдѣлали *его общелюбезнымъ языкомъ всей Европы*, самъ онъ, въ то же время, вмѣсто того, чтобы говорить языкомъ Русскимъ, употребляетъ языкъ собственнаго своего изобрѣтенія.

Вотъ почему, не смотря на многія великія истины, кой-гдѣ выражаемыя Маякомъ, и которыя, бывъ представлены въ чистомъ видѣ, должны бы были пріобрѣсть ему живое сочувствіе многихъ; мудрено, однако же, сочувствовать ему по тому, что истины въ немъ перемѣшаны съ понятіями, по крайней мѣрѣ странными.

Отечественныя Записки, съ своей стороны, уничтожаютъ также собственную силу свою другимъ образомъ. Вмѣсто того, чтобы передавать намъ результаты образованности Европейской, онѣ безпрестанно увлекаются какими нибудь частными явленіями этой образованности и, не обнявъ ее вполнѣ, думаютъ быть

новыми, являясь въ самомъ дѣлѣ всегда запоздалыми. Ибо страстное стремленіе за модностью мнѣнія, страстное желаніе принять наружность льва въ кругу мышленія, само по себѣ уже доказываетъ удаленіе отъ центра моды. Это желаніе даетъ нашимъ мыслямъ, нашему языку, всей нашей наружности, тотъ характеръ неувѣренной въ себѣ рѣзкости, тотъ покрой яркой преувеличенности, которые служатъ признакомъ нашего отчужденія именно отъ того круга, къ которому мы хотимъ принадлежать.

Arrivé de province à Paris, разсказываетъ одинъ глубокомысленный и почтенный журналъ (кажется l'Illustration или Guêpes), arrivé a Paris il voulut s'habiller à la mode du lendemain; il sut exprimer les emotions de son âme par les noeuds de sa cravatte et il abusa de l'épingle.

Конечно, О. З. берутъ мнѣнія свои изъ самыхъ новыхъ книгъ Запада; но эти книги принимаютъ онѣ отдѣльно отъ всей совокупности Западной образованности, и потому тотъ смыслъ, который имѣютъ онѣ тамъ, является у нихъ совсѣмъ въ другомъ значеніи; та мысль, которая была новою тамъ, какъ отвѣтъ на совокупность окружающихъ ее вопросовъ, бывъ оторвана отъ этихъ вопросовъ, является у насъ уже не новою, но только что преувеличенною стариною.

Такъ, въ сферѣ философіи, не представляя ни малѣйшаго слѣда тѣхъ задачь, которыя составляютъ предметъ современнаго мышленія Запада, О. З. проповѣдуютъ системы уже устарѣвшія, но прибавляютъ къ нимъ нѣкоторые результаты новыхъ, которыя съ ними не вяжутся. Такъ, въ сферѣ исторіи онѣ приняли нѣкоторыя мнѣнія Запада, которыя явились тамъ какъ результатъ стремленія къ народности; но понявъ ихъ отдѣльно отъ ихъ источника, онѣ выводятъ изъ нихъ же отрицаніе нашей народности, потому что она несогласна съ народностями Запада, — какъ нѣкогда Нѣмцы отвергали свою народность потому, что она непохожа на Французскую. Такъ, въ сферѣ литературы замѣтили Отечеств. Записки, что на Западѣ не безъ пользы для успѣшнаго движенія образованности были уничтожены нѣкоторые незаслуженные

авторитеты, и вслѣдствіе этого замѣчанія, онѣ стремятся унизить всѣ наши извѣстности, стараясь уменьшить литературную репутацію Державина, Карамзина, Жуковскаго, Баратынскаго, Языкова, Хомякова, и на мѣсто ихъ превозносятъ И. Тургенева и Ѳ. Майкова, поставляя ихъ такимъ образомъ въ одну категорію съ Лермонтовымъ, который, вѣроятно, самъ избралъ бы себѣ не это мѣсто въ литературѣ нашей. Слѣдуя тому же началу, О. З. стараются обновить языкъ нашъ своими особенными словами и формами.

Вотъ почему мы осмѣливаемся думать, что какъ О. З., такъ и Маякъ, выражаютъ направленіе нѣсколько одностороннее и не всегда истинное.

Сѣверная Пчела болѣе политическая газета, чѣмъ литературный журналъ. Но въ неполитической части своей она выражаетъ такое же стремленіе къ нравственности, благоустройству и благочинію, какое О. З. обнаруживаютъ къ Европейской образованности. Она судитъ о вещахъ по своимъ нравственнымъ понятіямъ, довольно разнообразно передаетъ все, что ей кажется замѣчательнымъ, сообщаетъ все, что ей нравится, доноситъ обо всемъ, что ей не по сердцу, очень ревностно, но, можетъ быть, не всегда справедливо.

Мы имѣемъ нѣкоторое основаніе думать, что не всегда справедливо.

Въ *Литературной Газетѣ* мы не умѣли открыть никакого особеннаго направленія. Это чтеніе по преимуществу легкое, — чтеніе дессертное, немного сладкое, немного пряное, литературные конфекты, иногда немного сальные, но тѣмъ болѣе пріятные для нѣкоторыхъ невзыскательныхъ организмовъ.

Вмѣстѣ съ этими періодическими изданіями, должны мы упомянуть и о Современникѣ, потому что онъ также литературный журналъ, хотя признаемся, что намъ не хотѣлось бы смѣшивать его имя съ другими именами. Онъ принадлежитъ совсѣмъ другому кругу читателей, имѣетъ цѣль совершенно отличную отъ другихъ изданій, и особенно не смѣшивается съ ними тономъ и способомъ своего литературнаго дѣйствованія. Сохраняя постоянно достоинство своей спокойной не-

зависимости, Современникъ не вступаетъ въ запальчивыя полемики, не позволяетъ себѣ заманивать читателей преувеличенными обѣщаніями, не забавляетъ ихъ праздность своею шутливостью, не ищетъ блеснуть мишурою чужихъ, непонятыхъ системъ, не гоняется тревожно за новостію мнѣній и не основываетъ своихъ убѣжденій на авторитетѣ моды; но свободно и твердо идетъ своей дорогой, не сгибаясь передъ наружнымъ успѣхомъ. Отъ того, со времени Пушкина до сихъ поръ, остается онъ постояннымъ вмѣстилищемъ самыхъ знаменитыхъ именъ нашей словесности; отъ того для писателей менѣе извѣстныхъ, помѣщеніе статей въ Современникѣ есть уже нѣкоторое право на уваженіе публики.

Между тѣмъ, направленіе Современника не преимущественно, но исключительно литературное. Статьи ученыя, имѣющія цѣлью развитіе науки, а не слова, не входятъ въ составъ его. Отъ того образъ его воззрѣнія на вещи находится въ нѣкоторомъ противорѣчіи съ его названіемъ. Ибо въ наше время достоинство чисто-литературное уже далеко не составляетъ существенной стороны литературныхъ явленій. Отъ того, когда, разбирая какое нибудь произведеніе словесности, Современникъ основываетъ свои сужденія на правилахъ риторики или піитики, то мы невольно жалѣемъ, что сила его нравственной чистоты истощается въ заботахъ его литературной чистоплотности.

Финскій Вѣстникъ только начинается, и потому мы не можемъ еще судить о его направленіи; скажемъ только, что мысль сблизить словесность Русскую съ литературами Скандинавскими, по мнѣнію нашему, принадлежитъ не только къ числу полезныхъ, но вмѣстѣ къ числу самыхъ любопытныхъ и значительныхъ нововведеній. Конечно, отдѣльное произведеніе какого нибудь Шведскаго или Датскаго писателя не можетъ быть вполнѣ оцѣнено у насъ, если мы не сообразимъ его не только съ общимъ состояніемъ литературы его народа, но, что еще важнѣе, съ состояніемъ всего частнаго и общаго, внутренняго и внѣшняго быта этихъ малоизвѣстныхъ у насъ земель. Если же, какъ мы надѣемся, Финскій Вѣстникъ познакомитъ насъ съ любопытнѣйшими сторонами внутренней

жизни Швеціи, Норвегіи и Даніи; если онъ представитъ намъ въ ясномъ видѣ многозначительные вопросы, занимающіе ихъ въ настоящую минуту; если онъ раскроетъ передъ нами всю важность тѣхъ малоизвѣстныхъ въ Европѣ умственныхъ и жизненныхъ движеній, которыя наполняютъ теперь эти государства; если онъ представитъ намъ въ ясной картинѣ удивительное, почти неимовѣрное, благосостояніе низшаго класса, особенно въ нѣкоторыхъ областяхъ этихъ государствъ; если онъ удовлетворительно объяснитъ намъ причины этого счастливаго явленія; если объяснитъ причины другаго, не менѣе важнаго обстоятельства, удивительнаго развитія нѣкоторыхъ сторонъ народной нравственности, особенно въ Швеціи и Норвегіи; если представитъ ясную картину отношеній между различными сословіями, отношеній совершенно непохожихъ на другія государства; если, наконецъ, всѣ эти важные вопросы свяжетъ съ явленіями литературными въ одну живую картину: въ такомъ случаѣ, безъ сомнѣнія, журналъ этотъ будетъ однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ явленій въ нашей словесности.

Другіе журналы наши имѣютъ характеръ преимущественно спеціальный, и потому мы не можемъ здѣсь говорить объ нихъ.

Между тѣмъ распространеніе періодическихъ изданій во всѣ концы государства и во всѣ круги грамотнаго общества, роль, которую они очевидно играютъ въ словесности нашей, интересъ, который они возбуждаютъ во всѣхъ классахъ читателей, — всё это неоспоримо доказываетъ намъ, что самый характеръ литературной образованности нашей есть преимущественно журнальный.

Впрочемъ, смыслъ этого выраженія требуетъ нѣкоторыхъ поясненій.

Литературный журналъ не есть литературное произведеніе. Онъ только извѣщаетъ о современныхъ явленіяхъ словесности, разбираетъ ихъ, указываетъ мѣсто въ ряду другихъ, произноситъ объ нихъ свое сужденіе. Журналъ въ словесности то же, что предисловіе въ книгѣ. Слѣдовательно, перевѣсъ журналистики въ литературѣ доказываетъ, что въ современной образованности потребность *наслаждаться* и *знать*,

уступаетъ потребности *судить*, — подвести свои наслажденія и знанія подъ одинъ обзоръ, отдать себѣ отчётъ, имѣть *мнѣніе*. Господство журналистики въ области литературы то же, что господство философскихъ сочиненій въ области наукъ.

Но если развитіе журналистики у насъ основывается на стремленіи самой образованности нашей къ разумному отчёту, къ выраженному, формулированному мнѣнію о предметахъ наукъ и литературы, то, съ другой стороны, неопредѣленный, сбивчивый, односторонній и вмѣстѣ самъ себѣ противорѣчащій характеръ нашихъ журналовъ доказываетъ, что литературныя мнѣнія у насъ еще не составились; что въ движеніяхъ образованности нашей болѣе *потребность* мнѣній, чѣмъ самыя мнѣнія; болѣе чувство необходимости ихъ *вообще*, чѣмъ опредѣленная наклонность къ тому или другому направленію.

Впрочемъ, могло ли и быть иначе? Соображая общій характеръ нашей словесности, кажется, что въ литературной образованности нашей нѣтъ элементовъ для составленія общаго опредѣленнаго мнѣнія, нѣтъ силъ для образованія цѣльнаго, сознательно развитаго направленія, и не можетъ быть ихъ, покуда господствующая краска нашихъ мыслей будетъ случайнымъ оттѣнкомъ чужеземныхъ убѣжденій. Безъ сомнѣнія возможны и даже дѣйствительно безпрестанно встрѣчаются люди, выдающіе какую нибудь частную мысль, ими отрывчато-понятую, за свое опредѣленное *мнѣніе*, — люди, называющіе свои книжныя понятія именемъ *убѣжденій;* но эти мысли, эти понятія, похожи болѣе на школьное упражненіе въ логикѣ и философіи; — это мнѣніе мнимое; одна наружная одежда мыслей; модное платье, въ которое нѣкоторые умные люди наряжаютъ свой умъ, когда выносятъ его въ салоны или — юношескія мечты, разлетающіяся при первомъ напорѣ жизни дѣйствительной. Мы не то разумѣемъ подъ словомъ убѣжденіе.

Было время, и не очень давно, когда для мыслящаго человѣка возможно было составить себѣ твердый и опредѣленный образъ мыслей, обнимающій вмѣстѣ и жизнь, и умъ, и вкусъ, и привычки жизни, и литературныя пристрастія, — можно было составить себѣ опредѣленное мнѣніе единственно

изъ сочувствія съ явленіями иностранныхъ словесностей: были полныя, цѣлыя, доконченныя системы. Теперь ихъ нѣтъ; по крайней мѣрѣ, нѣтъ общепринятыхъ, безусловно господствующихъ. Чтобы построить изъ противорѣчащихъ мыслей свое полное воззрѣніе, надобно выбирать, составлять самому, искать, сомнѣваться, восходить до самаго источника, изъ котораго истекаетъ убѣжденіе, то есть, или навсегда остаться съ колеблющимися мыслями, или напередъ принести съ собою уже готовое, не изъ литературы почерпнутое убѣжденіе. *Составить* убѣжденіе изъ различныхъ системъ — нельзя, какъ вообще нельзя *составить* ничего живаго. Живое рождается только изъ жизни.

Теперь уже не можетъ быть ни Вольтеріянцевъ, ни Жанъ-Жакистовъ, ни Жанъ-Павлистовъ, ни Шеллигіянцевъ, ни Байронистовъ, ни Гетистовъ, ни Доктринеровъ, ни исключительныхъ Гегеліянцевъ (выключая можетъ быть такихъ, которые, иногда и не читавши Гегеля, выдаютъ подъ его именемъ свои личныя догадки); теперь каждый долженъ составлять себѣ свой собственный образъ мыслей, и слѣдовательно, если не возметъ его изъ всей совокупности жизни, то всегда останется при однѣхъ книжныхъ фразахъ.

По этой причинѣ, литература наша могла имѣть полный смыслъ до конца жизни Пушкина, и не имѣетъ теперь никакого опредѣленнаго значенія.

Мы думаемъ однако, что такое состояніе ея продолжиться не можетъ. Вслѣдствіе естественныхъ, необходимыхъ законовъ человѣческаго разума, пустота безмыслія должна когда нибудь наполниться смысломъ.

И въ самомъ дѣлѣ, съ нѣкотораго времени, въ одномъ уголкѣ литературы нашей, начинается уже важное измѣненіе, хотя еще едва замѣтное по нѣкоторымъ особымъ оттѣнкамъ словесности, — измѣненіе, не столько выражающееся въ произведеніяхъ словесности, сколько обнаруживающееся въ состояніи самой образованности нашей вообще, и обѣщающее переобразовать характеръ нашей подражательной подчиненности въ своеобразное развитіе внутреннихъ началъ нашей собственной жизни. Читатели догадываются, конечно, что я говорю о томъ

Славяно-христіанскомъ направленіи, которое, съ одной стороны подвергается нѣкоторымъ, можетъ быть, преувеличеннымъ пристрастіямъ, а съ другой, преслѣдуется странными, отчаянными нападеніями, насмѣшками, клеветами; но во всякомъ случаѣ достойно вниманія, какъ такое событіе, которому, по всей вѣроятности, предназначено занять не послѣднее мѣсто въ судьбѣ нашего просвѣщенія.

Мы постараемся обозначить его со всевозможнымъ безпристрастіемъ, собирая въ одно цѣлое его отдѣльные признаки, тутъ и тамъ разбросанные, и еще болѣе замѣтные въ мыслящей публикѣ, чѣмъ въ книжной литературѣ.

—

ЖИЗНЬ СТЕФЕНСА.

Стефенсъ, одинъ изъ первоклассныхъ двигателей наукъ въ Германіи, особенно знаменитъ какъ литераторъ-философъ. Другъ Шеллинга, сначала его своеобразный послѣдователь, потомъ самобытный создатель собственнаго своего направленія, онъ не образовалъ, однако же, никакой особенной школы, не составилъ никакого систематическаго ученія; но на всѣ школы, на всѣ системы, на всѣ мнѣнія и партіи дѣйствовалъ сильно и возбудительно. Потому, слѣды его вліянія на антропологію, на геологію, ботанику, физику, зоологію и почти всѣ естественныя науки, но особенно на философію, были не столько примѣтные, сколько существенные. Но если воззрѣнія его всегда дѣйствовали живительно на Германское любомудріе, не смотря на разногласіе его стремленія съ господствовавшимъ до сихъ поръ направленіемъ раціонализма, то въ наше время, кажется, предназначено ему получить еще особенный смыслъ и значеніе отъ совпаденія его требованій съ настоящимъ требованіемъ философіи. Характеръ его мышленія заключается въ безпрерывномъ стремленіи отъ понятія отвлеченнаго къ понятію живому, и отъ живаго бытія къ разумному сознанію. Онъ постоянно искалъ той неосязаемой черты, гдѣ наука и вѣра сливаются въ одно живое разумѣніе, гдѣ жизнь и мысль одно, гдѣ самыя высшія, самыя сокровенныя требованія духа находятъ себѣ не отвлеченную формулу, но внятный сердцу отвѣтъ. Онъ былъ рожденъ для этого стремленія: въ немъ всѣ движенія разума, каждое колебаніе ума, каждое трепетаніе мысли, невольно переходили въ музыкальную вибрацію души; цыфры обращались въ звуки, отвлеченные формулы—въ живыя

воззрѣнія. Онъ испыталъ все, для удовлетворенія своей глубокой потребности—сознать живую истину: не только изучилъ, но пережилъ всѣ системы философскія, испробовалъ на себѣ различныя формы Западнаго вѣрованія, сдѣлавшись изъ Протестанта Католикомъ, и потомъ изъ Католиковъ перейдя опять въ Протестанта. Его жизнь, имъ самимъ написанная, подъ названіемъ: Was ich erlebte, и еще не доведенная до настоящей минуты, есть одна изъ самыхъ замѣчательныхъ книгъ современной литературы. Занимательность психологическаго романа соединяетъ она съ интересомъ дѣйствительности и съ значительностью философскаго воззрѣнія. Она наполнена самыхъ живыхъ разсказовъ вмѣстѣ съ самыми глубокими мыслями, представленными съ увлекательною и поэтическою ясностью. Внѣшнія и внутреннія событія его собственной жизни сливаются въ ней со всею исторіею его времени, разнообразно перемѣшиваясь съ живописными описаніями природы, съ частными анекдотами, съ остроумными характеристиками и глубокими замѣчаніями. Послѣ исповѣди Руссо, записокъ Ласъ-Казаса, мемуаровъ Байрона и Гёте, жизнь Стефенса останется какъ необходимое дополненіе характеристики нашего времени: окно на внутреннее развитіе философа.

Объемъ этого сочиненія дѣлаетъ полный переводъ его невозможнымъ для журнала. Мы предлагаемъ здѣсь отрывки, выпуская все, что относится къ наукамъ, къ описанію земель и городовъ, къ ученымъ личностямъ малоизвѣстнымъ, но сохраняя то, что касается до собственнаго развитія автора, вмѣстѣ съ его описаніемъ знаменитѣйшихъ людей и направленій Германіи, и передавая даже анекдоты и мѣлкія замѣчанія, тамъ, гдѣ намъ казалось, что они не лишены занимательности.

Въ заключеніе этого предисловія, просимъ мы позволенія приложить здѣсь отрывокъ изъ письма, полученнаго нами изъ Берлина отъ одного Русскаго путешественника, который описываетъ впечатлѣніе, производимое Стефенсовымъ преподаваніемъ, и его теперешнюю наружность:

Берлинъ. 1844 . . .

. . . . Слушаю лекціи Стефенса объ антропологіи: впечат-

лініе, которое онѣ оставляютъ, такъ сильно, что по неволѣ забываешь о своемъ правѣ судить учителя и указывать ему мѣсто въ ряду другихъ философовъ; его рѣчь имѣетъ что-то выходящее за границы школы, что-то живое, существенно важное, неразгаданное... неумѣстимое въ формулахъ, и потому дѣйствующее на умъ такъ же точно, какъ всякое увлекательное явленіе природы, или искусства. Потому не удивитесь, что Русскій, въ первый разъ услышавшій краснорѣчивую рѣчь, будетъ вамъ описывать не содержаніе лекцій Стефенса, а его самого. Представьте себѣ величественнаго старика, густые сѣдые локоны, правильныя строгія черты лица, живые большіе глаза, которые загараются иногда огнемъ неподдѣльнаго восторга... Подобныя наружности чаще встрѣчаются на древнихъ Греческихъ медаляхъ и камеяхъ, нежели въ новѣйшихъ обществахъ. Съ первыхъ словъ его лекція стала непохожа на лекцію,—больше на бесѣду подъ яснымъ небомъ Аттики. Право, какъ будто бы невзначай сошлась толпа Аѳинскихъ юношей вокругъ Греческаго философа, и онъ невзначай разговорился, а народъ и радъ, и боится, чтобъ старикъ не кончилъ.... а онъ, кажется, намѣренъ сказать только нѣсколько словъ, и того и гляди уйдетъ, оглядываешься, нѣтъ ли кого изъ его учениковъ, чтобы удержать его вопросомъ или возраженіемъ.... Стефенсъ не читаетъ курса, не ораторствуетъ, не преподаетъ, а просто бесѣдуетъ, и кажется, будто его не перерываютъ потому только, что неприлично, неестественно перервать такую одушевленную рѣчь. Мнѣ удалось слушать у насъ и въ чужихъ краяхъ нѣкоторыхъ профессоровъ, одаренныхъ высокою простотою изложенія, но не въ одномъ не помню такого совершеннаго отсутствія всего книжнаго, такого умѣнья заставить забыть душную, кабинетную ученость, такого дара переносить свою аудиторію въ безконечный просторъ вселенной. Смотря на Стефенса, убѣдишься, что краснорѣчіе не то, что даръ произносить изящныя рѣчи. Стефенсъ говоритъ на языкѣ чужомъ, ищетъ словъ, иногда даже дѣлаетъ грубыя граматическія ошибки; въ его произношеніи Нѣмецъ всегда слышитъ Норвежскій акцентъ,—и при всемъ томъ едва ли кто изъ природныхъ Нѣмцевъ въ Берлинѣ такъ очаровываетъ сво-

имъ словомъ. Чувствуешь, что не въ словѣ сила, не въ томъ, *что* говорится, а въ томъ *кто* говоритъ, въ симпатическомъ, неизъяснимомъ дѣйствіи его личнаго присутствія. Передъ вами стоитъ человѣкъ, котораго рѣчь дышетъ вдохновеніемъ времени незабвеннаго для Германскихъ университетовъ, восторгомъ той эпохи творчества, когда воскресала и пластическая красота языческой Греціи, и поэзія среднихъ вѣковъ, и доблести древнихъ Германцевъ; онъ самъ живетъ высокою жизнію, которою жили Гёте и Шиллеръ, Фихте и Шеллингъ, которая изъ университетовъ разошлась по цѣлой Германіи и освободила ее.—Такой человѣкъ будетъ краснорѣчивъ, не смотря на нестройность періодовъ и даже граматическія ошибки. Впрочемъ, надобно отдать честь и слушателямъ: сначала меня удивляло, какъ могутъ слушать и хвалить Стефенса даже Гегельянцы; и отъ чего они не возстаютъ, напримѣръ, на отсутствіе строгой системы, даже на безпорядокъ его преподаванія. Дѣло въ томъ, что нашему брату трудно понять, что такое ученое направленіе Нѣмецкихъ студентовъ? Каждый талантъ, даже самый односторонній, находитъ здѣсь свое мѣсто и своихъ цѣнителей: между самыми крайними противоположностями гораздо больше общаго, нежели мы думаемъ. Духъ партіи ослѣпляетъ немногихъ, и вообще обузданъ любовью къ общему дѣлу: студентъ прежде всего наслаждается наукою, а послѣ, и то съ Нѣмецкою осторожностію, составляетъ свое мнѣніе о профессорѣ; вообще здѣсь сильнѣе жажда знанія, нежели потребность имѣть собственное мнѣніе. Отъ того-то, можетъ быть, и хорошія качества профессора узнаются прежде, чѣмъ недостатки. . .

—

Мы проходимъ въ молчаніи первые томы Стефенсовой біографіи, гдѣ онъ разсказываетъ свое дѣтство и юность. Выписки наши начинаются съ третьяго тома, когда онъ, на 21 году, оставилъ родину и, лишенный почти всѣхъ средствъ жизни, путешествуетъ съ ученою цѣлію и съ надеждою на будущую славу.

. . . . . .

Образъ жизни, который вели въ Бергенѣ, уничтожилъ бы меня непремѣнно, еслибъ я совершенно отъ него не отдалился. Скажу

нѣсколько словъ объ немъ. Бергенъ славился тогда своимъ пьянствомъ. Меня позвалъ однажды къ себѣ одинъ богатый купецъ: у него нашелъ я много другихъ купцовъ, врачей, гражданскихъ чиновниковъ и пасторовъ. Хозяйка дома вышла къ намъ, когда мы садились за столъ; одѣтая по старинному, тихая, робкая, сѣла на большомъ мѣстѣ, ни съ кѣмъ не говорила ни слова, да и на нее никто не обращалъ вниманія. За дессертомъ она молча удалилась; мы остались за столомъ. При началѣ обѣда подали гостямъ, вмѣсто обыкновенной рюмки, по полубутылкѣ мадеры; потомъ поставили передъ каждымъ по двѣ бутылки бордо. Кромѣ того, подавали множество другихъ винъ, и большая часть гостей опорожняли все. Послѣ обѣда подали кофе и коньякъ. За тѣмъ все общество отправилось въ садъ играть въ кегли; тамъ на столѣ уже дымился пуншъ, и чаша нѣсколько разъ опоражнивалась и наполнялась. Вечеромъ возвратились въ комнаты и пили до полуночи. Я зналъ, что могъ выпить бутылки двѣ безъ малѣйшаго опьяненія, но тутъ воротился домой далеко не трезвый. Такое ужасное пьянство находилъ я во всѣхъ домахъ; скоро оно мнѣ опротивѣло, но послужило въ пользу. Я отъ отца наслѣдовалъ несчастную склонность къ питью, и только постояннымъ занятіемъ умственными предметами принуждалъ себя къ умѣренности. Тутъ же дѣйствительно испугался такого ужаснаго излишества. Оно отдалило меня отъ общества, равно какъ и совершенная ничтожность разговоровъ. Этой дикости нравовъ много способствовалъ образъ жизни женщинъ. Я видѣлъ немногихъ, но и тѣ изумили меня своей необразованностью.

Погода въ Бергенѣ почти всегда пасмурна и дождлива. Когда матросы, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ странствованія, возвращаются назадъ, то обыкновенно спрашиваютъ: идетъ ли еще дождь въ Бергенѣ? По этому женщины на улицахъ являются въ весьма странномъ видѣ. Онѣ накрываются большимъ, широкимъ платкомъ, завязываютъ его подъ бородою, такъ, что лица со всѣмъ почти не видно. Онѣ напомнили мнѣ Египетскихъ и Арабскихъ женщинъ, изображенныхъ Нибуромъ, съ тою только разницею, что здѣсь на Сѣверѣ темный цвѣтъ, въ который онѣ облекаются, напоминалъ о мрачномъ ихъ климатѣ. Женщи-

ны никогда не показываются въ общество и съ ними обходятся весьма грубо. Я былъ свидѣтелемъ сцены, которая меня очень удивила. Не знаю, какою судьбою забрела въ Бергенъ Итальянская труппа и дала тамъ въ залѣ Ратуши нѣсколько представленій. Можетъ статься, нѣкоторые изъ зрителей, побывавъ въ какой нибудь Итальянской пристани, выучили нѣсколько Итальянскихъ словъ, но, конечно, ни одинъ не понималъ ни содержанія піесы, ни словъ пѣсенъ, въ томъ числѣ я. Между тѣмъ живая игра актеровъ, драматическое представленіе, вовсе неизвѣстное многимъ, шутки буфа, произвели сильное впечатлѣніе на публику. У женщинъ на головахъ былъ престранный нарядъ: высокая флеровая наколка торчала вверхъ на прямой проволокѣ. Онѣ сидѣли, а мужчины стояли за ними. Высокой уборъ впереди сидящихъ дамъ мѣшалъ смотрѣть заднимъ; онѣ встали и заслонили собою мужчинъ, такъ что имъ уже ничего не было видно. Мужчины требовали повелительнымъ голосомъ, чтобъ дамы сѣли; но желаніе насладиться новымъ зрѣлищемъ было слишкомъ сильно; дамы продолжали стоять, повелѣнія не послушались. Тогда въ одно мгновеніе множество палокъ поднялось вверхъ и спустилось не совсѣмъ нѣжно на дамскія головы и плечи. Я видѣлъ, какъ головные уборы принимали совсѣмъ другую форму, которая показалась мнѣ ничуть не страннѣе прежней. Всѣ дамы сѣли и нагнулись низко, весь театръ казался вдругъ какимъ-то побоищемъ, кой-гдѣ слышался удержанный крикъ, — но любопытство не унялось. Сперва поднялись разстроенныя наколки, потомъ головы; потомъ тихо и робко сами женщины; грозный голосъ мужчинъ снова раздался и снова напрасно, и опять палки начали дѣйствовать. Это явленіе продолжалось три или четыре раза.

(Отказавшись отъ общества, Стефенсъ почти не имѣлъ средства учиться. Одна библіотека докт. Бетнера была ему открыта. Каждый свѣтлый день проводилъ онъ въ горахъ, погруженный въ изслѣдованія.)

Между книгами, которыя попадались мнѣ въ руки, находились многія даже жизнеописанія знаменитыхъ ученыхъ. Когда я читалъ, съ какимъ тщаніемъ обыкновенно родители и наставники будущаго ученаго вели его къ образованію, какъ все

окружающее поддерживало и ободряло каждый шагъ его, какъ нерѣдко участь зрѣлыхъ его лѣтъ напередъ уже приготовлялась разсудительнымъ попеченіемъ заботившихся о его дѣтствѣ;—когда потомъ я вспоминалъ, какъ самъ бывалъ свидѣтелемъ такихъ попечительныхъ совѣщаній объ участи младшихъ моихъ родственниковъ и друзей, тогда мнѣ становилось ясно и страшно, что я самъ всегда былъ предоставленъ самому себѣ. Никогда не былъ я предметомъ подобныхъ совѣщаній. Изъ уединенной моей комнатки, по собственной волѣ предпринималъ я все, самое вздорное, необдуманное, смѣлое и рѣшительное; а друзья узнавали объ этомъ только тогда, когда я уже переносилъ послѣдствіе моей глупости. Образъ матери моей являлся мнѣ тогда живо. Она готовила меня не для здѣшняго свѣта, который плѣнилъ меня всѣми своими чарами,—готовила для другаго, который, я это чувствовалъ, сдѣлался для меня совершенно чуждымъ.

Разскажу еще мое знакомство съ настоящимъ Норвежскимъ крестьяниномъ; читатель позволитъ мнѣ повторить это происшествіе, описанное уже мною въ одной повѣсти.

Въ фіордѣ Гардангерѣ съѣхались мы съ однимъ знатнымъ Датскимъ офицеромъ; мы путешествовали нѣсколько времени вмѣстѣ и ночевали всегда въ грязныхъ хижинахъ. Однажды утромъ, послѣ безпокойной ночи, увидѣли мы красивый домикъ. Намъ нужно было взобраться еще на нѣкоторыя горы; офицеръ увидѣлъ служанку, выходящую изъ боковой пристройки, растворилъ дверь, откуда она вышла, и спросилъ хозяйку. Хозяйка явилась; въ этихъ темныхъ сѣняхъ ее расмотрѣть было не возможно. Офицеръ заказалъ намъ обѣдъ и, вспоминая непріятности проведенныхъ дней, насмѣшливо прибавилъ къ исчисленію кушаній: «не мѣшало бы тоже подать немножко грязи».

Хозяйка обѣщала приготовить обѣдъ: мы пошли на горы и черезъ нѣсколько часовъ возвратились. Насъ повели въ чистую комнату, которой стѣны были изъ бревенъ; свѣтлыя окна освѣщали ее; по срединѣ стоялъ столъ, накрытый тонкою скатертью; на немъ Англійскій фарфоръ, стаканы, графины съ виномъ. Шестьнадцати или семнадцати-лѣтняя дѣвушка, чисто и красиво одѣтая въ обыкновенное крестьянское платье, была одна въ

горницѣ. Она стояла опустя глаза, робко молчаливо, и не смѣла подойти къ намъ. Скоро вышелъ хозяинъ въ шерстяной крестьянской курткѣ бѣлаго цвѣта. Длинная сѣдая борода покрывала открытую грудь; на головѣ была низкая шапка; онъ былъ высокъ ростомъ, широкоплечь, съ живыми, смѣлыми глазами. Видъ его внушалъ невольное почтеніе. Онъ подалъ намъ руку и привѣтствовалъ ласково. Потомъ пришла жена, также чисто и просто одѣтая; лицо ея разгорѣлось; видно было, какъ она заботилась на кухнѣ для своихъ гостей. Мнѣ случалось уже видать такія крестьянскія семьи, и по природѣ моей, тотчасъ стало мнѣ ловко и привольно съ этими людьми; но офицеръ былъ смѣшонъ, онъ сѣлъ подлѣ хозяйки, которая безъ всякой застѣнчивости зачала съ нами живой разговоръ. Принесли супъ для всѣхъ, а подлѣ офицера поставили накрытую тарелку. «Вы вѣрно хотите меня особливо чѣмъ нибудь полакомить, милая хозяйка?»— спросилъ онъ, взялъ тарелку, открылъ ее и, къ великому удивленію, увидѣлъ кусокъ грязи. «Баринъ можетъ взять этого кушанья сколько угодно,—сказала насмѣшливо хозяйка;—намъ оно не нужно».—Нельзя описать смущенія офицера: онъ сидѣлъ оскорбленный и разстроенный; послѣ обѣда хотѣлъ непремѣнно заплатить хозяину деньги.— При этомъ предложеніи крестьянинъ пришелъ въ бѣшенство. Норвежскій крестьянинъ гордится своимъ гостепріимствомъ, и нельзя больше обидѣть его, какъ отвергнуть его угощеніе. Къ тому же на Датчанъ смотритъ онъ всегда съ презрѣніемъ. Бранныя слова посыпались на офицера; онъ испугался. Шпага не помогла бы ему противъ сильнаго Норвежца. Жена смутилась также, какъ я, дочь плакала, опасность сдѣлала меня краснорѣчивымъ. Я уговаривалъ то крестьянина, то офицера, который наконецъ увидѣлъ, что долженъ уступить; ласковое, мирное слово скоро успокоило крестьянина. Мои рѣчи понравились женѣ его и дочери, и мы выпили еще бутылку очень хорошаго вина. Когда же простились съ хозяевами, то дорогой, офицеръ съ досадой бранилъ крестьянъ и называлъ ихъ грубыми и гордыми. Я же внутренно смѣялся.

Эта страна кажется мнѣ одной изъ самыхъ ужасныхъ, какія знаю. Направленіе первозданныхъ горъ извивается лаби-

ринтомъ; различные пласты падаютъ почти отвѣсно въ различныхъ направленіяхъ, и образуютъ ужасныя пропасти. Огромныя развалины покрываютъ голыя скалы; дико стремящіяся волны прячутся за развалины и, пѣнясь, выплываютъ вновь. Все вмѣстѣ представляетъ страшное смѣшеніе хаотическаго окаменѣнія и дикаго неустройства. Всякій слѣдъ гармоніи исчезъ въ этомъ хаосѣ, и сами жители, привыкшіе къ ужасамъ горнымъ, называютъ одно мѣсто середи этихъ утесовъ *долиною страха.*

Въ эти горы влекло меня безпокойное стремленіе къ ясному порядку. Все, что я находилъ, умножало только мое смущеніе, и расположеніе духа моего было, по несчастію, таково, что это неустройство имѣло для меня величайшую прелесть.

У меня есть дневникъ того времени, который свидѣтельствуетъ о моемъ внутреннемъ печальномъ разстройствѣ. Но двадцатилѣтній юноша, съ природною веселостью, не могъ долго оставаться въ такомъ мучительномъ состояніи. Изъ того же дневника заключаю, что всякій разъ, когда разстройство духа моего достигало высшей степени, тогда оно исчезало само собою, и врожденная веселая довѣренность снова оживлялась въ душѣ моей.

Непостижимо и вмѣстѣ страшно для меня, что въ это время я не чувствовалъ никакого желанія утѣшить себя воспоминаніемъ религіозныхъ дней моего дѣтства. Во мнѣ было сильное неуклонное чувство, которое всякому несчастію готово было стать поперегъ; иногда смѣнялось оно нѣжной сентиментальностью. Краснѣя пересматриваю этотъ дневникъ, и если бы не попадались мнѣ отрывки изъ лучшаго времени, если бы ясныя минуты не говорили въ немъ про что-то значительное, горько бы ошибся я въ своей юности.

Между тѣмъ, въ это самое время родился во мнѣ глубокій скептицизмъ. Пирронизмъ увлекалъ меня и начиналъ становиться моимъ убѣжденіемъ. «Я есмь»—сказалъ я себѣ однажды, когда увѣрился въ ничтожествѣ бытія. Прошедшее бытіе мое есть только измѣненіе настоящаго существованія; будущее больше чѣмъ сомнительно, и то, что *есмь*, т. е., настоящее,

этимъ словомъ выраженное, исчезаетъ, превращаясь въ прошедшее и въ сомнительность будущаго, въ ту самую минуту, когда оно произнесено. Знаю, что такого рода скептицизмъ сдѣлался теперь пошлымъ; но когда онъ не сообщенъ молодому человѣку извнѣ, а рождается изъ внутренности его собственнаго сердца и грозитъ потрясти до глубины все его существо, тогда имѣетъ страшную силу. Не въ одномъ дневникѣ моемъ остался часъ, въ который обхватило меня это сомнѣніе; онъ не изгладился изъ моей памяти, и даже въ позднѣйшія эпохи моей жизни грозилъ иногда возвратиться. Этотъ часъ былъ приготовленъ какимъ-то дикимъ созерцаніемъ природы, гдѣ все сущее и бывшее сливалось для меня въ одинъ непрерывный роскошный актъ творчества, который становился безотраднымъ, отвратительнымъ, отвергая, какъ недостойное, каждое изъ своихъ произведеній, и начиная снова тотъ же уничтожающій процессъ. Въ этомъ горькомъ, отчаянномъ сомнѣніи въ бытіи, заключалась безнадежность въ себѣ самомъ, которая не только вредна была наукѣ, но и нравственности. Нужно вспомнить, что прежде еще я не давалъ никакого простора умозрѣнію, подавлялъ его въ себѣ, что оно никогда не являлось мнѣ въ видѣ сомнѣнія, но только какъ свѣжее убѣжденіе въ живомъ бытіи. Скептицизмъ же, которому я предавался, не имѣлъ ничего положительнаго: онъ былъ чисто уничтожающая отрицательность, исключающая всякую производительность и всякую дѣятельность. Во всемъ дневникѣ моемъ не нахожу ни одного выраженія, которое бы вырывалось изъ цѣпей отвлеченнаго умозрѣнія; сомкнутый кругъ обнималъ всѣ нестройныя измѣняющіяся явленія, сковывая ихъ въ одно цѣлое, но безжизненное *единство*.

Какъ ни глубоко потрясена была вся моя жизнь, но бывали у меня и веселые часы, даже иногда радостные дни: это случалось, когда я живо былъ занятъ какимъ нибудь умственнымъ предметомъ. Но радость моя исчезала скоро, и я чувствовалъ сожалѣніе о самомъ себѣ, когда вспоминалъ, что эти свѣтлые часы, только опираясь на обманъ, проносятся надъ поглощающей бездной разрушеннаго бытія.

Между тѣмъ я долженъ былъ на что нибудь рѣшиться; путешествіе мое представлялось мнѣ неудавшимся; мнѣ казалось,

что я ничего не сдѣлалъ изъ предположеннаго мною, и возвратиться въ Копенгагенъ съ ничтожнымъ результатомъ моихъ розысканій было мнѣ несносно. Вдругъ, рѣшился я ѣхать въ Германію; Нѣмецкій языкъ былъ мнѣ знакомъ, но говорилъ я по-Нѣмецки дурно; однако это меня не удержало. «Все, чѣмъ заняты Нѣмцы, чего ищутъ ихъ великіе умы,—говорилъ я себѣ, все это составляетъ единственный предметъ твоихъ стремленій. Тамъ духовная борьба, въ которой ты долженъ принять участіе; ты здѣсь прозябаешь, а *живешь* давно тамъ; въ Копенгагенъ воротишься ты, когда удастся чѣмъ нибудь себя ознаменовать.»—Какъ скоро я рѣшился исполнить это намѣреніе, все смущающее меня въ настоящей моей жизни исчезло, и вся сила юности и темперамента снова во мнѣ проснулась. «Самому везти въ Копенгагенъ результатъ моего путешествія не нужно,—думалъ я; можно отсюда или, лучше еще, изъ Гамбурга послать отчетъ моихъ открытій и розысканій.»—Все это казалось мнѣ благоразумнымъ. Друзья мои въ Копенгагенѣ получатъ извѣстіе обо мнѣ, когда я буду на Нѣмецкой землѣ.

Разскажу теперь нѣчто дѣтское, но въ психическомъ отношеніи замѣчательное. Я живо представилъ себѣ, что отваживаюсь пуститься въ чужую землю, безъ всякихъ видовъ на будущее, безъ помощи и средствъ, что не знаю даже порядочно языка той земли, куда стремлюсь, что испытаю много тяжелыхъ непріятностей, нужду, болѣзнь; что ни одинъ добрый человѣкъ не приметъ участія въ чужестранцѣ; «могу ли я все это перенести?—спросилъ я самъ у себя; и нельзя ли теперь подвергнуть себя какому нибудь испытанію?»—Всего легче и удобнѣе показалось мнѣ испытать терпѣніе свое въ тѣлесномъ страданіи. Я сунулъ палецъ въ огонь и держалъ его на свѣчкѣ не только до тѣхъ поръ, пока онъ взволдырялъ, но и пока покрылся глубокою раной; это удачное по моему испытаніе меня утѣшило, хотя я перенесъ весьма нетерпѣливо мучительную, несносную боль, и въ теченіи многихъ дней и многихъ безсонныхъ ночей упрекалъ себя въ своемъ дурачествѣ. . .

(Отправившись изъ Норвегіи въ Гамбургъ, Стефенсъ выдержалъ ужасную бурю, кораблекрушеніе, и едва могъ спастись.)

Неожиданное, внезапное спасеніе отъ смерти возбудило во

мнѣ чудное чувство; восторгъ проникъ все мое существо, радость вырывалась изъ самой глубины души моей. Въ ту минуту, какъ штурманъ обнялъ меня и поздравилъ, что въ такой молодости удалось мнѣ пережить такое завидное испытаніе, я чувствовалъ истину его поздравленія, и прошедшая опасность показалась въ самомъ дѣлѣ завиднымъ событіемъ.

Когда претерпѣвшіе крушеніе сходятъ съ корабля, то всѣхъ животныхъ оставляютъ на кораблѣ. Этотъ обычай соблюдается потому, что пока есть еще живое существо на кораблѣ, то, при спасеніи имущества, даётся какое-то вознагражденіе погибавшимъ. Я взялъ съ собою изъ Бергена большую Ньюфаундландскую собаку, которую очень любилъ. Она такъ меня стерегла, что опасно было бы кому нибудь меня тронуть, и присутствіе ея, конечно, больше защитило меня отъ гнѣва капитана, нежели штурманъ. Собака эта осталась на кораблѣ, и я увѣренъ былъ, что навсегда ея лишился. Когда, перейдя на фрегатъ, мы нѣсколько успокоились, то услышали сильное плесканье. Это была собака. Мы втащили ее на палубу, и я очень ей обрадовался. Она много мнѣ стоила въ эти десять дней нашего блужданія по сѣверному морю, и счастіе еще, что экипажъ полюбилъ ее, и что она довольствовалась очень скудной пищей. Какимъ образомъ собака могла найти меня? Въ бурную ночь не могло же остаться слѣда въ морѣ; можетъ статься, собака увидѣла фрегатъ по утру и, подплывая къ многимъ фрегатамъ прежде, отыскала наконецъ мой. Какъ бы то ни было, въ тогдашнемъ моемъ положеніи, самое близкое изъясненіе меньше всего мнѣ приходило на умъ. Я видѣлъ въ этомъ ясное доказательство сильной ко мнѣ привязанности, и считалъ долгомъ отвѣчать такою же. Я зналъ между тѣмъ, что благотворительность моя дорого мнѣ обойдется, потому что у меня не оставалось уже ничего. Небольшая сумма денегъ, которую я взялъ съ собою, вышла частью на уплату впередъ за мое содержаніе капитану, частью на содержаніе моей собаки. Кредитивъ на имя купца Л..., въ Гамбургѣ, потонулъ вмѣстѣ съ другими моими вещами; даже и часы мои пропали; я не взялъ ихъ, когда выпрыгнулъ изъ койки, встревоженный ударомъ корабля, а послѣ объ нихъ забылъ.

Сертукъ мой изорвался и такъ испачкался въ то время, какъ я работалъ вмѣстѣ съ матросами, что никуда уже не годился. Капитанъ фрегата далъ мнѣ свой довольно поношенный сертукъ; я былъ тогда худъ и тонокъ, и этотъ сертукъ висѣлъ на мнѣ какъ мѣшокъ.

Утро было прекрасное, фрегатъ бросилъ якорь; буря утихла, но дулъ еще сильный восточный вѣтеръ, который намъ способствовалъ войти въ Эльбу, и всѣмъ другимъ кораблямъ препятствовалъ выдти изъ пристани.

И такъ желанная Германія предстала мнѣ достойнымъ образомъ. Солнце бросало яркій свѣтъ на величественную рѣку; многолюдный Датскій берегъ лежалъ вблизи; боты, называемые эверами, и другія мѣлкія суда разъѣзжали между большихъ кораблей, коихъ число все больше и больше становилось, по мѣрѣ нашего приближенія къ берегу. За фрегатомъ щелъ ботъ, на которомъ мы спаслись.

Буря такъ сильно свирѣпствовала въ прошедшій день и ночь, что наше кораблекрушеніе было извѣстно. Намъ кричали съ кораблей, мимо которыхъ мы проходили: «всѣ ли люди спасены?» и прочіе подобные вопросы. Зрѣлище это было для меня такъ ново, такъ величественно, что всякое безпокойство о будущемъ исчезло, и тѣмъ менѣе пугала меня угрожающая бѣдность, что моряки обходятся весьма дружелюбно съ претерпѣвшими крушеніе и готовы для нихъ на многія пожертвованія. У пристани фрегатъ остановился; онъ долженъ былъ выдержать карантинъ, потому что на островахъ Западной Индіи свирѣпствовала желтая горячка. Но спасенные получили позволеніе сойти на берегъ. Когда же я, въ поношенномъ, широкомъ, безобразномъ сертукѣ, взошелъ по крутой лѣстницѣ въ гостинницу и привѣтствовалъ такимъ образомъ страну, гдѣ хотѣлъ основать будущую судьбу свою,—то меня обхватила невыразимая тоска, которая еще усиливалась отъ того Нѣмецкаго нарѣчія, вовсе мнѣ непонятнаго, которое вездѣ вокругъ меня раздавалось.

Послѣ, въ Рендсбургѣ, слышалъ я, какъ одинъ Датскій Юнга, сошедши съ корабля, съ удивленіемъ смотрѣлъ на женщину, которая говорила по-Нѣмецки съ груднымъ младенцемъ. «Какъ

глупо,—сказалъ онъ,—говорить по-Нѣмецки съ такимъ ребенкомъ!» Онъ и съ бо́льшимъ трудомъ не выучился понимать этотъ языкъ, а тутъ требуютъ этой понятливости отъ маленькаго ребенка. Почти подобное удивленіе чувствовалъ и я. Когда сухимъ путемъ въѣзжаешь въ чужую землю, то привыкаешь къ ней нечувствительно; въ путешествіи моремъ нѣтъ этой постепенности. Штурманъ и капитанъ, хотя были Нѣмцы, но говорили со мною по-Датски; матросы всѣ были изъ Норвегіи. Переѣзжая на эверѣ, говорили, правда, по-Нѣмецки, и прежде случалось мнѣ изъясняться на этомъ языкѣ; но тутъ сила царствующаго общаго языка внезапно меня окружила и показала мнѣ всю безпомощность моего положенія.

Было уже поздно; но намъ хотѣлось изъ Бланкенеза доѣхать до Альтоны. Купецъ спасъ значительную сумму денегъ ассигнаціями и охотно выдалъ мнѣ половину тѣхъ денегъ, которыя я долженъ былъ получить по моему кредитиву. Мы наняли вмѣстѣ повозку и ночью пріѣхали въ Альтону.

На другой день я поспѣшилъ въ Гамбургъ и, не смотря на неприличную мою одежду, отыскалъ негоціанта Л... Я сказалъ ему сумму, въ которой былъ къ нему окредитованъ, и какъ потерялъ кредитивъ. Къ величайшему моему удивленію, онъ безъ всякаго противорѣчія выдалъ мнѣ обозначенную сумму. Вѣроятно, получилъ онъ уже письмо отъ купца, отправившаго меня, и зналъ объ моемъ кораблекрушеніи. Но на ту пору снисходительная его готовность показалась мнѣ великодушіемъ; я боялся, чтобъ онъ не счелъ меня за обманщика, и подходилъ къ его дому съ трепетомъ. Теперь, освободившись отъ нужды на нѣсколько мѣсяцевъ и принявъ такое доброе начало за хорошее предзнаменованіе, весело и безпечно смотрѣлъ я на будущее.

Въ Гамбургѣ нанялъ я скромную комнатку на чердакѣ. Это время было для Гамбурга блестящей эпохой. Пишегрю въ Бельгіи шелъ отъ одной побѣды къ другой; Голландія была ему открыта, и участь республики рѣшена. Многія богатыя Голландскія семейства переселились въ Гамбургъ, и я слышалъ, что въ это время считалось тамъ болѣе 30 тысячь иностранцевъ. Голландскія и Бельгійскія гавани были тогда невѣрны; вся тор-

говля перешла въ Гамбургъ. Роскошь главныхъ негоціантовъ доходила до высшей степени; огромныя торговыя сношенія призывали къ смѣлымъ предпріятіямъ, и въ эту минуту, блестящую и полную надежды, конечно положено основаніе той несчастной катастрофы, которая вскорѣ на долгое время уничтожила торговлю Гамбурга.

Я очутился посреди этого шумнаго движенія, безъ всякихъ средствъ, безъ достаточнаго знанія языка, съ такими мыслями и планами, которые здѣсь, и особливо въ окружающихъ меня, не только не нашли бы сочувствія, но, конечно, со всѣмъ были бы непонятны.

Въ гавани пестрѣли тѣсно сдвинутые корабли, на узкихъ улицахъ гремѣли богатые экипажи, тѣснились огромныя фуры, нагруженныя товарами, множество носильщиковъ катили на низенькихъ двуколесныхъ телѣжкахъ тяжелыя кипы товаровъ и едва оставляя пѣшеходу узкій проходъ около стѣнъ. Могуча торговая дѣятельность вездѣ тяготила меня; все, что я видѣлъ, слышалъ, было мнѣ чуждо и непонятно. Копенгагенъ также торговый городъ, какъ Гамбургъ; но тамъ жилъ я безъ всякаго соприкосновенія съ купечествомъ. Фантастическаго способа, которымъ въ Гельзингерѣ понималъ я торговыя отношенія, здѣсь, гдѣ только и говорили что о биржевыхъ спекуляціяхъ, о векселяхъ, вычетахъ и т. п., не могъ я ни къ чему примѣнить.

Общество мое ограничилось двумя негоціантами: купцомъ Л..., о которомъ упомянулъ я выше, и Датчаниномъ Мадзеномъ, который жилъ въ Альтонѣ.

. . . . . .

Обстоятельства мои были таковы, что объ ученьѣ нечего было и думать. Ужасно тяготила меня необходимость отдать отчетъ въ моемъ путешествіи обществу, которое послало меня въ Норвегію. Я лишился всего, и вмѣсто ученыхъ изслѣдованій, долженъ былъ увѣдомить о кораблекрушеніи. Я чувствовалъ, какъ мнѣ необходимо имѣть свидѣтеля, на котораго я могъ бы сослаться. По счастію, воротившись съ поѣздки на сѣверозападный берегъ, я пригласилъ двухъ врачей, которымъ былъ рекомендованъ учителемъ моимъ Валемъ, посмотрѣть на сокро-

вища, мною собранныя. Также просилъ стараго докт. Бютнера помочь мнѣ классифицировать и описать привезенныхъ мною животныхъ. Его занятія не позволяли ему оказать мнѣ эту услугу, но онъ видѣлъ, зналъ труды мои; на него рѣшился я сослаться.

Еще другое сомнѣніе мучило меня безмѣрно. Кораблекрушеніе, пребываніе въ Норвегіи и безумное рѣшеніе безъ всякой помощи отважиться на всѣ непріятности чужой стороны, казалось мнѣ самому такъ похоже на романъ, что врядъ ли друзья этому повѣрятъ. И дѣйствительно страхъ мой не былъ напрасенъ.

Когда пришло первое письмо мое съ извѣстіемъ о моемъ плаваніи и кораблекрушеніи, то Оле Іеронимъ Минстеръ и многіе друзья, прочитавъ его вмѣстѣ, долго хранили удивленное и смущенное молчаніе; потомъ, не щадящій никого О. І. М. воскликнулъ: «клянусь честью, онъ лжетъ!»

Между тѣмъ время проходило, а съ нимъ и деньги мои. О работѣ нельзя было и думать. Шумный, оживленный городъ, близь лежащая Альтона, обширныя предмѣстія, великолѣпные загородные дома, сады вдоль Эльбы, все это меня сильно занимало и увлекало въ жизнь наружно дѣятельную и широкую.

Когда я видѣлъ, какъ народъ торгующій спѣшилъ скорыми шагами по улицамъ, какъ на биржѣ густая толпа тѣснилась, и когда, вслушиваясь въ многоразличныя крестящіеся разговоры, я понималъ, что каждый изъ этихъ разговоровъ обнималъ тысячи различныхъ интересовъ, исполнялъ и разрушалъ тысячи живыхъ надеждъ, рѣшалъ судьбу безчисленныхъ семействъ, тогда я совершенно погружался въ великую всеобщность человѣческихъ отношеній, и собственное положеніе мое казалось мнѣ мѣлко и ничтожно. Между тѣмъ глубоко во внутренности оживало побужденіе къ самосохраненію, и ясно пробуждалось послѣ всякаго подобнаго самозабвенія.

. . . . . .

Наступила зима, снѣгъ покрылъ землю, погода была ясная, и я, уложивши все мое имущество въ маленькій чемоданъ, рѣшился оставить чердакъ свой и пуститься въ дальнее путешествіе.

Въ маленькихъ городкахъ и гостинницахъ, гдѣ я немногимъ довольствовался, мнѣ лучше было даже, чѣмъ въ Гамбургѣ; а въ это время я находился въ такомъ положеніи, что, противъ природы моей, считалъ и обдумывалъ каждый расходъ. Собака моя, какъ вѣрный сторожъ, была со мною. Я шелъ, соображаясь съ одною прихотью моей воли, избѣгая только дороги въ Рендсбургъ; тамъ жилъ отецъ мой, и мнѣ было бы неизъяснимо тяжело прибѣгнуть къ нему въ нищетѣ моей. Прошедши нѣсколько деревень и городовъ, пришелъ я въ крѣпость Глюкштадтъ. Не знаю, что мнѣ тутъ полюбилось,—думаю, радушное обхожденіе старыхъ хозяевъ. Въ маленькой гостинницѣ мы проводили цѣлый вечеръ въ разговорахъ. Я разсказывалъ имъ мое кораблекрушеніе, а старики, которые вели трудную жизнь, откровенно дѣлили со мною свое горе и заботу. Банкрутство лишило ихъ выработаннаго небольшаго капитала, и на морѣ погибъ ихъ единственный сынъ; они плакали, и я съ живымъ участіемъ слушалъ ихъ разговоры.

Тутъ случилось со мною происшествіе, сильно меня огорчившее. Подлѣ гостинницы шелъ крѣпостной валъ или, лучше сказать, большая плотина до Эльбы. Собакамъ запрещено было всходить на этотъ валъ, и я берегъ тщательно моего Ньюфаундландца. Однажды шелъ я задумавшись почти подлѣ самой плотины; вдругъ слышу надъ головою выстрѣлъ. Сердце у меня сжалось. Собака вышла со мною, но тутъ ея не было; она на зовъ мой не приходила; вдругъ вижу въ снѣгу слѣды, по которымъ я угадалъ, что она вползла на валъ... Въ сильномъ безпокойствѣ взбѣжалъ я на валъ и нашелъ бѣдное животное при смерти. Часовой, за маленькій подарокъ, обѣщалъ мнѣ не стрѣлять моей собаки; тутъ онъ самъ прибѣжалъ испуганный и увѣрялъ, что, увидѣвъ одну черную спину на снѣгу, не узналъ бѣдной твари и застрѣлилъ ее нехотя.

Надобно вспомнить мое положеніе, чтобы понять, чего мнѣ стоила эта потеря. Я такъ былъ огорченъ, что самъ часовой не могъ отказать мнѣ въ участіи. Я ушелъ изъ Глюкштадта, гдѣ провелъ почти четыре недѣли. Счетъ, поданный мнѣ въ гостинницѣ, былъ такъ малъ, что я понялъ, что хозяйка

написала его только для того, чтобы не оскорбить меня, не взыскавши совсѣмъ ничего.

. . . . . .

Я возвратился въ Гамбургъ одинъ, безъ вѣрнаго моего сопутника. Меня мучило неописанное чувство тяжелаго одиночества и внутренняго страха о будущемъ. Ежедневныя заботы мои о собакѣ, пожертвованія на ея содержаніе занимали меня и привязывали къ ней: я лишился единственнаго живаго существа, безусловно меня любившаго, и это казалось мнѣ мрачнымъ предзнаменованіемъ горькаго будущаго. Внутренняя и наружная опасность моего положенія вдругъ передо мною прояснилась. Цѣлые два мѣсяца шатался я безъ цѣли, предаваясь совершенно мечтамъ и не занимаясь рѣшительно никакимъ положительнымъ дѣломъ. Я читалъ, правда, все, что мнѣ подъ руку попадалось; но это было чтеніе легкое, способное болѣе производить мечты, нежели смирять ихъ. Продолжительная жизнь на улицахъ, въ окрестностяхъ города, въ гостинницахъ, между чужими, посторонними людьми, препятствовала мнѣ самому писать. Не помню, чтобы во все это время я написалъ что нибудь цѣльное, разсказъ, стихотвореніе или что ученое; а между тѣмъ внутри меня кипѣло, и я былъ постоянно проникнутъ не только моимъ наружнымъ положеніемъ, но сильнымъ волненіемъ духовнымъ, хотя это волненіе не облекалось въ видимую форму и бродило въ гигантскихъ мечтаніяхъ и безобразныхъ надеждахъ. Признаться, и мысли вязались во мнѣ въ запутанный узелъ: внутренняя и наружная жизнь такъ между собою переплелись, что я не зналъ, какъ ихъ разобрать. Находили на меня такіе часы и цѣлые дни, когда я думалъ, что забылъ все пріобрѣтенное прежними трудами и ученіемъ. Я выбиралъ тогда какой нибудь знакомый мнѣ предметъ, стараясь слѣдовать за нимъ во всѣхъ его отношеніяхъ; мучительная тоска умножалась, я страдалъ тѣлесно, дыханіе перерывалось, я чувствовалъ на себѣ тяжесть, которой не могъ сбросить; тутъ являлась мнѣ ясно моя духовная нищета и невозможность, что нибудь сообразить. Такимъ образомъ я узналъ на себѣ, какъ бѣдность и несчастныя обстоятельства могутъ унизить всякаго даровитаго юношу и даже сокрушить навсегда. Эта горькая

опытность оставила на всю мою жизнь черный слѣдъ. Послѣ, когда я сдѣлался преподователемъ въ университетѣ, случай приводилъ ко мнѣ молодыхъ людей въ подобныхъ моему тогдашнему положеніяхъ. Я видѣлъ, какъ близки они были къ безвозвратному паденію, и внутреннее, мучительное участіе возвращало мнѣ прежнюю тоску, и несчастіе ихъ казалось мнѣ моимъ собственнымъ, особенно потому, что я не въ силахъ былъ помочь имъ.

Я возвратился въ Гамбургъ; мнѣ необходимо было человѣческое участіе, и я поспѣшилъ къ купцу Л.... Мнѣ слишкомъ тяжело было разсказывать другимъ нужду моего положенія, и я уходилъ путешествовать, не сказавши никому ни слова. Когда, возвратясь, я вошелъ къ нимъ въ комнату, мужъ, жена, сестра, всѣ бросились ко мнѣ на встрѣчу. Сестра заливалась слезами. «Слава Богу, вы здѣсь!—кричали они. Гдѣ вы были?» —и всѣ осыпали меня вопросами. Черезъ нѣсколько дней послѣ моего удаленія изъ города, Л... пошелъ самъ провѣдать, отъ чего я не являюсь, и испугался, услышавъ, что я совсѣмъ оставилъ Гамбургъ. Они ждали отъ меня извѣстія и тужили крѣпко обо мнѣ. Я не говорилъ никому о моихъ заботахъ, но я неспособенъ былъ притворяться, и отъ истиннаго участія любившихъ меня друзей не могла скрыться ни печальная моя задумчивость, ни внутреннее горе. Они понимали мое положеніе, и радость ихъ, когда я воротился, сильно меня тронула.

Отъ меня требовали подробнаго отчета. Я сказалъ имъ, что сухая, свѣтлая, зимняя погода увлекла меня, противъ ожиданія, далѣе, нежели я предполагалъ; потомъ разсказалъ о добрыхъ хозяевахъ и о смерти собаки.

Черезъ нѣсколько дней Л... позвалъ меня къ себѣ въ кабинетъ и наединѣ признался, что давно проникъ уже всю нужду моего положенія, потому предложилъ мнѣ работать въ его конторѣ и учиться торговымъ дѣламъ. «Я замѣтилъ вашу склонность къ сестрѣ моей»,—продолжалъ онъ; одним словомъ, онъ предлагалъ мнѣ жениться на сестрѣ его, сдѣлаться сперва его прикащикомъ, а потомъ товарищемъ.

Нельзя вообразить моего замѣшательства. Я не въ силахъ былъ отвѣчать. Сказать что нибудь, что показалось бы непрі-

ятно семейству, такъ меня обласкавшему, казалось мнѣ неблагодарно и даже для меня невозможно. Въ отношеніяхъ моихъ къ сестрѣ Л.... не было ничего предосудительнаго, ничего такого, въ чемъ бы мнѣ можно было себя упрекнуть. Она была старѣе меня и лицомъ пріятна, хотя не хороша. Образованіе ея не допускало насъ ни до какихъ значительныхъ разговоровъ. Понятно, что молодой человѣкъ въ подобныхъ мнѣ стѣсненныхъ обстоятельствахъ, съ благодарною преданностью ввѣрялся доброму сердцу дѣвушки, показывающей ему участіе; но мнѣ и въ голову не приходило дать нашимъ отношеніямъ какое нибудь значеніе, и мысль о женидьбѣ пугала меня. Я увѣренъ, что склонность дѣвушки не сильнѣе была моей. Между тѣмъ предложеніе брата было весьма натурально. Онъ былъ человѣкъ простой, безъ всякихъ фантастическихъ бредней, и если въ кругу больше образованномъ, поэтическое мое влеченіе не внушило бы никакихъ предположеній, то въ этой простой семьѣ оно могло казаться знакомъ серьёзнаго исканія. Можетъ быть, думалъ онъ также, что молодой человѣкъ съ моими познаніями могъ дать торговлѣ ихъ гораздо большій объемъ, и потому предложеніе это было столько же слѣдствіемъ разсчета, сколько благосклонности.

Часто случалось мнѣ испытать, что въ затруднительныхъ обстоятельствахъ, когда бываешь принужденъ рѣшиться на что нибудь немедленно, безъ всякой возможности отложить или обдумать, то внутренній инстинктъ руководствуетъ лучше всѣхъ размышленій. Я понялъ, что оба предложенія,—жениться и учиться торговлѣ, составляютъ одно, и на этомъ основалъ отвѣты свои. Я сказалъ другу моему Л...., что стѣсненное мое положеніе временно и продолжиться не можетъ, что семейство мое, или сношенія съ отечествомъ, скоро измѣнятъ его къ лучшему; и—странно! пока старался я представить свои обстоятельства въ хорошемъ видѣ, они самому мнѣ явились такими, и печаль моя показалась преувеличенной.

Легко мнѣ было объяснить ему мою неспособность къ торговымъ дѣламъ, и какъ разсудилъ я оставить поприще, на которомъ уже испыталъ удачу. Очень осторожно выразился я на счетъ отношеній моихъ къ сестрѣ его: я сказалъ, что союзъ

съ его семействомъ былъ бы мнѣ очень пріятенъ, хотя не смѣю надѣяться, чтобы сестра его могла рѣшиться выдти за юношу, котораго будущее такъ еще невѣрно, которому много хлопотъ и перемѣнъ, прежде нежели онъ позволитъ себѣ думать о женидьбѣ, и который во всякомъ случаѣ долженъ будетъ жить не близко отъ Гамбурга.

Отвѣтъ мой понравился. Л... доволенъ былъ разсудительностью, съ какою я смотрѣлъ на это дѣло. Онъ просилъ меня пойти домой, не видавшись съ его семействомъ. Я исполнилъ съ радостью его просьбу, потому что не могъ бы безъ замѣшательства говорить съ сестрою его.

На другой день Л... пришелъ ко мнѣ и повелъ меня къ себѣ обѣдать. О томъ, что происходило между нами вчера, не было и помину, и едва можно было замѣтить нѣкоторую перемѣну въ моемъ обращеніи съ сестрою его.

Эту первую ночь послѣ моего возвращенія провелъ я въ гостинницѣ; теперь тесть Л... предложилъ мнѣ у себя въ домѣ комнату также на чердакѣ. Домъ этотъ былъ отданъ въ наймы подъ трактиръ, и моя комната обошлась мнѣ очень дешево. Тутъ жилъ я три или четыре недѣли. Въ это же время получилъ я извѣстіе, что нѣкоторыя вещи мои спаслись отъ кораблекрушенія: все спасенное заключалось въ зоологической части Линнея, изданной Гмелиномъ.

Письма изъ Копенгагена не приходили, и положеніе мое становилось часъ отъ часу затруднительнѣе. Денегъ у меня совсѣмъ почти не было; по мѣрѣ увеличенія нужды, переставалъ я ходить въ Альтону, къ негоціанту Мадзену и къ пріятелю моему Л... Цѣлую недѣлю жилъ я одними яблоками и грушами. Къ тому же вдругъ я занемогъ; у меня сдѣлалась воспалительная боль горла съ опухолью;—послѣ болѣзнь эта возвращалась нѣсколько разъ. Еще прежде замѣтилъ я, что общество, собирающееся въ томъ домѣ, гдѣ я жилъ, далеко не было пристойное: по большей части матросы съ своими пріятельницами, и между ними часто происходили шумъ и ссоры. Тутъ, когда я возвратился домой и безъ сильной боли не могъ ни говорить, ни глотать, нашелъ я, что зала освѣщена, и въ ней

раздавалась танцовальная музыка. Съ большимъ трудомъ могъ я выпросить у хозяина чашку чаю и булку, отнесъ въ свою комнату и почти безъ памяти упалъ на постель. Я безпрестанно засыпалъ и просыпался въ сильномъ горячечномъ жару; шумная музыка гремѣла, нестройный крикъ доходилъ до чердака моего, и мною овладѣло какое-то отчаяніе. Наконецъ, въ полночь музыка умолкла, но крикъ, поминутно умножающійся, убѣдилъ меня, что между гостями происходитъ жестокая ссора. Вдругъ слышу, кто-то бѣжитъ по лѣстницѣ. За тѣмъ многіе шаги послышались, дверь моя насильственно растворилась, вбѣжалъ полупьяный встревоженный матросъ; другіе, преслѣдовавшіе его, бѣжали за нимъ, и въ маленькой, узкой моей комнатѣ, у самой постели началась драка, самая неистовая.

Между тѣмъ хозяинъ и хозяйка прибѣжали за гостями своими; увидѣли, указали на больнаго; толпа опомнилась, всѣ ушли изъ комнаты моей, и оставили меня одного въ потемкахъ. Я непремѣнно бы отъ этой болѣзни умеръ, если бы на другое же утро не пріѣхали обо мнѣ провѣдать оба мои пріятели. Они испугались, услышавъ, въ какомъ положеніи нашелъ меня ихъ посланный. Тотчасъ прислали помощь: врача, лѣкарства, крѣпительную пищу, какую только могъ я употреблять. Болѣзнь продолжилась свое урочное время: девять дней, и потомъ миновалась.

Я сталъ просить отца, чтобы онъ далъ мнѣ въ своемъ домѣ убѣжище до тѣхъ поръ, пока друзья мои въ Копенгагенѣ доставятъ мнѣ столько денегъ, сколько нужно для приличнаго поселенія въ Килѣ.

Я зналъ отца моего. Вмѣсто упрековъ, которыхъ заслуживалъ, я получилъ приглашеніе. «Я радъ дѣлить съ тобою послѣдній кусокъ хлѣба,—писалъ онъ ко мнѣ; спѣши сюда, жду тебя съ нетерпѣньемъ.»

Я простился съ Гамбургомъ и поскакалъ къ отцу въ Рендсбургъ.

Рендсбургъ.

Отецъ жилъ въ высшей степени бѣдно. Онъ сдѣлалъ съ своими заимодавцами сдѣлку и предоставилъ имъ большую

часть своихъ доходовъ. Легко понять сокрушеніе, съ какимъ вступилъ я къ нему въ домъ. Я не стану распространяться объ этой эпохѣ тяжелаго мнѣ наказанія; она слишкомъ долго продолжалась. До сихъ поръ не могу понять, почему друзьямъ моимъ въ Копенгагенѣ не удалось тогда доставить мнѣ средства переѣхать въ Киль. Отецъ мой не терпѣлъ нужды, мое присутствіе ничѣмъ не умножало его бѣдности; но онъ не привыкъ къ лишеніямъ такого рода, и мое положеніе особенно его мучило.

Въ Рендсбургѣ на меня смотрѣли какъ на промотавшагося, неудавшагося студента, который вмѣсто того, чтобы быть отцу подпорой, не стыдился быть ему въ тягость.

Въ такихъ случаяхъ никто въ границахъ не остается. «Его считали геніемъ,—говорили иные,—и чтоже изъ него вышло? Онъ весь промотался,—говорили другіе,—сталъ полуумнымъ, и когда отца доведетъ до нищенства, пойдетъ умирать въ госпиталь.»

Въ Копенгагенѣ шелъ слухъ, будто я завербованъ въ Пруссіи въ солдаты. Ну, я и служилъ солдатомъ въ Пруссіи и не стыжусь этого нимало. Между тѣмъ я хотя смущался бѣдностью отца моего, жилъ тихо, спокойно и въ величайшемъ уединеніи. Меньшой братъ мой сердечно ко мнѣ привязался, и я удивился глубоко возбужденной духовной жизни, въ немъ волнующейся.

. . . . . .

Какъ тѣсно соединили насъ обстоятельства, можетъ понять каждый. Намъ обоимъ это было полезно. Мы научились въ это время совершенно отвлекаться отъ внѣшнихъ отношеній, не ожидали ни награды, ни похвалы, не рѣшали никакой чужой задачи; никакія пустыя надежды намъ не мѣшали. Можетъ быть, въ этомъ не совсѣмъ добровольномъ отреченіи было немного и упрямства, но оно доставляло намъ наслажденія, непонятныя другимъ; и никогда не былъ я такъ прилежно трудолюбивъ.

За тою разсѣянною пустотою, которая владѣла мною въ Гамбургѣ, послѣдовала духовная энергія, доселѣ мной неиспытанная. Книгъ у меня почти не было, но въ этомъ случаѣ по-

могала мнѣ моя необыкновенная память. У меня есть работы того времени, которымъ я не могу не дивиться, когда вспоминаю недостатокъ всѣхъ нужныхъ для нихъ пособій.

. . . . . .

Одни письма изъ Копенгагена смущали меня, и не могло быть иначе.

Мнѣ предстояла послѣдняя земная потеря, которую могъ испытать я. Лѣтомъ 1795 года сдѣлался пожаръ въ морскомъ корпусѣ (Паас-Гольменъ). Вѣтеръ былъ очень сильный, и пламя съ быстротою обняло третью часть города; маленькое мое богатство, съ такимъ трудомъ накопленное, библіотека и натуральное собраніе, все сдѣлалось жертвою пламени. Я лишился всего, ибо послѣдняя надежда моя основывалась на этомъ имѣніи. —

Горе, причиненное мнѣ этой потерей, продолжалось недолго. Я превозмогъ его и занялся снова ученьемъ. Оставленный на собственныя силы, принужденъ я былъ спроситься съ своими свѣдѣніями. Необходимость духовной связи между предметами пробуждалась сильнѣе, и требовала тѣмъ неотступнѣе удовлетворенія, чѣмъ болѣе испытывающій умъ былъ себѣ самому предоставленъ. Многіе планы тутъ родились, которые послѣ, созрѣвши, доставили мнѣ извѣстность. Идея живаго единства бытія еще дремала въ безднѣ несознанія, но выростала изъ крѣпкой почвы, увеличивалась инстинктивно, и даръ соображенія являлся съ такой творческой силой, которая удивляла самого меня. Я ощущалъ неописанную радость; въ живыхъ соображеніяхъ лежитъ животворная сила, а въ этой силѣ внутренняя несомнѣнность и истина бытія, которая становится часъ отъ часу болѣе чуждою нашему разлагающему и разсуждающему времени.

Насмѣшки, презрѣніе и негодованіе встрѣчали всюду наружно униженнаго юношу, а онъ между тѣмъ былъ счастливъ, полный душевною радостью; я дѣлилъ это счастіе съ горячо любимымъ братомъ. Этотъ братъ понималъ меня совершенно, и былъ моимъ первымъ ученикомъ.

Такъ прошелъ цѣлый годъ; наконецъ, получилъ я самое убѣдительное рекомендательное письмо отъ Валя къ профессору

Фабриціусу и могъ, съ пятью талерами въ карманѣ, оставить Рендсбургъ, чтобы поселиться въ Килѣ.

. . . . . .

Валь прислалъ мнѣ въ Гамбургъ рекомендательное письмо къ знаменитому директору коммерческаго института, профессору Бушу. Въ этомъ письмѣ Валь коснулся моихъ стѣсненныхъ обстоятельствъ и просилъ Буша доставить мнѣ какое нибудь занятіе. Старикъ профессоръ прочелъ письмо, и долго, внимательно меня разсматривалъ. «Какъ можетъ это письмо придти сюда такъ скоро, изъ Копенгагена?»—спросилъ онъ, не спуская съ меня глазъ. Вѣроятно, Валь ошибся числомъ, но я не зналъ этого, и благодаря моему положенію, чрезвычайно былъ раздражителенъ. Подозрѣніе, выраженное этимъ вопросомъ, такъ меня разсердило, что, не отвѣчая ни слова, я повернулся къ профессору спиной, ушелъ и никогда уже съ нимъ не видался.

. . . . . .

Когда я пришелъ къ Фабриціусу, чтобы условиться объ экзаменѣ, то мнѣ представилось явленіе, котораго во всю жизнь не забуду Въ углу комнаты, на скамейкѣ, сидѣла женщина, весьма небрежно одѣтая; на головѣ у ней не было ничего, и растрепанные волоса висѣли по плечамъ и по спинѣ; физіономія ея была значительная, лицо блѣдное; она читала журналъ съ такимъ вниманіемъ, что не примѣтила меня и не подняла глазъ даже и тогда, когда я говорилъ съ профессоромъ. Около ея кучами лежали журналы и составляли ей какъ-бы загородку. Случилось наканунѣ, что одна дама поѣхала верхомъ за городъ; лошадь сбросила ее съ себя, и бѣдная ушиблась. Я сталъ говорить о неосторожности этой дамы. Вдругъ журналы разлетѣлись во всѣ стороны, сидѣвшая за ними вскочила гнѣвно и стала передо мною. «Всегда виноваты женщины!—закричала она. Случись несчастіе съ мужчиной,—объ немъ жалѣютъ, а съ женщиной—такъ ее же бранятъ!»—Рѣчь ея становилась все громче, живѣе, запальчивѣе, но выраженія были стройны, даже благородны, и предметъ рѣчи былъ притѣсненіе, которое женщины терпятъ отъ мужчинъ. Недавно этотъ предметъ былъ общею темою разговоровъ, и даже теперь еще не

совсѣмъ вышелъ изъ моды; но тогда слышалъ я объ этомъ въ первый разъ и самымъ неожиданнымъ образомъ; признаюсь, я испугался и не зналъ, что мнѣ дѣлать. Фабриціусъ замѣтилъ мое смущеніе, всталъ, медленно подошелъ ко мнѣ и сказалъ тихо: «Не безпокойтесь, это ничего!» потомъ ласково началъ уговаривать эту даму. Она замолчала; тогда представилъ онъ меня ей; это была жена его. Я не зналъ, что онъ женатъ, и совсѣмъ объ этомъ не думалъ. Теперь ихъ обоихъ нѣтъ на свѣтѣ; а тогда профессорша извѣстна была во всемъ Гамбургѣ своими странностями, и я могъ разсказывать нашу встрѣчу, не возбуждая ни малѣйшаго удивленія. Она была очень образована и читала много на многихъ языкахъ. Во всѣхъ путешествіяхъ сопровождала она своего мужа. Фабриціусъ предоставилъ ей заботы о дѣтяхъ и домашнемъ хозяйствѣ, слѣдовательно, оба были не въ очень хорошихъ рукахъ. И мужъ и жена были замѣчательны своимъ разсѣяніемъ; вслѣдствіе его, Фабриціусъ былъ всегда одѣтъ весьма небрежно. Когда они собирались куда въ путь, то клали безъ разбора одежду мужа и жены въ одинъ чемоданъ, потомъ профессорша придавливала все ногою и запирала чемоданъ. Однажды передъ отъѣздомъ собралось у нихъ много гостей, и сидѣли съ ними за полночь. Дорожный экипажъ подъѣхалъ къ крыльцу, наемные люди уложили чемоданы и сами удалились. Профессоръ, проводя гостей, заперъ домъ, сѣлъ съ женою въ карету и уѣхалъ.

Черезъ годъ они возвратились изъ Парижа, нашли накрытый столъ, тарелки, стаканы, заплѣсненые остатки кушанья, въ томъ самомъ порядкѣ, въ какомъ они все оставили.

Когда Лафатеръ былъ въ Голштиніи, жена Фабриціуса желала съ нимъ познакомиться. Лафатеръ жилъ въ тѣсной пріязни съ Голштинской христіанской аристократіей. Фабриціусъ долгое время осаждалъ его письмами. Наконецъ, проѣзжая черезъ Киль, захотѣлъ онъ исполнить ея желаніе и посѣтить ее. Это было поутру, лошади его были уже готовы, но онъ желалъ доставить удовольствіе своей почитательницѣ. Въ домѣ ея царствовалъ, разумѣется, величайшій безпорядокъ. Когда Лафатеръ велѣлъ доложить о себѣ и объяснилъ, что не мо-

жетъ откладывать своего посѣщенія, тогда его взвели на лѣстницу и проводили до двери ея спальни.

Торопливый по характеру, Лафатеръ сперва постучался, потомъ тотчасъ отворилъ дверь. Профессорша вставала съ постели, и была въ такомъ положеніи, въ какомъ дамы неохотно позволяютъ мужчинамъ заставать себя. Онъ испугался, а профессорша, смутившись при видѣ незнакомаго человѣка, начала его бранить и приказывала немедленно идти вонъ

Лафатеръ привыкъ являться въ кругъ почитателей своихъ съ необыкновенною важностью; его принимали всегда благоговѣйно, почтительно. Смущенный такимъ пріемомъ, онъ сбѣжалъ съ лѣстницы и уѣхалъ изъ Киля. Профессорша узнала послѣ, какого замѣчательнаго, всѣми уважаемаго гостя разбранила она и выгнала такъ нелюбезно.

Когда Лафаетъ былъ заключенъ въ Ольмюцѣ, г-жа Фабриціусъ просила Прусскаго короля за плѣннаго генерала. Король, уважая славу профессора Фабриціуса, отвѣчалъ весьма учтивымъ отказомъ. Она гордилась этимъ королевскимъ письмомъ и показывала его всякому; я самъ читалъ его.

. . . . . .

Насталъ день моего испытанія, и мнѣ задали написать въ домѣ профессора, безъ всякихъ пособій, тему о теоріи зарожденія.

Философскій факультетъ единогласно дозволилъ мнѣ преподавать естественную исторію, и меня сдѣлали приватъ-доцентомъ прежде, нежели я исполнилъ всѣ формальности; я однако же обѣщался въ послѣдствіи все поправить.

Всякій молодой человѣкъ, предоставленный самому себѣ и возбужденный внутреннимъ или наружнымъ предметомъ, склоненъ къ тому, чтобы забыться нравственно, и если не поддержитъ его благородство собственной натуры, воспоминаніе юности, никогда не теряющее своей силы,—то можетъ легко упасть весьма низко. Однако есть печальный способъ, принуждающій обратить вниманіе на свою нравственность: это проступки нравственные. Всякій случай, возбуждающій раскаяніе, заставляетъ въ то время строго наблюдать за мыслями своими и поступками. Это разсужденіе, возобновляющее въ моей

памяти тогдашнее мое духовное колебаніе, возобновило также память о другѣ, котораго пріязнь была мнѣ тогда спасительна въ нравственномъ отношеніи, хотя способъ, присовѣтованный имъ, могъ быть мнѣ опасенъ въ другомъ смыслѣ. Этотъ другъ былъ Б..., сынъ извѣстнаго Датскаго проповѣдника; онъ провелъ нѣсколько дней въ Килѣ, проѣзжая въ Германію и Францію, и потомъ довольно долгое время на возвратномъ пути. Онъ обратилъ мое вниманіе на великую пользу, которую доставляетъ намъ постоянный надзоръ надъ нашею нравственностью. «Мы обязаны,—говорилъ онъ, — каждый вечеръ подвергать строгому контролю всѣ мысли и дѣйствія протекшаго дня, и если хотимъ знать, идемъ ли нравственно впередъ или назадъ, то должны записывать каждый вечеръ нелицепріятный судъ нашъ надъ собою.»

Легко видѣть явную пользу такого наблюденія. Нравственныя размышленія, вызванныя этимъ способомъ, мучительны, и мы стараемся всячески удовлетворить имъ. Мнѣ было совсѣмъ не по нраву вести такой нравственный журналъ, но я счелъ такое наказаніе спасительнымъ, и нѣсколько мѣсяцевъ сряду подвергалъ себя ему. Это время было для меня очень тяжело. Уже поутру мучила меня мысль о нравственной пыткѣ, которую долженъ терпѣть ввечеру. Смущеніе это не зависѣло отъ уменьшенія или умноженія проступковъ, въ которыхъ воображалъ я себя виновнымъ; сама эта разработка души была мнѣ противна; даже если случалось, что ввечеру я находилъ себя достойнымъ похвалы, то это было для меня всего отвратительнѣе. Я жилъ въ неестественно-раздражительномъ нравственномъ состояніи; безпрестанное обдумываніе сдѣлало меня нерѣшительнымъ и робкимъ при самомъ незначущемъ дѣйствіи, и то, что должно было быть слѣдствіемъ хладнокровнаго сужденія, невольно стало фантастическимъ снарядомъ. Совѣсть моя казалась мнѣ иногда слабымъ ребенкомъ, иногда куклой въ стеклянномъ шкафѣ;—то она мнѣ улыбалась, то смотрѣла на меня сурово и грозно. Такія мечты преслѣдовали меня не только во снѣ, но и днемъ.

Наконецъ услышалъ я объ одной книгѣ: Дневникъ наблюдателя за самимъ собою. Такая книга была тѣмъ важнѣе въ

мнимъ обстоятельствахъ, что приписывали ее Лафатеру, который нѣсколько лѣтъ прежде, въ Копенгагенѣ, сильное на меня произвелъ впечатлѣніе. Послѣ неудалось мнѣ найти этой книги. Я прочелъ въ ней причины, побудившія автора наблюдать за своими поступками и каждый вечеръ критиковать ихъ. Онѣ были тѣ же самыя, какія мнѣ представлялъ другъ мой, и какія я изобрѣлъ самъ. Потомъ увидѣлъ я, какъ наблюдатель пересмотрѣлъ всѣ недостатки свои для того, чтобы ихъ исправить. Точно то же сдѣлалъ и я. За тѣмъ послѣдовали прекрасныя намѣренія, во всемъ сходныя съ моими.

Книга не возбуждала во мнѣ никакого участія, но я продолжалъ читать по какому-то досадному чувству долга. Я видѣлъ, какъ авторъ, подобно мнѣ, то нравственно возвышался, то опять упадалъ; какъ онъ спѣшилъ хвататься за малѣйшій признакъ исправленія. Сегодня удалось ему подавить въ себѣ порывъ гнѣва; завтра открыть въ душѣ своей слѣды благосклонности къ непріятелю; потомъ отказаться отъ видимой выгоды для того, чтобы остаться вѣрнымъ своему убѣжденію, и такъ далѣе. Всякое маленькое пожертвованіе въ пользу нищаго записывалось тщательно и ежедневно.

Это произведеніе чужаго человѣка, подобно мнѣ роющагося въ глубинѣ души своей, было чрезвычайно для меня полезно; оно показало мнѣ ясно кривую сторону этой нравственности. Невозможно продолжать такого присмотра за собою, думалъ я, не увѣрившись, что онъ доставляетъ постоянное нравственное исправленіе. По счастію, я прочелъ въ то же время съ великимъ вниманіемъ Кантову *Религію въ границахъ простаго разума*. Въ этой книгѣ плѣняла меня чистая прямота мнѣній, болѣе нежели религіозное направленіе, и мнѣ стало ясно, что не смотря на тщательное наблюденіе за законною нравственностью нашихъ дѣйствій, мы никогда не получимъ вѣрнаго убѣжденія въ дѣйствительности нравственнаго нашего расположенія; что разсматривая себя такимъ образомъ, мы легко можемъ себя обманывать и уничтожить истинную, живую нравственность въ самомъ ея корнѣ; наконецъ, съ трепетомъ вспомнилъ я, что это тайное совѣщаніе души съ самой собою лежало напечатано предо мною и передъ цѣлымъ свѣтомъ. Я взглянулъ на

предисловіе; тамъ было сказано, что рукопись попалась нечаянно въ чужія руки и напечатана безъ воли и вѣдома сочинителя.

Плохое это извиненіе возмутило меня; я бросилъ книгу и разорвалъ свой журналъ. Мнѣ показалось, будто я освободился изъ темничнаго плѣна; не смѣю, однако, увѣрить, чтобы радость моя была чисто нравственная. Мученіе мое кончилось; но проведенные такимъ образомъ два мѣсяца послужили мнѣ на пользу. Я надолго сдѣлался внимательнымъ къ себѣ и положилъ начало внутренней основательности, которая хотя не всегда предохраняла меня отъ паденія, но послѣ каждаго возбуждала глубокое раскаяніе. Истинный источникъ живой нравственности оставался для меня скрытымъ, хотя слабое воспоминаніе дѣтскихъ лѣтъ моихъ смутно говорило мнѣ, что онъ былъ нѣкогда мнѣ ближе, и что я имъ радовался и жилъ.

(Тутъ слѣдуетъ описаніе нѣкоторыхъ пріятелей и впечатлѣнія, какое на нихъ произвело первое Стефенсово напечатанное сочиненіе: *О минералогіи и ея изученіи.* 1797.)

8 Апрѣля 1797 г. получилъ я степень доктора. Профессоръ Гейнце, деканъ философскаго факультета, который всегда хорошо былъ ко мнѣ расположенъ, далъ по этому случаю, отъ имени всего факультета, блестящій праздникъ. Пришла весна, и мнѣ казалось, что, получивъ мѣсто профессора и написавши сочиненіе на чужомъ языкѣ, я могъ безъ стыда явиться передъ моими Копенгагенскими друзьями. Я воображалъ, что вполнѣ исполнилъ данное себѣ обѣщаніе, не прежде возвратиться въ Данію, какъ ознаменовавъ себя чѣмъ нибудь отличнымъ.

(Пребываніе въ Копенгагенѣ было самымъ пріятнымъ торжествомъ; а послѣдніе три дня проведены въ такомъ безпрестанномъ разсѣяніи, что всѣ ночи прошли безъ сна.)

Я заснулъ въ Копенгагенѣ и проснулся въ Килѣ. Въ первомъ городѣ воскресли для меня посреди друзей живыя надежды прошедшаго; въ другомъ являлось обремененное невѣденіемъ будущаго настоящее, съ новыми, важными обязанностями, съ новыми, неизвѣстными доселѣ сомнѣніями; все, чѣмъ я безсознательно обладалъ духовно, казалось теперь неразрѣшеннымъ и безотвѣтнымъ.

Теперь время изобразить ту эпоху моей жизни, когда сила умозрѣнія овладѣла мною, и съ тѣхъ поръ уже никогда болѣе меня не покидала. Такая исповѣдь кажется мнѣ полезною для самой науки, даже и тогда, когда на ней лежитъ печать личной особенности. Каждый философъ ищетъ очистить свое наукообразное развитіе отъ примѣси своихъ личныхъ особенностей; онъ въ этомъ правъ, онъ даже обязанъ такъ дѣйствовать; отъ этого зависитъ вся основательность, вся крѣпость науки. Однако личныя отношенія, личныя условія, при которыхъ въ первый разъ представляются ему важнѣйшія задачи науки, имѣютъ большое вліяніе на ея значеніе. Въ наше время съ каждымъ днемъ яснѣе понимается эта великая важность личнаго вліянія на развитіе науки, вліяніе внутреннихъ особенностей человѣка и внѣшнихъ его отношеній. Отъ того біографіи возбуждаютъ теперь такое живое участіе. Думаютъ, что убѣжденія самыхъ глубокомысленныхъ умовъ непонятны безъ знанія ихъ личнаго развитія, особенно потому, что оно никогда не совершается чисто и безпрепятственно. Необходимо знать не только то, что способствовало живому возрастанію мысли, но и то, что останавливало её, мѣшало ей, давало ложное направленіе; этимъ объясняются границы самыхъ высшихъ умовъ. Это познаніе тѣмъ необходимѣе, что ложное, болѣзненное направленіе есть именно то, которое дѣйствуетъ заразительно, эпидемически, и тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе наружность его имѣетъ видъ всеобщности.

Тѣмъ, кто съ участіемъ читали мои литературныя попытки, конечно, будетъ любопытно узнать, какъ въ образѣ моихъ мыслей произошла такая перемѣна, которая заставила меня, исходя изъ единства, изъ цѣлости бытія, смотрѣть на все только въ отношеніи къ нему.

Это превращеніе моего духа началось еще прежде отъѣзда моего въ Копенгагенъ. Время, проведенное тамъ съ друзьями, отстранило это возникающее направленіе. Предметы прежніе дѣйствовали на меня со всѣмъ прежнимъ своимъ могуществомъ; прошедшая жизнь овладѣла мною; воспоминанія ожили; въ отечественномъ языкѣ была для меня тайная сила, которой я радовался даже въ привычныхъ изреченіяхъ, въ условныхъ изъ-

явленіяхъ мысли; я предавался очарованію прежней *сладостной привычки счастливаго бытія и жизни.*

Все, что я пережилъ и передумалъ съ тѣхъ поръ, какъ уѣхалъ изъ Копенгагена, удалялось какъ сонъ, при окружавшемъ меня живомъ, богатомъ настоящемъ. Предстоящія лекціи требовали также усиленнаго занятія, и я не имѣлъ времени предаться возникающимъ внутреннимъ розысканіямъ. Различныя библіотеки Копенгагена обогатились многими драгоцѣнными произведеніями по части естественной исторіи: мнѣ должно было все просмотрѣть. Въ музеѣ нашелъ я многихъ новыхъ животныхъ, въ ботаническомъ саду много чудесныхъ, незнакомыхъ мнѣ растеній; всего же болѣе привлекало меня минералогическое собраніе, гдѣ каждый новый предметъ являлся посреди рядовъ уже признанныхъ и опредѣленныхъ.

Вадъ возвратился изъ Италіи; подъ его надзоромъ образовывалось въ университетѣ значительное минералогическое собраніе; *Мантей* имѣлъ у себя новый, мнѣ неизвѣстный, минералогическій кабинетъ. Предметы овладѣли мною совершенно, какъ прежде, во дни моей первой юности, и духовное ихъ значеніе непосредственно въ нихъ мнѣ являлось. Бытіе во всей полнотѣ своей говорило мнѣ внятнымъ языкомъ, какъ въ оные дни моей молодости; разнообразіе предметовъ было мнѣ словами, и я не искалъ другихъ. Когда, послѣ такого дня, проводилъ я вечеръ съ Рабекомъ, съ братьями Минстеръ, съ Лаубомъ, съ Горнеманомъ, и вся прежняя жизнь меня совершенно обхватывала,—тогда могъ ли я даже на минуту переселиться въ уединенную мою комнатку въ Килѣ и силою отвлеченныхъ понятій отдалить отъ себя и людей, меня окружающихъ, и міръ, и многостороннюю природу, и самую исторію, для того, чтобы втѣсниться въ мое внутреннее Я?

. . . . . .

Послѣ возвращенія моего въ Киль протекло еще много времени, прежде, нежели я могъ сдружиться съ новыми своими занятіями. Они стали для меня весьма важны. Когда постепенно возникалъ новый ходъ идей, перерванныхъ моимъ путешествіемъ, то приковывалъ меня къ себѣ болѣе и болѣе, и я

долженъ былъ ему совсѣмъ предаться. Истина внутренняго существованія моего была съ нимъ связана.

. . . . . .

Якоби принадлежалъ къ числу тѣхъ знаменитыхъ мужей, которые въ мое время посѣтили Голштинію. Я зналъ объ немъ только его славу, и ничего еще не читалъ имъ написаннаго.

Однажды, когда я въ библіотекѣ Генцлера искалъ нужныхъ мнѣ книгъ, большая карета, заложенная четырьмя лошадьми, остановилась у воротъ. Она была похожа на военную большую фуру; когда отворили дверцы, я съ удивленіемъ увидѣлъ, что внутри она разгорожена была на двое. Изъ одной половины вышла высокая, стройная, но уже не молодая дама съ своей сопутницей. Онѣ вышли въ комнату, которая была прямо у входа, и спросили, принадлежу ли я къ домашнимъ, и могу ли сказать старому Генцлеру, что княгиня желаетъ съ нимъ видѣться. Княгиня поразила меня своей величавой наружностью; когда же изъ другой половины кареты вышелъ съ помощью слуги старикъ, похожій видомъ и одеждой на католическаго священника, то узналъ, что я говорю съ знаменитой пріятельницей Якоби. Я поспѣшилъ увѣдомить Генцлера о ея посѣщеніи и взволнованный, удивленный старикъ побѣжалъ къ ней на встрѣчу,

Я взялъ свои книги и убѣжалъ изъ дому, чтобы не быть лишнимъ. Съ тѣхъ поръ я не видалъ уже княгини.

. . . . . .

Я слышалъ, въ какомъ духовномъ родствѣ была она съ Гемстергуисомъ, и хотя не читалъ сочиненій этого философа, но съ великимъ уваженіемъ къ нему вѣрилъ, что онъ достигъ той цѣли, къ которой я стремился; а близкая его духу дама казалась мнѣ существомъ высшимъ, таинственнымъ. Она осталась для меня незабвенною, и Якоби, принадлежащій къ ея кругу, былъ для меня еще значительнѣе. Вотъ первый взглядъ, который я, Скиѳъ, чужестранецъ, бросилъ въ тотъ духовный міръ Германіи, который манилъ меня съ самыхъ младенческихъ лѣтъ моихъ.

. . . . . .

Первое сочиненіе Якоби, которое мнѣ попалось въ руки, были письма его къ къ Мендельсону объ ученіи Спинозы.

Это сочиненіе было эпохой въ моей жизни. Оно пробудило во мнѣ всѣ дремлющія мысли умозрительности и сосредоточивъ привело къ сознанію. То, что въ Копенгагенѣ невѣдомо самому мнѣ, какъ тайное сокровище, покоилось въ глубинѣ души моей и отдаляло отъ меня друзей; вѣчный источникъ, изъ котораго истекали всѣ наслажденія мои природою и движеніемъ исторической жизни,—все явилось мнѣ тутъ въ высшемъ сосредоточеніи: мнѣ предложенъ былъ ключь ко всѣмъ запертымъ таинствамъ, и я схватилъ его съ живою страстью. Большая часть отвлеченныхъ понятій, которыя тутъ прочелъ я, были мнѣ чужды, но мнѣ казалось, что я понимаю совершенно ихъ связь. Мнѣ открылся новый свѣтъ, а я думалъ, что привѣтствую старый, мнѣ давно знакомый. Я углубился въ это сочиненіе. Каждая строка была для меня значительна; въ первый разъ пробудилось во мнѣ предчувствіе, сильно меня тревожащее, что есть наука, предметъ которой есть постоянное, историческое, всеобъемлющее изслѣдованіе; между тѣмъ исторія философіи была мнѣ извѣстна. Я зналъ ученіе Греческихъ философовъ и мнѣнія философовъ 17-го столѣтія; правда, зналъ ихъ въ однихъ историческихъ очеркахъ, и хотя извѣстные, они мнѣ были совершенно чужды.

Теперь понялъ я, что есть наука, которая всегда была задачею отличныхъ умовъ во всѣ эпохи сильнаго духовнаго развитія и вмѣстѣ съ тѣмъ являлась какъ особенная, личная задача каждаго розыскателя; понялъ, что нужно внутреннее согласіе съ самимъ собою, больше чѣмъ съ другими; что философъ долженъ высказывать не только выученное, но и духовно пережитое изъ собственныхъ внутреннихъ испытаній.

То, что заслуживаетъ порицанія въ Якоби, заслуживаетъ въ то же время похвалу: онъ умѣетъ сильнѣе всѣхъ своихъ современниковъ оживить въ дремлющихъ сердцахъ зародышъ духовной самодѣятельности. Книга Якоби возбудила во мнѣ стремленіе, котораго не могла удовлетворить.

. . . . . .

Въ душѣ моей кипѣло море самыхъ разнообразныхъ чувствъ;

напрасно старались они принять опредѣленный видъ: каждый образъ исчезалъ и искалъ новаго, въ свою очередь не прочнаго. Я чувствовалъ, что долженъ найти этотъ пребывающій образъ, и внутренняя борьба этой потребности была мнѣ постоянно присуща. Убѣжденіе твердое, незыблемое, внутреннее согласіе съ самимъ собою, непотрясаемая точка, изъ которой исходили бы мысли, чувства, страсти, воля и бытіе, и съ сознаніемъ опять могли къ ней возвратиться, — вотъ цѣль, къ которой возбужденный духъ мой всею силою стремился. (Въ теченіе этого года авторъ выучился по-Англійски и сталъ читать Шекспира. Понятно, какое дѣйствіе произвелъ на него Гамлетъ. Это лицо почти предугаданное, основанное на внутренней борьбѣ, казалось ему больше принадлежащимъ Германіи, нежели Англіи, настоящему времени, нежели тому, въ которомъ написано.)

Вдохновенное предчувствіе заставило Шекспира изобразить Гамлета и друга его Виттембергскими студентами. Каждый одушевленный юноша въ Германіи, почиталъ себя, какъ Гамлетъ, неотразимо влекомымъ внутреннимъ призваніемъ, которому отдавалъ всю жизнь свою. Потому-то Германія такъ скоро поняла Гамлета, и я, подобно другимъ, совершенно сроднился съ его внутренней, тяжелой борьбой.

Читателю ясны будутъ мои ощущенія, когда я разскажу ему, какъ я понималъ Шекспира рядомъ съ Гёте, которымъ занимался съ самыхъ отроческихъ лѣтъ.

. . . . . .

Оба отверзали бездонную глубину человѣческаго сердца; уже нѣсколько лѣтъ я утопалъ въ той безднѣ, которую Гёте раскрылъ передо мною. У Шекспира предметы, возбуждающіе страсти, совсѣмъ не такое имѣютъ отношеніе къ личности, какое у Гёте. Здѣсь раздоръ души одинокой въ мірѣ, которая отломокъ этого оставшагося міра, и обдѣлываетъ его въ личность тѣсную, но безконечно прекрасную, какъ напр. въ Гецѣ ф. Берлихингенѣ, или Эгмонтѣ. Самое это тѣсное ограниченіе даетъ цѣлому прелестный образъ, опредѣленность формъ и окончательность; я удивился, когда услышалъ такое же сужденіе Новалиса о Гёте; ничто такъ неожиданно насъ не по-

ражаетъ, какъ внезапное подтвержденіе собственнаго мнѣнія, долго, хотя неясно, въ душѣ хранимаго. У Шекспира же, напротивъ, великій, могучій видимый міръ и невидимый движется въ лицахъ и съ ними дѣйствуетъ. Кажется, будто всѣ живутъ, думаютъ, дѣйствуютъ, выходя изъ среды народа сильно взволнованнаго, и такъ, что тайная пружина страстей, скрытая въ другомъ, высшемъ цѣломъ, даетъ лицамъ печать особеннаго величія.

. . . . . .

Эти занятія такъ сильно потрясали всю мою внутренность, что друзьямъ моимъ являлся я въ безпрестанно напряженномъ, восторженномъ состояніи. Многіе приписывали это сильное волненіе наружнымъ раздражительнымъ средствамъ, другіе—притворству. Въ это время было въ моемъ существѣ что-то волканическое, если можно употребить это слово тамъ, гдѣ сильный, порывающійся пламень больше притягивалъ, нежели отталкивалъ; больше согрѣвалъ, нежели палилъ. Такое сужденіе о моей юности можетъ показаться неприличнымъ самохвальствомъ; но прошу не забывать, что тутъ рѣчь идетъ не о пріобрѣтенныхъ качествахъ, но о природномъ дарѣ, т. е., простыми словами, о великой Божіей милости, которая меня сопровождала до самой старости, и послѣ тяжелой, внутренней борьбы, всегда снова исполняла увѣренностію и радостію. Ссылаюсь на тѣхъ изъ друзей моихъ, которые еще живы: они помнятъ, каковъ я былъ и каковъ имъ казался. Если бы врачь пощупалъ пульсъ мой, то вообразилъ бы меня въ сильной горячкѣ; а я былъ совершенно здоровъ, и никогда не чувствовалъ себя бодрѣе и счастливѣе. По тому самому работалъ я всегда натощакъ, и всѣ возбудительныя средства, напр. вино, кушанье, горячій разговоръ, рѣчь, которую слушая, волновался невольно, всегда меня изнуряли и останавливали на время всякую умственную дѣятельность.

Легко понять, что̀ былъ Шекспиръ для такой натуры; лица драммъ его, глубоко возбужденными страстями, отверзали глубоко сокровенное во внутренности, но ими самими владѣла не ограниченная личность; страсти, въ нихъ являющіяся, были полны исторіей народа, тайнами міра духовъ; и если Гёте по-

буждалъ меня изслѣдовать тайны міра въ безднахъ борющаго сознанія, то Шекспиръ заставлялъ меня думать, что эту борьбу долженъ я раздѣлять въ исторіи — съ борющимися народами, въ невидимомъ мірѣ — съ духами, въ немъ покоящимися, для того, что бы понять глубокое ея значеніе. Оба великіе поэта, привлекшіе меня къ себѣ всею силою могущаго генія, не утишали безпокойнаго внутренняго моего волненія. А между тѣмъ, предаваясь внутренней, духовной жизни, въ которой начинала проглядывать заря дѣйствительности, я смотрѣлъ на опасность борьбы съ неотразимымъ желаніемъ, и въ то же время вздыхалъ о мирѣ. Часто даже восклицалъ съ Фальстафомъ: «О, еслибы пришелъ вечеръ, и все кончилось!»—

Въ это-то время попался мнѣ Спиноза. (*) Никогда не могъ я смотрѣть безъ умиленія на тотъ экземпляръ Opera postuma, который столько лѣтъ былъ дорогимъ, глубокомысленнымъ товарищемъ моего уединенія и стоилъ мнѣ такихъ напряженныхъ усилій и трудовъ. Онъ напоминалъ мнѣ часы самые значительные, самые важные въ моей жизни. Я отдалъ этотъ экземпляръ одному близкому другу при разлукѣ, но тотъ не могъ и вообразить, какую жертву приношу я ему этимъ подаркомъ.—Первое, что я прочелъ, былъ tractatus de intelectus emendatione et de via, qua optime in veram rerum cognitionem dirigitur. — Названіе плѣнило меня. Вотъ здѣсь, думалъ я, найду, что побудило Спинозу образовать свою систему. Мнѣ необходимо было перейти безъ разрыва отъ глубоко живой, богатой жизни къ жизни погруженной въ чистую демонстрацію. Самая полная отвлеченность должна прокладывать себѣ путь черезъ феноменологію.

Что волновало Спинозу въ то время, какъ онъ разсматривалъ жизнь, что его мучило и томило, не могло остаться мнѣ чуждымъ. Въ Бергенѣ, когда я почиталъ себя одинокимъ, по-

(*) Вліяніе Спинозы на внутреннее развитіе Стеффенса замѣчательно тѣмъ, что оно показываетъ намъ, какъ различно дѣйствуетъ одна и та же мысль на людей различно приготовленныхъ. Система Спинозы для многихъ была вредною; но на Стеффенса подѣйствовала она только своею нравственною стороною. Потому, если и односторонно, если несправедливо его сужденіе о Спинозѣ, то это самое обстоятельство кажется намъ весьма любопытнымъ психологическимъ фактомъ, весьма полезнымъ для посторонняго наблюдателя.

кинутымъ, и друзьями, которые отъ меня отдалились, и природой, которая отъ меня скрывалась, и самимъ собою; когда я отталкивалъ отъ себя пеструю толпу несвязныхъ знаній, колеблющихся склонностей и измѣнявшихся страстей; тогда и я искалъ успокоительной точки опоры, гдѣ общее бытіе нашло бы свою неизмѣняемость и вѣчно прозрачную середину. Умозрительность была мнѣ чужда, и я не вдавался въ нее. И то, что тогда казалось мнѣ чуждымъ, чѣмъ-то отдѣленнымъ отъ всего остальнаго, отъ свѣжей, живой жизни, простою игрою остроумія—предстало мнѣ теперь въ видѣ значительной Науки. Какъ преподаватель, я былъ обязанъ обратить вниманіе юношей на пользу этой науки; но эта обязанность не имѣла ничего общаго съ врожденнымъ стремленіемъ къ познанію. Этотъ источникъ выходилъ изъ такой сокровенной глубины, которую изслѣдовать казалось мнѣ важнѣе всего. Я почиталъ весьма важнымъ тогда, что въ преподаваніи моемъ представлялъ знаніе, въ самомъ себѣ заключающее свое достоинство, а не въ приносимой имъ пользѣ; между тѣмъ, что̀ же давало намъ это самобытное, въ самомъ себѣ заключенное знаніе, отдѣленное отъ бытія и дѣйствія? Что былъ школьный формализмъ въ сравненіи съ горячею, живою жизнью?—Это мучило меня съ самыхъ отроческихъ лѣтъ. Этотъ разрывъ, въ самыхъ внутреннихъ глубинахъ бытія, былъ для меня ужасенъ, и я былъ совсѣмъ неспособенъ принять, по убѣжденію, чистое, совершенное разлученіе теоретическаго и практическаго ума.

Двѣ вещи, говоритъ Кантъ, всегда сильно на меня дѣйствуютъ: звѣздный сводъ надо мною и нравственный законъ во мнѣ. Но первый познаю я скованнымъ въ строгомъ математическомъ законѣ движенія, отдѣленнымъ отъ жизни; второй, источникъ живаго дѣйствованія, сокрылся во внутренности бытія, и столько же недоступенъ опыту, сколько внутренность самой природы. Природу познаемъ мы только въ ея явленіяхъ, и не знаемъ, выражаемъ ли нравственный законъ нашими дѣйствіями: то, что извѣстно намъ посредствомъ знанія, то не истина; истину должны мы изображать нашими дѣйствіями, но никакъ опытъ не укажетъ настоящаго источника нашихъ дѣйствій. Вѣрное чувственное свѣденіе даетъ человѣку ложь, и мы знаемъ,

что это ложь, и утѣшаемъ себя тѣмъ, что всѣ мы обмануты одинакимъ образомъ. Голосъ истины слышенъ; но мы, не слушая его, пребываемъ въ невѣденіи объ истинѣ.

Этотъ болѣзненный разрывъ между знаніемъ и жизнію, проистекшими изъ одного источника, очевидно, отдалилъ меня отъ философіи Канта.

Совсѣмъ иначе предстало мнѣ внутреннее волненіе души, которая, стремясь къ духовному спокойствію, обращается къ изслѣдованію самой себя. Спиноза, разсмотрѣвъ достоинство и важность всѣхъ наружныхъ благъ, говоритъ:

«Когда я увидѣлъ, что эти блага не только помѣшаютъ мнѣ заняться новымъ моимъ дѣломъ, но такъ совершенно ему противоположны, что я непремѣнно долженъ отказаться отъ него, или отъ нихъ, то сталъ разсматривать, полезнѣе ли мнѣ будетъ жертвовать вѣрнымъ добромъ (чувственнымъ) невѣрному? Долго думалъ я объ этомъ, и наконецъ убѣдился, что, обращаясь къ новому дѣлу, должно рѣшиться отбросить то, что есть благо невѣрное по своему существу, между тѣмъ какъ искомое мною тоже невѣрно, но не по существу своему. И такъ я предпочелъ благо вѣрное; невѣрною была тутъ только удача моего стремленія.»

«Чѣмъ глубже я вникалъ, тѣмъ яснѣе мнѣ было, что я долженъ рѣшиться промѣнять вѣрное зло на невѣрное добро; я видѣлъ себя въ величайшей опасности, и принужденъ былъ всѣми силами выискивать всякое средство, даже невѣрное. Такъ страждущій смертельной болѣзнью всю надежду кладетъ на невѣрное лѣкарство», и пр. и пр.

Я сравнилъ это введеніе въ Этику со введеніемъ Канта въ Критику чистаго разума, и ясно увидѣлъ разницу задачи школьной и умозрѣнія, истекающаго изъ всѣхъ источниковъ бытія. Еще съ дѣтства слыхалъ я всегда, что знаніе и совѣсть, демонстрація и назиданіе—не имѣютъ ничего между собою общаго, и на старости даже лѣтъ случалось мнѣ выслушивать это пошлое наставленіе. Но я сохранилъ въ себѣ ясное сознаніе того, что должно беречь въ себѣ всѣ глубины жизни, даже когда стараемся понять и представить себѣ формализмъ ея въ видѣ строгаго умственнаго процесса; что отдѣльно не имѣетъ

онъ никакого значенія, и пустое теряется въ пустотѣ. Вдругъ предстаетъ мнѣ человѣкъ, который, во чтобы то ни стало, хочетъ освободиться отъ тяжкихъ цѣпей чувственной жизни, для того, чтобы въ неизмѣняемомъ центрѣ бытія найти миръ, покой и свободу (*). Для него это не школьная тема, но задача внутренняя самой жизни; не простое ученье, но борьба жизни, очистительный процессъ, продолжающійся въ самой строгой формѣ. Только теперь поразило меня названіе его книги: онъ назвалъ ее этикой, а не логикой, или метафизикой, потому что она была выраженіемъ его образа мыслей, а не просто выраженіемъ какого нибудь ученія.

. . . . . .

Я принялся за работу съ такимъ усердіемъ, которое можно назвать страстью; религіозная боязнь, въ душѣ моей таившаяся, служила поощреніемъ смѣлому, духовному труду моему.

Нѣсколько недѣль сряду былъ я недоступенъ друзьямъ; какъ сонный, всходилъ на каѳедру; мнѣ непремѣнно хотѣлось разрѣшить задачу, заданную Спинозою самому себѣ. Я хотѣлъ разрѣшить ее совершенно его же способомъ: хотѣлъ, чтобы она сдѣлалась моею, такъ какъ была его собственной. Мнѣ предстояли многія затрудненія. Настоящій спекулативный языкъ былъ мнѣ чуждъ, и въ первый разъ принялъ я философскую послѣдовательность, которая изъ себя самой должна быть постигнута, и въ самой себѣ ищетъ изъясненія. Я видѣлъ, что долженъ принимать выраженія точно въ томъ смыслѣ, въ какомъ они употреблены; отказался отъ всѣхъ постороннихъ пособій; я предался одному ему и собственному боренью духовному; изъ этого, внѣ всего посторонняго, должно было выдти согласіе и единство.

Признаюсь, я воспоминаю съ трепетомъ объ этомъ времени, о чудномъ духовномъ отшельничествѣ, въ которомъ жилъ, о тревожномъ напряженіи, которое ни днемъ, ни ночью не давало мнѣ ни минуты покоя. Были часы, когда все передо мною помрачалось, и я терялъ надежду постигнуть этотъ великій

(*) Это стремленіе дѣйствительно замѣтно въ Спинозѣ, хотя оно увлекло его въ ложный путь и къ ложнымъ выводамъ.

умъ, и былъ почти въ отчаяніи, — тогда вдругъ являлся мнѣ свѣтъ, и что прежде казалось совершенно непонятнымъ и заграждающимъ всякое дальнѣйшее стремленіе, стояло ясно и живо передо мною. Все перечитанное я вновь перечитывалъ, слѣдилъ за всякимъ цитатомъ, даже и тогда, когда увѣренъ былъ, что онъ мнѣ уже извѣстенъ. Для меня стало дѣломъ совѣсти — не терпѣть ничего неяснаго, шаткаго. Въ первый разъ почувствовалъ я тутъ, что въ сознаніи моемъ дремала уже давно могущая сила, что она возбуждала мои духовныя мечты и проснулась теперь для свободнаго проявленія. Я принялся за это строгое важное ученіе точно съ такимъ же страстнымъ жаромъ, съ какимъ исполнялъ всѣ дѣла мои, и не замѣчалъ, что покуда разрѣшалъ задачи духовной жизни, всѣ пріобрѣтенныя мною живыя сокровища пропадали и готовы были совсѣмъ исчезнуть.

. . . . . .

Когда я убѣдился, что совершенно понялъ Спинозу, тогда только примѣтилъ, чего лишился. Вся живая натура, вся пестрая жизнь, обветшали и помертвѣли передо мною; надежды и желанія исчезли въ сознаніи, что не содержали въ себѣ истины, и что тогда только достигли бы своего прямаго значенія, когда бы измѣнились совершенно. Мнѣ казалось, что такое совершенное безпристрастіе уничтожало что-то святое, драгоцѣнное, чего я не долженъ былъ отдавать ни за какую замѣну, нашелъ глубокую, широкую основу всякой независимой духовной дѣятельности.

Нужно вспомнить, что всѣ мои занятія не содержали въ себѣ тѣни истинной умозрительности; что самъ Кантъ дѣлаетъ изъ человѣка что-то похожее на лягушку, которая, хотя поднимаетъ голову и огромные глаза вперяетъ въ необозримую атмосферу высшаго бытія, но, не узнавши ничего, опускается въ свою настоящую родину, въ болото чувственныхъ категорій: δος μοι που στω, напечатанный эпиграфомъ въ книгѣ Якоби, не надежду выражаетъ, а совершенную безнадежность. Якоби съ трепетомъ оттолкнулъ отъ себя крѣпкую опору, и простое чувство, не доходящее до яснаго сознанія, должно было замѣнить ему предложенное знаніе.

Такимъ образомъ я не испыталъ чистилищнаго огня знанія, но прошелъ черезъ него, какъ черезъ нѣчто чуждое. Моя давно улетѣвшая Беатриса прислала мнѣ моего Виргилія, и не взирая на многоразличныя заблужденія, я зналъ, что небо моего младенчества, хотя помраченное густыми, мрачными тучами, спокойно сіяетъ за облаками, и что придетъ время, когда они разсѣются.

Странное было то время духовнаго ожиданія, въ которомъ я жилъ; мнѣ было невозможно удовлетворяться чувственными отдѣльными предметами, какъ бы ни былъ я ими занятъ; съ великимъ нетерпѣніемъ искалъ я теперь точку опоры, которую указывало мнѣ давно мое воображеніе и которую я видѣлъ разцвѣтающею въ каждомъ знаніи.

. . . . . .

У меня опять была тайна, какъ нѣкогда въ Копенгагенѣ. Я не могъ сообщить другу моему Макензену мое Спинозическое ученіе. Онъ былъ духовно развитъ Кантомъ, а мнѣ этотъ философъ сдѣлался чуждымъ. Весь ходъ прежняго моего образованія препятствовалъ мнѣ принимать исторію и природу за одни явленія, въ его смыслѣ.

Такимъ образомъ я былъ внутренно одинъ, хотя жилъ въ обществѣ и принималъ въ немъ живое участіе, и это одиночество было мнѣ отрадно. Оно хранило сокровище мнѣ дорогое. Мнѣ казалось, что я долженъ беречь его отъ всякаго наружнаго прикосновенія, какъ зародышъ, покоющійся въ своей оболочкѣ. Я наблюдалъ за едва внятнымъ біеніемъ пульса, за неясными признаками жизни, какъ будто скрытое сокровище есть мое порожденіе, отъ меня отдѣлившееся и начинающее развиваться собственной жизнью. Я былъ совсѣмъ похожъ на беременную женщину, и загадка души моей, стремясь разоблачиться, не угнетала меня, но ободряла, счастливила.

. . . . . .

Здѣсь упомяну я объ одномъ приключеніи, которое многихъ забавляло, а меня болѣзненно огорчило. Профессоръ Н. преподавалъ эстетику. Исторія новѣйшей Нѣмецкой поэзіи, если не ошибаюсь—Бодмера, была любимымъ его предметомъ. Зульцеръ и Эшенбургъ были основой его лекцій, но вообще онъ мало

занимался теоріей. Онъ называлъ поэта, коротко упоминалъ объ его жизни и сочиненіяхъ, а потомъ спѣшилъ перейти къ важнѣйшему, по его мнѣнію: выбиралъ сильныя мѣста изъ сочиненій этихъ поэтовъ и декламировалъ ихъ съ великимъ паѳосомъ. Самъ онъ былъ небольшаго роста, и когда начиналъ декламировать, такъ надувался и поднимался, неестественность каждаго слова такъ ярко выставлялась, что все вмѣстѣ было, не взирая на предметъ, невообразимо смѣшно. Иногда приглашалъ онъ знатнѣйшія фамиліи города на публичныя декламаціи, бесѣды.

Я не люблю декламаціи; хотя умѣю цѣнить даръ хорошаго чтенія и часто имѣю случай ему удивляться, потому что превышающій всѣхъ мастеръ—другъ мнѣ; но не могу безъ болѣзненнаго сожалѣнія слушать, если кто начнетъ декламировать. Я сижу тогда въ истинной тоскѣ, опускаю глаза, стыжусь за несчастнаго декламатора и чрезвычайно удивлюсь, если, проснувшись отъ непріятнаго ощущенія, узнаю, что декламація понравилась, и декламаторъ счастливымъ побѣдителемъ является посреди рукоплескающей толпы. Всякій разъ вспоминаю я тогда сцену, видѣнную мною въ Килѣ.

Профессоръ Н. читалъ на лекціяхъ своихъ о Клопштокѣ: посѣтители его готовились слушать мѣста изъ Мессіады. Каіафа долженъ былъ говорить, потомъ злые духи громко разглашать свою ненависть и претерпѣваемыя ими муки. Меня завлекли на эту лекцію. Аудиторія была въ залѣ сада, деревья шумѣли подъ окнами, многія окошки были растворены, солнце свѣтило сквозь зеленые листья, птицы пѣли. Каѳедра была поставлена подлѣ самой двери, такъ, что профессоръ, взойдя, прямо предсталъ передъ своими слушателями. За первыми спокойными, тихими словами, послѣдовала декламація. Безпрестанно становилась она сильнѣе, вдругъ умолкалъ онъ, потомъ испускалъ страшные звуки, потомъ изливался въ потокѣ возвышенныхъ рѣчей: грудь кипѣла, глаза ворочались, руки двигались чудно и нестройно; однимъ словомъ, ничего смѣшнѣе нельзя было вообразить. Всѣ слушатели кусали себѣ губы и насилу удерживались отъ смѣха. Въ это время, маляръ раскрашивалъ въ саду бесѣдку; онъ услышалъ издали чудныя вос-

клицанія, съ кистью въ рукѣ подошелъ къ низкому окну и глядѣлъ съ удивленіемъ, почти съ испугомъ, на профессора, который бѣсновался, какъ бѣшеный. Появленіе маляра подѣйствовало какъ электрическій ударъ и всѣми слушателями безъ исключенія овладѣлъ громкій, неумолкающій хохотъ. Профессоръ плавалъ тогда на высшемъ небѣ своего паѳоса; но его декламація произвела такое неожиданное дѣйствіе, что онъ поблѣднѣлъ, замолчалъ, стремглавъ бросился съ каѳедры и исчезъ за дверью.

Къ чести студентовъ скажу, что не осталось ни одного, который бы не почувствовалъ живаго раскаянія. Положили изъяснить письменно, самымъ учтивымъ образомъ, причину этого невольнаго смѣха; но мое отвращеніе отъ декламаціи этимъ удвоилось.

. . . . . .

Въ это время одинъ писатель занималъ меня болѣе, чѣмъ должно; это былъ Руссо. Съ истинной страстью прочелъ я одно за другимъ—Элоизу, Эмиля, оба политическія его сочиненія, потомъ Исповѣдь. Совершенно противоположное направленіе сильному спокойствію Спинозы, *гражданственность, воспитаніе и себя созерцающая личность*, вовлекли меня въ какую-то странную раздробленность; пострадавши нѣсколько времени, я скоро отъ нея избавился.

Важнѣе гораздо было для меня знакомство съ молодымъ *Ристомъ* (внукомъ извѣстнаго сочинителя духовныхъ пѣсенъ Іоанна Риста). Онъ имѣлъ большое на меня вліяніе, и первый перенесъ меня въ бурную средину духовно взволнованнаго Германскаго міра.

Въ университетахъ Германіи образовался кругъ достойныхъ людей, исполненный умственной дѣятельности, которые съ большою рѣшимостью, замѣчательными усиліями, воспитывали себя для будущей значительной жизни. Никогда не забуду нѣсколькихъ словъ, слышанныхъ мною отъ благороднаго старца *Генслера*. «Какъ важны для насъ Нѣмецкіе университеты,—говорилъ онъ:—изъ нихъ выходятъ люди съ высокимъ характеромъ, ясно обозрѣвающіе современное положеніе, и при свѣтѣ великихъ идей смѣло вступающіе въ борьбу съ развратомъ про-

шедшаго и неразуміемъ настоящаго, — въ борьбу не безплодную: они даютъ направленіе многимъ значительнымъ въ дѣйствующемъ мірѣ пружинамъ.» Мнѣ давно приходилъ на умъ подобный взглядъ на Нѣмецкій университетъ, но трогательно было видѣть въ ученомъ старцѣ, который впрочемъ обыкновенно бесѣдовалъ со мною объ однѣхъ естественныхъ наукахъ, это уваженіе къ юношеской, свѣжей жизни.

Въ прошлую годину бурь и трудовъ, Германское юношество хотя имѣло возвышенное стремленіе, но по грубой наружности, по дикости формъ, представляло много сходнаго съ студенческою жизнью. Молодежь объявляла войну всѣмъ условіямъ существующихъ отношеній. Передъ юношею носился неясный идеалъ, а въ немъ-то была глубочайшая сущность его жизни. Онъ самъ признавалъ его за недостижимое стремленіе, и тѣмъ уничтожалъ на самомъ дѣлѣ его бытіе. Изъ такого внутренняго противорѣчія самому себѣ и обществу, возникъ цинизмъ, имѣвшій семейное сродство съ обыкновеннымъ студенческимъ цинизмомъ, иногда соединявшійся съ нимъ, происходившій впрочемъ изъ совсѣмъ инаго источника. Недостижимый идеалъ являлся, сообразно съ различнымъ образомъ мыслей, въ двухъ видахъ, хотя никогда не возвышался далѣе отрицанія дѣйствительности. Съ одной стороны, это было негодованіе противъ всѣхъ отношеній общественныхъ, которымъ не хотѣли покориться, не имѣя впрочемъ ничего существеннаго, чѣмъ замѣнить ихъ; съ другой—какая-то нѣжная сентиментальность, которой предавались, то распространяя темный неосуществляемый идеалъ, до счастія и блаженства всѣхъ человѣковъ, то стѣсняя его въ одинъ предметъ любви. Такое противорѣчіе не могло, разумѣется, долго продолжаться. Негодующій принужденъ былъ поддаться обществу, и оппозиція часто измѣнялась въ филистерскую угодливость. Сентиментальный переносилъ мечты свои на живую дѣвушку, но служба и бракъ уничтожали скоро идеалы юности. Между тѣмъ не должно думать, что противорѣчіе перестало требовать своего разрѣшенія, потому что въ нѣкоторыхъ натурахъ неразрѣшенно уничтожилось. Оно было непроизвольное; его можно назвать исторически необходимымъ. Оно произошло отъ того, что религіозная точка соединенія исчезла

изъ жизни; отъ того, что вѣра отдѣлилась отъ общаго образованія, которое самымъ этимъ отдѣленіемъ распалось на различныя направленія: частію въ неопредѣленную сентиментальность сектъ, частію въ суровую строгость пiетистовъ, частію въ упрямую закоснѣлость ученыхъ книжниковъ; нигдѣ не было истинной дѣйствительности, которая живетъ только въ согласіи этихъ распадшихся стихій. Но и государство, отпадшее отъ религіи, выражало въ себѣ то же раздѣленіе. Неподвижныя формы обычныхъ гражданскихъ отношеній, также и прежняя форма вѣры, сохранились, хотя не соотвѣтствовали отношеніямъ безпрестанно развивающейся жизни. Во всѣхъ направленіяхъ государства обнаружилось стремленіе ко внутреннему согласію всѣхъ явленій жизни. Это движеніе въ Германіи никогда не измѣняло своего идеальнаго характера. Утвердительно можно сказать, что Гёте первый соединилъ эти раздѣленныя явленія противоборства, съ величайшею геніальностію изобразивъ сентиментальное направленіе въ Вертерѣ, негодующее въ Гёцѣ. Въ самомъ дѣлѣ, эти двѣ крайности, уже своимъ трагическимъ паденіемъ, принимаютъ въ себя противоположныя стихіи; и если Гёте глубокимъ и плѣнительнымъ представленіемъ бытія, борющагося съ дѣйствительностію, призналъ его необходимое развитіе, то Шиллеръ былъ призванъ на то, чтобы дать существенное содержаніе сторонѣ идеальной. Замѣчательно, что Гёте съ великимъ гнѣвомъ видѣлъ направленіе дикаго сопротивленія всѣмъ общественнымъ отношеніямъ, данное Шиллеромъ въ Разбойникахъ; замѣчательно, что Гёте началъ свое развитіе изъ сентиментальности, которая была однакоже не первобытнымъ, но пріобрѣтеннымъ въ немъ качествомъ, и отъ которой онъ впослѣдствіи отдѣлился или лучше усвоилъ, подчинилъ ее своей богатой природѣ. У Шиллера напротивъ, сентиментальность имѣла первобытный характеръ, и онъ умѣлъ пріобрѣсти несвойственное ему дикое негодованіе;—изъ равновѣсія обѣихъ родилось то новое, нравственное рыцарство, которое овладѣло лучшей частью академическаго юношества, гораздо еще глубже, нежели богатая естественная поэзія Гёте. Новѣйшимъ государствамъ предназначено пройти извѣстныя поприща, которыя можно назвать степенями развитія. Органи-

чески между собою связанныя, они взаимно одна на другую дѣйствуютъ. Это живое стремленіе къ согласованію различныхъ стихій, изъ которыхъ каждая условливаетъ другую. Государство должно бороться съ дѣйствительностью, которая является, съ одной стороны, какъ преданіе прошедшаго, съ другой—какъ его собственная природа, всегда неизмѣнная, всегда себѣ равная, но всегда видоизмѣняющаяся. Чтобы получить власть надъ послѣдней, оно должно ей предаться; первое должно быть съ нимъ въ гармоніи, потому что оно содержитъ въ себѣ моменты внутренняго развитія государства. Когда государство постигаетъ себя въ сознаніи своего самобытнаго владычества надъ природой и правильнаго историческаго развитія, тогда находитъ оно свою собственную образованность, сообразную съ его жизненнымъ назначеніемъ. Матеріальный интересъ является живою степенью органическаго развитія. Государство, по сущности своей, есть въ то же время и народъ; рождается народное чувство, проникающее всѣхъ согражданъ, духъ общенародной жизни, руководящей, образующей каждаго, такъ что каждая личность чувствуетъ себя ничѣмъ нестѣсненною.

Подобная образованность тогда только является въ истинной правильности и полнотѣ своей жизни, когда живетъ въ ней народная поэзія. Безъ поэзіи нѣтъ истиннаго народа; а она сама не имѣетъ глубокаго значенія, если не истекаетъ изъ народной жизни. Столько же несомнѣнно и то, что философія безъ поэзіи никогда не пріобрѣтетъ прочной формы. Поэзія возводитъ разъобщенныя явленія чувственнаго бытія къ живому органическому единству и разлученное собираетъ въ своенародную цѣлость; а философія сама есть верховное единство поэзіи и чувственнаго бытія.

Въ послѣдніе годы прошедшаго столѣтія былъ Шиллеръ для Германіи народнымъ поэтомъ (хотя только для образованныхъ); глубокое, поэтическое богатство Гёте оставалось тайною даже для многихъ его почитателей. Шиллеръ возбудилъ національную поэзію, и она осуществилась въ благородныхъ натурахъ нравственнымъ Германскимъ рыцарствомъ, которое обнаруживалось не въ пустомъ, упорномъ негодованіи, но созрѣвало для высшей цѣли. Философически сильнымъ выраженіемъ этого

дѣла былъ Фихте, который къ Шиллеру относился, какъ Шеллингъ къ Гёте.

. . . . . .

Когда появился Фихте, всѣ стали кричать противъ хитросплетенныхъ мудрованій, которыя удаляли его отъ всякой дѣйствительности, заманивали предаваться пустымъ метафизическимъ утонченностямъ, внутреннему раздору съ собою и почти сумасшествію. А между тѣмъ достовѣрно, что изъ школы Фихте вышли люди, соединяющіе сильное вдохновеніе съ истинно-практическимъ смысломъ.

Фихте образовалъ не много философовъ, но много прекрасно мыслящихъ людей.

. . . . . .

И теперь только (казалось мнѣ) остановился корабль мой, волнующійся по бурнымъ, бездоннымъ морямъ и присталъ на берегъ Германіи. Юношеская связь дружбы, вводящая меня также въ новое отечество, для всѣхъ моихъ желаній доставляющая мнѣ новыя выраженія, сдѣлалась мнѣ гораздо важнѣе, нежели Ристъ (доселѣ еще живой) можетъ подозрѣвать.

Я былъ друженъ со многими молодыми людьми. Кётеръ и Макензенъ были мнѣ чрезвычайно дороги; но мнѣ еще не доставало того, который разсмотрѣлъ бы все бытіе мое, и возбудилъ во мнѣ все, что было высокаго и благороднаго, дабы пересадить на другую почву. Ристъ имѣлъ въ себѣ все, чего не было во мнѣ. Я былъ безпрестанно возбужденъ и внутренно взволнованъ. Ристъ былъ всегда спокоенъ и постоянно владѣлъ собою. Когда я съ нимъ познакомился, у меня были доходы, но денегъ никогда не было во время нужное. Многіе предметы увлекали меня; нерѣдко страстное участіе къ минутной нуждѣ пріятеля, — и я тратилъ безъ разсчета. Доходы, которыми пользовался Ристъ, немногимъ превышали мои; но онъ всегда могъ располагать нужной суммой и часто помогалъ мнѣ въ необходимыхъ случаяхъ. Наружность его внушала почтеніе и участіе; а дружба его ко мнѣ столько же возвысила меня, сколько осчастливила.

Въ самое это время Гёте и Шиллеръ заключали тотъ знаменитый союзъ, который такъ сдѣлался важенъ для всей Гер-

манской литературы. Они начали вмѣстѣ издавать журналъ: *die Horen:* прелесть языка, геніальность въ изложеніи важныхъ предметовъ, признанный всѣми авторитетъ издателей, обратили всеобщее вниманіе и возбудили въ лучшихъ юношахъ такое участіе и надежды, какихъ никогда не возбуждали никакія періодическія изданія. Шиллеровы статьи о прелести и достоинствѣ, о сентиментальномъ и наивномъ, и пр., Гётевы бесѣды эмигрантовъ и знаменитая его сказка, розысканія Вильгельма Гумбольдта, — все это принято было съ живымъ участіемъ и дало поводъ ко многимъ новымъ взглядамъ, отчасти согласнымъ, отчасти рѣшительно противоположнымъ. Каждая значительная эпоха моей жизни принимаетъ въ воспоминаніи опредѣленную физіономію: эта представляется мнѣ въ нераздѣльной цѣлости всего бытія, со всѣми внутренними и наружными обстоятельствами. Эпоха жизни моей съ Ристомъ, новый міръ, имъ указанный, является мнѣ теперь какъ свѣтлый и веселый, какъ безоблачный, прекрасный вешній день. Многостороннія наши направленія касались иногда и политики, но всегда была она для насъ второстепеннымъ занятіемъ; то, что мы искали, чего съ надеждой ожидали отъ будущаго, имѣло для насъ глубокое духовное значеніе. Даже *die Horen* и Альманахъ Музъ, изданный Шиллеромъ, были намъ значительны и важны. Въ первый разъ понялъ я тогда его Ксеніи, по крайней мѣрѣ въ первый разъ понялъ значеніе ихъ содержаній и внутреннюю борьбу Нѣмецкой литературы, которая по всѣмъ направленіямъ искусства и науки готовила новую жизнь. Я видѣлъ ясно, какъ старая, окаменѣлая чешуя слупливалась, опадала завядши и изсохши, чтобы дать мѣсто новому образу; мнѣ самому мудрено было оріэнтироваться духомъ и рѣшить, займутъ ли задачи, волновавшія меня съ дѣтства, хоть какое нибудь самостоятельное мѣсто — въ этомъ новомъ порожденіи времени.

Тогда же я узналъ Жанъ-Поля: его *невидимую ложу* и *Гесперуса*. Моя многосторонняя раздражительность должна была плѣниться этими сочиненіями. Произвольныя обращенія къ многоразличнымъ отношеніямъ жизни и знанія для того, чтобы также произвольно дать имъ значеніе въ случайно приведенныхъ, мимоходящихъ обстоятельствахъ жизни, нравились моло-

дому человѣку, который самъ искалъ вездѣ и во всемъ значенія и предзнаменованія. Казалось, будто поэзія Жанъ-Поля доставляла духовное наслажденіе, но никогда не удовлетворяла, потому что средства, имъ употребленныя, были во власти всякаго юноши, занимающагося науками и запутаннаго въ различныя человѣческія отношенія. Невозможно было удержаться отъ подражанія ему; и не только юноши, но многія образованныя дамы забавлялись перепиской въ родѣ Жанъ-Поля.

И я съ великимъ жаромъ поддался тому же побужденію, но не надолго; оно не могло удовлетворить меня. Эти произвольные слипки неминутныхъ мнѣній и страннаго остроумія вели иногда къ глубокой мысли, но и она распадалась прежде построенія, и не имѣла нигдѣ основы. Именно въ Гесперусѣ, меня поразило, что Клотильда и Эммануилъ, прекрасное и возвышенное, являлись такими призраками. Эммануилъ, чтобы быть возвышеннымъ, взбирался на уединенныя скалы, шагалъ съ вершины на вершину, вперялъ не только глаза въ звѣздное небо, но и носъ пряталъ въ туманы для того, чтобъ вдохнуть въ себя неопредѣленное, туманное, исчезающее. Красота же облекалась въ такую нѣжную оболочку, что таяла при малѣйшемъ прикосновеніи и все бытіе свое испаряла въ одномъ неопредѣленномъ вздохѣ.

Духовное образованіе, которому я въ это время предался, отвлекло меня скоро отъ этого мечтательнаго міра и возбудило во мнѣ отвращеніе отъ писателя даровитаго, который, не взирая на всю ограниченную свою особенность, пользовался значительнымъ уваженіемъ.

. . . . . .

Въ это время вдругъ позвали меня въ Рендсбургъ. Отецъ мой былъ опасно боленъ, и я спѣшилъ, чтобы застать его живаго. Улучшеніе моего положенія была послѣдняя радость, доставшаяся въ удѣлъ его печальной жизни. Невыразимая грусть наполняетъ мое сердце всякій разъ, когда я объ этой горестной жизни думаю. Эта многозначущая, во всѣхъ отношеніяхъ благородная натура, была внутренно различными противорѣчіями растерзана, наружно угнетающими обстоятельствами подавлена, и никогда не могла достичь своей зрѣлости. Подъ

конецъ отецъ мой жилъ только для дѣтей своихъ. Старшій братъ мой былъ учителемъ въ артиллерійской школѣ, директоромъ артиллерійской лабораторіи, и занималъ тогда уже почетное мѣсто. Когда я послалъ отцу мой докторскій дипломъ и вскорѣ за нимъ первое мое Нѣмецкое сочиненіе, то онъ забылъ собственныя печали и казался веселъ и счастливъ. Вмѣстѣ со мною чувствовалъ онъ тягость уничиженнаго моего положенія въ Рендсбургѣ; никогда не слыхалъ я упрека; нѣжная пощада обхожденія его со мною, кротость, съ какою онъ переносилъ и заключалъ въ себѣ собственное горе, трогательная любовь, съ какою онъ пользовался всѣми, даже не значущими случаями, чтобы разсѣять меня и ободрить, — останутся мнѣ навѣки незабвенны.

Общее бѣдствіе соединяетъ тѣсный союзъ отца съ сыномъ, еще крѣпче, нежели счастіе. Все, что мнѣ встрѣчалось радостнаго въ Килѣ, тогда только меня радовало, когда я думалъ, какъ онъ это приметъ, и долго послѣ его кончины тайная горесть объ немъ смѣшивалась со всякимъ мнѣ доставшимся отличіемъ, удовольствіемъ, или почестью. И теперь еще, горькая мысль объ его растерзанной жизни бросаетъ мрачную тѣнь на мою собственную жизнь.

Я засталъ его при послѣднемъ издыханіи; онъ не узналъ меня. Скоро послѣ моего пріѣзда принялъ я послѣдній вздохъ его и закрылъ ему глаза. Ужасная загадка бытія носилась передо мною. Онъ умеръ, не получивши послѣдняго утѣшенія; пасторъ пришелъ уже поздно, и не засталъ его. Я вспомнилъ о кончинѣ матери моей, какъ она, очищенная долгою, мучительною болѣзнью, умирала просвѣтленная и благословляющая. Бѣдному отцу иная назначена была участь: неразрѣшимыя противорѣчія преслѣдовали его до послѣдняго мгновенія. Меня утѣшала увѣренность, что всѣ задачи для него уже разрѣшимы, и любовь моя, слѣдуя за нимъ по ту сторону гроба, убѣждала меня, что въ такой душѣ, какова была его, всѣ противорѣчія жизни исчезли вмѣстѣ съ мученіями смерти.

Отецъ едва успѣлъ закрыть глаза, какъ явились военные чиновники. Намъ, дѣтямъ, изъ имѣнія отца ничто не принадлежало: все слѣдовало заимодавцамъ. Офицеры обошлись съ

нами весьма грубо. Пока я сидѣлъ у смертной постели отца, погруженный въ неизъяснимую скорбь, то не могъ ни видѣть, ни помѣшать, чтобы старая служанка и полковой хирургъ, пріятель отца, кое-что не спрятали. Я опомнился, когда офицеры начали на все около насъ накладывать печати. Они изъявили обидное подозрѣніе, будто мы утаили многія вещи, и съ безстыдствомъ спросили у меня, гдѣ я взялъ часы, которые были у меня въ карманѣ? Этотъ вопросъ былъ сказанъ, когда не остыло еще тѣло отца моего. Не помню, что я говорилъ, но чиновники поражены были моими словами, и мнѣ удалось спасти немногое, доставшееся старой служанкѣ, въ награду за вѣрную ея службу.

Братъ, сестра и старая служанка, печальные остатки совершенно распадшагося семейства, были въ самомъ безпомощномъ положеніи.

Меньшая, замужняя сестра моя взяла къ себѣ служанку Старшая сестра вошла экономкой въ домъ одного почтеннаго вдовца; братъ остался одинъ въ Рендсбургѣ.

Профессоръ Бачь привелъ меня гостемъ въ профессорскій клубъ; тамъ подошелъ ко мнѣ маленькій, привѣтливый человѣкъ, который пригласилъ меня къ себѣ въ домъ: это былъ книгопродавецъ *Фроманъ*. Не за долго до моего пріѣзда, онъ оставилъ свое заведеніе въ Цюлихау и переселился въ центръ литературной дѣятельности, въ Іену. Для него это была больше духовная потребность, возбужденная прежнимъ знакомствомъ съ Берлинскими учеными, нежели денежный разсчетъ. Это умственное направленіе обнаружилось также и въ женѣ его, урожденной Бонъ. Необыкновенная привѣтливость этой четы, живое участіе, которое она принимала во всѣхъ современныхъ литературныхъ явленіяхъ, привлекли меня совершенно, и между нами образовалась скоро тѣсная связь. Мнѣ также очень нравился ихъ сѣверный образъ жизни, хозяйкою введенный. Гризъ былъ другомъ ихъ дома, и мнѣ сказали, что Гёте, пріѣзжая изъ Веймара, часто проводитъ вечера у Фромана.

Между тѣмъ пріѣхалъ Авг. В. Шлегель съ своею отлично умною женою; потомъ Шеллингъ, который для полученія профессорскаго мѣста, долженъ былъ читать пробную лекцію въ

большой публичной аудиторіи. Шеллингъ пріѣхалъ изъ Лейпцига, только что оправясь послѣ опасной болѣзни. Студенты и профессоры собрались въ большую аудиторію. Шеллингъ былъ первый изъ всѣхъ знаменитыхъ мужей, котораго знакомства я сердечно желалъ; онъ былъ моложе меня двумя годами и казался еще юношей. Онъ взошелъ на каѳедру; во всѣхъ пріемахъ его была смѣлость, твердость, опредѣленность; широкія скулы, высокій лобъ, виски рѣзко выпуклые, выраженіе энергически сосредоточенное, немного вздернутый носъ, и законодательная сила въ большихъ, ясныхъ глазахъ. Почти съ первыхъ минутъ сталъ онъ говорить свободно и непринужденно. Предметъ рѣчи его наполнялъ тогда всю его душу. Онъ говорилъ объ идеѣ натуральной философіи, о необходимости постигать природу въ ея единствѣ, о свѣтѣ, который озарилъ бы всѣ предметы, если бы дерзнули разсматривать ее съ точки единства ума. Меня привелъ онъ въ совершенный восторгъ, и я спѣшилъ на другой день посѣтить его. Всѣ естествоиспытатели занимались въ то время галванизмомъ; казалось, наступилъ великій моментъ, въ который электричество и химія, соединенныя въ высшемъ своемъ единствѣ, взаимно изъяснятъ другъ друга. Я самъ былъ весь погруженъ въ созерцаніе этого момента. Шеллингъ принялъ меня не только ласково, но радостно. Я былъ первый естествоиспытатель, который безусловно и съ восторгомъ къ нему прилѣпился. До сихъ поръ между посвятившими себя этой наукѣ имѣлъ онъ только противниковъ, и притомъ такихъ, которые его вовсе не понимали.

Разговоръ его изустный невообразимо [illegible]тъ. Я зналъ его сочиненія; раздѣлялъ, хотя несовершенно, его мнѣнія; вмѣстѣ съ нимъ ожидалъ отъ его предпріятія огромнаго переворота, и не въ однѣхъ естественныхъ наукахъ. Продлить своего посѣщенія я не могъ: молодой доцентъ занятъ былъ своими лекціями. Между тѣмъ не[illegible]ія эти минуты такъ были полны, что расширялись въ воспоминаніи на цѣлые часы. Самоувѣренность, которую я получилъ, видя согласіе Шеллинга съ моими мнѣніями, доходила почти до гордости. Онъ былъ моложе меня, но одаренный сильною натурой, воспитанный среди благопріятныхъ отношеній, пріобрѣлъ рано большую знаменитость и про-

тивостоялъ бодро и грозно цѣлому войску ослабѣвающаго вѣка, котораго предводители начали отступать боязливо и робко, хотя съ шумомъ и бранью.

. . . . . .

Францъ Баадеръ явился намъ исполненный многозначительной глубины. Его опыты элементарной философіи напечатаны были прежде Шеллинговой натуральной философіи; а въ это время появился его пиѳагорейскій квадратъ вселенной. Но Баадеръ выходилъ изъ темныхъ областей мистицизма, Шеллингъ — изъ свѣтлыхъ странъ наукообразнаго отраженія времени. Ночь мистицизма получаетъ свѣтъ свой отъ дальнихъ звѣздъ, которыхъ движеніе намъ неизвѣстно, которыя свѣтятъ только во мракѣ и не истребляютъ его. Но солнце прежняго умозрѣнія, закатившееся еще со временъ древнихъ Грековъ, восходило вмѣстѣ съ Шеллингомъ и обѣщало прекрасный, разумный день. Въ этомъ ясномъ утрѣ, проснулся я бодръ и крѣпокъ; я зналъ, что могъ предаться этому юному учителю и откровенно сознаваться въ моей преданности, не боясь за свою самобытность.

Отъ Шеллинга пошелъ я къ Фихте, который открывалъ курсъ свой о назначеніи человѣка. Этотъ маленькій ростомъ, широкоплечій человѣкъ, съ рѣзкими, повелительными чертами лица, признаюсь, внушилъ мнѣ нѣкоторый страхъ. Языкъ его былъ рѣзко остеръ; знакомый со слабостью своихъ слушателей, старался онъ всякими способами приспособиться къ ихъ понятію. Всѣ силы употреблялъ онъ, чтобы объяснить и доказать то, что говорилъ, но не смотря на то, рѣчь его была повелительна; казалось, что онъ приказывалъ безусловнымъ покорствомъ отдалить [illegible]ое сомнѣніе. «Господа!—говорилъ онъ,— войдите въ самихъ себя, одумайтесь. Здѣсь рѣчь идетъ не о чемъ нибудь внѣшнемъ, наружномъ, но единственно о насъ самихъ.» — Слушатели, такимъ образомъ вызванные, старались дѣйствительно войти въ себя. Н[illegible]торые перемѣнили положеніе, иные выпрямились; другіе [illegible]нулись и закрыли глаза; очевидно, что всѣ съ великимъ напряженіемъ ожидали, что будетъ слѣдовать за такимъ вызовомъ.—«Господа!—продолжалъ Фихте,—думайте о стѣнѣ!»—Я видѣлъ, что слушатели дѣйствительно думали о стѣнѣ, и что всѣмъ это удалось.—«Подумали

вы о стѣнѣ?—спросилъ Фихте.—Теперь, господа, подумайте о томъ, который о стѣнѣ думаетъ!» — Странно было видѣть, какое смятеніе и замѣшательство произвели эти слова. Многіе, казалось, рѣшительно не могли отыскать того, который думаетъ о стѣнѣ; и тутъ только я понялъ, что молодые люди, которые, при первомъ усиліи къ умозрѣнію, такъ неудачно спотыкались, могутъ попасть въ опасное направленіе при дальнѣйшихъ попыткахъ. Фихте изъяснялся превосходно, опредѣленно, ясно; я совсѣмъ былъ увлеченъ предметомъ и долженъ признаться, что никогда не слыхалъ ничего совершеннѣе и лучше.

. . . . . .

Постепенно познакомился я со многими семействами. Одно изъ самыхъ для меня пріятныхъ было семейство Авг. В Шлегеля: его высоко образованной, замѣчательной жены и любезнѣйшей его дочери. Въ ихъ домѣ познакомился я также съ *Гуфеландомъ*, соредакторомъ Литературной газеты, который радушно и привѣтливо меня принялъ. Гуфландъ, Шлегель и Фроманъ составляли кругъ, въ которомъ я ежедневно вертѣлся; также посѣщалъ я часто Гриза, и сдѣлался такимъ образомъ живымъ участникомъ и членомъ тѣснаго круга, который обширной своей дѣятельностью переобразовывалъ всю литературу. Въ этомъ кругу разговаривали исключительно о литературныхъ предметахъ, о спорахъ писателей между собою, объ отношеніяхъ ихъ къ противникамъ, и я, не бывши еще писателемъ, очутился на полѣ брани и предвидѣлъ, что рано или поздно замѣшанъ буду въ публичныя эти распри. Я находился въ состояніи безпрерывнаго творчества, въ постоянномъ ученомъ восторгѣ. Мысли тѣснились толпою, но для разработки ихъ недоставало мнѣ необходимаго спокойствія. Я выучивалъ, дѣлалъ опыты и безпрестанно сильнѣе вторгался въ очарованный кругъ новыхъ мыслей. Шеллингъ преподавалъ натуральную философію по програмѣ, которой печатный листокъ раздавался слушателямъ. Я не пропускалъ этихъ лекцій; каждый часъ давалъ мнѣ новыя задачи, и каждый день пребываніе мое въ Іенѣ становилось для меня значительнѣе.

Иногда меня самого удивляло, что я такъ внезапно, безъ всякаго перехода, очутился въ срединѣ кипящихъ элементовъ

новаго времени, которыхъ двигатели разсчитывали на мое участіе. До сихъ поръ я жилъ въ совершенномъ ученомъ уединеніи; что мнѣ казалось всего важнѣе, тѣмъ я не могъ дѣлиться ни съ кѣмъ; даже глубокомысленный Макензенъ сдѣлался мнѣ чуждымъ, ограничась произвольно одной Кантовой критикой. Помню, какъ онъ однажды сказалъ, что Кантъ «кажется ему высокимъ геніемъ, который съ сверхчеловѣческой ясностью смотритъ на границы человѣческаго сознанія.» — Мнѣ было непостижимо, какъ могъ онъ, взявши такую высокую точку опоры, сковать себя въ узкихъ границахъ такой бѣдной чувственности. «Мнѣ кажется онъ,—отвѣчалъ я,—скорѣе «геніемъ падшимъ, котораго прирожденныя воспоминанія, не «ясно имъ сохраненныя, мучатъ, но не удовлетворяютъ.» — Макензенъ такъ разсердился за этотъ отвѣтъ, что испугалъ меня, тѣмъ болѣе, что порывы гнѣва были чужды спокойному и серьёзному его характеру. Съ тѣхъ поръ я зналъ уже, что онъ меня никогда не пойметъ, и не могъ дѣлить съ нимъ того, что постоянно занимало меня, что сдѣлалось потребностью всей моей жизни. Я заключился въ самомъ себѣ; между тѣмъ жестоко огорчился, когда узналъ о смерти Макензена: я чувствовалъ, что навсегда разорвалась наша крѣпкая духовная связь, и потеря его была мнѣ чрезмѣрно чувствительна.

Какая разница была въ теперешнемъ моемъ положеніи! То, чему я одинъ съ собою предавался тайно, сдѣлалось занятіемъ людей знаменитыхъ, громко высказывалось въ произведеніяхъ литературы и стремилось получить историческое значеніе. Брошенный въ этотъ сильный потокъ развитія, я находился уже не одинъ. Я пришелъ въ тѣсное соприкосновеніе съ тѣми людьми, которые занимали меня въ моемъ уединеніи, которыхъ знакомства я такъ сильно желалъ. Одинокій монологъ измѣнился въ живую бесѣду. Задачи собственныя и чужія сообща разрѣшались мною и друзьями моими; часто *все* казалось мнѣ даромъ, чѣмъ-то сообщеннымъ, которымъ я пользовался съ благодарною радостью; и потомъ опять это *все* являлось моею внутреннею собственностью, истекшею изъ моего внутренняго созерцанія. Ближе всѣхъ мнѣ былъ Шеллингъ, и противоположное направленіе нашего образованія должно было усилить

это взаимное влеченіе другъ къ другу. Онъ перешелъ отъ философіи къ природѣ; я узналъ тогда его прежнія философскія сочиненія и удивился спокойной и ясной энергіи, съ которою юноша Шеллингъ обсуживалъ и выражалъ глубочайшія задачи спекулативнаго мышленія. Ему едва минуло 20 лѣтъ, когда онъ окончилъ свое сочиненіе: *Я, какъ начало философіи* (das Ich als Prinzip der Philosophie),—духовное сокровище, скрытое отъ нашего вѣка, отверженное и неузнанное временемъ, стремящимся къ самоограниченію. Принадлежа ему, онъ былъ призванъ на то, чтобы отрыть его. Были минуты, въ которыя я пугался силы его присутствія; склонность и внѣшнія обстоятельства съ первыхъ лѣтъ сдружили меня съ природой; меня питали ея внѣшніе предметы; духовное съ нею сліяніе скрывалось въ тихомъ развитіи и долго мнѣ являлось въ мечтахъ и сновидѣніяхъ, отрѣшенное отъ сознанія. Спиноза разбудилъ меня отъ сна; Шеллингъ первый воздвигъ къ дѣятельности.

Исторія и природа получили совсѣмъ другое значеніе: звуки прошедшаго времени, событія и поученія, поэзія и искусство, высказывали мнѣ такія тайны, какихъ я и не подозрѣвалъ; даже отношенія общественныя, люди ко мнѣ близкіе, получили какой-то блескъ и казались мнѣ явленіями изъ міра доселѣ скрытаго, и вдругъ чудесно передо мною разверзшагося. Да, это время было полно горячаго, богатаго вдохновенія; не одинъ я проникнутъ былъ энтузіазмомъ этихъ дней, но какъ чужеземецъ, я, привлеченный изъ дальнихъ странъ, сильнѣе волновался внезапнымъ ихъ движеніямъ, озарялся ихъ неожиданнымъ сіяніемъ.

. . . . . .

Однажды получилъ я отъ Фромана приглашеніе на вечеръ; ожидали Гёте. Кто знаетъ, чѣмъ былъ для меня Гёте, съ самаго дѣтства моего, тотъ пойметъ, въ какомъ напряженномъ состояніи встрѣчалъ я этотъ вечеръ.

Все семейство Шлегеля удивлялось тому, какъ я твердо изучилъ стихи Гёте, и какъ много зналъ оныхъ. Однажды захотѣлось имъ слушать, какъ иностранецъ, житель сѣвера, говоритъ стихи великаго поэта. Меня попросили прочесть что

нибудь изъ Фауста, первый отрывокъ котораго тогда появился. Книгу не скоро нашли, и первый монологъ сказалъ я наизусть. Потомъ, когда захотѣли слышать продолженіе, я, безъ помощи книги, сказалъ большую половину того, что было напечатано. Дамы были въ восхищеніи и нетерпѣливо желали прибытія Гёте, чтобы меня ему представить. И такъ въ этотъ вечеръ Фроманъ исполнялъ желаніе всѣхъ моихъ друзей.

Необыкновенное чувство наполняетъ душу, когда въ первый разъ являешься передъ человѣка, который имѣлъ большое, рѣшительное вліяніе на жизнь нашу. Эта минута составляетъ цѣлую эпоху, и я пошелъ къ Фроману, внутренно готовясь на важное, роковое для меня событіе. Гёте явился. Всякому, кто видалъ его хотя одинъ разъ, извѣстно, какъ сильно поражали благородная, величавая его наружность, могущественный его взоръ, истинное величіе всей его особы, спокойствіе чела и физіономіи въ то время, когда внутренній, богатый міръ игралъ въ немъ и двигался. Я принужденъ былъ отвернуться, увидѣвъ его, чтобы скрыть слезы, которыя невольно выступили на глаза. Мнѣ казалось, что я вижу Эгмонта, и что онъ является къ намъ въ образѣ Тасса, герцога Оранскаго, въ образѣ Антоніо. Въ гостиной Фромана былъ въ то же время изъ Лифляндіи графъ Штакельбергъ, съ своей милой и прекрасной женою; насъ вмѣстѣ представили Гёте.

Весьма простительно было мнѣ мечтать, что Гёте могъ отгадать всю значительность свою въ моихъ глазахъ; но Гёте весь вечеръ разговаривалъ съ гр. Штакельбергомъ, и мнѣ не удалось ни на минуту привлечь его вниманіе.

Гёте былъ въ самомъ цвѣтѣ лѣтъ своихъ. Важное спокойствіе его движеній начало раздражать меня; я молчалъ, былъ смѣшанъ и униженъ. Я сталъ припоминать разные разсказы объ его гордости, холодной снисходительности, и пошелъ домой въ невыносимо горькомъ, раздраженномъ расположеніи духа. Мнѣ казалось сближеніе съ нимъ теперь уже невозможнымъ. Жители сѣвера въ подобныхъ случаяхъ вообще раздражаются легко, и мнѣ до самой старости приходилось бороться съ тяжелой, горькой щекотливостью, которая часто меня печально уничтожала. Извѣстно, какую непріятную сцену другъ мой

Эленшлегеръ имѣлъ съ Гёте. По счастію, я скрылъ свое неудовольствіе и шелъ домой, повторяя слова Филины: «какая тебѣ нужда, что я люблю тебя?» Между тѣмъ меня давило чувство уничтожающее, черною тѣнью распростершееся на всю мою прошедшую жизнь.

На другой день я спѣшилъ передать скорбь свою Шлегелю. Жена его испугалась живости моего огорченія и сердилась, за чѣмъ Фроманъ предупредилъ ее. Она хотѣла во второй разъ свести меня съ Гёте и совершенно изгладить непріятное впечатлѣніе. Сѣверная моя упорность этого не допустила. Чѣмъ выше ставилъ я его, чѣмъ рѣшительнѣе предалъ ему жизнь свою, тѣмъ невозможнѣе казалось мнѣ въ другой разъ ему представиться. Я объявилъ, что ожидаю теперь отъ Гёте перваго привѣтствія, и твердо на томъ настаивалъ. Скоро послѣ того пригласилъ меня на вечеръ Шлегель. У нихъ былъ Гёте, и по ихъ доброму ко мнѣ расположенію они это отъ меня утаили. Однакожъ я узналъ, что Гёте у нихъ, воротился домой и пересталъ являться въ общество. Такъ прошли нѣсколько недѣль; я всѣ силы употреблялъ на то, чтобы разсѣять себя ученьемъ. Иногда это удавалось, но и тогда преслѣдовала меня какая-то тоска, какъ будто случилось со мною великое несчастіе. Семейство знаменитаго анатомика Лодера принадлежало къ числу тѣхъ, которыя меня ласково приняли. День рожденія его приближался; чтобы праздновать этотъ день, собрались сыграть комедію. Выбрали пьесу: *актеръ по неволѣ*. Чрезвычайная моя живость заставила предположить, что я хорошо сыграю главную роль, и я взялся сыграть ее. Странно довольно, что въ Копенгагенѣ, когда я страстно дышалъ однимъ только театромъ, меня не считали способнымъ хорошо выполнить какую нибудь роль; а здѣсь увѣренность въ моемъ талантѣ казалась мнѣ очень естественна. Устроили театръ; сдѣлали нѣсколько репетицій; мнѣ поручили не только главную роль, но и все устройство. Многія образованныя дамы играли съ нами. Извѣстно, что въ главной роли есть множество мѣстъ, которыя декламируютъ изъ различныхъ драммъ: написанныя въ комедіи весьма уже устарѣли. Я замѣнилъ ихъ напыщенными декламаціями изъ Иффланда и Шиллера. У Шиллера выбралъ я моно-

логъ изъ Фіеско, когда отчаянный герой восклицаетъ: «Если бы я вселенную держалъ зубами, то сталъ бы жевать ее и терзать до тѣхъ поръ, пока она вышла бы ужасна, какъ скорбь моя!» — Другое мѣсто взялъ я изъ *Коварства и любви*, гдѣ отчаянный герой почитаетъ себя въ аду, прикованнымъ къ одному колесу съ тиранами, и съ ними вмѣстѣ скрежещетъ зубами и стонетъ.

Всѣ репетиціи кончились; мы собрались для главной; вдругъ входитъ Гёте. Онъ привѣтливо обѣщалъ, какъ часто бывало въ подобныхъ случаяхъ, дирижировать главной репетиціей: отъ меня это скрыли. Раскланявшись съ дамами, пошелъ онъ прямо ко мнѣ, и говорилъ со мною дружелюбно и ласково, какъ съ старымъ знакомымъ. «Я давно жду васъ къ себѣ въ Веймаръ,— сказалъ онъ,—мнѣ нужно обо многомъ поговорить съ вами, многое сообщить вамъ. Надѣюсь, что вы не откажете поѣхать со мною въ Веймаръ, послѣ всѣхъ этихъ праздниковъ.»—Былъ ли кто счастливѣе меня! Мнѣ вдругъ стало привольно въ Іенѣ. Я былъ въ восторгѣ, и радостное торжество мое смѣло излилось въ игру мою. Гёте то тому, то другому давалъ совѣты; передъ душею моею весело носились драматическія явленія Вильгельма Мейстера, которыя здѣсь осуществлялись присутствіемъ великаго писателя. Когда я продекламировалъ мѣста изъ Шиллера, Гёте подошелъ ко мнѣ и сказалъ ласково: «выберите какія нибудь другія мѣста! оставимъ въ покоѣ друга нашего Шиллера!» Странно было то, что ни мнѣ, ни присутствующимъ, не показался выборъ этотъ неприличнымъ. Въ этомъ виною были отчасти братья Шлегели, которые часто судили Шиллера весьма строго. Но у меня и другое было извиненіе. Я видѣлъ эту пьесу на Гамбургскомъ театрѣ, гдѣ актеръ Герцбергъ или Герцфельдъ съ презабавнымъ преувеличеньемъ представлялъ эти сумасбродныя мѣста, а я подражалъ ему. Между тѣмъ я тотчасъ предложилъ взять Коцебу вмѣсто Шиллера, и безъ труда нашелъ множество сумасбродныхъ декламацій. День рожденія отпраздновали благополучно, пьесу сыграли, и я пріобрѣлъ славу хорошаго актера, чего мнѣ въ Копенгагенѣ не удавалось.

Черезъ день послѣ представленія, Гёте, согласно съ усло-

віемъ нашимъ, остановился у моей квартиры; я сбѣжалъ внизъ съ чемоданомъ и, сидя рядомъ съ Гёте, поѣхалъ въ Веймаръ. Нѣсколько дней провелъ я у него въ гостяхъ.

Гёте былъ въ высшей степени сообщителенъ; онъ желалъ, чтобы молодые испытатели природы раздѣляли его мнѣнія. Два дня прошли въ разговорахъ, касающихся единственно до естественныхъ наукъ. Я узналъ Гёте съ совершенно мнѣ незнакомой стороны. Глубокое чувство природы, живая творческая сила, проникающія всѣ его стихотворенія и разливающія на нихъ такой яркій свѣтъ, стремились къ самосознанію; растенія, животныя и живительный свѣтъ, который разсматривался какъ отдѣльный предметъ между прочими предметами, подобно имъ разлагался и дѣлился на цвѣта и краски, сообщаясь такимъ образомъ со всѣмъ живымъ, только наружнымъ отношеніемъ, — все являлось здѣсь хотя не въ признанномъ единствѣ, но соединенное глубокимъ духовнымъ инстинктомъ. Для меня эти немногіе дни были весьма значительны. Казалось, будто Гёте зналъ, къ чему я стремлюсь; зналъ всѣ направленія моей жизни и спокойно обладалъ тѣмъ сокровищемъ, котораго я такъ заботливо искалъ и которое досталось ему какъ даръ благосклонной природы. Короткое это время прожилъ я какъ въ чаду; я рѣшительно убѣдился, что живое разсматриваніе природы, источникъ истинной поэзіи, навсегда перейдетъ также въ исторію. Прежняя жизнь моя казалась мнѣ темнымъ предсказаніемъ чего-то готоваго исполниться, и я спѣшилъ возвратиться въ Іену, чтобы сообщить Шеллингу новое свое открытіе. Между тѣмъ Шеллингъ все зналъ еще прежде меня. Былъ ли онъ прежде въ личныхъ отношеніяхъ съ Гёте или нѣтъ, не помню, и потому сказать не могу.

Постоянное умственное напряженіе еще не было доведено тогда до кристаллизаціи неподвижной школы; оно было живо, дѣятельно, полно всѣми событіями исторіи и природы, признавало глубоко-важный жизненный элементъ въ поэзіи и искусствахъ, и потому всякое значительное явленіе возбуждало живѣйшее участіе. Правда, братья Шлегели не очень уважали Шиллера, между тѣмъ какъ почти боготворили Гёте. Съ искуснымъ остроуміемъ находили они и указывали на глубокія

намѣренія, скрытыя въ Вильгельмѣ Мейстерѣ, называли это сочиненіе историческимъ событіемъ, ставили на ряду со всѣми великими и важными происшествіями того времени, видѣли въ немъ рѣшительный переворотъ въ литературномъ направленіи жизни—и въ то же время, при всякомъ случаѣ, унижали Шиллера и судили его съ односторонней суровостью. Я не раздѣлялъ въ этомъ ихъ мнѣнія. На меня сильное имѣлъ вліяніе рыцарскій духъ его стихотвореній, а прямое, серьёзное чувство, которымъ проникнуты его драмы, плѣняло мою душу; я не могъ согласоваться съ ироническимъ направленіемъ, которое вездѣ въ жизни находило безпрестанную пищу для насмѣшки.

. . . . . .

. . . . . Святое воспоминаніе младенческихъ лѣтъ, хотя подавленное во мнѣ, но никогда не исчезавшее, полагало твердую основу всякому созиданію. Я никогда не ставилъ Шиллера наравнѣ съ Гёте, находилъ въ его сочиненіяхъ нѣкоторую ограниченность, но все, что писалъ онъ, казалось возвышеннымъ и просвѣтленнымъ, отъ чистаго, благороднаго строя его души. Въ его стихотвореніяхъ я находилъ сокровища, которыя могли развиться только въ его рыцарскомъ, великодушномъ воззрѣніи. Между тѣмъ порицанія Шиллеру, которыя я безпрестанно слышалъ, не могли не имѣть на меня вліянія. Я былъ внезапно перенесенъ изъ умственнаго моего уединенія, изъ общества, гдѣ я былъ важнымъ лицомъ, въ средину людей, господствующихъ надъ литературой и, по моему убѣжденію, достойныхъ этого господства. Авторитетъ ихъ имѣлъ надо мною сильную власть, и тамъ, гдѣ внутренно не раздѣлялъ ихъ мнѣнія, я молчалъ.

Шиллеръ работалъ уже нѣсколько лѣтъ надъ своей великой драмой: Валленштейнъ. Лагерь Валленштейна былъ уже представленъ на сценѣ, и Гёте принималъ живое участіе въ игрѣ актёровъ. Мнѣ кажется, что это былъ первый прекрасный плодъ дружескаго союза обоихъ поэтовъ. Пестрыя, перемѣняющіяся явленія этого пролога казались Гёте весьма благопріятными для представленія, драматическимъ сочиненіемъ, подобнымъ музыкальному; и дѣйствительно, этотъ пестрый прологъ оставилъ вообще ясное и благодѣтельное впечатлѣніе. Черезъ

всю игру дѣйствующихъ лицъ проглядываетъ таинственно трагическая минута, предвѣщающая гибель героя драмы. Въ своемъ родѣ это представленіе можно назвать совершеннымъ. Обстановка была также превосходная; декораціи не только приличны, но и прекрасны. Тогда еще рама не затемняла картины. Мы всѣ были въ самомъ веселомъ, согласномъ расположеніи духа, и никто въ Іенѣ не пропускалъ ни одного хорошаго представленія. Образованныя семейства почитали значительнымъ событіемъ это драматическое предпріятіе, возникшее въ ихъ кругу и долженствующее дать высшее значеніе искусству, новый блескъ городу и университету.

Первая часть великой драммы: Пиколомини, была готова, выучена актерами и въ первый разъ являлась на сценѣ. Замѣчательно было волненіе, съ какимъ ожидали этого представленія При первомъ извѣстіи, всѣ профессорскія семейства спѣшили запастись мѣстами и съ великимъ трудомъ доставали билеты. Жены и дочери интриговали другъ противъ друга, и тѣ были счастливы, кому удавалось добыть мѣсто. Родились и вражды, которыя безъ послѣдствій не остались. Я поѣхалъ въ одной каретѣ съ Гуфландомъ, Лодеромъ, обѣими ихъ женами и прекрасной дочерью Лодера. Всѣ шестеро остановились въ гостинницѣ Слона, и тотчасъ поспѣшили въ театръ. Жена Шлегеля осталась дома, также и Шеллингъ, постоянно занимавшійся своими лекціями. Мнѣ досталось мѣсто въ ложѣ Шиллера, и тутъ только познакомился я съ нимъ лично.

Излишнее будетъ говорить здѣсь объ этой драмѣ. Каждый раздѣлялъ восторженное расположеніе публики.

Подлѣ меня сидѣлъ Шиллеръ самъ, и не только былъ всѣмъ доволенъ, но казался совершенно счастливъ. «Такая игра актеровъ,—говорилъ онъ,—объясняетъ мнѣ самому пьесу; она становится благороднѣе, лучше, нежели я написалъ.» Всего больше удивляла меня похвала его актрисѣ, которая играла роль гр. Терцкой. Правда, была живость, даже страсть въ ея игрѣ, въ потокѣ рѣчей своихъ не останавливалась она ни на минуту, правильно поняла свою роль; но во всей особѣ ея, въ движеніяхъ, въ выговорѣ, было столько низкаго, пошлаго, что мнѣ

была она до глубины души противна, а Шиллеръ восхищался ею. Я не могъ постигнуть, какъ Шиллеръ, привыкшій къ выговору верхней Германіи (hoch Deutsch), могъ терпѣть низкій Берлинскій выговоръ. Самъ Гёте, который нѣсколько разъ входилъ къ намъ въ ложу, казался представленіемъ доволенъ, хотя не съ такимъ восхищеніемъ выражался, какъ Шиллеръ. Кромѣ того, что могъ онъ хотѣть не помѣшать удовольствію автора, Гёте самъ имѣлъ право радоваться этимъ представленіемъ; послѣ столькихъ многотрудныхъ репетицій, пріятно видѣть, до чего можно достигнуть, не смотря на всѣ препятствія и на весь недостатокъ хорошаго матеріала.

Тотчасъ послѣ представленія, мы отправились назадъ въ Іену и, не смотря на поздній часъ, собрались у нашей отлично умной профессорши Шлегель. Она требовала, съ свойственной ей рѣшительностью, опредѣлительнаго сужденія драмѣ, и тутъ-то ясно было видно, какъ первое впечатлѣніе, непосредственно произведенное новой пьесой, нелегко изглаживается самой рѣзкой критикой. Критикъ по большей части долженъ уничтожать это живое, непосредственное впечатлѣніе, когда хочетъ судить о замѣчательныхъ явленіяхъ литературы по всѣмъ ея направленіямъ, особливо если опредѣленныя рубрики служатъ основою его сужденій. Онъ пренебрегаетъ истиннымъ, внутреннимъ источникомъ сужденій, и цѣнитъ одинъ отвлеченный рубрикъ

Въ нашемъ кругу, никто не имѣлъ желанія благосклонно смотрѣть на Шиллера, никто не отдавалъ ему даже справедливости; но сильное впечатлѣніе, произведенное представленіемъ, высказывалось противъ воли. Помню, какъ профессорша Шлегель, слушая наши рѣчи, изъ которыхъ нельзя было понять ничего опредѣленнаго, повернулась ко мнѣ и сказала: «ну, скажите же вы вашъ приговоръ?» — Шлегель, благоразумнѣйшій между нами, молчалъ. Меня же поразило тогда нѣкоторое сходство между Валленштейномъ и Донъ Карлосомъ; та же мысль служитъ основою обѣихъ пьесъ, хотя развита въ совершенно различныхъ отношеніяхъ. Любовь Теклы и Макса, и тихая, самимъ имъ невѣдомая склонность между Елисаветою и марки-

зомъ Позой, невольнымъ признаніемъ вырывающаяся при разлукѣ, выражаютъ одну и ту же мысль, хотя въ другихъ положеніяхъ. Вся тема, конечно, совершенно разная, даже противоположная; но когда Елисавета въ концѣ третьяго акта говоритъ: «теперь ужь я не уважаю ни одного человѣка!» (ich schätze kein en Mann mehr!) когда Поза отвѣчаетъ ей: «Ахъ однако же жизнь прекрасна!» — то нельзя не признать сходства съ извѣстнымъ восклицаніемъ Теклы: «таковъ удѣлъ прекраснаго на свѣтѣ!»

Съ великимъ жаромъ сообщилъ я это воззрѣніе во всей свѣжести его развитія. Тайная любовь Позы и Елисаветы, чистый союзъ высокаго и прекраснаго въ самой непорочной чистотѣ, ясности, еще прежде восхищалъ меня и сильно волновалъ, хотя характеръ Донъ Карлоса становится тѣмъ еще ничтожнѣе, еще незначущѣе. Нераздѣленная любовь его выходитъ также болѣзненна и ничтожна, какъ его политическія мнѣнія, въ которыхъ всюду отсвѣчивается одинъ Поза. Тамъ, гдѣ естественнымъ ходомъ вещей, любовь рождается отъ предмета, — тамъ нѣтъ любви; а тамъ, гдѣ собственно отъ него самого должны происходить мнѣнія и чувства, — тамъ нѣтъ у него своихъ мнѣній.

Всего же болѣе мнѣ не нравилась въ Шиллерѣ (и это непосредственно соединилось съ впечатлѣніемъ перваго представленія) однообразная декламація, которую онъ придавалъ всѣмъ своимъ лицамъ. Согласный тонъ всѣхъ различныхъ дѣйствующихъ особъ вынуждалъ монотонность представленія, невыносимо утомительную для зрителей. Самый лучшій актеръ не можетъ сохранить въ этомъ однообразіи своей самостоятельной физіономіи. Послѣ мнѣ сдѣлалось ясно, какъ это Шиллерово декламаторское направленіе повредило сценѣ, какъ односторонняя декламація задушила всѣ яркія особенности лицъ и драматическій ихъ характеръ; какъ, черезъ это, составилась какая-то особливая театральная дикція, преимущественно воспитанная Ифландомъ, которая не только господствуетъ на сценѣ, но перешла и въ другіе отдѣлы, находится во всякой произносимой рѣчи, слышна на каѳедрахъ и даже въ устахъ школь-

ника, когда ему случается говорить на публичныхъ актахъ. Противъ этого однообразія необходимо вооружаются наружными эффектами; все драматическое дѣйствіе произведено внѣшними волнующими происшествіями; но эти происшествія, не заключенныя въ глубинѣ внутренной личности, потрясаютъ только возбужденной ими бурей. Такой декламаторскій элементъ, утвержденный на внѣшнемъ эффектѣ, господствуетъ теперь въ искусствѣ, въ живописи и больше еще въ музыкѣ. Въ живописи своебытныя лица, съ собственно принадлежащимъ имъ характеромъ, въ музыкѣ глубокія самородныя мелодіи, въ себѣ самихъ заключенныя, исчезли почти совершенно. Такимъ образомъ во всѣхъ явленіяхъ декламація сдѣлалась чистымъ выраженіемъ пустой абстракціи, нами владѣющей, идеалъ, вмѣсто живой, глубоко значительной личной идеи. Всѣ наши надежды на будущее заключаются въ томъ, чтобы волны декламаторства успокоились и изсякли; чтобы въ поэзіи ожила своебытность лицъ, какъ прежде у Гёте, какъ теперь у Тика; чтобы искусные, достойные живописцы умѣли признать необходимость этой самобытности. Безсмертный *Торвальдсенъ* возмогъ въ наши дни воскресить пластику и каждому образу рукъ своихъ вдохнуть самостоятельную личность; первобытныя мелодіи Феликса Мендельсона сохраняютъ глубину своей звучной первобытности и, отличаясь отъ нестройнаго хаоса нынѣшняго эффектнаго выказыванія, властію могущаго дарованія переносятъ насъ въ блаженныя времена Генделя и Баха.

. . . . . .

Въ Нѣмецкихъ университетахъ нѣтъ средства избѣгнуть застоя массы устарѣвшихъ преподавателей. Конечно, теперь не можетъ уже быть такихъ отношеній, какія были тогда; быстрые успѣхи въ наукахъ и исторіи содержатъ каждаго въ постоянномъ напряженіи; даже юношеское вдохновеніе имѣетъ глубокую основу. Но масса остается массой, и какъ бы внѣшнія обстоятельства ее не ворочали, она умѣетъ сохранить свое нетревожное спокойствіе.

Въ то время, когда я имѣлъ счастіе быть въ Іенѣ, развивалась свѣжая юношеская образованность и давала новый полётъ всей Нѣмецкой литературѣ. Заслуженными профессорами были

тамъ *Паулусъ* и *Гризбакъ* въ теологическомъ факультетѣ; совѣтникъ юстиціи *Гуфландъ* почитался свѣдущимъ юристомъ; Гурландъ, Гринеръ Штаркъ прославляли медицинскій факультетъ; *Бачь* былъ отличный ботаникъ; Шицъ и Эйлштадтъ—знаменитые филологи. Многіе изъ этихъ достойныхъ людей занимались единственно своими предметами и не вмѣшивались въ возникающія литературныя ссоры. Другіе же, напротивъ, рѣшительно изъявляли свое неудовольствіе; иные по необходимости своихъ литературныхъ отношеній, какъ напр. Шицъ и юристъ Гуфландъ, редакторы Литературной газеты; прочіе же въ слѣдствіе полемической своей натуры. Скоро образовалась оппозиція, составленная изъ большинства старыхъ профессоровъ противъ Фихте, Шеллинга и Ав. В. Шлегеля. Одинъ только *Паулусъ* рѣшительно взялъ сторону Фихте. Противники всѣми силами старались вредить и оскорблять всѣхъ трехъ ненавистныхъ имъ мужей; но покровительство свыше и явное, рѣшительное за нихъ заступленіе новыхъ профессоровъ, позволяли имъ равнодушно смотрѣть на тайные и явные нападки: начались всякаго рода сплетни, которыя тщательно распространялись всюду.

. . . . . .

Но согласіе, которое царствовало между виновниками этого важнаго литературнаго переворота, доставляло великую пріятность нашей общей жизни въ Іенѣ.

При всякомъ органическомъ развитіи, различныя образованности, едва отличаясь, исходятъ изъ одного пункта; здѣсь каждый, не нарушая единства, стремился своими средствами къ общему дѣлу, и союзъ столькихъ людей, въ высшей степени замѣчательныхъ, дѣйствовалъ значительно. Фихте и Шеллингъ поняли свое отличіе, но тогда еще не высказались. Они видѣлись не часто; Фихте не могъ находить наслажденія въ натуральной философіи Шеллинга, и между ними скрывалось враждебное разъединеніе. Но такъ какъ, въ это время, Фихте преподавалъ этику и съ нею связанное естественное право, то оба—Шеллингъ и Фихте, шли нѣсколько времени рядомъ и безъ ссоры. Это былъ послѣдній остатокъ Кантовскаго разлученія

между практической и теоретической философіей, обоими еще не сознаннаго, но обоими уже властвующаго.

Но не одни пребывающіе въ Іенѣ, и отсутствующіе участвовали также въ литературномъ союзѣ, и дѣйствовали въ одинаковомъ духѣ. Берлинъ былъ у насъ тогда въ большомъ презрѣніи и почитался сборищемъ плоскихъ умовъ и пошлаго здраваго смысла.... Всеобщая Германская библіотека, издаваемая *Николаемъ*, Берлинская ежемѣсячная газета, издаваемая *Бистеромъ*, казались намъ рѣзкимъ отпечаткомъ пошлыхъ разсужденій. Однакоже и въ Берлинѣ имѣли мы значительныхъ союзниковъ, между коими Шлейермахеръ былъ мнѣ вовсе незнакомъ. Тикъ нравился мнѣ какъ поэтъ, хотя первыя сочиненія его не сдѣлали никакого впечатлѣнія въ Германіи. Братья Шлегели первые обратили вниманіе на блестящій и самобытный талантъ этого писателя, и вообще непонятно, почему прелесть его поэтическаго языка и свѣжесть воззрѣнія остались такъ долго незамѣтны.

Ав. В. Шлегеля переводъ Ромео и Юліи, обозрѣніе этой пьесы, статья его о Дантѣ, разговоры, связанные съ такою работою, — все отдаляло мысли наши отъ сжатой современной литературы и мѣлочныхъ ея занятій, и пріучало насъ искать обширнаго размѣра въ стихотворствѣ; мы видѣли, что понятіе о поэзіи, нѣкогда проникавшее жизнь, искусство, науку и гражданственность, исчезло совершенно, и чувствовали, что его оживить должно.

Способность понимать искусство была также пробуждена; до сихъ поръ я имѣлъ объ немъ только предчувствіе. Лаокоонъ Лессинга заставлялъ меня мыслить, но не показывалъ предмета. Я прочелъ Винкельмана — перваго, который оживилъ пластическое искусство древнихъ. Классическій языкъ его, простой, величественный, чудесный, странно звучалъ для того времени, въ которое вышло его сочиненіе. Читая его книгу, я приведенъ былъ въ такое же положеніе, въ какомъ, вѣроятно, былъ самъ Винкельманъ, когда въ маленькомъ городкѣ своемъ прилѣпился къ пластическому искусству древнихъ. До тѣхъ поръ я не видалъ еще ничего; глазъ мой былъ закрытъ для искусства. То, что Гёте привѣтливо показывалъ мнѣ, могло

имѣть цѣну только для открытыхъ очей. Съ сѣвернымъ прямодушіемъ сознавался я, что мнѣ недостаетъ художественнаго смысла, и съ сокрушеніемъ думалъ, что это существенно нравственный недостатокъ. Я былъ перенесенъ въ другой, высшій міръ, и все, что въ этомъ мірѣ жило, не должно быть мнѣ чуждо. Какъ въ природѣ ощутительно окружали меня небо и земля, горы, моря, растенія и животныя, такъ и въ духовномъ мірѣ, въ которомъ я дышать начиналъ, всѣ предметы должны были со мной сродниться. Не могъ я, подобно другимъ, показывать того энтузіазма, котораго не чувствовалъ. Гёте утѣшалъ меня. Вся моя надежда полагалась на Италію, куда со временемъ мечталъ съѣздить; но Гёте эту надежду обратилъ на Дрезденъ. «Поѣзжайте туда,—сказалъ онъ;—сокровища, которыя вы тамъ найдете, будутъ введеніемъ вашимъ въ художественный смыслъ.» — Прямодушіе, съ которымъ я стремился къ невѣдомымъ мнѣ наслажденіямъ духовнымъ, очень ему нравилось.

Музыка также была мнѣ непостижима. Были мелодіи, которыя трогали меня до глубины души; но обширный міръ звуковъ только смущалъ меня, и впечатлѣніе, минутами произведенное отдѣльною пѣснью, терялось въ запутанномъ цѣломъ, мнѣ непонятномъ. Когда я слушалъ Гайдена или Моцарта, то чувствовалъ смутное и томительное страданіе, и никакъ не понималъ восторга, около меня раздающагося.

Но все, мнѣ непонятное, было теперь возбуждено. Меня волновало не холодное размышленіе, но пламенная новая жизнь, и самое предчувствіе страданія было мнѣ подстреканіемъ къ горячему любопытству.

Всѣ, тогда еще дружные писатели, собирались часто у гостепріимнаго, привѣтливаго Фромана. Многія дамы посѣщали его; Гёте не рѣдко являлся. Со мною обходились, какъ съ самымъ близкимъ родственникомъ, и я никогда не забуду материнскаго вниманія г-жи Фроманъ. Мужъ ея издавалъ тогда Зербину, сочиненіе Тика; оно выходило листочками, и каждый выпускъ читали мы вмѣстѣ. Поэтическіе звуки этой чудной драммы глубоко въ душѣ моей отзывались, и теперь еще, при одномъ воспоминаніи, переносятъ меня въ свѣтлый міръ веселой поэзіи. Какъ ребенокъ, перенесенный на чужую сторону, зна-

комится вдругъ со множествомъ предметовъ, такъ и я узналъ въ это время, какую невѣроятную силу имѣетъ воспріимчивость во всемъ внутренно пережитомъ, а не просто передуманномъ... Извѣстно, что въ Зербино находится очень много намёковъ на мимолетныя явленія тогдашней литературы. Это возбудило такое негодованіе въ нѣкоторыхъ мѣлкихъ писателяхъ, что при иныхъ нельзя было назвать.... Тика. Въ Тарантѣ, гдѣ я провелъ лѣто 1801-го года, былъ между прочими пасторъ, принадлежащій къ числу новопросвѣщенныхъ литераторовъ. Въ проповѣдяхъ своихъ излагалъ онъ народу иногда медицину, иногда обработываніе полей и посѣвъ картофеля. Я спросилъ у него однажды, какія мысли приходятъ ему въ голову, когда зажигаютъ у алтаря свѣчи, и какъ онъ соглашаетъ свои картофельныя проповѣди съ служеніемъ алтаря! — Онъ удивился этому вопросу и не отвѣчалъ мнѣ.

Между тѣмъ, какъ вокругъ меня жизнь такъ богато развивалась, дѣйствіе Іены распространялось въ обширномъ кругу и во всѣхъ отросляхъ литературы. Брауново ученіе въ медицинѣ подходило такъ близко къ умозрительности, что привлекло многихъ Нѣмецкихъ врачей. Кажется, имена Эшенмайера, Виндишмана и Гёрреса тогда уже начинали гремѣть.

Фихте, который уже нѣсколько лѣтъ жилъ въ Іенѣ, сдѣлался также въ это время предметомъ жестокихъ нападеній и горячаго почитанія. Этою же зимою получено было знаменитое письмо Якоби. Всѣхъ поразило странное его воззрѣніе на такъ называемую умозрительность. «Ее должно знать, — говорилъ онъ,—и должно уважать потому, что она сообщаетъ тѣнь духовности; но предаваться ей не должно, тѣмъ менѣе еще развивать логически въ жизнь.» Знаменитое мѣсто, въ которомъ онъ даетъ предпочтеніе нравственной личности, противъ формализма нравственной законности, произвело тогда сильное впечатлѣніе. Оно классическое въ своемъ родѣ; приведу здѣсь нѣкоторыя мѣста: «Да—, говорилъ онъ,—я тотъ отверженный, которому противна воля, которая ничего не хочетъ; я хочу лгать, какъ Дездемона лгала умирая; хочу лгать и обманывать, какъ Пиладъ лгалъ, выдавая себя за Ореста; хочу быть убійцей, какъ Тимолеонъ; какъ Эпаминондъ — нарушать

законы; какъ Отонъ, готовъ на самоубійство; хочу въ субботу рвать колосья, потому, что я голоденъ, и потому, что законъ сдѣланъ для человѣка, а не человѣкъ для закона. Святое убѣжденіе внутреннее говоритъ мнѣ, что право помилованія всѣхъ такихъ преступниковъ противъ буквы всеобщаго безусловнаго закона есть царственное преимущество человѣка, печать его возвышеннаго сана, божественной природы.» —

Это письмо, написанное на зеленой бумажкѣ, потому что у Якоби болѣли глаза, переходило изъ рукъ въ руки и привлекало столько же похвалы, сколько порицанія.

. . . . . .

Всего болѣе отличалось это счастливое время житья нашего въ Іенѣ трудолюбіемъ и прямотою, которыя надъ всѣми нами владычествовали. Каждый убѣжденъ былъ, что съ противникомъ сражаться слѣдуетъ на его собственной почвѣ, что нельзя довольствоваться пустыми пошлостями и остротами, что борьба ничтожна, если не поддержана свѣденіями и наблюдательностью. Стоящіе во главѣ этого времени отличались уже замѣчательными сочиненіями; подобно Лессингу, который вышелъ съ рѣшительной оппозиціей противъ господствующей литературы, они пріобрѣли уже право гражданственности и значительной собственности въ литературномъ мірѣ; они знали, чего хотѣли, имѣли опредѣленную цѣль, и рѣзкая ихъ критика поражала противника силою сосредоточенной мысли, своебытнаго воззрѣнія, твердаго, укрѣпленнаго и уничтожающаго всякое сопротивленіе. Правда, въ этой борьбѣ было довольно дерзкой самонадѣянности, но никто не искалъ минутнаго, проходящаго вліянія. Это время было не вялое, безсильное, требующее подстреканія, для того, чтобы выказаться минутнымъ эффектомъ; нѣтъ, оно было полно юношеской силы, во всѣхъ направленіяхъ сознавало слѣды соединяющаго духа; это была жизнь кипящая, смѣлая, а не судорожныя движенія умирающаго. Обвиняли нѣкоторыхъ, особливо братьевъ Шлегелей, въ охотѣ къ парадоксамъ; но все, что проистекало изъ великаго цѣлаго, не должно ли было казаться парадоксомъ для тѣхъ, кто довольствовались раздробленными пошлостями ежедневной чувственной жизни.

. . . . . .

Я чувствовалъ, какъ древній Спиноза начинаетъ во мнѣ снова двигаться, оживать, какъ дремлющая необходимость просыпается въ своей первородной свободѣ; это время дѣйствовало и на меня съ необыкновенной силой; вся богатая природа тѣснилась ко мнѣ и искала осмысленія. Прежнія времена обновились; давно умершіе духи заговорили, и если я не все разслушалъ, не все такъ понялъ, какъ слѣдовало, то не разлучался же никогда съ явившимися мнѣ, съ отвѣчавшими удовлетворительно на мою довѣренность. Странно только то, что все, что другимъ являлось враждебнымъ религіи, мнѣ никогда такимъ не казалось; напротивъ, для меня воскресала свѣтлая моя юность, въ исканіи моемъ возвращалась ко мнѣ цвѣтущая, радостная природа, плѣнившая меня во дни моего младенчества. Глубокое воспоминаніе тихой религіозной покорности покоилось въ дѣятельномъ моемъ стремленіи и выше всѣхъ созиданій разума воздвигалось нѣчто высшее, живительное, къ новой жизни и дѣятельности побуждающее. Когда я вспоминаю это время, то кажется оно мнѣ разительно сходнымъ съ тихой жизнью моей въ Роксфильдѣ. То, что мною владѣло тогда, теперь было въ моей власти. Я высказалъ себѣ, что оно вѣнецъ и цѣль всѣхъ размышленій.

. . . . . .

Между тѣмъ приближалось время отъѣзда изъ Іены; мнѣ необходимо нужно было отправиться въ Фрейбергъ, тамъ только могъ я работать самостоятельно. Я намѣренъ былъ проѣхать черезъ Берлинъ, чтобы посмотрѣть на этотъ городъ. Никто въ Іенѣ не уважалъ Берлина, и въ умственномъ отношеніи онъ имѣлъ мало для меня привлекательнаго. Бѣдность природы, особенное просвѣщеніе, лицемѣріе Николая и Бистера, и всеобщая Германская библіотека, произвели такое печальное въ умѣ моемъ впечатлѣніе, что я пугался долгаго въ Берлинѣ пребыванія. Мнѣ сказывали, что Лессингъ не нашелъ тамъ себѣ мѣста; Гёте не любилъ Берлина и никогда въ немъ не бывалъ. Но въ Берлинѣ жили наши три союзника: Шлейермахеръ, сотрудникъ Атенея, Фридрихъ Шлегель и Тикъ.

Прежде отъѣзда моего изъ Іены, случилось тамъ важное

событіе. Саксонскій дворъ, по доносу теолога Рейнгарда, обвинилъ Фихте въ атеизмѣ. Все это происшествіе сдѣлалось такъ извѣстно и такъ много толковали объ этомъ въ новѣйшія времена, что я почитаю излишнимъ входить въ подробности. Поводъ къ этому обвиненію была журнальная статья *Фонберга* о нравственномъ устройствѣ міра. Фихте взялъ на себя отвѣтственность за эту статью. Подробное описаніе этого можно найти въ біографіи Фихте, писанной его сыномъ. Можно представить, какое впечатлѣніе сдѣлало на всѣхъ насъ это обвиненіе: мы всѣ были раздражены и видѣли притѣсненіе нашей ученой дѣятельности. Фихте велъ себя твердо и съ достоинствомъ. Въ объясненіи, котораго отъ него потребовали, изложилъ онъ намѣреніе оставить Іену, если стѣснена будетъ ему свобода преподаванія. Изъ Веймара получилъ онъ выговоръ за неосторожныя выраженія на счётъ священныхъ предметовъ, и увѣщаніе впередъ быть осторожнѣе. Видно было намѣреніе Веймарскаго Двора дать такой оборотъ дѣлу, какъ будто Фихте самъ захотѣлъ взять отставку. Удаленіе его изъ Іены было неизбѣжно. Когда же Фихте объявилъ, что полученный имъ выговоръ не такаго рода, чтобы заставить его выдти въ отставку, то въ Веймарѣ были вынуждены дать ему эту отставку. Все пришло въ волненіе; Паулусъ всѣхъ жарче стоялъ за Фихте. Я часто бывалъ у него въ домѣ; тамъ горячо разсуждали, не нужно ли будетъ студентамъ подать прошеніе. Большая оныхъ часть состояла изъ иностранцевъ; слава Фихте привлекла ихъ, и они имѣли нѣкоторое право требовать, чтобы имъ оставили профессора, для котораго они изъ дальнихъ странъ пріѣхали; я написалъ въ чернѣ такое прошеніе, гдѣ выставилъ великія заслуги Фихте и мнимое право студентовъ. Эту бумагу принесъ я къ Паулусу, ее переписали съ немногими измѣненіями, и я не сомнѣвался, что мнѣ удастся посредствомъ соотечественника моего Мальте Мюллера, который имѣлъ большое вліяніе на студентовъ, пріобрѣсть очень много подписей.

Между тѣмъ въ Веймарѣ происходило точно такое же явленіе. Также написана отъ имени студентовъ просьба къ герцогу, въ которой умоляли удержать Фихте въ университетѣ. Въ этой просьбѣ содержалось также признаніе, что Фихте читалъ

свои лекціи съ непростительной неосторожностью, но что всѣми любимый, достоинъ онъ пощады и милости герцога. Гуфландъ-юристъ отдалъ это прошеніе студенту Б..... изъ Рюгена, увѣряя притомъ, что самъ Фихте одобряетъ это сознаніе. Б. желая услужить Фихте, бѣгалъ изъ дому въ домъ за подписями, и ему удалось собрать многія.

Вдругъ входитъ ко мнѣ одинъ молодой человѣкъ, которому я хотѣлъ передать мое прошеніе, чтобы онъ положилъ его въ аудиторіи, для подписи студентамъ; онъ самъ читалъ другую просьбу, написанную совсѣмъ въ другомъ духѣ, и видѣлъ множество подписанныхъ именъ. Я испугался, схватилъ свою бумагу и побѣжалъ отыскивать Б., котораго я зналъ благородное расположеніе; я нашелъ его на улицѣ, перебѣгающаго изъ дома въ домъ, и увелъ съ собою въ чьи-то ворота. Я былъ въ высшей степени раздраженъ, представилъ ему, какое торжество доставитъ врагамъ Фихте разносимая имъ бумага, прочелъ ему мою просьбу и сказалъ, что она одобрена профессоромъ Паулусомъ; легко мнѣ было убѣдить добраго юношу, тѣмъ болѣе, что я показалъ ему источникъ, откуда проистекала враждебная эта бумага, и познакомилъ со всѣми отношеніями Онъ совершенно со мною согласился, пошелъ во всѣ аудиторіи и передъ всѣми признался откровенно въ невольной своей ошибкѣ. Послѣ обѣда въ тотъ же день мое прошеніе лежало передо мною, подписанное нѣсколькими сотнями именъ, и два депутата отправились въ Веймаръ, подать его герцогу. На вечеръ я былъ приглашенъ къ юристу Гуфланду; я засталъ его въ пресерди-томъ расположеніи духа, и признаюсь, смотрѣлъ съ тайнымъ удовольствіемъ на его досаду, потому, что зналъ ея причину. Послѣ, когда черезъ нѣсколько лѣтъ, прочелъ я жизнь Фихте, то увидѣлъ съ удивленіемъ, что герцогу поданы были двѣ просьбы; стало быть, противникамъ Фихте удалось исполнить свое намѣреніе.

Черезъ нѣсколько дней послѣ отсылки нашего прошенія студенты приглашены были къ проректору Лодеру; ему отъ Двора поручено было объяснить студентамъ положеніе дѣла и то, что Фихте самъ вызвалъ себѣ отставку.

Это происшествіе во многихъ отношеніяхъ было для меня

значительно; правда, я видался съ Фихте не часто, занятія мои и образъ мыслей отдаляли меня; но я любилъ и уважалъ его и строгость нравственнаго чувства, на которомъ основалъ онъ всю свою философію, пріобрѣла ему совершенное мое почтеніе. Когда мы видались, разговоръ тотчасъ касался его философіи и переходилъ въ споръ; я не могъ признавать его безусловную, формальную, нравственную истину; Fiat justitia, pereat mundus, совершенное торжество формальной нравственности ужасало меня. Когда я услышалъ, какъ онъ утверждалъ, что ни подъ какимъ условіемъ нельзя сказать неправды; то осмѣлился привести ему слѣдующее предположеніе: «женщина въ родахъ лежитъ опасно больная; въ другой комнатѣ умираетъ ея ребенокъ; врачи рѣшительно объявили, что малѣйшее потрясеніе будетъ ей стоить жизни. Ребенокъ умеръ. Я сижу у постели больной, и она спрашиваетъ о здоровьи малютки. Истина убьетъ ее, долженъ ли я сказать истину?» «Должно отклонить вопросъ»—отвѣчалъ Фихте. «Это все равно», что сказать о смерти ребенка,—возразилъ я.—Я солгу ей, воскликнулъ я рѣшительно, солгу, и назову эту ложь моей правдой.»—«Твоей правдой?—закричалъ Фихте съ негодованіемъ. Нѣтъ такой правды, которая бы принадлежала человѣку! Правда должна управлять тобою, а не быть твоею. — Умретъ эта женщина отъ правды, то пусть умираетъ!»

Я замолчалъ потому, что видѣлъ, что никогда мы не поймемъ другъ друга. Видѣлъ, что мнѣ невозможно доказать ему, что глубочайшая ложь заключается въ такомъ абсолютномъ отсутствіи любви. Фихте самъ, не смотря на жестокость своего ученія, былъ самый добрый, мягкій человѣкъ и, конечно, самъ солгалъ бы въ подобныхъ обстоятельствахъ.

И такъ, въ жизни моей видѣлъ я, какъ обвинили въ атеизмѣ и вытѣснили съ мѣста человѣка, котораго я глубоко уважалъ. То, что въ исторіи прежнихъ столѣтій заставляло меня содрогаться, происходило теперь предъ моими глазами, въ тѣсномъ кругу нашего общества. Всѣ воспоминанія дѣтства во мнѣ проснулись, и я спросилъ себя, точно ли неоснователенъ выговоръ, полученный почтеннымъ фолософомъ?... Что ученіе Фихтево прямое, строгое послѣдствіе Кантовскаго, это было и

для меня ясно. Ибо гдѣ найти предметъ вѣрнаго познаванія? только въ явленіи? — Но философія искала не явленія, а самой истины. Нравственное чувство и его выраженіе, т. е. совѣсть, это такіе же неотразимые факты, какъ и время, пространство и категорія. Замѣтимъ впрочемъ одно существенное отличіе: содержаніе не есть явленіе, а нѣчто *само по себѣ* существующее. Правда, нельзя сказать про нравственность, что она существуетъ какъ внѣшніе предметы, потому, что она остается вѣчнымъ *долгомъ*, требованіемъ, которое безпрестанно возобновляется. Но это требованіе — не явленіе чего либо, но основа явленія, единственное безусловное самобытіе; это — непосредственно истинное, и приходитъ къ намъ не изъ внѣ, но есть наше собственное дѣло.

Я помню, какъ Фихте, въ тѣсномъ кругу друзей, разсказывалъ намъ происхожденіе своей философіи и какимъ образомъ первая мысль о ней внезапно поразила его и овладѣла имъ. Долго носился онъ съ мыслію, что истина заключается въ единствѣ предмета и познаванія; онъ дозналъ, что это единство не можетъ быть найдено въ границахъ чувственности; и между тѣмъ, гдѣ только оно являлось (какъ, напримѣръ, въ математикѣ), порождало оно одинъ мертвый, неподвижный формализмъ, чуждый жизни и дѣла. Тогда внезапно поразила его мысль, что дѣло, въ которомъ самопознаніе находитъ и содержитъ себя, есть очевидно *знаніе*. *Я* познаетъ себя изъ себя рождающимся; мыслящее и мыслимое *я*, познаваніе и предметъ познаванія, суть единое, и изъ этой точки единства, а не изъ разсѣяннаго созерцанія времени, пространства и категорій проистекаетъ знаніе. «Если я,—спрашивалъ онъ самого себя,—остановлю этотъ актъ самопознанія, который лежитъ основаніемъ всякаго мышленія и дѣйствія человѣка, который скрытъ въ его раздробленныхъ мнѣніяхъ и поступкахъ; если я разовью его въ чистой, отвлеченной послѣдовательности, то не обнаружится ли въ немъ, какъ въ математикѣ, неоспоримая несомнѣнность, съ тою только разницею, что явится здѣсь живою, дѣятельною, производящею?».

. . . . . .

Если мы обдумаемъ, какъ Фихте образовался изъ Кантовой

философіи, то ясно увидимъ, что то основное предположеніе, та путеводная и устроительная сила, которая лежитъ въ основаніи его самобытнаго Я, есть не что иное, какъ безусловный законъ нравственности, и что этотъ законъ неотходно предстоялъ ему въ продолженіи всего развитія его философіи. Конечно непонятно, какимъ образомъ могъ законъ нравственности, который есть только требованіе, только стремленіе къ дѣйствительности, не бывъ самъ дѣйствительностью, — какимъ образомъ онъ можетъ явиться началомъ устрояющимъ, самобытною дѣятельностью мысли, которой значеніе зависитъ единственно отъ внутренняго согласованія ея начала съ ея дѣятельностью. Но изъ этой непостижимости произошли всѣ понятія. И такимъ образомъ носилъ Фихте въ себѣ святую тайну, которая необъяснимо лежала въ основаніи его философіи, тайну недоступную и невыразимую. Потому, всего важнѣе было для него—вывести изъ этого скрытаго начала все выразимое, очевидное, проявляющее его въ сферѣ опредѣленнаго познаванія. Изъ этого основанія понималъ онъ Бога. Я зналъ это и, видя, какъ обвиняютъ его въ безбожіи, видѣлъ въ этомъ обвиненіи печальный признакъ бѣдной мѣлкости нашего времени. Его преслѣдовали за то, что его ученіе о Божествѣ было противно тому узкому понятію о Богѣ, котораго болѣе боятся, чѣмъ почитаютъ, котораго даже не почитаютъ, котораго даже не боятся но отдаляютъ въ какую-то неясную безконечность, которая скрываетъ его отъ насъ за его неизмѣнными законами, — это понятіе казалось мнѣ незначительнымъ и жалкимъ въ сравненіи съ таинственнымъ Богомъ нравственно живымъ. Но не смотря на эти, мысли мои о божествѣ Фихтевомъ, тайный голосъ говорилъ мнѣ: это не тотъ Богъ, котораго зналъ ты въ дѣтствѣ, котораго лишился и котораго ищешь.

Впрочемъ не одно это предчувствіе о Божественномъ бытіи отдаляло меня отъ Фихте; и въ другомъ отношеніи сдѣлался онъ мнѣ чуждымъ.

. . . . . .

1799.

Горько мнѣ было разстаться съ Іеной. Я поѣхалъ на Вей-

маръ, чтобы видѣться съ Гёте, который снабдилъ меня на дорогу многими духокрѣпительными ободреніями. Когда простился я съ Гёте, то всѣ отношенія, отъ которыхъ теперь отрывался, живо представились глазамъ моимъ: мнѣ казалось, что едва распустившійся прекрасный цвѣтокъ по всѣмъ вѣтрамъ развѣетъ пестрые и благоуханные листки свои, и неизъяснимая грусть наполнила мнѣ сердце. . . . . .

Дня два провелъ я въ Галле. Здѣсь все было полно радостной надежды, все измѣнилось. Новый король объѣзжалъ годъ тому назадъ всѣ свои провинціи, и восторгъ, съ которымъ онъ былъ принятъ, все еще былъ предметомъ разговора. Многаго, всего ожидали отъ прямоты его воли, отъ его желаній и знанія времени. Прекрасная, возвышенная супруга его, отличнымъ умомъ своимъ, чистою нравственностью своею, возбуждала восторгъ и обожаніе. Вездѣ раздавалась хвала высокой четѣ. Каждый, съ кѣмъ только имѣлъ я какое нибудь сношеніе, говорилъ объ энтузіазмѣ, съ которымъ король и королева были приняты, о прекрасныхъ свойствахъ короля, о прелести, любезности королевы; разсказывали съ любовью многія прекрасныя черты ихъ характера. Вся страна та показалась мнѣ преображенною; любовь и преданность возвысили ее;—и для меня все прояснилось, и всѣ мрачныя ожиданія мои превратились въ надежду. . . . . .

Тутъ же познакомился я съ Рейхардомъ. Совершенно чужимъ вошелъ я въ гостепріимный домъ, въ среду семейства, котораго образованность была весьма извѣстна, въ которомъ всякій членъ, отецъ, мать, дочери, привлекали общее вниманіе. Та изъ дочерей, которая потомъ стала моей женой, въ то время была въ Гамбургѣ. Рейхардъ собирался въ Берлинъ, дать тамъ концертъ. Меня встрѣтилъ онъ съ тою простосердечною откровенностью, которая такъ его отличала. Слухи, до меня объ немъ дошедшіе, были совсѣмъ неблагопріятны. Демократическія его мнѣнія, знакомство со многими главами Французской революціи, привлекли ему негодованіе Берлинскаго двора и отдалили отъ него Гёте. Шлегель также разстался съ нимъ, хотя сохраняли наружную связь. Съ великимъ предубѣжденіемъ вошелъ я въ его свѣтлое, веселое жилище; онъ повелъ меня въ садъ, который

плѣнилъ меня своей изящностью и мѣстоположеніемъ: это было одно изъ лучшихъ Германскихъ сочиненій Рейхарда, просто, безъ всякихъ садовыхъ украшеній.

Рейхардъ далъ мнѣ адресъ свой въ Берлинѣ и убѣдительно приглашалъ меня туда.

Тутъ же узналъ я человѣка, котораго слава и вліяніе призвали меня въ Германію и котораго значительность умѣлъ я понять. Это былъ докторъ Рейль. Онъ пріобрѣлъ уже извѣстность своими практико-медицинскими сочиненіями и изслѣдованіемъ объ устройствѣ нервъ. Могучая наружность этого знаменитаго врача, свѣтлый взоръ его, кроткое, спокойное лицо, а болѣе участіе, съ какимъ занимался натуральной философіей, предупредили меня въ его пользу. Онъ не былъ изъ числа тѣхъ, которые принимаютъ нравящуюся имъ теорію, по первымъ ея началамъ, и по ней соображаютъ свою практику; но онъ зналъ, что надежда постигнуть жизнь основана на одной только умозрительной теоріи. Отъ него слышалъ я изреченіе, примѣчательное въ устахъ практическаго врача: «жизнь и формы ея развиваются въ нашихъ глазахъ,—сказалъ онъ мнѣ,—но въ явленіяхъ получаемъ ее уже готовую и потому ими объяснить ничего не можемъ.» Въ это время Рейль занимался химическимъ процессомъ, опредѣляющимъ, по его мнѣнію, форму органовъ, высшимъ началомъ образованныхъ. Помню, что я оспаривалъ его тогдашніе химическіе выводы; онъ отвѣчалъ мнѣ, смѣючись: «всякій объясняетъ себѣ вещи какъ умѣетъ лучше; дайте намъ лучшее объясненіе; мы примемъ его охотно. Между врачами найдете вы живое участіе и послушныхъ учениковъ.» Изъ всѣхъ ученыхъ, съ которыми я познакомился внѣ Іены, Рейль былъ замѣчательнѣйшій и для меня одинъ изъ самыхъ значительныхъ.

Въ Маѣ мѣсяцѣ 1799 пріѣхалъ я въ первый разъ въ Берлинъ.

. . . . . .

Уже нѣсколько недѣль провелъ я въ Берлинѣ прежде, нежели вздумалъ посѣтить Рейхарда. Я нашелъ его озабоченнаго билетами для концерта; мнѣ онъ далъ также билетъ и звалъ послѣ концерта на ужинъ. Онъ очень выговаривалъ мнѣ,

за чѣмъ я прежде не пришелъ къ нему, и жалѣлъ что не могъ познакомить меня со многими интересными семействами, потому, что тотчасъ послѣ концерта долженъ обратно ѣхать въ Гибихенштейнъ. Вышедши отъ него, я поѣхалъ съ однимъ Копенгагенскимъ пріятелемъ въ Постдамъ, и возвратились въ Берлинъ прямо къ концерту. Вездѣ на уличныхъ столбахъ прибиты были афиши, что концертъ отмѣненъ. Я не зналъ, принять ли мнѣ приглашеніе на послѣдующій ужинъ. Рейхардъ, оскорбясь малымъ числомъ разошедшихся билетовъ, отмѣнилъ концертъ, но великолѣпный ужинъ ожидалъ насъ въ большой залѣ Крауза (что теперь гостинница Бранденбургская), и множество гостей было уже въ собраніи. Рейхардъ былъ веселъ и привѣтливъ. За столомъ, противъ меня, сидѣлъ зять его, Тикъ, съ своею женою. Тикъ былъ очень хорошъ собою, строенъ; свѣтлый взоръ его былъ исполненъ огня, въ чертахъ лица отражался отличный умъ; всѣ сужденія его были рѣзки, полны смысла и значенія. Я весьма былъ радъ, что снова взошелъ въ соприкосновеніе съ такими значительными людьми.

. . . . . .

Изъ Берлина выѣхалъ я вмѣстѣ съ пріятелемъ моимъ, Норвежцемъ Моллеромъ, и мы проѣздомъ только взглянули на плѣнительный Дрезденъ. Онъ остался мнѣ какъ скрытое сокровище, въ виду для будущихъ моихъ наслажденій.

Внутренній міръ мой, въ Іенѣ для меня развернувшійся, преслѣдовалъ меня и въ Фрейбергѣ. Именно здѣсь нашелъ онъ свое самостоятельное развитіе. Но прежде разскажу я, какъ передо мною раскрылся другой, внѣшній міръ, и какое имѣлъ онъ сочувствіе съ моимъ внутреннимъ.

Чужестранцы, бывшіе въ Фрейбергѣ, ѣздили въ Дрезденъ для отдохновенія. И мы, съ Моллеромъ, проѣзжая Дрезденъ, имѣли намѣреніе какъ можно скорѣе туда возвратиться, чтобы провести тамъ нѣсколько времени. Прекрасныя окрестности, веселое положеніе города восхитили насъ при первомъ, поверхностномъ взглядѣ, и мы радовались, что Фрейбергъ недалеко отъ такого привлекательнаго города. Между тѣмъ прошло нѣсколько мѣсяцевъ прежде, нежели мы могли выѣхать изъ Фрейберга. Наконецъ, слабое здоровье Вернера помѣшало ему про-

должать свои лекціи, и мы, въ концѣ Августа, наняли верховыхъ лошадей и поѣхали черезъ Грилленбургскій лѣсъ, на Тарантъ, въ Дрезденъ. Наступалъ вечеръ; мы надѣялись доѣхать до Таранта и тамъ переночевать. Въ деревнѣ *Гарта* многія дороги сходились. Моллеръ, прилежно вникающій въ философію, началъ разговоръ о Кантовой критикѣ телеологической силы сужденія. Мы не смотрѣли на дорогу и безсознательно поѣхали по самой широкой. Завлеченные разговоромъ, ѣхали мы тихо, и когда уже совершенно стемнѣло, замѣтили, что сбились съ дороги и заѣхали въ лѣсъ; мы воротились назадъ, искали широкой, торной дороги и, послѣ долгихъ поисковъ, увидѣли уединенное жилище, позади лѣсу выстроенное. Съ трудомъ могли мы разбудить обитателей этого домика, и на силу удалось уговорить одного изъ нихъ, показать намъ дорогу въ Тарантъ. Онъ взялъ фонарь и пошелъ впереди насъ, безъ дороги, прямо черезъ лѣсъ; конечно, больше часу прошло, прежде нежели вывелъ онъ насъ въ долину Вейзерица. «Здѣсь вамъ нельзя заблудиться,—сказалъ намъ проводникъ, —переѣзжайте рѣку, на той сторонѣ прямая дорога въ Тарантъ. Черезъ четверть часа вы туда доѣдете.»—Но мы не знаемъ положенія Таранта, поѣхали по широкой дорогѣ и заблудились опять. Поздно ночью пріѣхали мы въ Гокендорфъ, сошли съ усталыхъ лошадей, чтобы дать имъ отдыхъ, но сами не могли рѣшиться лечь между толпою извощиковъ. По утру пріѣхали мы въ Тарантъ и тотчасъ поспѣшили въ Дрезденъ. Утомленные бдѣніемъ ночнымъ, восхищенные прелестью мѣстъ между Тарантомъ и Дрезденомъ, прелестью города, явившагося намъ въ блескѣ утренняго солнца, мы выпили, для подкрѣпленія, вина, больше чѣмъ нужно было на тощій желудокъ, и спѣшили прямо въ галлерею.

Высокія залы, густо обставленныя картинами, поразили меня своимъ величіемъ; зрители, группами и отдѣльно, двигались тихо и торжественно по обширнымъ покоямъ. Такъ какъ я составилъ себѣ преувеличенное понятіе обо всѣхъ картинахъ, удостоенныхъ занять мѣсто въ такой славной галлереѣ, то огромное число ихъ изумило меня. Старикъ Ридель водилъ насъ по заламъ, и мы обязаны были внимать его поученіямъ. Мы не

подумали о томъ, что трезвость и внутреннее спокойствіе необходимы для мирнаго созерцанія картинъ; пестрые образы двигались и колебались предо мною; точно въ такомъ же хаосѣ смѣшивались въ головѣ моей и путались имена живописцевъ. Слишкомъ долгое (по моему) время провели мы въ залахъ, украшенныхъ богатствомъ Нидерландской школы; наконецъ вступили во внутреннія комнаты, гдѣ висѣли картины Италіанской школы. Здѣсь-то, съ самыхъ раннихъ лѣтъ, жаждалъ я увидѣть сокровища искусства, прославленныя вѣками. Съ поэзіей былъ я знакомъ съ младенчества; я чувствовалъ внутри все, что поэтъ желаетъ высказать, а способъ передаванія, какъ бы ни былъ изященъ и превосходенъ, чуждымъ для меня не былъ. Здѣсь же новый міръ открывался мнѣ посредствомъ новаго чувства, котораго я въ себѣ не предполагалъ. Все это неясно и смутно тѣснилось въ душѣ моей. Я былъ утомленъ въ высшей степени и едва могъ противостоять сну, который меня клонилъ. Лица, изображенныя на картинахъ, ходили передо мною какъ привидѣнія, выступали изъ рамъ и двигались вмѣстѣ съ толпою посѣтителей.

Въ ушахъ моихъ странно раздавался однообразный голосъ проводника, и меня давило мучительное опасеніе, чтобы каждый встрѣчный не замѣтилъ состоянія, въ которомъ я находился. Вдругъ подошли мы къ большой картинѣ; она стояла внизу, близко къ намъ, потому что съ нея копировали. Въ облакахъ носился женскій образъ; на рукахъ ея былъ дивный младенецъ. Эта картина поразила меня. Напряженіе, въ которомъ я находился, достигло высшей степени; я забылъ, гдѣ я. Глубокое чувство проникло все существо мое, и я залился слезами. Старикъ Ридель съ удивленіемъ глядѣлъ на меня; эти насильственно вырвавшіяся слезы возвратили мнѣ сознаніе, я опомнился отъ полусоннаго мечтанія и старался овладѣть собою. Всѣ предстоящіе смотрѣли на меня съ любопытствомъ, и тутъ только узналъ я, что картина, меня поразившая, была славой всей галлереи, Рафаэлева Мадонна.

Я обрадовался, когда мы вышли на улицу; съ трудомъ добрались мы до гостинницы; я заснулъ глубокимъ сномъ, не слушая упрёковъ Моллера. Пестрота картинъ смущала меня и

во снѣ, но надъ всѣми, какъ божественное явленіе, носилась Мадонна. Когда, подкрѣпленный сномъ, я всталъ на другое утро, то съ великимъ смущеніемъ вспоминалъ случившееся со мною вчера, въ галлереѣ.

Извѣстно, что вмѣстѣ съ воскреснувшей поэзіей, католическая религія получила вновь глубокое значеніе. Средніе вѣка, со всей ихъ силой, поставлены были выше настоящаго времени, которое хотя призвано было къ великимъ, важнымъ дѣламъ, но терялось въ пустыхъ отвлеченностяхъ, въ поверхностныхъ понятіяхъ, заступающихъ мѣсто богатой природной основы. Государства и науки должны изъ самихъ себя, изъ нѣдръ своихъ развиваться и образоваться. Это движеніе времени не было и мнѣ чуждо. И мнѣ казалось то время великихъ битвъ, звучныхъ пѣсенъ и глубокой набожности безмѣрно богатымъ, въ сравненіи съ нищетою настоящаго. Вездѣ въ стихотвореніяхъ явились хвалебныя пѣсни Мадоннѣ, и за произведеніями Тика, Августа Вильгельма Шлегеля и Новалиса, всѣ юные стихотворцы преклонили колѣна передъ ея алтаремъ. Направленіе этого времени развилось позднѣе во всемъ своемъ преувеличеніи, но родилось оно тогда; и я, посреди всей этой восторженной молодёжи, могъ почитать себя первымъ изъ посвященныхъ, кому явилась Мадонна; глубокое чувство овладѣло мною во всей истинѣ своей невольно; между тѣмъ какъ юные стихотворцы выбивались изъ силъ, чтобы излить чужое, подложное чувство въ многотрудныхъ стихахъ. Могу рѣшительно сказать, что случившееся со мною образовало во мнѣ переломъ. Мнѣ стало ясно, что поразившее меня внезапно имѣло основу въ моей прежней, прошедшей жизни. Искусство хранило въ ней темное мѣсто, гдѣ обитали невидимые и невѣдомые мною духи. Способность была тутъ, но не было ни во мнѣ самомъ, ни внѣ меня предмета, ее осмыслившаго; она проснулась вдругъ, болѣзненно, насильственно, безъ всякаго переходнаго развитія. Мнѣ сдѣлалось необходимо разсмотрѣть ближе и взвѣсить содержаніе этого важнаго для меня момента. Вполнѣ объяснить его я не могъ, но живое впечатлѣніе осталось навсегда, и не покидало меня во время многократныхъ поѣздокъ моихъ въ Дрезденъ, гдѣ я старался

образовать способность свою къ міру искусства. И въ этомъ-то смыслѣ могу я сказать, что Мадонна мнѣ явилась.

Это происшествіе никогда не изгладилось изъ моей памяти. Добродушный Ридель объ этомъ постарался. Всякій разъ, когда приходили иностранцы или художники въ галлерею, онъ разсказывалъ имъ о томъ, какъ молодой человѣкъ, вполнѣ незнакомый съ искусствомъ, былъ глубоко пораженъ чуднымъ изображеніемъ Рафаэлевой кисти. Часто разсказы эти случались въ моемъ присутствіи, и хотя они не мало меня смущали, но имѣли существенную для меня выгоду. Ридель познакомилъ меня со всѣми художниками, въ Дрезденѣ жившими; всѣ любители искусства, всѣ диллетанты, толпились около меня, при всякомъ пріѣздѣ моемъ изъ Фрейберга въ Дрезденъ. Я познакомился чуть съ молодыми стихотворцами, которые знали названія всѣхъ школъ, всѣ выраженія, которыми художники судятъ о картинѣ, которые спѣшили отъ одной картины къ другой, останавливались при извѣстно славной и приходили въ восторгъ. Но обыкновенно они смотрѣли тогда не на картину, а на собственное созданіе своего воображенія, которое изъ нея выходило. Этотъ лжеобразъ, выглядывая на нихъ изъ-за настоящаго, часто выражался сонетомъ. Не одни философы строили міръ, внѣ видимыхъ предметовъ,—жалкое a priori хозяйничало и въ мірѣ поэзіи. Дѣйствительно, очень мало людей, которые радуются предметами, умѣютъ съ ними сжиться, имъ предаться, мыслить и хотѣть въ чистомъ, простомъ, не мечтательномъ смыслѣ.

. . . . . .

Шеллингъ и Августъ Вильгельмъ Шлегель стали дѣятельными сотрудниками Литературной газеты; но ихъ участіе должно было показаться весьма опаснымъ для этого журнала. Оба выступили съ такою рѣшительностію противъ враговъ своихъ, что колебали всѣ основы газеты: большая часть ея сотрудниковъ и именно тѣ, которымъ она обязана была своею славою, грозили оставить ее, такъ что можно было бояться совершеннаго ея прекращенія. Эти обстоятельства вовлекли меня въ литературную борьбу, на которую до сихъ поръ я смотрѣлъ какъ посторонній зритель. Помѣщенный въ Литературной газетѣ раз-

боръ Шеллинговыхъ *идей* былъ до такой степени плохъ, что даже редакторы по неволѣ въ этомъ сознавались. Однажды самъ Шеллингъ выразилъ желаніе, чтобы разборъ его сочиненій взялъ на себя я. Мнѣ сообщилъ о томъ Шлегель и увѣрялъ, будто Гуфландъ готовъ исполнить Шеллингово желаніе. Всякій пойметъ, какъ обрадовало меня подобное предложеніе. Оно дало мнѣ самоувѣренность, мужество и возвысило мою душу. Возможность дѣятельности, и такой почетной дѣятельности, въ самомъ центрѣ духовнаго кипѣнія, увлекшаго меня изъ отечества въ Германію,—почти удивила меня. Прошло однако нѣсколько времени, покуда я положительно узналъ Гуфландово мнѣніе. Однажды, невзначай, онъ началъ со мною слѣдующій разговоръ: «Вы, безъ всякаго сомнѣнія, убѣждены,—сказалъ онъ, что философія природы не можетъ и не должна никогда переступать тѣ границы, которыя положилъ ей Кантъ въ своей метафизикѣ естественной науки и въ критикѣ телеологической силы разсудка.»—«Напротивъ! —отвѣчалъ я рѣзко, замѣчая, что вопросъ сдѣланъ съ умысломъ.—Тѣ преграды, которыя Кантъ считалъ неодолимыми, уничтожаютъ возможность всякой философіи природы; Шеллингъ переступилъ за нихъ и совершенно правъ».—Здѣсь кончился нашъ разговоръ, и я могъ быть увѣренъ, что Литературная газета не изберетъ меня въ свои рецензенты. Во всемъ этомъ дѣлѣ ходатаемъ моимъ былъ Шлегель, и потому я принужденъ былъ разсказать ему свой разговоръ съ Гуфландомъ. Тогда-то и Шлегель рѣшился разорвать союзъ съ Литературною газетою. Положеніе дѣлъ, очевидно, принуждало ихъ отважиться на рѣшительную борьбу съ этимъ журналомъ. Шеллингъ самъ просилъ меня приготовить разборъ его сочиненій, для помѣщенія въ его собственномъ журналѣ Умозрительной физики (Zeitschrift für Speculative Physik). Онъ уже рѣшился издавать его.

Между тѣмъ Шеллингова философія природы возбуждала всеобщіе толки; слава ея распространялась болѣе и болѣе, и умножилось число ея приверженцевъ, особенно между медиками. Не знаю, производила ли когда нибудь какая книга такой шумъ, какой произвело появленіе перваго нумера Шеллингова журнала. Самая первая статья была моя критика

Шеллинговой *Welt-Seele* и его *Начертанія* (Entwurf), и при ней, въ видѣ приложенія, нападеніе на Литературную газету. Такимъ образомъ, завлекся я въ журнальную войну. Было одно обстоятельство, принудившее меня принять въ ней сильное участіе и открыто выступить передъ ученымъ свѣтомъ, обстоятельство чисто личное: Авг. Вил. Шлегель сообщилъ, какъ я сказалъ выше, Шеллингу о моемъ разговорѣ съ Гуфландомъ и о томъ, какъ послѣдній заставилъ меня высказать мнѣніе о Шеллинговой философіи. Очевидно было, что именно послѣ этого разговора, редакторы рѣшились не поручать мнѣ разбора Шеллинговыхъ сочиненій. Шеллингъ упомянулъ объ этомъ печатно, въ своемъ нападеніи на газету, а Гуфландъ обвинилъ меня въ томъ, что я употребилъ во зло гостепріимство, которымъ пользовался въ его домѣ, и непозволеннымъ образомъ обнародовалъ пріятельскіе разговоры. Я разсказалъ уже, почему я сообщилъ разговоръ Шлегелю, но тутъ же просилъ его не говорить о томъ ни слова Шеллингу. Гуфландово обвиненіе до глубины души потрясло меня. Помню, что мой отвѣтъ былъ и неловокъ и длиненъ; я заботился только объ одномъ: чтобы совершенно оправдаться въ нарушеніи правъ гостя; обвиненіе въ такомъ неблагородномъ, низкомъ поступкѣ унижало меня въ собственныхъ глазахъ.

. . . . . .

Между тѣмъ новое направленіе распространялось и мало по малу обнимало всѣ отросли науки, всѣ виды поэзіи. Различіе между древнимъ и новымъ, между классическимъ и романтическимъ міромъ, явилось во всемъ своемъ объемѣ и важности, послѣ сочиненія Фридриха Шлегеля; «поэзія Грековъ и Римлянъ» — становилось основаніемъ художественной критики и господствующимъ вопросомъ того времени; изъ него возникалъ уже новый взглядъ на всю исторію человѣчества. Это раздѣленіе исторіи на двѣ великія эпохи, это развитіе особеннаго смысла для пониманія каждой изъ нихъ, — заключало въ себѣ великое сокровище созерцаній и выходящихъ изъ нихъ опредѣленій, болѣе или менѣе ясныхъ, но занимавшихъ въ то время каждаго образованнаго человѣка. Для меня, отличіе новой поэзіи, съ самаго начала, сосредоточилось въ

одномъ моментѣ: въ преобладаніи личности; и важное вліяніе на все развитіе моего образа мыслей имѣло то, что на отличіе новой поэзіи я смотрѣлъ какъ на необходимое слѣдствіе христіанства. Такимъ образомъ положено основаніе тому способу пониманія всей исторіи, который сталъ главнымъ дѣломъ всей моей жизни и далъ особенный характеръ моимъ понятіямъ о природѣ.

Чѣмъ болѣе возрастала любовь къ поэзіи среднихъ вѣковъ, тѣмъ плодоноснѣе являлось новое направленіе. Велика была заслуга Тика: онъ устремлялъ общее вниманіе на созданія древнѣйшей Германской поэзіи. Всѣмъ извѣстно, какое огромное дѣйствіе имѣло на публику разсужденіе Гёте «о Нѣмецкомъ искусствѣ» (Ueber deutsche Art und Kunst). Оно очистило соръ, который скрывалъ ее отъ нашихъ глазъ, потерявшихъ способность видѣть, пробудило наше внутреннее зрѣніе и поставило передъ нами великое это зданіе. Эта статья и Гецъ фонъ-Берлихингенъ вырвали наше поколѣніе изъ самодовольной ограниченности и направили къ міру глубокомысленнаго искусства, къ могущей силѣ прошедшаго, которое казалось навсегда прошедшимъ, но котораго ничѣмъ нельзя уже было отстранить. Однако же опытъ Гёте все еще остался одинокимъ, удивительнымъ; никто не зналъ, какое дать мѣсто новому, странному впечатлѣнію. Тикъ довершилъ дѣло Гёте.

Жизнь, которую я велъ въ Фрейбергѣ, совершенно противоположна была пребыванію моему въ Дрезденѣ. Здѣсь замолкали искусство и поэзія; опредѣленные предметы, меня занимавшіе, вызывали мышленіе, опредѣленное по всѣмъ направленіямъ. Я занимался не одними минералогіей и горными науками. Важное открытіе столба Вольтова волновало всѣхъ физиковъ. Получивъ значительную сумму изъ Даніи, промѣнялъ я ее на талеры и построилъ себѣ довольно сильный столбъ. Въ началѣ развитія всякаго важнаго физическаго открытія есть всегда много разительнаго: Вольтово открытіе тѣмъ болѣе меня волновало, что оно сдѣлалось не случайно. Такъ точно, какъ понятія развиваются въ душѣ человѣка, постепенно выходя изъ собственныхъ выводовъ, такъ и явленія природы выходятъ изъ-подъ рукъ глубокомысленнаго испытателя. Когда

они предстоятъ намъ въ наружномъ своемъ безпорядкѣ, то онъ обходится съ ними съ тою же ясною опредѣленностью, съ какою проницательные люди разбираютъ свои собственныя мысли. Они принуждены отказаться отъ неясности фактическаго безпорядка и подчиниться строгому закону послѣдовательнаго мышленія. Съ самаго открытія электрофора и конденсатора, всѣ явленія приняли порядокъ логической мысли. Споры съ Гальвани развили ихъ еще яснѣе; наконецъ Вольтаическій столбъ образовалъ послѣднюю степень строгаго мысленнаго процесса; этотъ столбъ не изобрѣтенъ; онъ вызванъ былъ во всемъ своемъ устройствѣ и вынужденъ открывать таинства, до сихъ поръ недосягаемыя естествоиспытателю. Столбъ Галваническій сдѣлался тѣмъ же для теллурической физики, чѣмъ Кеплеровы законы для космической.

Я съ утра до вечера производилъ опыты надъ столбомъ, и всякое открытіе, теперь уже малозначущее, доставляло мнѣ тогда величайшее удовольствіе. Прежде всего разложилъ я нашатырь, и первый зажегъ фосфоръ посредствомъ столба, что, къ удивленію моему, нашелъ напечатаннымъ въ тогдашнихъ литературныхъ газетахъ. Результатъ моихъ опытовъ послалъ я къ Гильберту, и они напечатаны въ его «Annales». — Эта новость занимала всѣхъ, даже и не физиковъ. Ко мнѣ приходилъ Вернеръ и Шарпантье; комната моя безпрестанно наполнялась любопытными и дамами. Но такъ какъ столбъ мой составленъ былъ изъ талеровъ, въ которыхъ я имѣлъ нужду, то онъ постепенно уменьшался, и скоро эксперименты мои совсѣмъ прекратились. Другое, важнѣйшее дѣло меня занимало. Въ Фрейбергѣ издалъ я мое сочиненіе: «О внутренней исторіи земли» (Beyträge zur inneren Naturgeschichte der Erde.)

. . . . . .

Въ Веймарѣ нашелъ я Шеллинга, который уже цѣлый мѣсяцъ жилъ тамъ у Гёте. Шеллингъ только чтокончилъ тогда свой «Трансцедентальный идеализмъ.» Проѣзжая черезъ Іену, познакомился я, у Августа Вильгельма Шлегеля, съ его братомъ Фридрихомъ Шлегелемъ, и успѣлъ замѣтить его враждебное расположеніе къ Шеллингу. Онъ неутомимо насмѣхался

надъ *безусловнымъ тождествомъ*, и тогда уже я слыхалъ отъ него нѣкоторыя остроты, которыя послѣ стали приписывать Гегелю. Признаюсь, что и у меня бывали часы, когда я могъ издѣваться надъ самыми важными стремленіями времени; уже въ Копенгагенѣ сталъ я иронически говорить именно о всемъ, что было для меня самаго священнаго, потому, что хотѣлъ остаться одинокимъ и утаить себя отъ окружавшаго меня общества. Обращая такимъ образомъ оружіе противниковъ противъ моего собственнаго, глубочайшаго убѣжденія, я совершалъ надъ собою опытъ, который, могу сказать, былъ мнѣ очень полезенъ: въ этихъ испытаніяхъ обнаруживалось все, что было прочнаго и вѣчно-неизмѣннаго въ моемъ образѣ мыслей, что прежде было какъ будто скрыто за облаками. Новое, еще не вполнѣ выразившееся направленіе, можетъ быть предметомъ отвлеченной конструкціи, — но опредѣленная дѣйствительность непремѣнно будетъ насмѣхаться надъ нимъ, потому что не вдругъ оно является тѣмъ, чѣмъ *должно быть*, а все совершающееся имѣетъ необходимо слабую, открытую для насмѣшекъ сторону. Это сочетаніе надежды съ насмѣшкою выражали постоянно Фихте и Гёте; недавно еще олицетворила его одна весьма замѣчательная, исполненная ума женщина, *Рахель*.

Я многимъ обязанъ Фридриху Шлегелю. Наукообразное направленіе, созданное и немедленно принятое Августомъ Вильгельмомъ Шлегелемъ, возбудилось во мнѣ младшимъ его братомъ. Фридрихъ былъ во всѣхъ отношеніяхъ замѣчательный человѣкъ; сложенъ стройно, черты лица правильны, красивы и въ высшей степени *умны* Въ наружности его было что-то спокойное, даже флегматическое. Когда онъ, глубоко задумавшись, сидѣлъ въ креслахъ, развивая какую нибудь мысль, то обыкновенно обхватывалъ двумя пальцами, большимъ и указательнымъ,—лобъ свой, медленно сдвигалъ ихъ къ бровямъ, потомъ также медленно двигалъ ихъ по стройному своему носу; и чѣмъ глубже шелъ въ развитіи своей мысли, тѣмъ привычнѣе пальцы его, соединенные на концѣ носа, продолжали проводить по воздуху длинную, прямую линію. При этомъ говорилъ онъ медленно и обдуманно, и могъ иногда довести

меня до отчаянія. Я бѣгалъ, разгорячившись, взадъ и впередъ по горницѣ и часто прерывалъ нить его мыслей, но онъ оставался спокойно въ своихъ креслахъ. Въ послѣдствіи Тикъ сдѣлалъ на насъ каррикатуру: Шлегель представленъ былъ сидящимъ и въ глубокомъ раздумьи держащимъ передъ носомъ сложенные два пальца; я вздернулъ носъ вверхъ и размахиваю руками и ногами. Я вскорѣ очень тѣсно сблизился съ Фр. Шлегелемъ, хотя съ самаго начала чувствовалъ, что мнѣнія наши были совершенно различны, но забывалъ это ежеминутно; довольно замѣчательно, что можно, исходя изъ началъ совсѣмъ противоположныхъ, сойтись въ крайнихъ результатахъ. Фрид. Шлегель жилъ весь въ исторіи. Природа была ему совершенно чужда; оба брата не понимали даже наслажденія, доставляемаго прекраснымъ мѣстоположеніемъ. Такая ограниченность въ людяхъ отличныхъ и въ высокой степени умныхъ была мнѣ вовсе непонятна. Такъ напр. Лессингъ и Вильгельмъ Гумбольдтъ были совершенно лишены способности понимать музыку: не имѣли органа музыкальнаго.

Трудно встрѣтить другаго человѣка, личность котораго дѣйствовала бы сильнѣе, чѣмъ Фр. Шлегеля. Каждую сообщаемую ему мысль понималъ онъ глубокимъ и значительнымъ образомъ. Онъ могъ съ легкостію говорить о моихъ натуро-философическихъ идеяхъ; но всѣ его сочиненія доказываютъ, что онъ не понималъ живаго взгляда на природу. Его остроты были неистощимы и мѣтки. Онъ не повторялъ ихъ и умѣлъ радоваться остротамъ чужимъ. Онъ говорилъ, что вѣрнѣе всего можетъ опредѣлить глубину и объемъ всякаго ума, по тѣмъ остротамъ, которыя его плѣняютъ. Въ Кантовой антропологіи находилъ онъ истинный, острый, историческій умъ. Дѣйствительно, не только въ этомъ сочиненіи, но и во всей методѣ его философіи преобладаетъ видимо остроуміе надъ другими качествами.

. . . . . .

Въ Іенѣ познакомился я съ Новалисомъ. Я прежде объ немъ много слыхалъ, и едва ли былъ еще человѣкъ, котораго бы я такъ страстно желалъ узнать лично. Я засталъ его у Фридриха Шлегеля, на рукахъ котораго онъ, черезъ два года послѣ, умеръ. Наружность его, при первомъ впечатлѣніи, напо-

мнимая простоту благочестивыхъ христіанъ прежнихъ вѣковъ. Самая одежда укрѣпляла это впечатлѣніе, и необыкновенная простота оной не согласовалась съ знатностію его происхожденія. Онъ былъ высокъ, строенъ и сложенія явно чахоточнаго. Лицомъ смуглъ, черноволосъ. На тонкихъ губахъ иногда виднѣлась ироническая улыбка, но по большой части выражалась серьёзная кротость и необыкновенная доброта. Впалые глаза горѣли неземнымъ пламенемъ. Онъ вполнѣ былъ поэтъ. Все, что существуетъ, разрѣшилось для него въ глубокій миѳъ.

. . . . . .

Его нельзя назвать мистикомъ въ обыкновенномъ смыслѣ слова; мистики ищутъ внѣ той чувственности, въ которой сами закованы, глубокой тайны, заключающей въ себѣ ихъ свободу и духовную дѣйствительность. Для Новалиса, эта таинственная область была отчизной; изъ нея смотрѣлъ онъ на видимый міръ и на всѣ его отношенія. Этотъ прирожденный миѳъ, принадлежащій къ существу его, раскрывалъ ему философію, науки, искусства, и указывалъ на значительныя въ духовномъ мірѣ личности. Потому-то чудная прелесть языка его, его мелодическій стиль не были выучены, а просто ему свойственны; потому онъ съ одинакою легкостью обращался съ науками и съ поэзіей; самыя глубокія мысли также мало могутъ отрицать сродства своего съ сказкой, какъ самая пестрая произвольная сказка можетъ имѣть свою тайную, умозрительную мысль. Генрихъ-фонъ-Офтерингенъ и Ученикъ въ Саисѣ произвели сильное впечатлѣніе, и, подобно живущему въ эѳирѣ духу ихъ автора, казалось, обладаютъ тайнами, которыхъ ищетъ философія, посредствомъ своей строгой методы. По этому, Новалисъ могъ свободно высказывать всякое мнѣніе, и когда онъ увѣрялъ, что философъ долженъ имѣть внутреннюю методу, но, возвысясь надъ нею, долженъ учить не по ней, а совершенно выходя изъ нея, — то всего яснѣе и понятнѣе выражалъ собственное существо свое.

Въ большомъ обществѣ, или съ незнакомыми, могъ онъ сидѣть по нѣсколько часовъ молча и погрузясь въ мечтаніе. Нѣжное внутреннее чувство открывало ему присутствіе скрытыхъ,

внутренно противоположныхъ натуръ; онъ весь раскрывался только тогда, когда встрѣчалъ сродныя себѣ души, и въ этомъ случаѣ говорилъ охотно, живо и въ высшей степени одушевленно.

Старики, которые въ жизни дѣйствовали многосторонно и значительно, любятъ (когда исчезла уже эпоха ихъ дѣятельности и когда прошедшее является полузабытымъ среди движущагося въ другихъ направленіяхъ настоящаго)—любятъ подробно разсказывать о прежнемъ времени, объ всемъ, что сдѣлали и что пережили, и мы охотно слушаемъ умнаго разсказщика. Прошедшее оживаетъ въ его словахъ, и какъ бы само раскрываетъ свое самое существенное значеніе, и своимъ явленіемъ даетъ новый смыслъ живому настоящему.

Такъ все, что говорилъ и писалъ Новалисъ, казалось, истекало изъ первоначальной, глубокой старины духа, и являлось значительнымъ, но не яснымъ, среди шумной дѣятельности настоящаго.

Я провелъ съ нимъ только нѣсколько дней въ Іенѣ, нѣсколько недѣль въ Фрейбергѣ, куда онъ пріѣхалъ къ своей невѣстѣ, дочери Бергауптмана—Шарпантье, — и наконецъ засталъ его въ Дрезденѣ, ужь опасно больнаго. Разставаясь съ нимъ, я ясно предчувствовалъ, что уже больше не увижу его. Немногіе оставили на всю мою жизнь такое сильное впечатлѣніе, какъ Новалисъ. Мнѣ весело было слушать его, и онъ съ своей стороны принималъ дружеское участіе въ умозрѣніяхъ и идеяхъ, меня волновавшихъ. Мой историческій взглядъ на природу казался ему важнымъ и многообѣщающимъ. Все, что я читалъ изъ его произведеній, все, что слышалъ отъ него, все, что пережилъ съ нимъ, постоянно сопровождало мою жизненную пѣсню, какъ чудесные аккорды, или какъ далекое эхо, внятно передававшее мнѣ все, что лежало въ глубинѣ моей души, и что я самъ едва осмѣливался выговаривать.

Впослѣдствіи я узналъ людей, которые находились вполнѣ подъ вліяніемъ Новалиса, людей, посвятившихъ себя практической жизни, эмпирическихъ изыскателей природы, которые дорожили духовною тайною нашего существованія, и думали,

что въ произведеніяхъ Новалиса таится сокровище. Для нихъ его поэтическія религіозныя мысли были чудесными, многообѣщающими изреченіями оракула. . . . . .

Новалисъ былъ христіанинъ и человѣкъ вѣрующій, въ самомъ глубокомъ смыслѣ этого слова. Склонность его къ католицизму всѣмъ извѣстна; никто, можетъ быть, не увлекъ за собою столько молодежи къ католической церкви. Послѣ, въ полномъ изданіи его сочиненій появилась защита іезуитовъ; но не смотря на это, я думаю, что въ глубинѣ души своей онъ былъ протестантъ.

. . . . . .

Въ Дрезденѣ я нашелъ Тика и его семейство. Онъ поселился тамъ; и въ это время, въ домѣ его сестры, вышедшей за-мужъ за Эрнста, придворнаго Саксонскаго чиновника, жилъ Фридригъ Шлегель. Тикъ мнѣ ровесникъ, слѣдовательно, ему тогда было 28 лѣтъ. Онъ былъ хорошъ собою, строенъ; духовная сила и чудесная свѣтлость глазъ и донынѣ сохранились вполнѣ. Во всѣхъ его движеніяхъ выражалась какая-то особенная прелесть, даже изящество; рѣчь его вполнѣ соотвѣтствовала его наружности. Его разговоръ едва ли не лучше его сочиненій. Насъ невольно увлекаетъ не только изумительная ясность, съ которою онъ обсуживаетъ предметы, но и прелесть, и звучная округленность рѣчи, исполненной неодолимаго могущества. Трудно найти другую, болѣе сильную личность. Я никогда не видалъ, чтобы онъ разгорячился. Въ разговорѣ онъ обхватываетъ предметъ съ спокойною ясностью, насквозь видитъ его и говоритъ, удерживая свой энтузіазмъ, отъ чего изложеніе получаетъ внутреннюю теплоту, которая, кажется, будто вытекаетъ изъ самаго предмета, изъ его живаго духовнаго значенія. Онъ сказывалъ мнѣ, что когда случалось ему слышать, какъ въ аристократическихъ кругахъ съ важностію произносили судъ надъ предметами, въ высшей степени значительными; когда особенно презрительно разсуждали объ лучшихъ достоинствахъ Гёте, — тогда онъ чувствовалъ себя невольно возмущеннымъ; всего его проникало сильное негодованіе, онъ блѣднѣлъ, но молчалъ; а я (я долженъ при-

знаться) — я началъ бы безразсудно спорить. Я видалъ его вмѣстѣ съ заклятыми врагами, и они всегда были побѣждаемы его могущественною личностью; скажу смѣло, что эта личность, всѣмъ доступная, привѣтливая, имѣла такое же огромное вліяніе въ свое время, какъ и его сочиненія. Я не могу даже и выразить, какъ онъ сталъ мнѣ дорогъ, послѣ такого долговременнаго, душевнаго, родственнаго союза, неизмѣннаго среди всѣхъ самыхъ различныхъ обстоятельствъ, и ненарушеннаго даже разномысліемъ въ важнѣйшихъ предметахъ. Когда онъ говорилъ о томъ, что коротко зналъ, наприм. о поэтахъ, обожаемыхъ имъ, о Гёте, Шекспирѣ, даже иногда о Гольбергѣ, тогда онъ радушно и щедро дѣлился всѣми своими мыслями. Его литературная дѣятельность и сильное, всеобъемлющее вліяніе его поэзіи, недавно мастерски оцѣнены въ разсужденіи Брандиса, приложенномъ ко второму изданію Витторіи Аккоромены.

Многіе изъ молодыхъ поэтовъ обогатились мыслями, вырванными изъ разговоровъ Тика, но никогда не называли его. Многіе перешли на враждебную сторону, — и если въ ихъ нападкахъ есть хоть искра ума, они обязаны ею тому сокровищу, богатствомъ котораго не умѣли вполнѣ воспользоваться. Съ своей стороны, я долженъ сознаться, что многіе взгляды, публично мною высказанные, проистекаютъ изъ сомнительнаго источника; я самъ не знаю, вполнѣ ли они принадлежатъ мнѣ, или я обязанъ ими разговорамъ Тика, исполненнымъ богатаго содержанія. Покуда болѣзнь не лишила его полной свободы движеній, его быстрая и богатая мимика была столь же удивительна, какъ и неподражаемая гибкость выговора. Если бы онъ вступилъ на сцену, то былъ бы величайшимъ актёромъ своего времени.

. . . . . .

Насталъ день рожденія жены Тика. Онъ былъ особенно веселъ, хотѣлъ для праздника играть на театрѣ и взялъ на себя всѣ роли. Но ихъ должно было еще выдумать. Онъ потребовалъ отъ меня тему, — а я задалъ ему выдумать и сыграть пьесу, въ которой любовникъ и оранг-утангъ были бы

одно и тоже лицо. При его тогдашнемъ веселомъ расположеніи, я не могъ ничего выбрать удачнѣе.

Тикъ удалился на полчаса; зрители, т. е., его семейство и нѣкоторые друзья усѣлись въ одной половинѣ комнаты, другая представляла сцену. Первый его монологъ перенесъ насъ въ большой торговой городъ: передъ нами гавань, въ которой множество кораблей; взадъ и впередъ ходилъ капитанъ, только что возвратившійся изъ Африки. Изъ его разговора мы узнали, что онъ привезъ съ собою кучу всякихъ рѣдкостей природы, въ подарокъ старому своему другу, страстному охотнику до подобнаго рода собраній. «Хотѣлъ бы я знать,— спросилъ онъ,—все ли старый дуракъ такой же космополитъ, какимъ былъ прежде.» Въ это время приходитъ одинъ изъ молодыхъ его пріятелей, съ лицомъ въ высшей степени опечаленнымъ. Они узнаютъ другъ друга. Капитанъ спрашиваетъ, что съ нимъ сдѣлалось, ужь не влюбленъ ли онъ; и молодой человѣкъ сознается. Капитанъ узнаетъ, что онъ влюбленъ въ дочь его стараго друга, страстнаго собирателя рѣдкостей природы, и что любимъ взаимно. Но отецъ рѣшительно не соглашается на бракъ; и здѣсь начинается собственно завязка пьесы. Капитанъ предлагаетъ несчастному влюбленному представить его старику, какъ оранг-утанга, воспитаннаго и образованнаго Лондонскимъ Африканскимъ обществомъ. Сцена перемѣняется. Передъ нами капитанъ и старикъ. Веселый морякъ мало по малу заводитъ разговоръ объ главномъ предметѣ. Глубокія остроты сыплются одна за другой. Наконецъ, къ удивленію старика, онъ начинаетъ говорить объ педагогическомъ институтѣ въ Сіерра-Леона. Не однихъ негровъ желаютъ образовать гуманные Англичане. Хотятъ испытать, сколь глубоко можетъ проникнуть драгоцѣнное Европейское образованіе въ сіи отдаленныя страны, и при этихъ важныхъ опытахъ, не хотятъ ограничиться одними такъ называемыми людьми. Въ лѣсахъ небритыя творенія бѣгаютъ уже на заднихъ лапахъ. Уже они сморкаются. Ихъ пріучили прилично сидѣть на стульяхъ и употреблять ножи и вилки, что съ большимъ трудомъ могли внушить неграмъ. Кампперъ доказалъ, что горло ихъ образовано сходно съ человѣческимъ, слѣдовательно, только языкъ связанъ, и нужно только

его развязать,—разумѣется, что это дѣло трудное; нельзя отвергать, что большая часть опытовъ не удалась, и что безсмысленныя животныя поступали также, какъ и простой народъ, когда у него отнимаютъ его поэзію и религію, стараясь дать ему новую образованность; что они также сопротивлялись и упорствовали; но что надъ нѣкоторыми опыты увѣнчались успѣхомъ,—и что онъ привезъ съ собою одинъ изъ образцовыхъ экземпляровъ, юношу много обѣщающаго, только что выпущеннаго изъ оранг-утангской гимназіи и выдержавшаго блестящій экзаменъ. Языкъ еще не совсѣмъ свободно поворачивается, но если хорошенько прислушаться, можно услышать множество превосходныхъ мыслей о человѣческомъ счастіи, о разведеніи акаціи и цикорія и тому подобныхъ вещахъ, служащихъ къ облагороживанію человѣческаго рода. Но до сихъ поръ ему оставили его природную шубу. Лондонская Врачебная оберъ-коллегія должна рѣшить, когда можно будетъ его выбрить, не повредя его здоровью. Но теперь онъ можетъ являться только въ кругу самыхъ просвѣщенныхъ людей, которые охотно простятъ ему нѣкоторыя отступленія отъ моды. Этотъ молодой человѣкъ подаетъ большія надежды. Въ Лондонѣ онъ будетъ продолжать столь счастливо начатое образованіе, и потомъ, какъ просвѣщенный воспитатель, выманитъ изъ глубины лѣсовъ остальныхъ оранг-утанговъ и привьетъ имъ Европейское развитіе. Онъ до сихъ поръ еще съ виду чрезвычайно страненъ, и всякаго человѣка съ предразсудками непріятно поразилъ бы своею шерстью, и неразвязностію своего языка. Но у него прекрасное, нѣжное сердце; онъ разливается въ слезахъ, когда ему читаютъ чувствительныя мѣста изъ драмъ Ифланда и Коцебу, и вообще онъ добръ во глубинѣ души. Въ чудакѣ, пріятелѣ капитана, сильно возгорѣлось желаніе узнать юношу, преодолѣвшаго всѣ естественныя препятствія, и который, какъ казалось, представлялъ первый примѣръ развитія, далѣе границъ, опредѣленныхъ людскими предразсудками. Является переодѣтый любовникъ, говоритъ мало, почти ворчитъ; но рѣчь его полна прекрасныхъ мыслей, проникнута чувствительностію; когда онъ удалился, старикъ разсыпался въ похвалахъ ему;

онъ ожидалъ переворота въ исторіи отъ этого новаго явленія. Чего нельзя надѣяться, думаетъ онъ, отъ такъ называемыхъ скотовъ, когда нѣкоторые изъ нихъ, образованные подобно сему, могутъ такъ поучительно и умно разсуждать о своемъ первобытномъ состояніи. Подобный молодой человѣкъ можетъ основать школу, гдѣ преподаваніе будетъ основано на инстинктѣ и другихъ способностяхъ, принадлежащихъ звѣрямъ и уже утраченныхъ людьми. Тогда капитанъ осмѣлился сдѣлать своему другу предложеніе, въ началѣ его удивившее. «Отдайте вашу дочь этому отличному оранг-утангу. Онъ встрѣтилъ ее на лѣстницѣ, когда мы входили къ вамъ: путешествуя по большимъ дорогамъ, онъ встрѣчалъ многихъ женщинъ, удивлявшихся ему, даже приходившихъ отъ него въ восхищеніе, и не скрывавшихъ своего сердечнаго волненія, но всѣ онѣ не дѣлали на него никакого впечатлѣнія, — хотя онъ уже начиналъ предчувствовать, чѣмъ будетъ для него одно изъ этихъ обворожительныхъ существъ. Но когда онъ увидѣлъ вашу дочь, — въ полномъ восхищеніи и потрясенный до глубины души онъ воскликнулъ: какое чудесное созданіе! — и отъ этого сильнаго потрясенія онъ потерялъ нѣсколько волосъ, которые лежатъ у васъ на лѣстницѣ. Голосъ сдѣлался звучнѣе, глаза блестящѣе, все лицо просвѣтлѣло. Безъ всякаго сомнѣнія, вашей дочери предназначено окончить духовное развитіе оранг-утанга.» Старикъ началъ возражать; капитанъ опровергалъ его: «вы сами,—восклинулъ онъ наконецъ,—сдѣлаетесь безсмертнымъ. Поспѣшите воспользоваться благопріятною минутою, любезный другъ, поспѣшите, съ вашимъ именемъ соединится навсегда самая удивительная эпоха въ исторіи. Ваша дочь будетъ счастлива, когда сознаетъ великое значеніе задачи ея жизни. Тутъ будетъ положено основаніе новому поколѣнію, которое соединитъ въ себѣ всѣ преимущества животныхъ, съ возвышенными и благородными направленіями, развивающимися въ наше время въ человѣчествѣ!» — Мнѣ невозможно передать всѣхъ остротъ, мгновенно раждавшихся и проникавшихъ всю пьесу. Счастливы были бы наши комическіе писатели, если бы имъ удалось, въ цѣлой пьесѣ, представить такое богатство остроумія, которое тутъ было въ каждомъ отдѣльномъ

явленіи. Чѣмъ дѣло кончилось, можно угадать. Дочь сначала противится, наконецъ соглашается, и послѣ заключенія брака оранг-утангъ дѣлается человѣкомъ, что гуманному отцу несовсѣмъ пріятно. Мнѣ не случалось видѣть ничего подобнаго; всѣ лица были живы передъ нами. Потокъ рѣчи не прерывался. Съ быстротою мысли переносился онъ изъ одного лица въ другое.

Пьесу эту повторяли нѣсколько разъ въ тѣсныхъ дружескихъ кружкахъ; всѣ эти представленія, никогда не производили на меня того сильнаго впечатлѣнія, которое испыталъ я при первомъ представленіи, когда Тикъ самъ игралъ и въ то же время изобрѣталъ.

Такъ, въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, жилъ я съ Тикомъ и Фридрихомъ Шлегелемъ; и мы видались ежедневно. Чѣмъ стало для меня это время, трудно сказать. Духовное вліяніе такого замѣчательнаго человѣка нельзя опредѣлить; подобные люди дѣйствуютъ, возбуждая собственную нашу природу. Вліяніе это не сковываетъ насъ, какъ нѣчто чуждое, намъ навязанное. Все вызывается, развивается изъ насъ самихъ, и чѣмъ сильнѣе ихъ вліяніе, тѣмъ свободнѣе, тѣмъ самостоятельнѣе чувствуемъ мы самихъ себя. Въ этомъ кругу я изучилъ искусство и пріучился различать простое отъ манернаго, природу искусства отъ школьной искусственности. Великія эпохи художниковъ Италіи, Испаніи, Англіи и нашей прошедшей Германіи какъ бы приблизились ко мнѣ; я былъ перенесенъ въ средину ихъ, силою могучаго духа, имъ сроднаго. Я какъ бы жилъ въ эти цвѣтущія времена; я наслаждался великимъ прошедшимъ, какъ будто оно было богатое настоящее, и съ радостію встрѣчалъ каждый новый день.

. . . . . .

Немногіе имѣли такую счастливую молодость, какую я. Мнѣ минулъ тридцатый годъ, и исключая два печальные года, прочая моя жизнь такъ была весела, какъ рѣдко бываетъ человѣческая жизнь. Во все это время, даже и въ печальную годину, никогда, ни на одну минуту, будущее не являлось мнѣ въ мрачномъ видѣ. А между тѣмъ настоящее дарило меня обильными наслажденіями; и я ими не пренебрегалъ. Независимъ

я былъ въ полнѣйшемъ смыслѣ этого слова. Каждый, съ кѣмъ я приходилъ въ какое нибудь соприкосновеніе, встрѣчалъ меня доброжелательно, потому что я не мѣшалъ никому; и какъ ни велико было мое счастіе, однако не много нашлось людей, которые бы мнѣ завидовали.

Справедливо было и мнѣ раздѣлить наконецъ общую участь смертныхъ. Обстоятельства, которыя наконецъ заставили меня оставить отечество, грозно стали передо мною, тотчасъ послѣ возвращенія моего на родину. (1802)

. . . . . .

(Не смотря на покровительство многихъ значительныхъ мужей Даніи, особенно графа Шиммельмана, и на извѣстность, пріобрѣтенную имъ въ Германіи, Копенгагенская дѣятельность Стефенса встрѣтила важныя препятствія. Начальникомъ всей учебной части былъ тогда въ Даніи герцогъ Аугустенбургскій, зять короля, человѣкъ очень благонамѣренный и образованный, который хотѣлъ пробудить университетъ и школы отъ глубокаго сна, тяготѣвшаго надъ ними. Но онъ съ неудовольствіемъ смотрѣлъ на философское движеніе, которое, какъ казалось въ то время, насильственно нарушало порядокъ и спокойствіе Нѣмецкой литературы. Стефенсъ долженъ былъ ему представиться и былъ принятъ холодно. Герцогъ выразилъ ему свое негодованіе противъ тогдашняго направленія Германской словесности.)

«На васъ сильно нападаетъ Николаи»—сказалъ онъ.—«Простите, ваша светлость, я, къ стыду моему, въ первый разъ узнаю, что существуетъ философъ или натуралистъ, который носитъ это имя.»

«Я разумѣю,—съ досадою отвѣчалъ герцогъ,—книгопродавца Николаи».—«Такихъ нападеній не могу, конечно, узнать, потому что того, что онъ пишетъ, я не читаю.»

Герцогъ отпустилъ меня и сильно разсердился.

Друзья мои объяснили мнѣ, что значитъ нападеніе Николаи. Добрый старикъ считалъ своею обязанностью всѣми силами противодѣйствовать вредному вліянію, которое я могъ бы имѣть на Датское юношество. Покуда я приготовлялся ѣхать на родину, онъ напечаталъ обо мнѣ почти цѣлый выпускъ Нѣмец-

кой библіотеки: разумѣется, осуждалъ меня, опровергалъ громкими восклицаніями; къ нападеніямъ на мое лицо присоединилъ изложеніе безконечнаго вреда, проистекающаго изъ той философіи, которая, презирая всякій опытъ, все хочетъ построить a priori; даже обвинилъ меня въ томъ, что, предаваясь фантастическимъ мечтаніямъ непонятной философіи, я безполезно растратилъ тѣ суммы, которыя щедрое правительство давало мнѣ для основательнаго изученія минералогіи. Этотъ выпускъ былъ посвященъ герцогу Аугустенбургскому, даже украшенъ его портретомъ,—и почти достигъ своей цѣли.

(Не смотря на препятствія, въ Октябрѣ 1803 г. Стефенсъ началъ читать въ Копенгагенскомъ университетѣ публичныя лекціи.)

Я былъ въ странномъ расположеніи духа. То, что въ молодости являлось мнѣ, какъ чудесная тайна, къ чему при всѣхъ внѣшнихъ препонахъ влекло меня внутреннее стремленіе, что я самъ недовѣрчиво отклонялъ отъ себя, что тщательно скрывалъ отъ враждебныхъ споровъ, то самое долженъ былъ теперь проповѣдывать всенародно. Я испытывалъ то, что, конечно, испытывалъ всякій предъ исполненіемъ труднаго предпріятія: мною вдругъ овладѣлъ невыразимый страхъ, будущее являлось мнѣ въ грозномъ видѣ. Я зналъ, что мои будущія чтенія возбуждаютъ всеобщее любопытство; но зналъ то, съ какимъ могущественнымъ предразсудкомъ долженъ я бороться; я рѣшился медленно развивать свою мысль, избѣгая всего, что можетъ ожесточить противъ нея; но съ тѣмъ вмѣстѣ ясно видѣлъ, что нѣтъ ни одного средняго звена, между господствующимъ мнѣніемъ и умозрѣніемъ, которое я проповѣдывалъ, что здѣсь необходимъ скачекъ, что постепенный переходъ отъ условнаго къ безусловному и духовно-свободному невозможенъ, что неизбѣженъ безконечный соблазнъ. Тогда-то понялъ я высокое достоинство безусловнаго: оно уже не было для меня отвлеченностью, но жизнію, образомъ мыслей, живымъ источникомъ познанія. Послѣднюю минуту передъ вступленіемъ на каѳедру провелъ въ своей уединенной комнатѣ и молился; послѣ самаго ранняго дѣтства, это было первая моя истинная молитва.

Я жилъ тогда прямо противъ своей будущей аудиторіи, такъ, что мнѣ нужно было только перейдти черезъ улицу. Я успѣлъ однако замѣтить, какое любопытство возбуждало открытіе моихъ чтеній: толпы уже тѣснились передъ дверьми университета; корридоры были набиты людьми; въ аудиторіи, которая была во второмъ этажѣ, казалось невозможнымъ протѣсниться, и прошло нѣсколько времени, покуда мнѣ дали дорогу. Въ залѣ вмѣщалось до пяти сотъ слушателей; всѣ окна были заставлены любопытными; я съ большимъ трудомъ могъ добраться до каѳедры. Когда я взошелъ на нее, во всей залѣ сдѣлалась мертвая тишина. Тогда только оставила меня тоска, и всего проникло радостное сознаніе важности этого мгновенія. Только при первыхъ словахъ слушатели могли замѣтить во мнѣ минутный трепетъ. Я еще не смѣлъ импровизировать и читалъ по тетради. Послѣ напечаталъ я первыя десять лекцій, и онѣ важны для меня, потому что изъ нихъ видно, какъ ясно было для меня уже въ то время основное положеніе философіи, въ развитіи которой прошла вся моя жизнь; а именно, что Богъ познается нами, какъ живое личное единство живыхъ вѣчныхъ личностей, и что въ этомъ смыслѣ Онъ есть источникъ всякаго познанія. Неудивительно, что мои первыя чтенія понравились; это былъ потокъ внутренней жизни, который я съ большимъ усиліемъ удерживалъ обдуманнымъ трудомъ. Слушатели не могли не замѣтить, что я былъ проникнутъ святымъ сознаніемъ важности моего призванія, что меня увлекала не холодная система, но пламенный образъ мыслей (Gesinnung). Такого рода преподаваніе было ново для Копенгагенскаго университета; то, что я говорилъ, совершенно незнакомо всѣмъ слушателямъ. Участіе къ моимъ чтеніямъ возрастало съ каждымъ днемъ. Я могу смѣло сказать это, потому что во всѣхъ концахъ Даніи и Норвегіи живутъ еще люди, бывшіе въ молодости моими слушателями.... Одинъ неожиданный случай еще удвоилъ мою самоувѣренность и придалъ мнѣ новыя силы. Когда я въ пятый или шестой разъ взошелъ на каѳедру, то не могъ доискаться своей тетради. Зала была полна, какъ обыкновенно; даже нельзя было затворить дверей потому, что въ корридо-

рахъ стояли густыя толпы. Я на минуту задумался. Вспомнилъ впрочемъ, что и въ послѣднихъ чтеніяхъ я не смотрѣлъ въ тетрадь, что она даже мѣшала мнѣ. Теперь ее вовсе не было, а предметъ, о которомъ мнѣ должно было говорить, былъ для меня, со всѣми его подробностями, совершенно ясенъ. Я объявилъ слушателямъ, что тетрадь моя пропала, и что они должны удовольствоваться импровизаціею. Вся зала смотрѣла на мена съ живымъ любопытствомъ. Ждали неловкой, медленной рѣчи и удивились, когда она полилась яснѣе, живѣе, быстрѣе, даже опредѣлительнѣе обыкновеннаго. Тутъ только убѣдился я во враждебномъ расположеніи своихъ противниковъ: стали говорить, что все это была фарса, напередъ придуманная; что я нарочно оставилъ дома рукопись, выучивши ее наизусть; что это сдѣлано для того, чтобы удвоить впечатлѣніе, производимое моими чтеніями. Опровергнуть слухъ этотъ было мнѣ весьма нетрудно; стоило только читать всегда безъ тетради. Я очень былъ тому радъ, и такимъ образомъ навсегда освободился отъ тетради.

(Это было въ Октябрѣ 1803 года. Стефенсу не давали въ Копенгагенскомъ университетѣ профессорскаго мѣста; нѣсколько времени онъ оставался частнымъ преподавателемъ. Въ Мартѣ 1804 г. получилъ онъ приглашеніе занять въ Галле мѣсто ординарнаго профессора философіи натуры, физіологіи и минералогіи. Многія обстоятельства, всего же болѣе невозможность самостоятельной дѣятельности въ Копенгагенѣ, заставили его съ радостью принять приглашеніе Гальскаго университета и навсегда проститься съ родиною, друзьями и родственниками.)

Не буду слышать вкругъ себя сладкихъ звуковъ своего языка: я долженъ сроднить свою мысль, свою жизнь съ другимъ нарѣчіемъ. Когда изъ нашихъ глазъ исчезли берега Зеландіи, мнѣ казалось, будто безвозвратно отдался я чуждому духу, невѣрной, грозной судьбѣ. Но мало по малу будущее прояснилось; Нѣмецкая рѣчь, жившая во мнѣ съ первыхъ отроческихъ лѣтъ, манила къ себѣ родственными, привѣтливыми звуками. Въ Германіи меня ждали Нѣмецкіе друзья и родные, и подлѣ меня стояла жена моя, съ великою

радостью возвращавшаяся на родину, веселая, счастливая—и мрачныя привидѣнія разсѣялись.

. . . . . .

(Отъ 1804—1806 Стефенсъ профессорствовалъ въ Галле.)

Въ одно время со мною призванъ былъ въ Галле экстраординарнымъ профессоромъ человѣкъ, который сдѣлалъ эпоху въ моей жизни—Шлейермахеръ. Шлейермахеръ былъ, какъ извѣстно (его знали и помнятъ многіе), маленькаго роста, даже нѣсколько горбатъ, что однако не безобразило его. Всѣ движенія его были живы, черты лица необыкновенно значительны. Проницательность его глазъ имѣла даже, можетъ быть, что-то отталкивающее; казалось, онъ всего видитъ насквозь.

Шлейермахеръ былъ нѣсколькими годами старѣе меня; лицо продолговатое, всѣ черты рѣзко обозначенныя, выдавшійся впередъ подбородокъ, глаза живые и огненные, взглядъ во всякую минуту важный, сосредоточенный и глубокомысленный. Я видалъ его въ самыхъ разнообразныхъ житейскихъ обстоятельствахъ — задумчиваго и шутливаго, кроткаго и разсерженнаго, въ минуты сильной радости и въ минуты сильнаго горя, — и никогда, казалось, не оставляло его неизмѣнное спокойствіе: оно было выше, могущественнѣе всякаго временнаго душевнаго движенія; но это спокойствіе вовсе не было природною неподвижностію; на всемъ лицѣ его играла легкая иронія; онъ волновался глубокимъ участіемъ, и сквозь наружное спокойствіе просвѣчивала доброта почти младенческая. Власть ума чудеснымъ образомъ укрѣпила и изощрила его чувства. Среди самаго горячаго разговора отъ него не ускользало ничто; онъ видѣлъ все, что происходило вокругъ него, слышалъ все, даже не громкій разговоръ другихъ собесѣдниковъ . . . . . Мы вполнѣ и безусловно подружились, и я испыталъ на себѣ самомъ, самымъ очевиднымъ образомъ, что безусловная преданность не только не уничтожаетъ самостоятельности, но возвышаетъ ее. Такъ точно присвоилъ меня себѣ Гёте, такъ Шеллингъ, такъ теперь Шлейермахеръ. Именно то направленіе, по которому напрасно называли его спинозизмомъ, привлекло меня, потому что являлось не въ образѣ естественной необходимости, а какъ живѣйшій источникъ безусловной свободы. Не

смотря на діалектическій отрицательный способъ, изложеніе его было проникнуто дѣйствительностью того положительнаго, всеобъемлющаго единства, въ которомъ преображается всякое отрицаніе. Мы жили въ самой тѣсной, духовной связи, сообщали другъ другу наши мнѣнія, мысли, даже склонности. Прогулки, поѣздки за городъ, все было у насъ вмѣстѣ; наши лучшіе слушатели, тѣ, которымъ наука была не шутка, — принадлежали намъ обоимъ. Они замѣчали, что между его ионическими и моими философскими лекціями существуетъ внутреннее согласіе, и что мы взаимно дополняемъ одинъ другаго. И въ самомъ дѣлѣ, мы мѣнялись тѣмъ, что знали; если Шлейермахеръ слушалъ мои лекціи о физикѣ, то самъ изъяснялъ мнѣ Греческую философію: черезъ него узналъ я Платона.

Глубина, сосредоточенность, даже религіозность, съ какой смотрѣлъ Шлейермахеръ на жизнь и науку, внушали ему глубокое презрѣніе ко всему, что въ наукѣ и въ жизни казалось ничтожнымъ и мѣлочнымъ. Въ городѣ ходили про него странные слухи. Съ ужасомъ разсказывали о томъ, что профессоръ богословія и пасторъ ходитъ ботанизировать въ зеленой курткѣ, цвѣтныхъ панталонахъ и съ ружьемъ на плечѣ . . . . .

. . . . . .

Такъ жилъ я совершенно счастливый: самые прекрасные виды открывались мнѣ въ будущемъ; желанная дѣятельность, кругъ которой безпрестанно расширялся и обѣщалъ богатое развитіе, приводила въ движеніе всѣ мои способности; семейство, мои друзья, мои слушатели дарили меня душевнымъ счастіемъ. Но земля, на которой выросла для меня блаженная жизнь, колебалась подъ нашими ногами, а я и не замѣчалъ того. Впрочемъ понималъ, въ какомъ отчаянномъ положеніи находится Пруссія; меня тревожилъ и ужасалъ возникшій изъ революціи великанскій образъ и со страхомъ думалъ я о будущемъ.

Весною 1806 г. поѣхалъ я вмѣстѣ съ Шлейермахеромъ и его сестрою въ Берлинъ. Весна была удивительная, и Берлинъ исполненъ жизни. Политическія происшествія съ каждымъ днемъ становились грознѣе, и чѣмъ болѣе приближалась развязка, тѣмъ

сильнѣе высказывалось энергическое убѣжденіе, требовавшее рѣшительнаго сопротивленія.

Гумбольдтъ, который за годъ передъ тѣмъ возвратился изъ южной Америки, жилъ тогда въ Берлинѣ Бартольди только что пріѣхалъ изъ Греціи. Я пошелъ отыскивать Фихте: въ большомъ домѣ, гдѣ была его квартира, всходя на лѣстницу, встрѣтилъ очень хорошо одѣтаго молодаго человѣка, у котораго и спросилъ, какъ пройти къ Фихте. „Я не знаю, кто такой Фихте,"—отвѣчалъ молодой господинъ. Признаюсь, я посмотрѣлъ на него съ удивленіемъ. Какимъ образомъ Фихте, бывшій тогда на вершинѣ своей славы, слѣдовательно, однимъ изъ знаменитѣйшихъ мужей цѣлой Германіи, могъ быть вовсе неизвѣстенъ образованному молодому человѣку, именно въ томъ домѣ, гдѣ жилъ Фихте; это показалось мнѣ очень страннымъ, и дало понятіе объ огромномъ и столичномъ характерѣ Берлина.

Мы застали Берлинъ въ сильномъ броженіи. Меня всего болѣе занимали ученые, возбуждавшіе тогда всеобщее любопытство. То, что слышалось тогда отъ Бартольди о Грекахъ, о безнадежномъ состояніи этого доблестнаго народа — было мнѣ совершенно ново; меня увлекали въ его разсказахъ народныя сцены этого угнетеннаго края. Бартольди былъ сообщителенъ, разсказы его живы и поучительны. Знакомство мое съ Іоанномъ Мюллеромъ казалось мнѣ тогда весьма счастливымъ для меня событіемъ. Я съ великимъ наслажденіемъ читалъ его исторію Швейцаріи, уважалъ основательность его свѣденій, удивлялся уму, освѣщающему его разсказъ. Его знакомство имѣло вліяніе даже на мои занятія. Въ то время многіе пытались построить исторію по началамъ философіи природы. Онъ явился критикомъ этихъ опытовъ и безъ пощады высказалъ свое негодованіе въ нѣсколькихъ разборахъ, помѣщенныхъ въ Іенской Литературной газетѣ. Хотя я очень коротко зналъ, что у него направленіе вовсе не умозрительное, а художественное, и что онъ совершенно не способенъ оторваться отъ отдѣльныхъ историческихъ изслѣдованій, однако долженъ былъ согласиться съ нимъ во многомъ, и въ его борьбѣ съ неумѣстнымъ умозрѣніемъ видѣлъ полезное для себя предостереженіе.

Но всего важнѣе было для меня знакомство съ Александ-

ромъ Гумбольдтомъ. Я давно уже поклонялся удивительному дарованію этого удивительнаго испытателя природы. Его подземная флора, его геогностическія розысканія, гдѣ онъ первый указалъ на однообразную формацію древнѣйшихъ горныхъ слоевъ — мысль бывшая живымъ зародышемъ всей новѣйшей геогнозіи; его подробныя наблюденія о возбужденныхъ Вольтовымъ столбомъ мускулахъ и нервахъ, его эвдіометрическіе опыты, — всѣ эти труды заставили меня признать въ немъ одного изъ первыхъ умовъ нашего времени. Я видался съ нимъ каждый день; разговоры его были въ высшей степени поучительны: неизмѣримое богатство наблюденій по всѣмъ направленіямъ естественной науки; могущественное, многостороннее созерцаніе природы, края еще неизвѣстнаго и почти недоступнаго для насъ; ясное доказательство необходимости подвергнуть и прочія части свѣта, — весь шаръ земной, такому же изслѣдованію: все это почти уничтожало меня. Я видѣлъ передъ собой создателя физической географіи; мужа, который и до сихъ поръ, въ глубокой старости, сбираетъ всѣ плоды отдѣльныхъ изслѣдованій въ одну огромную, обнимающую весь земной шаръ систему и расширяетъ предѣлы науки, имъ же основанной. Никогда не бывало ученаго, который лучше бы умѣлъ овладѣть безконечнымъ разнообразіемъ предметовъ, входящихъ въ его изслѣдованія. Все, чего онъ однажды коснулся, принадлежитъ ему навсегда; во всякую минуту служатъ ему разнообразныя явленія природы цѣлаго земнаго шара и ученыя замѣчанія всѣхъ временъ. Если бы я познакомился съ нимъ въ другое, не столько смутное время, онъ конечно овладѣлъ бы мною еще исключительнѣе, еще глубже.... Но и тогда онъ сдѣлалъ эпоху въ моей жизни.

Въ обществахъ, среди которыхъ я жилъ, выражался народный восторгъ, проистекавшій изъ чистѣйшаго источника. Какъ иностранецъ, я не могъ отчетливо судить: можетъ ли Пруссія устоять еще нѣсколько лѣтъ противъ грозы; но дѣятельность тогдашняго времени имѣла такую великую бодрость, что заслоняла отъ меня будущія, еще неясныя бѣды. Ненависть къ направленію, развившемуся во Франціи и уничтожавшему всякую Германскую народность, высказывалась во мнѣ самымъ

рѣшительнымъ образомъ. Высокое призваніе Германіи, заставившее меня покинуть отечество, неудержимое стремленіе внутренней моей жизни — разрушалось Французскою силою. А для меня оно было сокровищемъ, святынею; сѣмена, которымъ я желалъ развитія, носили въ себѣ, по моему убѣжденію, обѣтованіе будущей исторической жизни. Я тогда уже былъ увѣренъ, что эта жизнь не узнана и не постигнута грозными нашими врагами, что всю Французскую революцію проникало тайное предчувствіе духовной силы, которая все, что революція признавала за высочайшее, должна подчинить высшему началу и удержать въ этой подчиненности. Французы хотѣли уничтожить въ Германіи именно то, что было для меня святынею, и я не скрывалъ своей ненависти къ Французскому народу, выражалъ ее не въ однихъ разговорахъ, но и съ каѳедры, и выражалъ въ сильныхъ, даже одностороннихъ выходкахъ, даже считая своею обязанностью распространять ее и собирать такимъ образомъ силами умственнаго движенія дружину противъ непріятеля. Подобная дружина, правда, не смотрѣла на политическія обстоятельства; борьба была болѣе внутренняя, чѣмъ внѣшняя; въ тогдашнемъ нашемъ положеніи нужно было побѣдить духовную силу врага, скрывавшуюся въ глубинѣ нашихъ собственныхъ убѣжденій. Наши убѣжденія были впрочемъ всеобщія Германскія, но не Прусскія. Нужна была опасность Пруссіи, чтобы спасеніе нашей святыни соединилось съ ея спасеніемъ. Но ея опасность могла ли долго оставаться неизвѣстною? Уже до отъѣзда въ Берлинъ, разговоры съ Шлейермахеромъ привязали меня къ Пруссіи; въ Берлинѣ всеобщее одушевленіе такъ увлекло меня, что навсегда опредѣлило мой образъ мыслей.

Настали прекрасные, свѣтлые весенніе дни. Подъ Липами, у распустившихся деревьевъ собирался цвѣтъ города. Когда умами овладѣваетъ всеобщее волненіе, тогда упадаютъ всѣ грани, раздѣляющія отдѣльныя семейства и общества; все уступаетъ силѣ общихъ выгодъ; исчезаетъ все, что отдаляло людей и дѣлало ихъ чужими другъ для друга. Часто, подъ Липами, я сближался съ людьми, которыхъ однажды мелькомъ видѣлъ, и они подходили ко мнѣ, и начинался разговоръ, какъ будто между старыми пріятелями.

Въ странномъ положеніи находилась тогда Пруссія: Прусскія войска заняли Ганноверъ; Ганноверцы ненавидѣли Пруссаковъ еще больше, чѣмъ Французовъ; ждали, что Англія объявитъ Пруссіи войну; дружба Россіи охладѣла; Австрія, покинутая Пруссаками въ самую опасную для нея минуту, ожесточилась. Казалось, Пруссія оставлена безъ надежды на произволъ Французовъ. И именно въ это время ожила сила, которой предназначено было побѣдить Францію. Вся благородная, лучшая часть народа живо симпатизировала съ Англіею, за то, что сія держава готовилась объявить намъ войну. Тогда-то я въ первый разъ понялъ, что и меня можетъ увлечь политическая дѣятельность. И прежде не былъ я равнодушенъ къ политическимъ предметамъ, даже едва не сдѣлался Якобинцемъ; я имѣлъ даже политическій образъ мыслей, тѣсно связанный съ моими прочими учеными мнѣніями; но все это оставалось теоріею, наукою, надеждою; я и не предчувствовалъ, что такое настоящая политическая дѣятельность.

. . . . . .

Цѣлое лѣто провели мы въ Галле, нетерпѣливо ожидая развязки, и никто изъ насъ не могъ предвидѣть, что театромъ войны будетъ та сторона, гдѣ мы сами жили. Мы думали, что Прусскія войска двинутся, какъ бывало прежде, на Рейнъ; успокоивали себя военною репутаціею арміи; предполагали, что и въ случаѣ неудачи, хотя бы даже Пруссія и доведена была до опасной зависимости отъ Французскаго императора, буря не коснется нашихъ частныхъ гражданскихъ отношеній. Пруссаки привыкли давать своему войску безусловное предпочтеніе передъ Австрійскимъ, и потому примѣръ Австріи не пугалъ никого. Кто же могъ ждать, что даже наше университетское ученіе скоро будетъ остановлено непріятелемъ? Число моихъ слушателей умножалось. Я читалъ тогда въ первый разъ экспериментальную физику. Казалось, предстоящая война не можетъ помѣшать намъ. Осенью къ Галле подошло наше войско. Въ Гибихенштейнѣ у тестя моего стояло нѣсколько генераловъ, которые издавна были со мною знакомы. Многіе изъ нихъ послѣ, во время войны, совершенно потеряли присутствіе духа, и обнаружили самый вредный и недостойный образъ мыслей;

въ это время, скажу откровенно, разговоры ихъ испугали меня. У нихъ не было того здороваго одушевленія, которое проистекаетъ изъ свѣжей полноты всѣхъ душевныхъ силъ, а какая-то близорукая надменность, какая-то вѣра въ магическую силу давно отжившихъ и ослабѣвшихъ, среди долгаго мира, военныхъ формъ. Казалось, они и не предчувствуютъ, какую страшную силу имѣетъ армія, совершившая переворотъ и въ военномъ искусствѣ и въ исторіи, армія, восторженная побѣдами, неслыханными въ новѣйшія времена. И на такую армію надѣялись они нагнать паническій страхъ, призракомъ семилѣтней войны и Прусскимъ щегольствомъ. А между тѣмъ никто не уважалъ Прусскаго солдата; въ немъ боязнь военныхъ опасностей изгонялась только страхомъ наказанія. Онъ не былъ проникнутъ народнымъ побѣдоноснымъ духомъ, который одушевлялъ тогда Французское войско.

Войска, собранныя вокругъ Галле, быстро пошли впередъ: разнесся слухъ, что непріятель ворвался въ Турингію; тогда-то мы увидѣли, что поле борьбы будетъ вблизи отъ насъ. Нѣсколько дней сряду, въ городѣ господствовала совершенная тишина, но тишина, проникнутая мучительнымъ безпокойствомъ. Роковая борьба овладѣла всѣми умами. Насъ охраняло сильное войско; но мы сами должны были ждать, сложа руки, какъ оно рѣшитъ нашу участь. Однажды, вмѣстѣ съ однимъ Ганноверскимъ дипломатомъ, образованнымъ и отъ души ненавидѣвшимъ Французовъ, мы смотрѣли, какъ нѣсколько кавалерійскихъ эскадроновъ проходило по улицамъ, и любовались ихъ гордою осанкою: «не правда ли,—сказалъ мнѣ Ганноверскій дипломатъ, — что взглядъ на нихъ возбуждаетъ увѣренность, что эти люди непремѣнно должны побѣдить?»

Расположеніе Французской и Прусской арміи предвѣщало близкое генеральное сраженіе; и каждую минуту, съ тоскою ждали мы извѣстій. Вдругъ разнесся слухъ о несчастной битвѣ при Заальфельдѣ. Принцъ Луи былъ убитъ. Можетъ статься, что отчаяніе и страхъ быть свидѣтелемъ всеобщаго, конечнаго пораженія заставили его искать смерти; эта мысль распространяла между нами уныніе. А между тѣмъ безпрестанно приходили новыя извѣстія о приближеніи непріятельской силы.

Настало роковое 14-е Октября. Въ этотъ день вдругъ разошелся по всему городу слухъ, что дано сраженіе и совершенно проиграно. Какъ могъ такъ быстро дойти до насъ этотъ слухъ, этого никто не могъ постигнуть, потому что всѣ знали, что сражаться будутъ около Ауэрштета. Страшное извѣстіе, которое сообщали другъ другу на ухо, вдругъ было опровержено новымъ, утѣшительнымъ. Заговорили о совершенной побѣдѣ надъ Французами. Народъ былъ въ восторгѣ, внезапная радость овладѣла всѣми моими друзьями. Чтобы узнать что нибудь достовѣрное, я бросился бѣжать по Мерзбургской дорогѣ; бѣжалъ такъ скоро, какъ только могъ; почти на половинѣ дороги, припалъ ухомъ къ землѣ — и ясно услышалъ канонаду; но канонада постепенно удалялась къ сѣверо-западу, и слѣдовательно доказывала отступленіе Прусской арміи, потому что извѣстно было, гдѣ она расположена. Я едва осмѣлился сообщить друзьямъ свои опасенія: они были еще въ совершенномъ упоеніи отъ слуховъ о побѣдѣ. Черезъ сутки пришла роковая вѣсть....

(Черезъ два дни Французы уже были и въ Галле.)

Конные и пѣшіе солдаты разсыпались по улицамъ, и начали грабить. Три или четыре кавалериста стали стучаться въ двери нашего дома; мы не отпирали. Они обѣщали намъ удовольствоваться двумя стаканами вина и просили только подать имъ вино изъ окошка; въ нашемъ совѣтѣ рѣшено было согласиться на это требованіе. Но никто не смѣлъ подать воинамъ то, чего они просили; вызвался я. Отворили окно, и случилось, чего можно было ждать: одинъ изъ всадниковъ приставилъ мнѣ ко лбу пистолетъ и закричалъ, что застрѣлитъ меня, если сейчасъ же не будетъ отперта дверь. Разумѣется, дверь отперли; они кинулись въ комнаты, и я первый долженъ былъ отдать имъ свои часы, денегъ у меня не было въ карманѣ. У Шлейермахера взяли бѣлье и деньги. На открытомъ бюро между бумагами лежали деньги пастора Гасса; они перешарили бумаги, но, по счастью, не видали денегъ. Потомъ оставили насъ въ покоѣ; тутъ только мы опомнились.

Что Прусская армія не только разбита, но совершенно уничтожена, въ этомъ уже никто изъ насъ не могъ сомнѣваться;

городъ и университетъ безъ защиты достались во власть непріятеля, и не предвидѣлось конца этому его владычеству. Вся наша будущая жизнь и дѣятельность внезапно были уничтожены; всѣ прежніе, самые обдуманные жизненные планы вдругъ потеряли всякое значеніе.

Ночь провели мы не у Шлейермахера, какъ бывало обыкновенно, а у типографщика Шиммельпфенинга, который пригласилъ всѣхъ насъ къ себѣ. Въ томъ же домѣ жилъ глухой профессоръ Гофбауэръ; онъ занималъ квартиру на заднемъ дворѣ, и потому ничего еще не зналъ о происшедшемъ. Мы принуждены были кричать ему, что мы во власти непріятеля, и быть свидѣтелями его ужаса.

Какое странное состояніе духа бываетъ тогда, когда жителей цѣлаго города постигнетъ какая нибудь общая бѣда. Глубже всѣхъ понялъ это Шекспиръ: ѣдкія остроты, страшный юморъ родятся въ минуту отчаянія. Конечная погибель государства, неизбѣжное (какъ казалось) разрушеніе всего, что было священно и дорого, носилось передъ нашими глазами въ видѣ темной громады самыхъ разнообразныхъ и самыхъ невыносимыхъ ожиданій; разорвались взаимныя связи знакомства, соединявшія семейства; только тѣ, кто случайно были вмѣстѣ, могли сообщать другъ другу свое горе; казалось, цѣлая бездна отдѣляетъ насъ отъ ближайшихъ улицъ, которыхъ участь была намъ неизвѣстна. Кто осмѣливался выходить на улицу, слышалъ тамъ темные разсказы о ужасныхъ жестокостяхъ, созданныхъ разстроеннымъ воображеніемъ. Каждую минуту ждали мы пожара, грабежа и самыхъ отвратительныхъ явленій. Мы собрались именно для того, чтобы вмѣстѣ защищать нашихъ женщинъ. Каждый изъ насъ рѣшился умереть, но оружія, правда, у насъ было слишкомъ мало. Ночь положили мы провести безъ сна, въ разговорахъ. У Гофбауэра погребъ былъ набитъ рейнвейномъ лучшаго сорта, которымъ онъ очень скупился. Мы увѣрили его, что рейнвейнъ не уйдетъ отъ вниманія Французовъ, и что слѣдовательно жалѣть его не слѣдуетъ,—и пировали съ дикимъ изступленіемъ покуда все общество не задремало подъ утро на стульяхъ. На другой день мы увидѣли, что страхъ нашъ былъ напрасный.

Въ Галле вступилъ Бернадоттъ, и должно отдать справедливость великому порядку, который соблюдался въ его корпусѣ. (Грабители принадлежали къ авангарду, догонявшему бѣжавшіе остатки Прусскаго войска, и потому быстро прошли черезъ Галле; а Бернадоттъ издалъ прокламацію, успокоившую жителей.)

—

Этимъ отрывкомъ оканчиваемъ мы наши выписки изъ книги Стефенса, о которой хотѣли мы дать нѣкоторое понятіе нашимъ читателямъ; но мы не могли представить здѣсь самой замѣчательной стороны ея, заключающейся въ изображеніи внутренняго развитія его религіозно-философской мысли. Разборы системъ Спинозы, Фихте, Шеллинга, Гегеля и другихъ мыслителей, ихъ вліянія на постепенно развивающійся образъ мыслей автора, его отношенія къ различнымъ католическимъ и протестантскимъ партіямъ, его добросовѣстное исканіе истины, его волненія, его сомнѣнія, его страданія и радости, его борьба и конечное успокоеніе, — все это составляетъ предметъ, столько же любопытный, сколько поучительный. Послѣдній X-й томъ его біографіи доходитъ почти до настоящаго времени; жизнь его разсказана вполнѣ. Послѣдняя страница его книги оканчивается такъ:

«Теперь я готовъ оставить жизнь, какъ прежде въ мо-«лодости своей оставилъ родину; съ такою же надеждою я со-«бираюсь въ путь; но чувство во мнѣ другое: нестройность, «безпорядокъ, смущенія вокругъ меня—уже меня не тревожатъ; «моя прежняя дѣтская надежда свѣтло лежитъ передо мною; «но теперь уже она не отвлеченная, не отдѣленная отъ меня «мысль: она въ полномъ смыслѣ слова МОЯ надежда.»

Теперь эта свѣтлая надежда, это глубокое ожиданіе мыслящей души, — уже исполнилось. 14-е Февраля, послѣ пятидневной болѣзни, Стефенсъ окончилъ свое земное поприще, столь добросовѣстно и многозначительно имъ совершенное, столь откровенно, столь тепло и поучительно разсказанное.

Его похоронили на томъ же кладбищѣ, гдѣ лежитъ его другъ Шлейермахеръ. Весь университетъ, всѣ ученые, королевская

фамилія, всѣ замѣчательные люди Берлина провожали его гробъ. Но изъ прежнихъ товарищей его молодости, изъ близкихъ свидѣтелей его лучшихъ минутъ, — остались уже не многіе. Можетъ быть, одна горсть снѣжной земли, какъ замѣчаетъ одинъ Нѣмецкій журналъ, брошенная дружескою рукою Шеллинга на его могилу, была глубоко связана съ тѣмъ далекимъ воспоминаніемъ о прежней, свѣтлой, невозвратной эпохѣ Германской жизни, когда оба они, Шеллингъ и Стефенсъ, еще начинали свое блестящее поприще.

Отъ могилы Стефенса, всѣ провожавшіе его, не сговариваясь, прошли на гробъ Шлейермахера.

—

РѢЧЬ ШЕЛЛИНГА. (*)

Шеллингъ нынѣшнюю зиму не читаетъ лекцій. Но въ Берлинской Академіи Наукъ, по случаю празднества въ день рожденія Фридриха Великаго (30 Генваря), прочелъ онъ рѣчь: о значеніи Римскаго Януса. Сочиненіе это, какъ говорятъ журналы, скоро выйдетъ въ свѣтъ, и если это справедливо, то мы надѣемся, что оно сообщитъ намъ много важнаго и новаго о малоизвѣстной у насъ до сихъ поръ философіи Шеллинга. Въ рѣчи своей о Янусѣ, Шеллингъ, говорятъ, выражаетъ свой взглядъ не только на миѳологію, но и на самыя основныя начала своей философіи вообще; ибо извѣстно, что философія миѳологіи имѣетъ высокое значеніе въ его новой системѣ. Въ миѳологіи видитъ онъ не дѣло выдумки того или другаго изобрѣтателя, не поэтическое выраженіе безсознательнаго инстинкта отдѣльныхъ народовъ; но понимаетъ въ ней великій, всеобщій, въ сознаніи цѣлаго человѣчества совершившійся процессъ внутренней жизни, который, потому именно, не могъ принадлежать одному народу, но распредѣлялся по различнымъ народамъ, въ различныхъ степеняхъ своего развитія, покуда его отдѣльныя отросли, достигнувъ зрѣлости, въ эпоху перелома, совокупились, наконецъ, въ Римско-Греческомъ мірѣ, въ одну общую систему вѣрованія. Чтобы понять важность подобнаго взгляда на миѳологію относительно цѣлой системы философіи, необходимо знать понятіе Шеллингово о философіи религіи вообще.

Религія, по его мнѣнію, не есть простое *знаніе* о Богѣ, ни отвлеченное, *идеальное* отношеніе человѣка къ Богу, но дѣйствительное *бытіе* въ Богѣ, существенное, *реальное* отношеніе

(*) Эта статья составлена изъ различныхъ журнальныхъ отрывковъ и записокъ изъ лекцій Шеллинга, читанныхъ въ Мюнхенѣ и въ Берлинѣ.

къ Богу. Отсюда происходитъ совершенно особенный взглядъ на философію религіи, и между прочимъ происходитъ новое раздѣленіе религіи.

Обыкновенно раздѣляютъ религію на откровенную (положительную) и естественную (выведенную разумомъ изъ своихъ понятій); оба взгляда на религію обыкновенно противополагаютъ одинъ другому. Подъ естестенною разумѣютъ выходящую изъ чистаго разума, въ отличіе отъ той, которая непосредственно дана человѣку извнѣ, сообщена откровеніемъ. Но если мы удовольствуемся этимъ раздѣленіемъ, говоритъ Шеллингъ, то ни въ томъ, ни въ другомъ членѣ дѣленія не найдемъ особаго религіознаго начала. Ибо знаніе мое о религіи откровенной пріобрѣтается не особеннымъ, ей исключительно свойственнымъ образомъ, но тѣмъ же самымъ способомъ, какимъ я получаю свѣденія мои о другихъ вещахъ, напримѣръ, о событіяхъ историческихъ и т. п., слѣдовательно, здѣсь нѣтъ рѣчи о какомъ либо особомъ, одной религіи принадлежащемъ образѣ познаванія. Тоже можно сказать и о религіи естественной: ибо и наука религіи, основанная на выводахъ разума, не имѣетъ особаго образа познаванія, одной религіи принадлежащаго; многія другія отросли вѣденія пріобрѣтаются такимъ же способомъ. Потому, если мы остановимся при такомъ раздѣленіи религіи, то признаемъ, что въ человѣкѣ нѣтъ особаго начала, которому бы исключительно принадлежало порожденіе религіознаго знанія, нѣтъ смысла *специфически*-религіознаго. Съ одной стороны, религія, приписывающая свое происхожденіе откровенію,—въ отношеніи къ разуму тоже, что исторія; съ другой религія естественная тоже, что философія. Чтобы дѣйствительно вывести начало специфически-религіозное, необходимо отыскать религіозное основаніе, *независимое отъ всякаго знанія*, чрезъ которое человѣкъ является въ живой зависимости отъ Божества,—основаніе, представляющее не одно *идеальное*, но вмѣстѣ и *реальное* отношеніе человѣка къ Богу, начало, не только мысленно, разумно полагающее Бога въ знаніи человѣка, но вмѣстѣ и дѣйствительно, существенно.

Теперь спрашивается: возможно ли отыскать въ человѣкѣ такое существенно Бога полагающее начало? Отвѣтъ заклю-

чается въ томъ, что прежнее религіозное бытіе человѣка, его прежнія вѣрованія, то есть, миѳологія не можетъ быть ни понята, ни объяснена иначе, какъ чрезъ такое Бога существенно полагающее начало.

Человѣкъ, выходящій изъ существеннаго, реальнаго отношенія къ Богу, долженъ чрезъ необходимый процессъ быть возвращенъ къ Богу. Миѳологія можетъ произойти единственно изъ этого процесса. Но въ этомъ случаѣ миѳологія будетъ уже не что иное, какъ естественная религія, слѣдовательно, Религіи откровенной противополагается не только религія наукообразно порожденная, но равно и естественная религія, которая есть миѳологія. Чрезъ этотъ третій членъ система выигрываетъ много. Ибо безъ предположенія этого третьяго невозможно понять откровенія. Изъ религіи раціональной рѣшительно нѣтъ перехода къ откровенной; ибо раціональная знаетъ только объ идеальномъ отношеніи человѣка къ Богу, между тѣмъ какъ откровенная предполагаетъ отношеніе реальное. Теорія откровенія не можетъ выходить изъ идеальнаго отношенія къ Богу, но изъ реальнаго. Она должна полагать это реальное отношеніе человѣка къ Богу *предразумно*, фактически, существенно, *бытословно*, *исторически*. Это единственное основаніе, возможное для теоріи откровенія. Но такое, прежде всякаго знанія положенное, существенное отношеніе человѣка къ Богу, не можетъ быть не что иное, какъ религія, которая бы сама изъ себя порождалась; а эта естественно самопорождающаяся религія есть не что иное, какъ миѳологія, или въ миѳологіи заключающаяся религія. Такимъ образомъ явно, что реальную основу для теоріи откровенія надобно искать въ *философіи миѳологіи*. Потому для собственной цѣли теоріи откровенія противно становиться противъ язычества въ положеніе чисто противоположное, только исключающее. Христіанство освобождаетъ человѣка не изъ-подъ власти этого реальнаго отношенія, но только изъ-подъ власти темнаго язычества. Потому реальность христіанства не можетъ уничтожиться понятіемъ о реальности язычества. Выраженіе: тьма языческая, означаетъ именно *темную*, *слѣпую*, естественно самопорождающуюся религію. Потому въ понятіи о самопорождающейся религіи

противополагается раціонализму не только фактъ откровенія, но вмѣстѣ и фактъ миѳологіи.

Миѳологія и откровеніе, по Шеллингу, относятся взаимно какъ естественное къ сверхъестественному. Но естественное содержится къ сверхъестественному, какъ предыдущее къ послѣдующему. Потому сверхъестественное есть не что иное, какъ побѣжденіе естественнаго. Потому сверхъестественное можетъ быть познано только въ своемъ отношеніи къ естественному.

Такимъ образомъ, вмѣсто прежняго раздѣленія религіи на откровенную и естественную, Шеллингъ принимаетъ: 1) религію естественную—миѳологію; 2) религію сверхъестественную— откровеніе; 3) порожденіе философіи и умозрѣнія — разумную религію. Но не должно понимать этого раздѣленія такимъ образомъ, какъ будто эти три понятія о религіи должны быть разнородны и разрозненны; особенно два первыя находятся въ такой тѣсной связи, то есть, сверхъестественное находится въ такомъ близкомъ отношеніи къ естественному, что не иначе можетъ являться, какъ только въ моментѣ своей побѣды надъ естественными вѣрованіями, надъ религіями древности. Вслѣдствіе этого отношенія, миѳологія и откровеніе отстоятъ не такъ далеко другъ отъ друга, какъ обыкновенно думаютъ; *ложная* религія есть только искаженіе истинной. Откровенію предшествуетъ потемнѣніе; откровенной религіи необходимо предполагается начало болѣе скрывающее, чѣмъ открывающее Бога. Потому именно откровеніе, какъ дѣло побѣды, необходимо должно являться въ границахъ опредѣленнаго времени, ибо заключается единственно въ моментѣ проблеска (между тѣмъ какъ религія естественная постоянно порождается изъ саморазвивающагося начала). Отсюда видно, какая необходимая связь находится между *философіей миѳологіи* и *философіей религіи*.

Философическое вѣроученіе, говоритъ Шеллингъ, можетъ произойти единственно изъ примиренія религіи естественной съ откровенною, и по необходимости предполагаетъ ихъ обѣ. Миѳологія, или естественная религія, какъ естественная, есть вмѣстѣ и *необходимая, слѣпая, несвободная, религія оцѣпе-*

ньнія, суевѣріе. Только отъ того, что откровенною религіей истина освобождается изъ слѣпоты и несвободы, только отсюда возникаетъ собственно возможность свободнаго вѣденія. И такъ, отношеніе слѣдующее: религія оцѣпенѣнія—освобожденіе въ откровеніи,—религія духовная. При такомъ отношеніи свободно духовной религіи къ необходимо предполагаемой естественной и откровенной, философское вѣроученіе было бы лишено всякаго содержанія, если бы эти два момента не служили ему основаніемъ.

Такое же близкое отношеніе имѣетъ философія миѳологіи и откровенія къ *философіи исторіи.* Не только потому, что предъисторическое время можетъ быть понято единственно чрезъ миѳологію, но также и потому, что отношеніе новаго міра къ старому можетъ быть постигнуто только изъ послѣдняго; ибо чрезъ откровеніе новый міръ находитъ себя освобожденнымъ изъ-подъ той власти, которая необходимо дѣйствовала въ старомъ силою необходимости и которая есть начало, породившее миѳологію.

Не менѣе тѣсно связывается это воззрѣніе и съ *философіей искусства.* Если и безъ того философія искусства не можетъ не касаться миѳологіи, то новое воззрѣніе на отношеніе миѳологіи къ откровенію объясняетъ впервыя истинное содержаніе древняго искусства къ новому, и такимъ образомъ могутъ разрѣшиться многія загадки изъ художественнаго отношенія миѳологіи къ откровенію. Напримѣръ, какимъ образомъ религіозное чувство не мѣшало художникамъ среднихъ вѣковъ сливать въ одну мысль или въ одно изображеніе предметы язычества съ предметами христіанства?

Но и съ философіей вообще находится философія откровенія и миѳологіи въ необходимомъ спроникновеніи. Конечно, съ перваго взгляда, нѣтъ ничего разнороднѣе какъ философія и миѳологія; миѳологія, по видимому, есть царство необузданнаго неразумія, между тѣмъ какъ въ философіи должно созидаться царство самаго разума. Но самая эта противоположность заставляетъ насъ предпринять наукообразное изслѣдованіе: нѣтъ ли въ видимомъ неразуміи — разума? нельзя ли открыть и представить въ наружномъ безсмысліи—смысла?—Для этого

необходимо *объективное представленіе смысла* (смысла, проявляющагося не во внутреннемъ разумѣніи, но во внѣшнемъ бытіи), что естественно не можетъ быть исполнено безъ значительнаго расширенія области философіи вообще. Какъ всякая философія почерпаетъ свое первое содержаніе изъ непосредственныхъ фактовъ, которые въ человѣческомъ сознаніи требуютъ себѣ пониманія и размышленія, такъ никакая положительная, полная и доконченная система философіи не можетъ возникнуть, не сознавъ и не объяснивъ всѣхъ фактовъ, имѣющихъ рѣшительное вліяніе на человѣчество. Слѣдовательно, та система философіи, которая не приняла въ соображеніе такого факта, какъ миѳологія, уже потому не можетъ назваться ни доконченною, ни полною. Слѣдовательно, какъ прежде, около сорока лѣтъ тому назадъ, переобразовалась вся философія, и основная точка исхода совершенно измѣнилась, только по той причинѣ, что въ дополненіе къ ея прежнему развитію присоединилась еще *философія натуры*, такъ и теперь розысканіе о чистомъ, неискаженномъ *фактѣ миѳологіи и откровенія* (который остается необъясненнымъ для философіи, какъ она развилась до сихъ поръ),—это розысканіе, говорю я, должно не только расширить предѣлы философіи, но измѣнить ее такимъ образомъ, что она явится совершенно отличною отъ теперешней.

Такое изложеніе улучшенной философской системы можетъ назваться косвеннымъ, непрямымъ, отраженнымъ, потому что оно исходитъ изъ даннаго факта, а не отъ безусловнаго перваго начала. И здѣсь является вопросъ: не лучше ли вообще начинать съ такого рода фактовъ, и только по мѣрѣ возрастающихъ розысканій сооружать систему, чѣмъ, начиная съ высшаго начала, доходить до факта уже по развитіи системы? Не лучше ли прямо къ дѣлу, чѣмъ такъ долго оставаться въ предисловіи? Такимъ практическимъ способомъ нѣкогда Сократъ и Платонъ учили философствовать, не такъ, что предварительно составляли розысканія о самомъ мышленіи; но такъ, что заставляли учениковъ своихъ мыслить, выходя отъ предметовъ случайно встрѣчающихся и восходя до высшихъ вопросовъ, посредствомъ возвышающагося стремленія ума. Потому очень важно спросить: лучшій ли способъ ученія философіи есть теперешній, или не должна ли система сооб-

щаться именно косвеннымъ образомъ? Мы беремъ миѳологію, говоритъ Шеллингъ, гдѣ и какъ ее находимъ, и именно такую, какою она явилась въ мірѣ. *Система, которой косвенное изложеніе должно представиться такимъ образомъ, есть система положительная,* система науки, освобожденной отъ всякой субъективности, система прямо объективнаго бытія и дѣла, которую одну только можно желать, какъ существенную потребность разума, которую одну искали истинные мыслители, и для которой только замѣною, суррогатомъ, служили всѣ тѣ искусственныя системы, которыя строились не вслѣдствіе существенной, внутренней ихъ правды, но потому только, что разумъ не могъ получить, не могъ достигнуть того именно, чего желалъ, какъ недостаточный хозяинъ пьетъ иногда желудковый кофей отъ того, что не въ состояніи имѣть настоящаго. Потому, не нужно и опровергать искусственныя системы; ибо, существуя только за неимѣніемъ системы положительной, онѣ сами собой должны уничтожиться при одномъ возникновеніи положительнаго. Онѣ также мало мѣшаютъ системамъ положительнымъ, какъ мнѣніе слѣпаго видѣнію зрячаго.

Шеллингъ, разбирая теперешнее понятіе о миѳологіи, толкуетъ Геродотово положеніе, что *Гомеръ и Гезіодъ составили трактатъ миѳологіи,* такимъ образомъ, что миѳологія хранилась хаотически въ сознаніи Греческаго народа, и въ Гезіодѣ и Гомерѣ только высказалась опредѣленно и ясно во всѣхъ своихъ моментахъ.

Миѳы не могутъ быть изобрѣтены; ибо тогда является вопросъ: *кто изобрѣлъ ихъ?* Кто нибудь *одинъ* не могъ ихъ выдумать, ибо миѳологія такъ сростается съ народомъ, что почитать ее изобрѣтенною тоже, что выводить языкъ народа изъ чьего либо сочиненія. И какъ бы могъ изобрѣтатель передать свои понятія народу и заставить его вѣрить, что его вымыслы суть настоящіе боги? Легче даже предположить, что миѳологія есть изобрѣтеніе цѣлаго народа; но такое поэтическое состояніе трудно объяснить исторически. Впрочемъ это предположеніе было бы еще самое разумное, если бы оно не встрѣчало себѣ противорѣчія въ самомъ понятіи о народѣ. Ибо, что такое народъ, и что дѣлаетъ собраніе людей народомъ?

Несовмѣстное бытіе многихъ отдѣльныхъ людей составляетъ народъ, но общность сознанія, выражающаяся наружно въ языкѣ, а внутренно въ общности одного взгляда на порядокъ вещей и міра, единомысліе, изъ котораго происходятъ нравы и обычаи. Эта общность взгляда на порядокъ и первоустройство вещей есть не что иное, какъ религія, которая у древнихъ народовъ является въ образѣ миѳологіи. Потому несообразно думать, чтобы миѳологія примкнула послѣ къ народу, уже существующему, когда народъ уже не можетъ возникнуть безъ общаго взгляда на первоустройство міра, безъ миѳологіи. И такъ, если миѳологія не можетъ возникнуть въ народѣ уже существующемъ, то она необходимо должна возникнуть вмѣстѣ съ самимъ народомъ, и слѣдовательно, она есть не что иное, какъ *тотъ участокъ всеобщаго сознанія, съ которымъ народъ вышелъ изъ первобытнаго единства человѣчества, чтобы существовать какъ какой-то опредѣленный и отъ всѣхъ отдѣльный народъ. Миѳологія народа есть то наслѣдство, которое онъ получаетъ изъ прежняго единства, и съ которымъ онъ отдѣляется отъ общности человѣчества.* Судьба каждаго народа заключается въ его миѳологіи; и она именно есть его судьба. Возникновеніе различныхъ миѳологій, слѣдовательно, современно возникновенію различныхъ народовъ. Это возникновеніе различій само уже предполагаетъ первобытное единство, въ которомъ они заключались. Это единство не можетъ опять быть народомъ, но только самимъ человѣчествомъ въ его первобытной цѣлости и нераздѣльности. Между тѣмъ первобытная нераздѣльность уже не можетъ быть внѣшнею, но возможна только какъ внутреннее единство сознанія.

Отсюда выводитъ Шеллингъ, что первобытное единство человѣчества заключается въ монѳеизмѣ, изъ котораго потомъ, чрезъ отдѣленіе, возникли народы съ многобожными религіями. Очевидно, говоритъ онъ, что какъ первобытное человѣчество могло быть соединено только идеею о Единомъ Богѣ, такъ рѣшительно раздроблено оно не могло быть ничѣмъ инымъ, кромѣ какъ полиѳеизмомъ. Можно приводить физическія причины раздѣленія, какъ-то: землетрясенія, волканы, разрывы земли и т. п. Однако, каждый народъ прямо при своемъ образованіи

уже является съ рѣшеннымъ характеромъ. Физическіе перевороты не могли сообщить отдѣльнымъ частямъ рѣшеннаго характера. Физическое опредѣляется внутреннимъ; физическое распаденіе народа уже предполагаетъ распаденіе духовное. И такъ, когда мы доходимъ до послѣдняго начала раздвоенія, то непремѣнно находимъ раздвоеніе внутреннее; ибо переломъ внутренній необходимо предшествуетъ внѣшнему. Понятіе о раздѣленіи народовъ посредствомъ такого перелома сохраняется въ самыхъ древнѣйшихъ преданіяхъ. Библія изображаетъ его какъ смѣшеніе языковъ въ человѣчествѣ, до того времени согласномъ. Языкъ, однако, есть только выраженіе внутренняго сознанія, и слѣдовательно, различіе языковъ объясняется только изъ различія внутренняго сознанія. Но именно въ распаденіи общности языка уничтожается общность сознанія. Распаденіе общности языка есть только внѣшній признакъ распаденія общаго сознанія. И такъ, это смѣшеніе языковъ было переломъ, кризисъ, произведенный возникающимъ многобожіемъ. Но съ той поры, какъ началось это смѣшеніе и какъ возникли многіе боги, *отъ человѣка уже не отходила боязнь, происходящая изъ сознанія, что онъ достался въ удѣлъ особому божеству*, и эта именно боязнь составляла силу ихъ индивидуальнаго сознанія. Она соединяла людей въ народъ, и она же отдѣляла ихъ отъ всѣхъ тѣхъ, съ кѣмъ они не имѣли ничего общаго. Такимъ образомъ боязнь сдѣлалась основаніемъ какъ внѣшнихъ религіозныхъ, такъ и гражданскихъ учрежденій. Боязнь искала средствъ противъ совершеннаго раздробленія. Такія средства находимъ мы въ раздѣленіи кастъ, въ учрежденіи строгаго священноначалія, въ гигантскомъ зодчествѣ Индіи, Нубіи, Египта, Греціи, Италіи, въ гигантскихъ стѣнахъ и башняхъ, которыя въ древнихъ преданіяхъ приписываются гигантскому роду, уже исчезнувшему съ лица земли. При этихъ колоссальныхъ памятникахъ нельзя удержаться, чтобъ не думать о многозначительности Вавилонскаго столпа, котораго сооруженіе передано намъ какъ стремленіе соединиться, не растеряться, собраться вмѣстѣ.

Какое же значеніе этого, предшествующаго миѳологіи—монoѳеизма? Мнѣніе, что полиѳеизмъ есть искаженіе монoѳеизма, принадлежитъ къ древнѣйшимъ. Теперь спрашивается о свой-

ствѣ и образѣ этого первоединобожія; ибо, что можетъ распадаться на части, то должно содержать въ себѣ разнообразіе, многочастіе, сочлененіе. Мы по необходимости принуждаемся предположить цѣлое единоученіе, и такое, какое мы въ настоящее время называемъ панѳеизмомъ. Отъ того должно бы намъ выразиться такъ, что полиѳеизмъ есть распавшійся моноѳеизмъ. Однако, какую причину можно допустить для такого распаденія? Какъ представить себѣ возможность такого рода сознанію разрѣшиться въ полиѳеизмѣ? Разслабленіе духа не объяснило бы намъ именно той силы, съ которою возникъ полиѳеизмъ; точно такъ же какъ моноѳеизмъ, если бы мы предположили его только какъ ученіе, не объяснилъ бы намъ той силы, съ какою единство стремилось возстановиться въ сознаніи. Потому необходимо предположить: 1-е, причину, дѣйствующую независимо отъ воли и знанія человѣка и стремящуюся къ порожденію полиѳеизма; 2-е, сопротивленіе этому порожденію. Потому, человѣкъ долженствовалъ быть захваченъ движеніемъ непроизвольнаго событія. Нельзя моноѳеизмъ, предшествующій полиѳеизму, понять какъ наукообразную систему, но необходимо въ сознаніи человѣка *предположить бытіе въ Божественномъ единствѣ*; ибо знаніе единства есть идеальное; *бытіе въ единствѣ: реальное отношеніе человѣка къ Богу*. Очевидно, человѣкъ поставленъ въ центрѣ вещей. Разумность его, кажется, основывается только на томъ, что тѣ же силы, которыя въ природѣ являются раздѣльно, въ немъ опять собраны въ единство, изъ коего онѣ выступали только для того, чтобы породить природу. Потому человѣкъ находится въ центрѣ Божественнаго единства и въ состояніи панѳеистическаго прозрѣнія къ Богу. Покуда онъ остается здѣсь, всѣ вещи видятся ему какъ органы Божества; но какъ скоро онъ изгоняется изъ центра, то и окружность для него смѣшивается. Но онъ не хочетъ оставить прежняго состоянія, ибо оно было *состояніе блаженства*. Изъ этого противорѣчія между желаніемъ видѣть вещи въ Богѣ и положеніемъ внѣ центра вещей,—изъ этой борьбы возникъ смѣшанный панѳеизмъ и полиѳеизмъ, и возникъ *непроизвольнымъ, роковымъ образомъ*. Но какъ чувство бытія внѣ Бога было естественное, такъ возникновеніе полиѳеизма изъ моноѳеизма есть необходимое; и этотъ взглядъ есть единственно

возможный, который въ самой миѳологіи показываетъ реальное отношеніе человѣка къ Богу и представляетъ распаденіе первобытнаго единобожія въ многобожіе, какъ необходимое, на всеобщемъ сознаніи человѣческаго рода основанное событіе. Явленіе многобожнаго понятія имѣетъ столько роковаго, слѣпаго, что мы никакъ не можемъ допустить, чтобъ оно образовалось изъ одного мышленія. Этотъ роковой характеръ требуетъ отношенія гораздо болѣе существеннаго; онъ предполагаетъ не простое знаніе о Богѣ, но бытіе въ средоточіи Божественныхъ вещей.

Это бытіе человѣка въ Божественномъ единствѣ можетъ быть, съ одной стороны, понято не иначе, какъ первобытное состояніе людей вообще и, слѣдовательно, какъ прошедшее. Неоспоримо по крайней мѣрѣ, что панѳеистическое прозрѣніе должно было нарушиться вмѣстѣ съ первымъ исходомъ человѣка изъ первобытнаго состоянія. Раемъ Библія называетъ то мѣсто блаженства, откуда человѣкъ былъ изгнанъ. Но какъ скоро нарушено Божественное единство силъ, то онъ становится подчиненнымъ всему тому, чему подчинены другія вещи; между тѣмъ какъ незаглушаемое чувство ему говоритъ, что онъ не то, что другія вещи, что онъ выше ихъ. Уже оттуда начинается это разстройство прозрѣнія. Между тѣмъ *съ другой стороны*, мы сейчасъ предположили, что до самаго непосредственно до-историческаго времени продолжается въ человѣчествѣ едино-сознаніе, которое нарушилось не прежде, какъ съ раздробленіемъ человѣчества на народы.

Въ разсужденіи своемъ о Римскомъ Янусѣ, Шеллингъ весьма легко могъ связать съ фигурою двуличнаго бога, начало и конецъ всего миѳологическаго процесса, какъ онъ его понимаетъ. Ибо, основываясь на философскихъ выводахъ и на свидѣтельствѣ древнихъ, Шеллингъ видитъ въ Янусѣ идею хаоса: подъ этимъ хаосомъ не должно понимать безпорядочнаго смѣшенія разнородныхъ веществъ, какъ разумѣютъ нѣкоторые; хаосъ у Шеллинга есть первоединство вселенной, о которомъ понятіе предшествуетъ въ человѣческомъ сознаніи понятію объ отдѣльныхъ богахъ; первоединство, въ которомъ еще покоятся въ безразличіи ѳеогоническія и космогоническія силы. Въ подтвержденіе этого взгляда, Шеллингъ приводитъ длинный рядъ сви-

дѣтельствъ отъ Геродота до Сенеки. Въ двухъ отвернувшихся головахъ Януса, между которыми стоитъ полумѣсяцъ, видитъ Шеллингъ второй моментъ единства силъ, когда онѣ являются, хотя еще соединенными, но уже обозначившимися въ своемъ различіи. Шеллингъ опровергаетъ и то мнѣніе, которое видитъ въ Янусѣ единственно божество границы, воротъ, или перехода; какъ и то мнѣніе, которое предполагаетъ въ немъ выраженіе идеи о необходимомъ измѣненіи временъ, о противоположности прошедшаго и будущаго. Болѣе правдоподобія, чѣмъ эти безцвѣтныя толкованія, имѣютъ иногда историческія объясненія миѳологіи; но въ этомъ случаѣ и они были неудачны. Шеллингу не трудно было показать неосновательность Овидіева объясненія, что будто врата храма растворялись во время войны, для того, чтобы дать убѣжище войску въ случаѣ бѣгства; это мнѣніе равно противорѣчитъ и добродѣтели и нравамъ Римлянъ.

Мнѣніе Нибура, который, въ воротахъ съ Янусовыми головами, видитъ символъ вооруженнаго союза между Сабинскимъ и Латинскимъ племенемъ, сохранявшаго гражданскую самостоятельность каждаго племени,—также опровергается Шеллингомъ, который видитъ въ повѣствованіяхъ о первыхъ началахъ Рима не исторію, переобразованную народными пѣснями, но понятія миѳологическія, перенесенныя на историческую почву, перекроенныя по исторической мѣркѣ. Для него ворота съ Янусовыми головами представляютъ не войну Сабинцевъ съ Латинцами, но борьбу первоначальныхъ созидательныхъ силъ: они напоминаютъ ему изъ миѳологическихъ преданій πολέμος ἁπάντων πατηρ. Но для тѣхъ, которымъ это значеніе Януса кажется преувеличеннымъ, или несогласнымъ съ понятіемъ о немъ древнихъ, Шеллингъ приводитъ мѣста изъ Макровія, Цицерона и другихъ, которые называютъ его deorum deus, и разсказываютъ, что при всѣхъ важнѣйшихъ предпріятіяхъ, прежде другихъ боговъ, призывали Януса. Шеллингъ приводитъ тѣ слова Овидія, въ которыхъ Янусъ самъ свидѣтельствуетъ о своемъ тождествѣ съ Хаосомъ. Важность этого мѣста замѣчали отчасти и другіе, и потому старались различными средствами разрѣшить затрудненіе, какъ понять Януса вмѣстѣ съ Юпитеромъ, главнымъ богомъ Римскаго народа. Буттманъ при имени Януса думалъ о Ζᾶν

Zeus); но Шеллингъ приводитъ самое сильное этимологическое доказательство изъ одного мѣста Феста, до сихъ поръ всѣми просмотрѣннаго, гдѣ Янусъ производится отъ Hios, hiare (зіять). Такимъ образомъ Янусъ, Hianus и chaos являются и по звуку и по смыслу однозначительными.

СОЧИНЕНІЯ ПАСКАЛЯ, ИЗДАННЫЯ КУЗЕНЕМЪ.

Мы уже извѣщали читателей нашихъ, что Кузень недавно возстановилъ текстъ Паскаля, искаженный іезуитами; теперь еще яснѣе и чище обнаруживается направленіе ума этого великаго мыслителя, проникнутаго глубокимъ скептицизмомъ въ отношеніи къ разуму и глубокою увѣренностію въ религіи.

Кузень въ нѣкоторыхъ статьяхъ, писанныхъ о Паскалѣ, старается, какъ философъ, доказать односторонность этого Янсенистскаго направленія Паскаля и всего знаменитаго *Поръ-Рояля*. Въ ихъ безусловномъ отрицаніи всякой безусловной философіи видитъ онъ столько же уклоненія отъ истинъ разума, сколько отъ истинъ католицизма; но, кажется, если бы и справедливо было, что Паскаль въ своемъ мышленіи уклоняется отъ истинныхъ законовъ разума, то, вѣроятно, не Кузеневы истины могли бы приблизить его къ настоящему мышленію Кузень принадлежитъ къ числу тѣхъ людей, которые почитаютъ возможнымъ принять чужую систему отчасти, приложить къ ней другія мнѣнія тоже отчасти, и говоря безпрестанно о безусловной необходимости законовъ разума, подчинять иногда эту необходимость другимъ цѣлямъ, выдавая за выводы разума соображенія своего разсудка. Не такова была строгая, крѣпкая, острая, желѣзная логика Паскаля.

Нѣтъ сомнѣнія, что Поръ-Рояль въ ученіи своемъ о благодати рознится съ ученіемъ Римскаго католицизма. Но мы думаемъ, что эти добросовѣстные мыслители потому только могли уклониться въ одностороннее пониманіе истины, что Западная Церковь, въ ихъ время, уклонялась въ другую сторону; когда мы вспомнимъ тѣ догматы Римской схоластики о благодати и заслугахъ человѣка, на которыхъ опиралось ученіе ихъ о чистилищѣ, о индульгенціяхъ и т. подоб., тогда поймемъ,

что для искренняго Христіанскаго мышленія невозможно было не вырваться изъ этого заблужденія въ другую противоположную крайность; если и эта крайность преувеличенная, то, конечно, она происходитъ изъ источника справедливаго.

Замѣтимъ, при этомъ случаѣ, изъ нашей Церкви никогда не могли произойти ни Янсеній, ни Поръ-Рояль, также какъ не могли произойти изъ нея ни Доминиканцы, Моллинисты, ни благопримѣнительные противники обоихъ—Іезуиты.

Кстати къ Поръ-Роялю, приведемъ здѣсь отрывокъ изъ рѣчи Гюго, говоренной имъ въ Академіи, по случаю принятія въ нее Сентъ-Бева, написавшаго, какъ извѣстно, знаменитую книгу о Поръ-Роялѣ, исполненную многихъ любопытныхъ разсказовъ, живыхъ, краснорѣчивыхъ страницъ, но не обнявшую, какъ кажется, всей глубины Поръ-Рояльскаго ученія.

—Естественно было вамъ, мм. гг., по направленію вашего таланта, обратить вниманіе ваше на два знаменитые круга великихъ умовъ, которые сообщаютъ 17-му вѣку его двѣ характеристическія черты: на гостиную Рамбулье и на Поръ-Рояль. Одна открываетъ 17-й вѣкъ, другой сопровождаетъ и заключаетъ его. Одна вводитъ въ языкъ нашъ краску воображенія, другой—характеръ строгости. Оба, находясь на двухъ концахъ человѣческой мысли, проливаютъ на нее различный свѣтъ. Ихъ вліянія счастливо спорили между собою, и еще счастливѣе совмѣщались: въ нѣкоторыхъ образцахъ нашей словесности, возникшихъ, такъ сказать, въ равномъ отдаленіи отъ обоихъ, въ нѣкоторыхъ безсмертныхъ произведеніяхъ, которыя равно удовлетворяютъ уму въ его потребности воображенія и душѣ въ ея потребности внутренней строгости, сливаются въ одинъ свѣтъ ихъ двойственные лучи.

Изъ этихъ двухъ явленій, обозначающихъ знаменитую эпоху и сильно дѣйствовавшихъ на нравы и литературу Франціи, первому, гостиной Рамбулье, посвятили вы нѣсколько живыхъ и умныхъ очерковъ; но второй, Поръ-Рояль, возбудилъ и привлекъ ваше полное вниманіе. Вы посвятили ему превосходную книгу, которая хотя еще не окончена, но, безъ сомнѣнія, есть самое значительное произведеніе ваше. Вы хорошо сдѣлали, мм. гг. Достойна вниманія и глубокаго изученія эта строгая

семья отшельниковъ, уединенно и значительно прошедшая сквозь 18-й вѣкъ, среди преслѣдованій и почтенія, среди восторговъ и ненависти, уважаемая великими, гонимая сильными, почерпавшая изъ самой слабости своей, изъ своего одиночества, какую-то неизъяснимую власть, и употреблявшая величіе ума на возвеличеніе вѣры. Николь, Лансело, Леместръ, Саси, Тилемонъ, Арнольды, Паскаль—имена почтенныя, славы спокойныя, среди которыхъ блестятъ цѣломудренной красотой три женщины, достигшія своею святостію того величества, котораго Римскія женщины достигали героизмомъ. Прекрасная и ученая школа мыслителей, замѣнившая Аристотеля Св. Августиномъ, покорившая своему убѣжденію герцогиню Лонговиль, образовавшая президента Гарлеи, обратившая Тюренна, и которая въ то же время украшалась милосердіемъ Франсца де Саля и крайнею строгостію аббата Сен-Сиранскаго. Впрочемъ, дѣло Поръ-Рояля не было дѣломъ литературнымъ; оно захватывало литературу случайно, такъ сказать, стороною. Настоящая цѣль этихъ печальныхъ и строгихъ мыслителей была чисто религіозная. Скрѣпить узы церкви внутри и во внѣ большею нравственностію священника и большею вѣрою народа; преобразовать Римъ, покоряясь ему; произвести внутри силою любви то, что Лютеръ хотѣлъ произвести во внѣ силою гнѣва; создать во Франціи, между страдающимъ и невѣжественнымъ народомъ съ одной стороны, и между разслабленнымъ и сластолюбивымъ дворянствомъ съ другой, создать классъ средній, здоровый, крѣпкій, стоически твердый, создать высокое мѣщанство, христіанъ образованныхъ, основать церковь образцовую посреди церкви, народъ образцовый посреди народа,—таково было тайное стремленіе, тайное честолюбіе, тайная глубокая мечта этихъ людей, знаменитыхъ тогда своимъ религіознымъ покушеніемъ и знаменитыхъ теперь своимъ литературнымъ слѣдомъ. И чтобъ достигнуть этой цѣли, чтобы основать общество согласно вѣрѣ, они почитали между всѣхъ необходимыхъ истинъ за самую необходимую, за самую свѣтлую, самую дѣйствительную, самую неизбѣжную для разума и самую существенную для вѣры: истину о слабости человѣка, вслѣдствіе первороднаго грѣха, истину о необходимости Бога иску-

нителя,—истину Христа. Сюда обращались всѣ ихъ усилія, какъ будто они предвидѣли, что здѣсь предстоитъ опасность. Они воздвигали громады книгъ, утверждали выводы на выводахъ, доказательства на доказательствахъ, для укрѣпленія одной правды. Удивительный инстинктъ предчувствія, свойственный только однимъ глубокимъ умамъ! Мы должны замѣтить это явленіе. Они спѣшили строить великую крѣпость, на спѣхъ созидали ее, какъ бы предугадывая великое нападеніе. Смотря на нихъ теперь, подумаешь, что эти люди семнадцатаго вѣка предвидѣли людей осьмнадцатаго. Кажется, что, наклонившись надъ бездною будущаго, безпокойные и внимательные, понимая, по какому-то болѣзненному колебанію воздуха, что неизвѣстный легіонъ движется во мракѣ, они уже слышали вдалекѣ приближеніе темной и нестройной арміи энциклопедистовъ, уже распознавали посреди неяснаго гула ея шаговъ смутный отголосокъ печальнаго и роковаго слова Жанъ-Жака, уже слышали пронзительный хохотъ Вольтера.

Ихъ преслѣдовали;—они едва замѣчали это. Будущая опасность вѣры занимала ихъ мысли болѣе, чѣмъ настоящія страданія ихъ общины. Они не просили ничего, не хотѣли ничего, ничего не добивались; они созерцали и работали, они жили въ тѣни уединенія, во свѣтѣ ума. Зрѣлище удивительное, которое волнуетъ душу, поражаетъ мысль! Между тѣмъ, какъ Людовикъ XIV покорялъ Европу, какъ Версаль удивлялъ Парижъ, какъ дворъ рукоплескалъ Расину, какъ городъ рукоплескалъ Мольеру; между тѣмъ какъ вѣкъ наполнялся блескомъ праздниковъ и громомъ побѣдъ; между тѣмъ, какъ всѣ взоры съ восторгомъ устремлены были на великаго Короля, и всѣ умы на великое царствованіе, они, отшельники, созерцатели, опредѣленные къ ссылкѣ, къ заключенію, къ смерти безславной и незамѣченной, заключенные въ монастырѣ, предназначенномъ къ разрушенію, въ монастырѣ, котораго послѣдніе слѣды должна была запахать враждебная соха,—мыслители, потерянные въ пустынѣ, вблизи этого Версаля, этого Парижа, этого великаго царствованія, Короля, мыслители земледѣльцы, воздѣлывающіе поле свое, изучавшіе тексты, не знавшіе, что дѣлается во Франціи и въ Европѣ, искавшіе въ Священномъ Писаніи безпрерывныхъ доказательствъ о боже-

ственности Іисуса, искавшіе въ мірозданіи безконечнаго прославленія Создателю,—съ мыслію, направленною къ Богу, съ очами, устремлеными единственно къ Нему, они размышляли о Священныхъ книгахъ и великой природѣ, съ раскрытою Библіею, посреди ихъ церкви, съ лучезарнымъ солнцемъ, посреди ихъ небесъ.

Ихъ явленіе не было безполезно. Вы сказали это, мм. гг., въ замѣчательной книгѣ, которую они вамъ внушили. Они оставили слѣды свои въ теологіи, философіи, языкѣ, литературѣ, и до сихъ поръ еще Поръ-Рояль остается внутреннимъ и тайнымъ свѣтильникомъ для нѣкоторыхъ великихъ умовъ. Домъ ихъ былъ разрушенъ, поле ихъ было опустошено, ихъ гробы вырыты и преданы на поруганіе, но ихъ память остается священною, но ихъ мысли еще стоятъ, но изъ дѣлъ, посѣянныхъ ими, многія принесли плодъ свой. Для чего же побѣда ихъ прошла сквозь такія бѣдствія? Отъ чего такое торжество, не смотря на такія преслѣдованія? Это не потому только, что они были мыслители возвышенные; это еще потому, это особенно потому, что они были искренніе; потому что они вѣрили, потому что они были убѣждены, потому что они шли къ своей цѣли съ сердцемъ, исполненнымъ единою волею, нераздѣльною, глубокою вѣрою. Размышляя о ихъ исторіи, невольно восклицаемъ каждому: Кто бы ты ни былъ, хочешь ли имѣть великія мысли, совершить великія дѣла? вѣрь! имѣй убѣжденіе, имѣй вѣру религіозную, вѣру патріотическую, вѣру литературную. Вѣруй въ человѣчество, въ силу генія, въ будущее, въ самого себя. Знай, откуда ты исходишь, чтобы знать, куда стремишься. Вѣра здорова для разума. Не довольно думать, надобно вѣрить. Изъ вѣры и убѣжденія исходятъ святые подвиги въ сферѣ нравственной и великія мысли въ сферѣ поэзіи.—

ПУБЛИЧНЫЯ ЛЕКЦІИ ПРОФЕССОРА ШЕВЫРЕВА

ОБЪ ИСТОРІИ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ДРЕВНЕЙ.

ПИСЬМО ВЪ БѢЛЕВЪ.

(Къ А. П. Зонтагъ.)

Въ прошедшую зиму, когда я жилъ въ деревнѣ почти совершенно отдѣленный отъ всего окружающаго міра, я помню, какое впечатлѣніе сдѣлали на меня ваши живые разсказы о блестящихъ лекціяхъ проф. Грановскаго, о томъ сильномъ дѣйствіи, которое производило на отборный кругъ слушателей его краснорѣчіе, исполненное души и вкуса, яркихъ мыслей, живыхъ описаній, говорящихъ картинъ и увлекательныхъ сердечныхъ сочувствій ко всему, что являлось или таилось прекраснаго, благороднаго и великодушнаго въ прошедшей жизни Западной многострадальной Европы. Общее участіе, возбужденное его чтеніями, казалось мнѣ утѣшительнымъ признакомъ, что у насъ въ Москвѣ живы еще интересы литературные, и что они не выражались до сихъ поръ единственно потому, что не представлялось достойнаго случая.

Теперь я спѣшу подѣлиться съ вами тѣмъ впечатлѣніемъ, которое производятъ на насъ лекціи профессора Шевырева. Не слыхавъ Грановскаго, я не могу сравнивать двухъ преподавателей. Скажу только, что прежде, чѣмъ начались чтенія Шевырева, многіе изъ его слушателей не вѣрили ихъ возможности, хотя и не сомнѣвались въ дарованіи профессора. Предметъ лекцій—*исторія Русской словесности, преимущественно древней,* казался имъ неблагодарнымъ, сухимъ, частію уже общеизвѣстнымъ, частію слишкомъ ученымъ и не для всѣхъ любопытнымъ. Покорясь общему, еще существующему у насъ предубѣжденію, они думали, что чтенія о древней словесности могутъ имѣть только одинъ интересъ—филологическій, важный почти исключительно для людей, посвятив-

шихъ себя особенно изученію Русскаго языка, или изслѣдованіямъ Русской старины. Нѣсколько памятниковъ, говорили они, еще не составляютъ словесности; литература наша началась съ Ломоносова; что́ сказать обще-любопытнаго о словесности прежнихъ временъ? розысканія или разсужденія—еще не исторія; для исторіи нужно содержаніе,—а гдѣ найдетъ его профессоръ, говоря о временахъ до-Петровскихъ?

Основываясь на такомъ понятіи о ничтожности нашей древней словесности, многіе ѣхали на лекціи Шевырева почти только для того, чтобы слушать даръ преподаванія, отъ искренняго сердца жалѣя о незначительности предмета. Представьте же себѣ ихъ удивленіе, когда послѣ самыхъ первыхъ чтеній, они должны были убѣдиться, что лекціи о древней Русской словесности имѣютъ интересъ живой и всеобщій, который заключается не въ новыхъ фразахъ, но въ новыхъ вещахъ, въ богатомъ, малоизвѣстномъ и многозначительномъ ихъ содержаніи.

Конечно, нѣтъ сомнѣнія, что это богатство содержанія нашей древней словесности могло возникнуть изъ малоизвѣстныхъ памятниковъ въ одну живую картину только отъ искусства преподавателя. Только при его воззрѣніи могли собраться вмѣстѣ и сростись въ одно стройное зданіе различные обломки нашей полузабытой старины, разбросанные остатки нашей письменной словесности духовной и свѣтской, литературной и государственной, вмѣстѣ съ уцѣлѣвшими неписанными преданіями народа, сохранившимися въ его сказкахъ, повѣрьяхъ, поговоркахъ и пѣсняхъ. Между тѣмъ несомнѣнно и то, что никакое искусство не могло бы создать содержанія, когда бы оно не существовало въ самомъ дѣлѣ и, хотя разрозненное, не уцѣлѣло въ памятникахъ.

Въ этомъ отношеніи, лекціи Шевырева представляютъ особенную значительность. Эта новость содержанія, это оживленіе забытаго, возсозданіе разрушеннаго, есть, можно сказать, открытіе новаго міра нашей старой словесности (*). Здѣсь

(*) До сихъ поръ объ этомъ у насъ почти ничего не было писано замѣчательнаго, выключая книги М. А. Максимовича.

даже литературное достоинство изложенія, сколько бы ни было оно впрочемъ замѣчательно, становится уже второстепеннымъ, почти ничтожнымъ, въ сравненіи съ другимъ, важнѣйшимъ отношеніемъ. Ибо изъ-подъ лавы вѣковыхъ предубѣжденій открываетъ онъ новое зданіе, богатое царство нашего древняго слова; въ мнимой-знакомой сферѣ обнаруживаетъ новую сторону жизни, и такимъ образомъ вноситъ новый элементъ въ область человѣческаго вѣденія. Я говорю: новый элементъ,—потому, что дѣйствительно исторія древне-Русской литературы не существовала до сихъ поръ какъ наука; только теперь, послѣ чтеній Шевырева, должна она получить право гражданства въ ряду другихъ исторій всемірно-значительныхъ словесностей. Ибо, если и правда, что при другомъ образѣ мыслей можно не соглашаться съ тѣмъ или другимъ его мнѣніемъ, если при другой системѣ можно спорить даже съ его главнымъ воззрѣніемъ, то, по крайней мѣрѣ, ни при какомъ образѣ мыслей, ни при какой системѣ, нельзя уже, выслушавъ его, отвергать дѣйствительность науки, которая до сихъ поръ не только не существовала въ этомъ видѣ, но самая возможность которой была подвержена сомнѣнію.

Съ этой точки зрѣнія, лекціи Шевырева представляются намъ уже не литературнымъ явленіемъ, болѣе или менѣе заманчивымъ, но новымъ событіемъ нашего историческаго самопознанія. И въ этомъ смыслѣ, создавая новую сторону науки, онѣ принадлежатъ уже не одному кругу его слушателей, но получаютъ значительность общую,—можно сказать безъ преувеличенія,—значительность Европейскую.

Другое качество чтеній Шевырева, которое служитъ основаніемъ и какъ бы необходимымъ условіемъ всего ихъ достоинства,—это достовѣрность его изложенія. Онъ употребилъ на изученіе своего предмета многіе годы постоянной работы,—работы ученой, честной, можно сказать религіозно добросовѣстной. Каждый фактъ, приводимый имъ, изслѣдованъ со всевозможною полнотою; часто одна фраза, едва замѣтная посреди быстраго теченія рѣчи, есть очевидный плодъ долговременныхъ розысканій, многосложныхъ сличеній и неутомимыхъ трудовъ; иногда одно слово, иногда одинъ оттѣнокъ

слова, можетъ быть, не всѣми замѣченный, отражаетъ изученіе многотомныхъ фоліантовъ, совершенное съ терпѣливою и добросовѣстною основательностію.

Что же касается до самаго преподаванія Шевырева, то особенность его заключается столько же въ его глубокомъ знаніи своего предмета, сколько въ томъ глубокомъ понятіи, которое онъ имѣетъ о словесности вообще, какъ о живомъ выраженіи внутренней жизни и образованности народа. Это понятіе прямо противоположное прежнимъ, такъ называемымъ классическимъ теоріямъ, разрушеннымъ Шлегелями, отличается также и отъ ихъ воззрѣнія тѣмъ, что они хотя и видѣли въ литературѣ выраженіе народной жизни, но жизнь эту, отражающуюся въ письменномъ словѣ, ограничивали почти одною сферою умственной и художественной образованности, между тѣмъ какъ въ понятіяхъ Шевырева словесность отражаетъ всю сознанную и несознанную полноту народнаго быта, какъ онъ раскрывается въ самыхъ разнородныхъ сферахъ—умственной и гражданской, художественной и промышленной, семейной и государственной, въ племенной и случайно-личной, въ своеобразной и заимственной.

Это понятіе Шевырева о словесности, можетъ быть, выведено изъ его изложенія, но выведено нами, слушателями; а ему самому нѣкогда пускаться въ теоріи и опредѣленія. Въ его живомъ представленіи предмета мысль всегда фактъ, и фактъ всегда *осмысленъ*, какъ онъ самъ выражается, говоря о раскрытіи внутренняго значенія внѣшняго событія.

Вслѣдствіе такого воззрѣнія, изъ оживленныхъ памятниковъ нашей древней словесности воскресаетъ вся древняя исторія нашего отечества,— не та исторія, которая заключается въ сцѣпленіи войнъ и договорахъ, въ случайныхъ событіяхъ и громкихъ личностяхъ, но та внутренняя исторія, изъ которой, какъ изъ невидимаго источника, истекаетъ весь разумъ внѣшнихъ движеній. Впрочемъ, само собою разумѣется, что исторія древней образованности Россіи является не на первомъ планѣ его изложенія: она, по его же выраженію, только необходимый грунтъ его картины,

Между тѣмъ, представляя такимъ образомъ исторію словес-

ности и просвѣщенія древне-Русскаго, профессоръ, чтобы яснѣе обозначить ихъ особенность, постоянно сравниваетъ ихъ значеніе съ соотвѣтствующими имъ явленіями на Западѣ Европы,—не для того, чтобы выхвалять одно на счетъ другаго; но для того, чтобы, сличая, яснѣе опредѣлить ихъ отличія. Въ этой параллельной характеристикѣ особенно ясно выражается тотъ глубоко значительный смыслъ древне-Русскаго просвѣщенія, который оно приняло отъ свободнаго воздѣйствія Христіанской вѣры на нашъ народъ, не закованный въ языческую Греко-Римскую образованность, не завоеванный другимъ племенемъ; но самобытно, мирно, безъ насилія и христіански возраставшій изъ глубины духовныхъ убѣжденій въ благоустройство внѣшней жизни,—покуда Провидѣнію угодно было, нашествіемъ иноплеменныхъ вліяній, остановить это возрастаніе, можетъ быть, преждевременное въ общей экономіи всечеловѣческаго бытія,—преждевременное для внѣшне-образованнаго Запада, еще не созрѣвшаго къ участію въ чисто христіанскомъ развитіи,—можетъ быть, преждевременное и для самой Россіи, еще не принявшей въ себя стихій Западной образованности для подведенія ихъ подъ воздѣйствіе одного высшаго начала.

Редакція Москвитянина надѣялась помѣстить въ 1-мъ № своего журнала первую лекцію Шевырева; но, кажется, по отсутствію у насъ стенографовъ, она не вполнѣ была записана слушателями и потому врядъ ли когда нибудь явится иначе, какъ въ отрывкахъ.

Между тѣмъ, покуда различныя, уже послѣ на память изъ нихъ записанныя мѣста, будутъ сличаться и сводиться вмѣстѣ, я посылаю вамъ одинъ отрывокъ, изъ котораго вы получите понятіе о двухъ мысляхъ курса: о томъ, какъ разумѣетъ профессоръ отношеніе народности къ человѣчеству, и о томъ, какъ онъ смотритъ на словесность вообще.

Дѣйствіе, которое производятъ лекціи Шевырева, очень сильно и разнообразно: нѣкоторые восхищаются ими до восторга, другіе судятъ строго, съ противоположнымъ пристрастіемъ; но почти никто не остается равнодушенъ; иные видятъ въ нихъ борьбу Русскаго просвѣщенія съ Западнымъ, и въ этомъ ошибаются. Цѣль профессора со всѣмъ не та, чтобы унизить

одну часть человѣческой образованности передъ другою. Онъ выражаетъ ихъ особенности, сравниваетъ для поясненія, старается опредѣлить съ безпристрастіемъ и видимо ищетъ избѣгнуть всякой исключительности. Его любовь къ Россіи— любовь сознательная, а не слѣпой восторгъ, выражающійся въ безсмысленныхъ восклицаніяхъ. Тѣ, которые хотятъ видѣть противное, вѣроятно, болѣе обращаютъ вниманіе на собственныя свои предубѣжденія, нежели на изложеніе профессора.

Замѣтно, что общее участіе къ лекціямъ безпрестанно возрастаетъ, также какъ и число слушателей. Сначала ихъ было около полутораста; теперь ихъ уже болѣе трехъ сотъ. Послѣдняя лекція его перерывалась пять разъ рукоплесканіями, которыми его встрѣчаютъ и провожаютъ почти каждый разъ.

—

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Открывая въ журналѣ учено-литературномъ особый отдѣлъ для сельскаго хозяйства, редакція руководствуется тою мыслію, что въ наше время и особенно въ нашемъ отечествѣ наука земледѣлія уже не ограничивается исключительно промышленными цѣлями, но въ болѣе глубокомъ развитіи принадлежитъ уже къ тѣмъ вопросамъ человѣческой образованности, которые соприкасаются съ самыми живыми предметами мышленія и съ самыми отвлеченными предметами жизни. Давно уже прошло то время, когда сельское хозяйство было исключительно дѣломъ заведеннаго обычая и стараго преданія. Но за безотчетною привычкою къ старинѣ послѣдовала безотчетная любовь къ нововведеніямъ. Въ то время еще ничто не измѣнялось въ сельскомъ порядкѣ вещей, потому ничто не требовало перемѣны прежняго хозяйственнаго устройства; измѣнился только образъ мыслей нѣкоторыхъ землевладѣтелей, и вслѣдствіе этой отвлеченной причины, начались заимствованія чужеземныхъ системъ, родившихся тамъ изъ особенныхъ мѣстныхъ обстоятельствъ и вводившихся у насъ часто вопреки мѣстнымъ требованіямъ. Иногда учреждались плодопеременныя хозяйства, гдѣ избытокъ земли и недостатокъ рукъ указывалъ на устройство прямо противоположное. Сѣяли картофель въ огромныхъ количествахъ тамъ, гдѣ некуда было сбывать даже зерноваго хлѣба. Заводили многосложныя орудія, не соотвѣтствующія мѣстнымъ потребностямъ. Педантическое улучшеніе маленькаго клочка земли, еще не имѣющей большой цѣны въ Россіи, покупали важною потерею времени, особенно цѣннаго въ нашемъ земледѣліи. Ломали прежніе обычаи не для новой выгоды, но для новой системы. Вводили усиленную работу и часто излишнее отягченіе барщины тамъ,

гдѣ прежняя была выгоднѣе даже для помѣщика. Прежній естественный характеръ сельскихъ отношеній замѣнили характеромъ фабричной напряженности. Тратили огромные капиталы, чтобы добыть малоцѣнныя произведенія. Многіе разорили своихъ крестьянъ. Многіе возбудили въ нихъ мысль о разрозненности ихъ выгодъ съ интересами помѣщика-фабриканта. Другіе разорились сами. Весьма немногіе ограничили убытки свои потерею безполезно употребленныхъ трудовъ и стараній,—покуда, наконецъ, общія неудачи модно-раціональныхъ хозяевъ произвели въ общемъ мнѣніи помѣщиковъ направленіе совершенно противоположное. Какъ прежде искали всего новаго, почитая всякое нововведеніе улучшеніемъ, такъ теперь начали бояться всякаго улучшенія потому, что оно нововведеніе. Излишняя довѣрчивость къ системамъ перешла въ излишнюю недовѣрчивость къ мышленію.

Мы не раздѣляемъ ни того, ни другаго направленія. Признаемся однако, что если бы должны были непремѣнно избирать изъ двухъ, то имѣли бы болѣе сочувствія къ послѣднему; ибо думаемъ, что въ улучшеніяхъ не столько нужна быстрота нововведеній, сколько ихъ основательность, и что всякому усовершенствованію не столько вредитъ упорное пребываніе въ недостаточномъ, но уже существующемъ положеніи,—изъ котораго человѣкъ и безъ отвлеченной системы невольно вытѣсняется самымъ порядкомъ движущихся вокругъ него вещей,—сколько вредитъ ему неумѣстность недозрѣлыхъ новоустройствъ, которыхъ неудача усиливаетъ начало сельской неподвижности всею тяжестью обманутаго ожиданія.

Между тѣмъ, въ наше время главные вопросы сельскаго хозяйства находятся уже не въ томъ положеніи, въ какомъ они были при началѣ нашихъ нововводительныхъ опытовъ. Если тогда причина измѣненій хозяйства заключалась въ личныхъ пристрастіяхъ нѣкоторыхъ хозяевъ къ иностраннымъ теоріямъ, то теперь, напротивъ того, самый порядокъ сельскихъ вещей требуетъ нѣкоторыхъ перемѣнъ въ ихъ устройствѣ. Неимовѣрная, неслыханная до сего времени и во всѣхъ случаяхъ разорительная для земледѣльцевъ измѣняемость цѣнности ихъ произведеній; трудность существованія при излишней дороговизнѣ;

неменьшая трудность къ добыванію необходимыхъ податей и оброковъ при крайней дешевизнѣ хлѣба; недавнее распространеніе мануфактуръ и фабрикъ, частію естественное, болѣе напряженно-искусственное и въ послѣднемъ случаѣ не развивающее постепенно, но мгновенно измѣняющее нравы народа; распространеніе новыхъ потребностей роскоши въ самомъ неимущемъ классѣ обѣихъ столицъ и многихъ городовъ, съ коими сельскіе земледѣльцы находятся въ постоянномъ соприкосновеніи; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ усиленное населеніе и происшедшее отъ того иное отношеніе между цѣнностью работы и земли; наконецъ, примѣры и послѣдствія улучшаемаго хозяйства между государственными крестьянами,—всѣ эти и многія другія обстоятельства связываютъ въ наше время вопросы каждаго частнаго хозяйства съ вопросами о движеніи хозяйства въ нашемъ отечествѣ вообще, и дѣлаютъ потребность нѣкоторыхъ улучшеній уже не пристрастіемъ нѣкоторыхъ лицъ, но общею необходимостью всего сельскаго быта.

При такомъ положеніи вещей, наука сельскаго хозяйства связывается уже не только съ химіею, ботаникою, технологіею, механикою и тому подобными вѣденіями, но необходимо включаетъ въ себя и нравственно-статистическія, и частію даже историческія соображенія. Кромѣ того, самая промышленная часть земледѣлія, послѣ предшествовавшихъ одностороннихъ теорій, должна принять новый смыслъ, чтобы пріобрѣсть новое довѣріе.

Изъ двухъ элементовъ, составляющихъ истинную науку хозяйства, опытъ и разумное познаніе чужихъ системъ и открытій, кажется, оба равно необходимы. Но познаніе чужихъ системъ тогда только можетъ принести пользу, когда оно не подчиняется пристрастію къ какой нибудь одной, случайно болѣе извѣстной, но соединяетъ изученіе всѣхъ важнѣйшихъ и самыхъ противоположныхъ, вмѣстѣ съ недовѣрчивостью къ исключительности каждой отдѣльной. Здѣсь полузнаніе вреднѣе незнанія. Безпристрастное соображеніе различныхъ теорій и еще болѣе различныхъ практикъ, въ различныхъ государствахъ и при различныхъ мѣстныхъ обстоятельствахъ, необходимо имѣетъ то дѣйствіе на наблюдающій умъ, что общія

истины отрѣшаются отъ случайныхъ обстоятельствъ, дающихъ имъ одностороннее примѣненіе, и являются уже не Германскими, не Англійскими, не Бельгійскими и не Французскими; все ограниченное отпадаетъ отъ нихъ, какъ зависимое отъ мѣстныхъ вліяній, и чистое начало представляется такимъ образомъ въ томъ разумномъ видѣ, въ которомъ оно можетъ уже, какъ собственное соображеніе, подвергнуться сознательному разсчету всякаго мыслящаго хозяина. Такимъ образомъ, если полузнаніе вреднѣе незнанія, то знаніе спасаетъ отъ вреда полузнанія.

Статьи г-на профессора Линовскаго будутъ имѣть преимущественною цѣлію показаніе современнаго состоянія земледѣлія въ различныхъ Европейскихъ государствахъ, съ постоянною мыслію о возможности безпристрастнаго примѣненія общихъ началъ и открытій по этой части къ усовершенствованію земледѣлія въ нашемъ отечествѣ. Основательное теоретическое знаніе науки сельскаго хозяйства и вмѣстѣ наукъ съ нимъ смежныхъ имѣлъ онъ возможность подкрѣпить и повѣрить продолжительными путешествіями по Россіи, исключительно для этой цѣли предпринятыми. Не прежде, какъ вооруженный такими познаніями и наблюденіями, приступилъ онъ къ изученію на мѣстѣ улучшенныхъ хозяйствъ Германіи, Австріи, Италіи, Бельгіи, Франціи и особенно Англіи, страны, которой усовершенствованія были извѣстны у насъ болѣе по слухамъ, чѣмъ по совѣстливымъ изслѣдованіямъ на самомъ дѣлѣ. Вотъ почему редакція журнала почитаетъ немаловажнымъ пріобрѣтеніемъ постоянное участіе такого сотрудника. Но вмѣстѣ съ тѣмъ она ожидаетъ содѣйствія нѣкоторыхъ другихъ опытныхъ Русскихъ хозяевъ, дабы совокупностью силъ можно было надѣяться достигнуть общеполезнаго результата.

—

БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЯ СТАТЬИ.

Новый 1845 годъ будетъ ли новымъ годомъ для нашей словесности? подаритъ ли онъ ее какимъ нибудь великимъ, геніальнымъ созданіемъ, могущимъ поднять ея упавшій духъ, оживить ея застывающія силы, убить, уничтожить ея мѣлочную дѣятельность и направить къ новой существенной цѣли, къ живой жизни, проникнутой мыслію, согрѣтой сочувствіемъ, вдали отъ журнальныхъ пересудовъ и торговыхъ разсчетовъ? Или суждено литературѣ нашей еще и этотъ годъ томиться въ той же незначительности, въ какой она находится уже нѣсколько лѣтъ? — Мудрено отгадать будущее; еще труднѣе предузнать геніальное. Всѣ разсчеты обыкновенныхъ соображеній приходятся только къ посредственности. Но если бы мы позволили себѣ на минуту предаться тому мечтательному занятію, тому святочному удовольствію, чтобы, глядя на прошедшее и настоящее, разгадывать будущее,—то врядъ ли это удовольствіе гаданья могло бы доставить намъ много утѣшительнаго. Когда бы у насъ не было замѣчательныхъ талантовъ, мы могли бы забавляться ихъ ожиданіемъ. Если бы у насъ не являлось замѣчательныхъ литературныхъ произведеній, мы могли бы надѣяться, что они явятся. Но у насъ есть люди съ высокими дарованіями, отъ которыхъ мы могли бы ожидать великаго; являются иногда и созданія ихъ, исполненныя высшихъ достоинствъ, а между тѣмъ литература наша не живетъ, ея интересы спятъ, и сочувствія съ нею незамѣтно почти нигдѣ.—Отъ того, что слишкомъ рѣдкія высокія явленія нашей словесности исчезаютъ почти безъ слѣдовъ среди громады мѣлочныхъ ничтожностей; отъ того, что на нашихъ писателяхъ съ высшими и даже съ посредственными дарованіями лежитъ какая-то странная тяжесть бездѣйствія, въ которомъ мы не можемъ даже упрекать ни одного изъ нихъ

потому, что не въ правѣ приписать винѣ одного лица то, что, очевидно, есть общее состояніе. Прошедшій годъ видѣлъ нѣсколько блестящихъ литературныхъ явленій: *Наль и Дамаянти*, созданіе, исполненное самой свѣжей красоты, самыхъ яркихъ красокъ, самыхъ нѣжныхъ благоуханій Востока, проникнутое, одушевленное тихою музыкой сердечной мечты; — *Маттео Фальконе*, произведеніе удивительное по мастерству стиха, по глубокой правдѣ и образцовой простотѣ языка, — и нѣсколько другихъ явленій, которыя, однакоже, не имѣли почти никакого вліянія на текущую словесность; они пронеслись мимо ея, надъ нею, — блестящіе метеоры, — не оставляя видимаго слѣда и сохраняясь только въ воспоминаніи, рѣзко оторванномъ отъ ежедневныхъ впечатлѣній. Болѣе, чѣмъ немногими прекрасными явленіями, прошедшій годъ памятенъ будетъ въ литературѣ нашей своими незамѣняемыми утратами. Баратынскій, пѣвецъ любви, печали, сердечныхъ думъ и сердечныхъ сомнѣній, своеобразный поэтъ, высокій, глубоко чувствующій художникъ, искренній въ каждомъ звукѣ, отчетливо изящный въ каждой мечтѣ, похищенный преждевременною смертію, оставилъ въ словесности нашей нѣсколько прекрасныхъ созданій, неоцѣненныхъ по своему достоинству, но почти ничтожныхъ въ сравненіи съ тѣмъ, что онъ могъ бы сдѣлать, если бы возможность дѣятельности измѣрялась одною силою дарованій. Въ послѣднее время писалъ онъ особенно мало и еще менѣе былъ понятъ и оцѣненъ монополистами литературныхъ мнѣній, самодовольными журнальными судьями, которые часто полу-Русскимъ языкомъ произносили приговоръ свой надъ его образцовыми, глубоко прочувствованными стихами; часто, по указанію ученическихъ тетрадей, разбирали, щупали, ломали его нѣжныя, художническія созданія и, можетъ быть, изъ добраго намѣренія, давали ему свои назидательные совѣты и наставленія. Не знаемъ, огорчало ли это Баратынскаго; думаемъ, что онъ могъ бы утѣшиться приговоромъ иныхъ, не менѣе извѣстныхъ литераторовъ, какъ напр. Жуковскаго, Пушкина, Вяземскаго, Языкова, Хомякова, Дельвига, Дениса Давыдова, Шевырева и многихъ другихъ. Но кто разочтетъ по законамъ благоразумія мѣру

чувствительности избраннаго таланта? По крайней мѣрѣ, кажется въ послѣднее время, обманутый журнальными отзывами, онъ уже мало вѣрилъ сочувствію публики. А можетъ быть, въ самомъ дѣлѣ, онъ не ошибался. Можетъ быть, большинство публики въ своихъ сочувствіяхъ не шутя руководствуется журнальными рецензіями, — такими, разумѣется, которыя по сердцу и по уму и по вкусамъ этого большинства.

Мѣсто, принадлежавшее Баратынскому въ нашей словесности, навсегда останется незанятымъ и, можетъ быть, еще долго неоцѣненнымъ. Ибо, даже послѣ извѣстія о его кончинѣ, журналы наши произнесли ему такой приговоръ, изъ котораго ясно видно, что еще не пришло время отдать полную справедливость его поэзіи. Одинъ *Современникъ* былъ въ этомъ случаѣ, какъ и во многихъ другихъ, благороднымъ исключеніемъ изъ общаго настроя умовъ. Прекрасная, умная, исполненная глубокимъ сочувствіемъ и вмѣстѣ справедливая, дружески-теплая и вмѣстѣ просвѣщенно-безпристрастная статья, помѣщенная въ немъ о Баратынскомъ, доказываетъ по крайней мѣрѣ, что тотъ избранный кружокъ, для котораго существуетъ этотъ журналъ, цѣнилъ его и его поэзію.

Мы не распространяемся здѣсь о поэзіи Баратынскаго. Мы надѣемся въ одномъ изъ ближайшихъ NN Москвитянина доставить себѣ наслажденіе высказать вполнѣ наше мнѣніе и о его созданіяхъ. Теперь же упомянули мы о немъ только потому, что говорили о нашихъ утратахъ.

Вскорѣ за Баратынскимъ словесность наша лишилась еще другаго поэта. И. А. Крыловъ скончался на 77 году отъ рожденія, и если мы сообразимъ два тома его басенъ съ тѣмъ временемъ, въ которое онъ началъ писать, то, вопреки общему мнѣнію, скажемъ и про него тоже, что про Баратынскаго, что какъ ни много сдѣлалъ онъ для словесности нашей, но сдѣлалъ весьма мало въ сравненіи съ тѣмъ, что подобный ему талантъ могъ бы совершить во всякой другой литературѣ.

Величіе таланта Крылова заключается не столько въ великомъ литературномъ достоинствѣ его произведеній, сколько въ

красотѣ ихъ народности. Крылову принадлежитъ честь единственная, ни съ кѣмъ не раздѣленная: онъ умѣлъ быть народнымъ, и что еще важнѣе, онъ хотѣлъ быть Русскимъ въ то время, когда всякое подражаніе почиталось просвѣщеніемъ, когда слово: *иностранное*, было однозначительно съ словомъ: *умное* или *прекрасное*; когда, поклоняясь нашимъ выписнымъ гувернёрамъ, мы не знали оскорбительнаго слова, хуже слова: Moujik!—Въ это время Крыловъ не только былъ Русскимъ въ своихъ басняхъ, но умѣлъ еще сдѣлать свое Русское плѣнительнымъ даже для насъ. Хотя долго продолжалось время, когда и ему не отдавали справедливости, съ исключительнымъ восторгомъ читали басни Дмитріева, впрочемъ исполненныя истинныхъ красотъ, и почти противъ совѣсти смѣялись Русскимъ разсказамъ Крылова.

Крыловъ былъ прекрасенъ своею народностію, но не въ силахъ распространить ея вліяніе на словесность. Это предоставлено было другому.

Что Крыловъ выразилъ въ свое время и въ своей басенной сферѣ, то въ наше время и въ сферѣ болѣе обширной выражаетъ Гоголь.

Послѣ появленія Мертвыхъ душъ Гоголя, много говорено было за нихъ и противъ нихъ не только въ литературѣ, но и во всѣхъ кругахъ читателей;—между тѣмъ, отъ восторженныхъ похвалъ и страстныхъ порицаній осталось, кажется, одно общее убѣжденіе, что Гоголь въ словесности нашей есть представитель той новой, великой, до сихъ поръ въ ясномъ видѣ еще не являвшейся силы, которой неисчислимые результаты могутъ произвести совершенный переворотъ въ нашей литературѣ, и которую называютъ *силою Русской народности*. До сихъ поръ мы были и находимся еще подъ вліяніемъ Французовъ и Нѣмцевъ. Жизнь нашей словесности оторвана отъ жизни нашего народа. Но, читая Гоголя, мы понимаемъ возможность ихъ соединенія. Впрочемъ, не потому Гоголь народенъ, что содержаніе разсказовъ его взято по большей части изъ Русской жизни: содержаніе не характеръ; Шекспиръ столько же Англичанинъ, описывая Римъ и Венецію, сколько въ своихъ Британскихъ драмахъ; не потому также называемъ

мы Гоголя народнымъ, чтобы народъ читалъ его (слава Богу, народъ нашъ еще живетъ въ литературѣ Славянской, и немногіе, просвѣщенные *гражданскою* грамотностію, продолжаютъ образовываться посредствомъ Выжигина, Орлова и Польде-Кока); но потому, что въ глубинѣ души его таятся особенные звуки, потому что въ словѣ его блестятъ особенныя краски, въ его воображеніи живутъ особенные образы, исключительно свойственные Русскому народу, тому свѣжему, глубокому народу, который не утратилъ еще своей личности въ подражаніяхъ иностранному. Если бы и можно было перевесть Гоголя на чужой языкъ, что впрочемъ невозможно,—то и тогда самый образованный иноземецъ не понялъ бы лучшей половины его красотъ.

Въ этой особенности Гоголя заключается глубокое значеніе его оригинальности. Въ ней его права на великое дѣйствіе въ литературѣ еще болѣе, чѣмъ въ геніальности его произведеній. Ибо если справедливо, что красота принадлежитъ всѣмъ націямъ, что статуя Греческая равно нравится Нѣмцу и Русскому, то надобно сознаться, что для понятія чужой красоты необходимо нѣкоторое разумное отвлеченіе, охлаждающее ея дѣйствіе, между тѣмъ какъ красота своенародная, окруженная невидимымъ строемъ сочувственныхъ звуковъ, близкихъ и далекихъ отголосковъ, темныхъ и ясныхъ, сердечныхъ, несознанныхъ воспоминаній,—не отрываетъ мечту отъ жизненной сферы; но, дѣйствуя двойною силою, связываетъ художественное наслажденіе, подлежащее сознанію, вмѣстѣ съ безотчетными пристрастіями нашей особенной жизни.

Этимъ объясняется, можетъ быть, и безмѣрное сочувствіе къ Гоголю нѣкоторыхъ, и неимовѣрныя нападенія на него другихъ.

О многихъ книгахъ, вышедшихъ въ прошедшемъ году, Москвитянинъ не успѣлъ еще извѣстить своихъ читателей. Мы постараемся теперь, хотя отчасти, дополнить этотъ недостатокъ.

—

МОЛИТВА СВ. ЕФРЕМА СИРИНА, *Бесѣды на Св. Четыредесятницу.* Харьковъ. Въ Универс. Тип. 1844 года.

О ГРѢХѢ И ЕГО ПОСЛѢДСТВІЯХЪ, *Бесѣда на Св. Четыредесятницу,* Харьковъ. Въ Унив. Тип. 1844 года.

Все, выходящее изъ-подъ пера преосвященнаго Иннокентія, принадлежитъ не одному богословію; оно составляетъ вмѣстѣ богатое украшеніе нашей словесности вообще. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи желаемъ мы выразить впечатлѣніе, произведенное на насъ этими двумя книгами.

Произведенія преосвященнаго Иннокентія представляютъ особенный характеръ духовнаго краснорѣчія, выражающійся болѣе или менѣе во всѣхъ его сочиненіяхъ, но преимущественно обозначившійся въ его двухъ *Седмицахъ—Страстной* и *Свѣтлой.* Однако, не смотря на то, что эта особенность характера весьма ощутительна для каждаго читающаго, она легче можетъ быть отличена чувствомъ, чѣмъ выражена словами,—и если бы отъ насъ потребовали ея опредѣленія, то мы затруднились бы обозначить ее какою либо формулой. Краснорѣчіе, теплота, ясность мыслей, живость представленій,—всѣ эти качества могутъ принадлежать и другимъ проповѣдникамъ; но между тѣмъ, читая преосвященнаго Иннокентія, вы ясно понимаете, что въ дѣйствіи его слова есть нѣчто особенное, исключительно ему принадлежащее. За неумѣніемъ сказать нашу мысль кратко, постараемся объяснить ее хотя описательно.

Духовное краснорѣчіе имѣетъ двѣ стороны, слагается изъ двухъ частей, изъ двухъ силъ, которыми оно дѣйствуетъ. Одна заключается въ изложеніи вѣчныхъ истинъ, неизмѣняемо живущихъ въ Церкви; другая состоитъ въ примѣненіи этихъ вѣчныхъ, неизмѣняемыхъ ученій къ тѣмъ вѣчно измѣняющимся обстоятельствамъ времени и мѣста, въ которыхъ проповѣдникъ застаетъ своихъ слушателей. Если бы первая часть, т. е., изложеніе истины, была одна необходимая для поученія, то въ такомъ случаѣ не нужно было бы говорить проповѣди; достаточно было бы повторять однажды составленный кати-

хизисъ. Если бы вторая стихія проповѣди, т. е., примѣненіе вѣчныхъ истинъ къ измѣняющимся обстоятельствамъ, относилась единственно къ тѣмъ безпрерывно возвращающимся недостаткамъ человѣка, въ которыхъ онъ, по всегдашней слабости своей природы, можетъ одинаково находиться во всякое время, не смотря на различіе временъ; если бы проповѣдь, говорю я, ограничивалась только тѣми увѣщаніями и возбужденіями, которыя во всѣ вѣка и у всѣхъ народовъ равно необходимы для поддержанія вѣры и жизни православной противъ всегдашняго враждованія страстей, неразумія и соблазновъ,—то въ такомъ случаѣ весьма достаточно было бы для насъ богатаго наслѣдства древнихъ Отцевъ, и слово новое могло бы казаться почти излишнимъ послѣ всего уже прежде сказаннаго великими столпами Церкви. Но между тѣмъ, не смотря на все душепитательное, что мы можемъ почерпнуть въ писаніяхъ древнихъ Учителей, мы чувствуемъ однакоже, что кромѣ того намъ необходимо еще подкрѣпительное слово современнаго намъ пастыря, близкаго свидѣтеля нашихъ особенныхъ недоумѣній и немощей, разрѣшителя нашихъ новыхъ затрудненій, утѣшителя при новыхъ бѣдствіяхъ, указателя пути при новыхъ заблужденіяхъ, вразумителя при новыхъ сомнѣніяхъ, возникающихъ, можетъ быть, изъ одного корня, но являющихся въ каждое время въ новомъ видѣ, съ новыми самооправданіями, съ новыми обольщеніями. Потому мы думаемъ, что, кромѣ другихъ существенныхъ качествъ, достоинство *современности* есть одно изъ необходимыхъ условій для сильнаго дѣйствія рѣчи на слушателей.

Всѣ знаменитые проповѣдники имѣли это качество въ большей или меньшей степени. Особенность каждаго времени давала особенную краску ихъ краснорѣчію.

Въ наше время, кажется, главная болѣзнь человѣка состоитъ не въ излишествѣ какой либо страсти, не въ незнаніи какой либо истины и не въ случайномъ недоразумѣніи какого либо вопроса; мы замѣчаемъ, напротивъ, вмѣсто односторонней напряженности, болѣе общее разслабленіе сердца, противоположное всякой страстности и пригнетающее человѣка къ низкимъ цѣлямъ и побужденіямъ, не отъ избытка

его неустроенныхъ порывовъ, но отъ недостатка внутренней способности ко всякому сильному стремленію. Вмѣсто незнанія, страдаемъ мы, кажется, излишнимъ многознаніемъ, равно заботясь о изученіи истиннаго и ложнаго, равно признавая полезное и вредное, и, запутавшись въ многомысліе, часто смѣшиваемъ самое разнородное, подчиняясь общему, безразличному впечатлѣнію взаимно уничтожающихся воздѣйствій добра и зла, одинаково доступныхъ нашему, ни горячему, ни холодному, сочувствію.

Противъ этой господствующей немощи нашего времени, душевной холодности и умственной запальчивости, сердечной вялости и мысленной вседвижимости, разслабленной, себялюбивой изнѣженности, и напряженной діалектической мечтательности,—духовному пастырю возможны два способа врачеванія: или дѣйствовать прямо на сердце и, согрѣвая его живыми образами, возбуждая очевидными представленіями, увлекая теплыми изображеніями Божественнаго и Святаго,—такъ сказать, *по слѣдамъ чувства,* наводить мысль на путь спасенія; или дѣйствовать непосредственно на разумъ, строгимъ судомъ очистить истину отъ лжи, глубокомысленнымъ и яснымъ доводомъ разрѣшить запутанное, обличить мнимое, прояснить темное, отрѣзать сомнительное, утвердить вѣрное, устроить блуждающую мысль, такъ сказать, *образумить* ее, и потомъ уже, на предварительно утвержденномъ основаніи внутренняго *сознанія*, назидать умственную и сердечную жизнь человѣка въ духовной нераздѣльности всѣхъ частныхъ его способностей.

Эти два противоположные способа дѣйствованія противъ двухъ коренныхъ недостатковъ нашего времени принадлежатъ, кажется, преимущественно двумъ великимъ современнымъ учителямъ нашей Церкви и составляютъ особенность характера ихъ духовнаго краснорѣчія,—не такъ, однакоже, чтобы одна особенность исключала другую, но такъ, что каждая вмѣщаетъ въ себѣ противоположную, какъ свою необходимую, но подчиненную силу.

Потому, если слово пр. Иннокентія (ибо теперь имѣемъ мы въ виду выразить наше мнѣніе исключительно о характерѣ

его краснорѣчія), если слово его, проникнутое живостію какъ бы непосредственнаго воззрѣнія на изображаемыя имъ событія, согрѣтое приложеніемъ высшихъ истинъ къ очевидному и, такъ сказать, осязательному обозначенію нашей современной жизни, если оно и рѣдко касается вопросовъ догматическихъ, рѣдко стремится разрѣшить сомнѣнія мысленныя—то тѣмъ не менѣе, дѣйствуя прежде на чувство, оно не только не забываетъ умственнаго устроенія нашего современнаго многомыслія, но (что составляетъ особенность его краснорѣчія), не говоря о нихъ, самымъ способомъ сердечнаго возбужденія оно уже отвѣчаетъ на тѣ умозрительные вопросы, на то утонченное раздвоеніе ума, которые составляютъ отличительный характеръ нашего вѣка. Читая пр. Иннокентія, вы чувствуете, что ему не безызвѣстны ваши мысленныя волненія; что вся гордость разумнаго развитія, всѣ хитросплетенія современной науки, не могутъ представить ему никакого новаго возраженія, еще незнакомаго его многотрудившейся мысли, еще непобѣжденнаго вѣрою въ глубинѣ внутренняго сознанія. Этимъ, кажется, объясняется всеобщее дѣйствіе его проповѣди, равно согрѣвающей сердце человѣка безграмотнаго и многоученаго: это теплое слово вѣры твердой, не безсознательной, но уже испытавшей упорную борьбу съ разумомъ, вѣры мыслящей и непобѣдимо прошедшей сквозь всѣ нападенія свѣтской мудрости, сквозь всѣ затрудненія оторвавшейся отъ неба науки.

Но, если справедливо сказанное нами, то неоспоримо и то, что произведенія пр. Иннокентія тѣмъ болѣе должны имѣть дѣйствіе, чѣмъ болѣе выражается въ нихъ замѣченная нами особенность его силы. Примѣняя же сказанное нами къ тѣмъ двумъ книгамъ, по поводу которыхъ мы начали это разсужденіе, мы сознаемся, что, не смотря на всѣ ихъ достоинства, не умѣли мы найти въ нихъ тѣхъ отличительныхъ качествъ, которыми согрѣты другія произведенія преосвященнаго. Признаемся также, что вина этому заключается не въ книгахъ, читанныхъ нами, но въ насъ, ихъ читавшихъ. Потому, мы не судимъ ихъ достоинства, только выражаемъ впечатлѣніе ихъ на насъ, зная притомъ, что для лучшей части читателей преосвященнаго впечатлѣніе это будетъ совершенно иное,

ибо чѣмъ полнѣе, чѣмъ выше раскрывается жизнь духовная въ человѣкѣ, тѣмъ совершеннѣе отлучается онъ отъ минутныхъ волненій времени, тѣмъ менѣе нуждается въ новомъ, въ еще несказанномъ, въ современномъ, и тѣмъ болѣе смысла получаютъ въ глазахъ его истины вѣчныя, хотя всѣмъ извѣстныя, но всегда новыя для его благочестиваго вниманія, истины душеполезныя, святыя, во всякое время равно принадлежащія святой Церкви, и теперь ясно и вѣрно повторенныя ея знаменитымъ пастыремъ.

О ВОСПИТАНІИ ДѢТЕЙ *въ духѣ Христіанскаго благочестія.* Москва. Тип. Авг. Семена.

Эта книга, передѣланная съ Нѣмецкаго, заключаетъ въ себѣ весьма много полезныхъ наставленій, сказанныхъ хорошимъ, чистымъ и правильнымъ языкомъ. Вѣроятно, это только введеніе въ болѣе полное изложеніе науки воспитанія; ибо общія истины, выраженныя здѣсь, тогда только получатъ настоящую цѣну, когда будутъ соединены съ замѣчаніями практическими, могущими указать путь къ достиженію цѣли, здѣсь обозначенной. Лучшее средство—сдѣлать хорошій совѣтъ небезполезнымъ, заключается въ томъ, чтобы дать возможность его исполнить.

ФАУСТЪ, *трагедія, соч. Гёте. Переводъ первой и изложеніе второй части. М. Вронченко. 1844 г.* Въ привил. тип. Фишера. С.-Петербургъ.

Удивительно, сколько жизни въ геніальномъ созданіи! Фаустъ—полу-романъ, полу-трагедія, полу-философская диссертація, полу-волшебная сказка, полу-аллегорія, полу-правда, полу-мысль, полу-мечта, полу-музыка, но всего менѣе театральное зрѣлище; не смотря на то, однако, въ 1829 году былъ поставленъ Тикомъ на Дрезденскій театръ. Всѣ думали тогда, что Фаустъ будетъ убитъ сценою,—и ошиблись. Дѣйствіе, которое онъ произвелъ на театрѣ, еще усилило то впечатлѣніе, которое онъ производитъ въ чтеніи. Теперь про-

изведенъ надъ нимъ другой опытъ: Фаустъ, не переводимый Фаустъ,—явился въ Русскомъ переводѣ, буквально вѣрномъ, но далеко не поэтически вѣрномъ. Мы думали: Фаустъ безъ поэзіи языка — то же, что красавица безъ молодости; мы начали читать его съ этимъ предубѣжденіемъ: первыя страницы были невыносимы; почти каждое слово, напоминая подлинникъ, тѣмъ непріятнѣе оскорбляло наше воспоминаніе. И что же? Когда мы прочли нѣсколько сценъ, то уже не могли болѣе оторваться отъ книги. Внутренняя поэзія Фауста овладѣла воображеніемъ нашимъ, и этотъ блѣдный, но совѣстливо точный и удивительно вѣрный по смыслу переводъ произвелъ на насъ почти такое же дѣйствіе, какое могло бы произвести перечитываніе оригинала.

Мы благодаримъ г. Вронченка за это наслажденіе; благодаримъ его и за то, что онъ не исказилъ смысла фальшивою поддѣлкою, но съ довѣренностію къ внутренней силѣ геніальной мысли и съ самоотверженіемъ автора, достойнымъ уваженія, предпочелъ безцвѣтность стиха ложному колориту.

Первая часть Фауста переведена вполнѣ; вторая—изложена только въ сущности; къ обѣимъ частямъ приложенъ общій обзоръ.

Любопытно видѣть, какое дѣйствіе произведетъ Фаустъ на нашу словесность. Конечно, онъ не совсѣмъ новость, потому что большей части образованныхъ читателей онъ извѣстенъ въ оригиналѣ. Однако же, всѣмъ незнавшимъ по-Нѣмецки онъ былъ незнакомъ, потому, что Французскіе переводы не даютъ объ немъ никакого понятія. Говорятъ, есть превосходный переводъ на Англійскій языкъ; но намъ не случалось его видѣть. Впрочемъ и то правда, что произведеніе геніальное чужой словесности, хотя и знакомое намъ на чужомъ языкѣ, совсѣмъ иначе дѣйствуетъ на литературную образованность нашу, когда явится въ одеждѣ нашего роднаго слова. Даже и то не остается безъ полезнаго дѣйствія, когда мы замѣчаемъ слабость перевода, и какъ и почему наше слово еще не доросло до нѣкоторыхъ значеній.

Кажется, однако, что огромное, изумительное вліяніе, которое имѣлъ Фаустъ на литературу Европейскую, не вполнѣ

можно отнести къ его поэтическому и философскому достоинству. Значительная часть силы его заключалась въ его современности. Онъ выражалъ минуту перехода Европейской образованности отъ вліянія Французскаго къ вліянію Нѣмецкому. Фаустъ—рождающійся 19 вѣкъ. Онъ также Нѣмецъ, какъ Кандидъ былъ Французъ, Гамлетъ—Англичанинъ, Донъ Жуанъ — Испано-Итальянецъ. Онъ могъ вмѣстить въ себѣ значеніе всечеловѣческое потому, что въ этотъ часъ Европейской жизни таково было значеніе жизни Германской: мысль отвлеченная, требующая борьбы и волненій жизни; жизнь взволнованная, разногласная, требующая согласія и значенія мысли.

Въ обзорѣ переводчика, написанномъ весьма остроумно и обнаруживающемъ глубокое изученіе своего предмета, мы отличимъ двѣ части. Все, что сказано имъ о первой части Фауста, кажется намъ дѣльнымъ и справедливымъ; но въ своихъ объясненіяхъ второй части, мы думаемъ, авторъ не совсѣмъ былъ вѣренъ своей собственной теоріи: судить о мысли художественнаго произведенія по даннымъ, въ немъ самомъ заключающимся, а не по догадкамъ, извнѣ къ нему прилагаемымъ. «Какая польза,—говоритъ онъ,—узнавать, что̀ гдѣ авторъ сказать хотѣлъ, если онъ не сказалъ того дѣйствительно? — Передъ нами лежитъ его произведеніе въ томъ видѣ, какъ оно было написано и окончательно выправлено.»

«Мы,—говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ,—ставимъ Гёте по уму и таланту выше всѣхъ его толковниковъ и потому рѣшаемся вѣрить не имъ, а самому Гёте, то есть, видѣть въ Фаустѣ только то, что дѣйствительно и явственно въ немъ находится—видѣть не менѣе того, но и не болѣе. Такъ, съ безпристрастными читателями, пройдемъ мы обѣ части піесы, строго придерживаясь текста, отнюдь не позволяя себѣ никакихъ пополнительныхъ подразумѣній.»

Еще въ другомъ мѣстѣ также говоритъ онъ прекрасно о перетолкованіяхъ и подразумѣніяхъ: «Посредствомъ подразумѣнія изъ всего на свѣтѣ можно вывесть всё, что кому угодно. Пусть кто нибудь возметъ хоть сказку о Бовѣ Королевичѣ, да станетъ поступать, какъ толковники поступаютъ съ Фаустомъ, то есть, прямой и естественный смыслъ любаго

мѣста почитать за грубую наружную оболочку мысли; подъ этою оболочкою подразумѣвать, смотря по надобности, тотъ или другой смыслъ отдаленный, переносный; придумывать, наконецъ, важное значеніе для каждаго слова, хотя бы то слово было, видимо, поставлено только для круглоты оборота,— нѣтъ сомнѣнія, что изъ Бовы Королевича выйдетъ подтвержденіе какой угодно философической системы!»

«На первый взглядъ кому либо можетъ показаться, что подразумѣвательная символистика есть только игра, хотя пустая и безплодная, но, по крайней мѣрѣ, безвредная. Пусть, скажутъ намъ, чудаки объясняютъ, что и какъ имъ вздумается; пусть, пожалуй, и Наполеона, сына Летиціи, принимаютъ за Аполлона, дитя свѣта, а двѣнадцать его маршаловъ за двѣнадцать зодіакальныхъ знаковъ; пусть, словомъ сказать, дряхлѣющій умъ забавляется калейдоскопомъ мудрованія, какъ одѣтинѣвшійся старикъ тѣшится постройкой карточныхъ домиковъ — зачѣмъ мѣшать его удовольствію? Мѣшать, конечно, не стоило бы труда, если бы игра оставалась при одномъ играющемъ; но происходитъ совсѣмъ не то: кривые толки сбиваютъ съ толку публику, особенно же увлекаютъ младшую часть публики, всегда довѣрчивую, всегда прельщаемую таинственностію. Такимъ образомъ распространяется множество сужденій загадочныхъ; а предметъ сужденій не только не поясняется, но, напротивъ, затемняется въ самыхъ ясныхъ частяхъ своихъ.»

Не смотря однако на это возстаніе автора противъ подразумѣній, во второй части Фауста онъ хотя не видитъ тѣхъ отвлеченныхъ мыслей, то философскихъ, то мистическихъ, которыя находили въ ней другіе толкователи, но за то не замѣчаетъ въ ней и того значенія, которое, очевидно, придавалъ ей самъ Гёте, таинственно хранившій ее какъ послѣднее завѣщаніе всей своей поэтически-философской жизни. Если въ первой части Фауста переводчикъ признаетъ символическое изображеніе человѣка вообще, а не какое нибудь опредѣленное, частное лицо, даже не Нѣмца, а полнаго человѣка, только въ Нѣмецкомъ платьѣ,—то кажется, что по тѣмъ же причинамъ не имѣлъ онъ права видѣть и во второй части одну Нѣмецкую

и художническую личность Гёте, вмѣсто всеобщности человѣка, или, по крайней мѣрѣ, человѣка нашего времени. Конечно, частныя впечатлѣнія поэта не могли не связываться съ его общими мыслями: эти случайности жизни даютъ краску поэтической мечтѣ; эта фольга, говоритъ Жанъ-Поль, придающая блескъ и яркость безцвѣтно прозрачной мысли. Но не однѣ же случайности безъ мысли составляютъ поэзію Гёте, и особенно поэзію аллегорическую. Потому, мы благодарны г. Вронченку за то, что онъ открываетъ намъ связь между нѣкоторыми обстоятельствами въ жизни Гёте и его поэтическими изображеніями; это весьма любопытно и можетъ быть полезно въ психологическомъ и художественномъ отношеніи; но мы не можемъ согласиться съ нимъ, чтобы изображенія поэтическія ограничивались однимъ этимъ мѣлкимъ значеніемъ. Намъ кажется также не совсѣмъ справедливымъ и то, что г. Вронченко, разбирая смыслъ второй части Фауста, не упомянулъ о разборѣ эпизода Елены, сдѣланномъ г. Шевыревымъ и напечатанномъ въ первыхъ годахъ Московскаго Вѣстника. Разборъ г. Шевырева имѣетъ ту важность, что Гёте, отдавая объ немъ отчетъ, самъ объявилъ, что Шевыревъ понялъ мысль его аллегоріи и умѣлъ присвоить себѣ. Въ этомъ случаѣ, кажется, показаніе Гёте существеннѣе всякихъ догадокъ, противъ которыхъ такъ сильно и такъ справедливо возстаетъ самъ г. Вронченко.

Языкъ г. Вронченка вообще правильный, свободный и чистый. Но иногда попадаются нѣкоторыя выраженія не простительно неправильныя, какъ напр. *пахая землю*, *скалистыя врата*, *одѣтинѣвшійся старикъ*, *сущное дѣло*, и т. п.

НА СОПЪ ГРЯДУЩІЙ, *отрывки изъ вседневной жизни. Сочиненіе графа В. А. Соллогуба. Изданіе второе.* Часть 1. С.-Петербургъ. 1844 г. Изданіе книгопродавца А. Иванова.

Повѣсти г. Соллогуба можно бы, кажется, узнать безъ подписи, между всѣхъ другихъ явленій нашей современной литературы, по двумъ качествамъ, которыя всего рѣже встрѣчаются въ современной словесности, но которыя, казалось бы, состав-

ляютъ необходимое условіе всякаго произведенія, имѣющаго какое нибудь притязаніе на художественное достоинство: это вкусъ и неподдѣльное чувство. Нельзя сказать, чтобы изящная литература наша была бѣдна произведеніями: у насъ выходитъ не мало повѣстей и романовъ, но весьма мало такихъ, которые бы могли читаться. Въ повѣстяхъ нашихъ много дѣйствія, много сильныхъ ощущеній, выдуманныхъ хладнокровно, даже много мыслей, набранныхъ и перемѣшанныхъ; но рѣдко найдете вы чувства невыдуманныя, мысль свою, проведенную сквозь сердце; еще рѣже понятіе о художественномъ приличіи и соразмѣрности. Первое, что сдѣлалъ бы древній философъ съ нашими философами-романистами, вѣроятно, послалъ бы ихъ жертвовать Граціямъ. Но г. Соллогубъ составляетъ въ этомъ отношеніи совершенно противоположность съ большинствомъ нашихъ писателей. Повѣсти его необыкновенно увлекательны, языкъ простой и вѣрный, разсказъ живой, чувства въ самомъ дѣлѣ чувствованныя и потому невольно передающіяся читателю. Все это заставляетъ насъ съ нетерпѣніемъ ожидать втораго тома. Если же,—что вѣроятно,—эти повѣсти дождутся третьяго изданія, то мы желали бы въ нихъ видѣть только одно измѣненіе, и то въ заглавіи. «На сонъ грядущій» не по-Русски. Есть молитвы на сонъ грядущимъ, которыя, вѣроятно, подали поводъ къ этому смѣшенію звуковъ, не имѣющему опредѣленнаго значенія.

ОПЫТЪ НАУКИ ФИЛОСОФІИ. *Сочин. Ѳ. Надеждина.* С.-Петербургъ.

Было время, когда появленіе подобной книги у насъ могло бы составить эпоху въ нашей литературѣ; слово: философія, имѣло въ себѣ что-то магическое. Слухи о любомудріи Нѣмецкомъ, распространяя повсюду извѣстіе о какой-то новооткрытой Америкѣ въ глубинѣ человѣческаго разума, возбуждали, если не общее сочувствіе, то, по крайней мѣрѣ, общее любопытство. Особенно молодое поколѣніе съ жадностію искало всякой возможности проникнуть въ этотъ таинственный міръ.

Страсть доходила до того, что даже читали Веланскаго и Галича!—Этого мало: ихъ не только читали, но даже многіе восхищались ихъ сочиненіями, и что всего замѣчательнѣе, эти поклонники *біологическаго изслѣдованія природы въ ея творящемъ и творимомъ началѣ* принадлежали къ числу людей самыхъ образованныхъ того времени.

Теперь подобныя книги уже не производятъ восторга; отношенія наши къ философіи Нѣмецкой измѣнились. Вмѣсто того, чтобы искать посредника между Нѣмецкимъ мыслителемъ и нами,—посредника, часто не понимающаго ни своего учителя, ни самого себя, мы обратились къ самому источнику и Нѣмецкую мысль читаемъ на Нѣмецкомъ языкѣ. Потому, философскія понятія распространились у насъ весьма сильно. Нѣтъ почти человѣка, который бы не говорилъ философскими терминами; нѣтъ юноши, который бы не разсуждалъ о Гегелѣ; нѣтъ почти книги, нѣтъ журнальной статьи, гдѣ незамѣтно бы было вліяніе Нѣмецкаго мышленія; десятилѣтніе мальчики говорятъ о конкретной объективности. Потому, Русская книга о философіи уже не можетъ произвести такого дѣйствія, какъ прежде.

Но удивительно, что когда мы вникнемъ нѣсколько внимательнѣе въ это всеобщее распространеніе философскихъ знаній, то увидимъ, что настоящій источникъ его находится не въ изученіи философскихъ писателей, не въ усвоеніи тѣхъ, или другихъ системъ, но, такъ сказать, въ томъ воздухѣ, которымъ мы дышемъ.

Въ самомъ дѣлѣ, поговорите съ любымъ мыслителемъ, которыхъ у насъ теперь такъ много: вы замѣтите съ перваго взгляда, что всѣ его мнѣнія основаны на признаніи философіи Гегеля за высшую истину; что онъ отвергаетъ то, принимаетъ другое, дѣйствуетъ такимъ образомъ, даже чувствуетъ такъ, а не иначе, только потому, что этотъ образъ мыслей и дѣйствованій согласенъ съ тою системою, въ которой онъ убѣжденъ болѣе, чѣмъ во всякой другой истинѣ, и которую, потому, онъ кладетъ въ основаніе всей умственной и дѣйственной жизни своей.

А между тѣмъ, если вы всмотритесь въ тотъ умственный процессъ, посредствомъ котораго этотъ поклонникъ Гегеля прі-

обрѣлъ свое основное убѣжденіе, то съ удивленіемъ увидите, что процесса не было никакого. Большею частію онъ даже совсѣмъ не читалъ Гегеля. Изъ читавшихъ, иной прочелъ только примѣненіе началъ къ другимъ наукамъ, иной читалъ одну эстетику, иной только началъ читать его философію исторіи, иной только прочелъ конецъ его исторіи философіи, тотъ нѣсколько страницъ изъ логики, тотъ видѣлъ феноменологію; большая часть читала что нибудь о философіи Гегеля, или слышала объ ней отъ людей, достойныхъ вѣры, отъ людей образованныхъ, слѣдящихъ за современнымъ просвѣщеніемъ и знающихъ очень хорошо, что философія Гегеля въ наше время точно признана за высшую и за единственно возможную.

Такъ образуются у насъ философы-раціоналисты,—на вѣру въ чужія убѣжденія. Да, принятіе чужихъ убѣжденій дѣло такое обыкновенное, что изъ нѣсколькихъ сотъ Гегельянцевъ, извѣстныхъ мнѣ, я едва могъ бы назвать трехъ, въ самомъ дѣлѣ изучившихъ Гегеля.

Фактъ этотъ тѣмъ замѣчательнѣе, что здѣсь дѣло идетъ не о мнѣніи болѣе или менѣе вѣроятномъ, но о сознательномъ развитіи одного основнаго, логически необходимаго начала, по законамъ строгой неизбѣжности: о саморожденіи разума въ сознаніе. Вся сущность философіи Гегеля заключается въ этой методѣ саморазвитія. А между тѣмъ ее принимаютъ въ послѣднихъ результатахъ, не испытывая вѣрности самаго основнаго процесса.

Объяснить возможность этого факта мы не умѣемъ. Но думаемъ, что онъ самъ можетъ служить объясненіемъ для многихъ странныхъ явленій въ нашемъ литературномъ мірѣ, которыя безъ него остались бы непонятными. Между прочимъ это объясняетъ намъ и то, отъ чего могутъ у насъ выходить книги философскія, заключающія, такъ сказать, одно приложеніе опредѣленнаго образа мыслей, безъ вывода процесса его составленія. Мы забываемъ, что этотъ процессъ не можетъ предполагаться; что каждое особенное раціональное воззрѣніе на вопросы философскіе требуетъ особеннаго предварительнаго процесса логическаго, и что, наконецъ, при теперешнемъ

состояніи науки никакая правдоподобность, никакая удобопонятность, никакая отдѣльная разумность мнѣнія, не даютъ ему права на признаніе философа, если оно не выведено изъ законовъ логической необходимости, изъ саморазвитія одного основнаго начала.

Эта неопредѣленность основной точки зрѣнія, или, лучше сказать, это отсутствіе логическаго вывода перваго основанія, есть между прочимъ главный недостатокъ книги, о которой мы говоримъ, — недостатокъ, который впрочемъ можетъ быть почтенъ за достоинство ото всѣхъ тѣхъ читателей, которые принимаютъ философію по ея результатамъ. Кромѣ того, книга эта имѣетъ многія замѣчательныя качества: языкъ чистый, отчетливый, не лишенный иногда новыхъ счастливыхъ выраженій.—Но мысли, взятыя въ частности, представлены, какъ удобомыслимыя, а не какъ логически неизбѣжныя.

Мы особенно напираемъ на этотъ недостатокъ потому, что желали бы видѣть въ литературѣ нашей, преимущественно предъ всѣми другими философскими сочиненіями, именно это наукообразное развитіе самаго основанія раціональнаго умозрѣнія; ибо думаемъ, что въ обращеніи мысли къ своему основанію есть единственная возможность ея успѣха. Успѣхъ этотъ кажется намъ тѣмъ легче въ настоящее время, что состояніе современной науки мышленія давно уже приняло новый характеръ въ Германіи, между тѣмъ какъ мы продолжаемъ еще возиться съ тѣми же вопросами.

ЛУКА ДА МАРЬЯ, *народная повѣсть. Соч. Ѳ. Глинки.*

Особенность этой маленькой книжки, писанной для народа, заключается въ мастерскомъ языкѣ, которымъ она писана, въ нравственной цѣли, къ которой она стремится, и въ добромъ дѣлѣ, для котораго предназначена вырученная ея продажею сумма. Но, по нашему мнѣнію, средство, избранное авторомъ для совершенія этого добраго дѣла: написать книгу для народа,—есть уже само по себѣ не только дѣло доброе, но еще изъ самыхъ благодѣтельныхъ, какія только могутъ предста-

виться человѣку съ сострадательнымъ сердцемъ. Ибо народъ нашъ нуждается въ здоровой умственной пищѣ; за неимѣніемъ ея, при новой, безпрестанно болѣе распространяющейся грамотности, можетъ онъ обратиться къ самой вредной, самой пустой, самой невѣжественной литературѣ,—и, по несчастію, уже начинаетъ обращаться къ ней. Послѣдствія отъ такого искаженія народныхъ мнѣній могутъ быть самыя несчастныя, если сильно и скоро не поспѣшатъ предупредить это зло писатели съ дарованіемъ, любящіе отечество и его будущую судьбу, пишущіе не по заказу, но по внутренней необходимости, и знающіе народъ нашъ не по слухамъ, но изъ дѣйствительныхъ жизненныхъ отношеній.

Къ числу такихъ почтенныхъ писателей, безъ всякаго сомнѣнія, могъ бы принадлежать авторъ разбираемой нами брошюрки, если бы захотѣлъ посвятить себя этой прекрасной цѣли. Извѣстность въ другой сферѣ словесности давно имъ уже пріобрѣтена и упрочена. Новая дѣятельность для полуграмотнаго народа, конечно, не прибавитъ ничего къ его литературному имени, не доставитъ никакихъ возмездій житейскихъ, ни славы, ни почестей, ни выгодъ, ни, можетъ быть, даже видимыхъ знаковъ благодарности, отъ тѣхъ, для чьей пользы онъ будетъ работать. Но самая безвозмедность труда имѣетъ свою прелесть нѣкоторыхъ людей благородныхъ, которая составляетъ ихъ исключительную собственность и служитъ, можетъ быть, единственнымъ знакомъ ихъ отличія отъ другихъ.

Между тѣмъ, начавъ уже говорить мнѣніе наше объ этомъ важномъ предметѣ, по случаю новой книжки для народа, мы почитаемъ себя обязанными договорить его откровенно, и потому скажемъ въ дополненіе нашихъ словъ, что характеръ литературы народной, какъ намъ кажется, требуетъ еще другихъ важнѣйшихъ качествъ, кромѣ тѣхъ, какія мы замѣтили въ этой книжкѣ.

Дѣло чтенія для народа сопряжено съ нѣкоторымъ трудомъ. Нравственная мысль имъ уважается; но если она уже и прежде была извѣстна ему, то не составляетъ новой причины для чтенія. Простота несложнаго разсказа также не причина къ предпринятію этого труда. Наконецъ, народность

языка, столь трудно достигаемая литераторами, для самого народа есть дѣло обыкновенное и не поражаетъ его такъ, какъ насъ.

Тѣ не совсѣмъ правы, я думаю, которые смотрятъ на нашъ народъ, какъ на ребенка, еще ничего несмыслящаго и требующаго дѣтскихъ игрушекъ, поверхностныхъ наставленій, полушуточнаго языка и легкихъ размышленій о предметахъ самыхъ обыкновенныхъ.

Правда, народъ читаетъ иногда сказки; но не для того, чтобы учиться, а только для того, чтобы смѣяться, или занять свою фантазію чудными невозможностями. Но въ нешуточныхъ мысляхъ своихъ обращаетъ онъ интересъ ума уже не къ частнымъ элементарнымъ истинамъ, не къ азбучнымъ понятіямъ нравственности; но, что покажется, можетъ быть, невѣроятнымъ для многихъ, онъ прямо приступаетъ къ самымъ высшимъ, самымъ отвлеченнымъ вопросамъ любомудрія; ищетъ постигнуть ихъ внутреннюю связь и внѣшнія отношенія къ жизни, не ограничивая любопытства своего интересомъ корысти, или примѣняемостію мысли къ житейскимъ пользамъ.

Предметы, которые занимаютъ умъ народа и служатъ основаніемъ его мышленія, почерпаются имъ изъ самыхъ глубокихъ истинъ нашего вѣроученія. Онъ прежде всего ищетъ составить себѣ понятіе о Высшемъ Существѣ, о Его отношеніяхъ къ міру и человѣку, о началѣ добра и зла, о созданіи и устройствѣ вселенной, о нравственной законности человѣческихъ поступковъ, о правдѣ и грѣхѣ, о первоначальномъ законѣ человѣческихъ отношеній, семейныхъ и общественныхъ; о возможности внутренняго усовершенствованія человѣка, о характерѣ высшаго соединенія его съ Богомъ и т. д. Вотъ отъ чего житія Святыхъ, поученія Св. Отцевъ и Богослужебныя книги составляютъ, или, правильнѣе, составляли любимый предметъ его чтенія, украшеніе его вечернихъ разговоровъ, источникъ его духовныхъ пѣсенъ, обычную сферу его мышленія въ старости, утѣшенія его предсмертныхъ минутъ, когда весь смыслъ жизни сосредоточивается въ одно послѣднее сознаніе. Вотъ главное основаніе всей совокупности его развитыхъ и неразвитыхъ убѣжденій.

Но надобно признаться, что этотъ характеръ народнаго мышленія съ нѣкотораго времени началъ измѣняться. Причина тому, кажется, въ измѣненіи тѣхъ отношеній, какія существовали прежде между понятіями низшаго и высшихъ классовъ. Ибо прежде распространенія у насъ образованности Западной, основывающейся преимущественно на раціонализмѣ науки,— все просвѣщеніе Россіи, весь образъ мыслей всѣхъ классовъ общества, проистекалъ изъ одного общаго источника: изъ прямаго и непосредственнаго ученія нашей Церкви.

Монастыри наши, раскинутые частою сѣткою по всей землѣ Русской, наполненные выходцами изъ всѣхъ классовъ народа, находились въ такомъ отношеніи къ умственному просвѣщенію всей земли, въ какомъ находятся университеты Европейскіе къ народамъ Западнымъ: они составляли центръ и опредѣляли характеръ народнаго мышленія.

Въ тишинѣ уединенной кельи смиренный инокъ, отрекшійся отъ всѣхъ постороннихъ цѣлей, не развлекаясь волненіемъ надеждъ и страховъ, радостями и страданіями жизни, предавался вполнѣ изученію высшихъ духовныхъ истинъ, соединяя умозрѣніе съ молитвою, мысль съ вѣрою, дѣло самоусовершенствованія съ дѣломъ самопознанія, и стараясь такимъ образомъ не однимъ отвлеченнымъ понятіемъ, но всею полнотою своего бытія, утонуть въ постиженіи высшей премудрости, открывавшейся ему въ Божественномъ Писаніи и въ богомудромъ помышленіи Святыхъ Отцевъ. Вокругъ смиреннаго инока собирались мало по малу слушатели-ученики; вокругъ нихъ народъ изо всѣхъ классовъ общества. Умозрѣніе, которому предавались отшельники изъ міра, было вмѣстѣ и основаніемъ и вѣнцомъ всего мышленія въ мірѣ. Высшія сословія, находясь въ живомъ и близкомъ соприкосновеніи съ монастырями и основывая убѣжденія свои на тѣхъ же началахъ, развивали въ дѣлѣ жизненныхъ отношеній тѣ же понятія, которыя въ дѣлѣ чистаго умозрѣнія развивались въ уединенной кельѣ. Простой народъ, не имѣя ни довольно времени, ни довольно средствъ, чтобы самому образовывать свои понятія, принималъ ихъ по частямъ, отрывками, но всегда проникнутыми одинакимъ смысломъ, изъ монастырей и отъ высшаго класса.

Такимъ образомъ, понятія одного сословія были дополненіемъ другаго, и общая мысль держалась крѣпко и цѣло въ общей жизни народа, истекая постоянно изъ одного источника: Церкви.

Между тѣмъ, съ тѣхъ поръ какъ наука Запада сдѣлалась еще другимъ источникомъ нашего мышленія, понятія высшаго класса, проистекая изъ него, отдѣлились отъ понятій народныхъ, если не внутреннимъ разногласіемъ, то, по крайней мѣрѣ, недостаткомъ внѣшняго соглашенія. Монастырь пересталъ быть центральнымъ вмѣстилищемъ всѣхъ концовъ общества и живымъ средоточіемъ всѣхъ его умственныхъ движеній. Убѣжденія и понятія народныя, неподдерживаемыя прикосновеніемъ съ господствующей образованностію, получили ту ограниченность, которая многимъ изъ просвѣщенныхъ не позволяетъ постигнуть глубину ихъ перваго основанія. Но между тѣмъ эти убѣжденія, эти понятія простаго народа, разорванныя на части, но еще живыя и сохранившія внутреннюю силу свою, остаются до сихъ поръ еще единственнымъ содержаніемъ его умственныхъ размышленій, основою его сердечныхъ убѣжденій, связью его различныхъ членовъ, причиною его нравовъ и обычаевъ, и единственнымъ источникомъ его нравственной крѣпости. Этотъ характеръ внутренняго народнаго быта находитъ себѣ подпору въ слушаніи церковныхъ службъ, въ ослабѣвшихъ, но еще не совсѣмъ прерванныхъ сношеніяхъ съ оставшимися монастырями, и, наконецъ, въ нѣкоторыхъ духовныхъ книгахъ, доступныхъ грамотнымъ старикамъ.

Между тѣмъ, неизбѣжная необходимость времени требуетъ уже и отъ простаго народа принятія новой образованности. Грамотность гражданская становится почти всеобщею; но, дѣлая простолюдина способнѣе къ пріобрѣтенію новыхъ свѣденій, она, вмѣстѣ съ тѣмъ, удаляетъ его отъ занятій языкомъ Церковно-Славянскимъ, въ которомъ заключался единственный источникъ его внутреннихъ убѣжденій. Что же будетъ, если, почерпая свои понятія изъ новой литературы гражданской, онъ найдетъ въ ней однѣ книги легкаго чтенія, составленныя изъ денежныхъ выгодъ, забавляющія читателя странностью эффек-

товъ, старающіяся возбудить въ немъ страсти и понравиться ему разслабленіемъ нравственныхъ правилъ,—или книги чтенія тяжелаго, составленныя съ цѣлію учить народъ тому, что онъ знаетъ, не принаровленныя къ его уже готовымъ понятіямъ, объясняющія ему частные вопросы науки безъ отношенія къ его центральнымъ убѣжденіямъ, даже не предполагая ихъ существованія и принимая внѣшнюю необразованность за дѣтскую пустоту безсмыслія. Первыя книги разорятъ его внутреннюю жизнь; вторыя или не будутъ читаться, или не свяжутся съ его первороднымъ мышленіемъ, и, слѣдственно, останутся безполезными. Вообще чтеніе, вмѣсто цѣли назиданія, получитъ цѣлью удовольствіе.

Вотъ почему мы думаемъ, что писатель, способный противостать этому разрушенію народныхъ понятій, можетъ быть однимъ изъ самыхъ благодѣтельныхъ дѣятелей нашего времени.

И не надобно думать, чтобы новая образованность производила на народъ то же дѣйствіе, какое она обнаруживаетъ на высшіе классы. Здѣсь, бывъ общимъ дѣломъ цѣлаго сословія, она сообщаетъ ему извѣстныя понятія, извѣстныя правила, извѣстные обычаи, взаимно другъ друга подкрѣпляющіе и общіе всѣмъ и каждому. Частное лицо, предаваясь ей, не вырывается изъ своихъ семейныхъ, общественныхъ отношеній. Напротивъ того, въ тѣхъ сословіяхъ, которыя, пріобрѣтая образованность Западную, должны вмѣстѣ съ тѣмъ измѣнить свой прежній образъ жизни и мысли, частное лицо, предавшееся новому вліянію, необходимо приходитъ въ разногласіе со всѣмъ кругомъ его прежнихъ отношеній. Эта отдѣленность одного лица отъ мнѣній и правилъ его общества открываетъ его умъ и душу всѣмъ приманкамъ личной прихоти.

Иные находятъ въ себѣ довольно внутренней силы, чтобы и въ одиночествѣ убѣжденій противостоять напору страстей и корыстныхъ видовъ. Но другіе, не подкрѣпленные уваженіемъ къ общему мнѣнію своего круга, падаютъ нравственно и и умственно, бывъ жертвою своей отдѣленности. Ибо въ дѣлѣ нравственной крѣпости и жизненнаго благоразумія, по большей части, одинъ человѣкъ стоитъ, опираясь на другаго.

Вотъ отъ чего многими замѣчено, что изъ семьи, держав-

шейся правилъ старины, первое лицо, перемѣняющее свое Русское платье и обычаи на такъ называемые Нѣмецкіе, обыкновенно увлекается прелестію самыхъ мѣлочныхъ выгодъ новаго просвѣщенія, предается самымъ безумнымъ страстямъ, проживаетъ легкомысленно имѣніе отца, собранное долголѣтними трудами и глубокими разсчетами, и часто даже, вмѣстѣ съ имѣніемъ, роняетъ имя, украшавшееся общимъ уваженіемъ. Только при второмъ и третьемъ поколѣніи новообразовавшейся семьи возстанавливается то равновѣсіе между лицомъ и обществомъ, которое служитъ самою вѣрною опорой нравственности обоихъ.

Впрочемъ, кромѣ замѣченнаго разногласія между частнымъ лицомъ съ его кругомъ, вредное дѣйствіе новой образованности происходитъ еще и отъ того, что обыкновенно человѣкъ предается ей не вслѣдствіе развитія своихъ внутреннихъ убѣжденій, но вслѣдствіе внѣшней необходимости, или внѣшнихъ выгодъ, или только удовольствій жизни. Напротивъ, внутреннее убѣжденіе въ немъ обыкновенно противится такой наружной перемѣнѣ; но онъ жертвуетъ убѣжденіемъ для выгодъ жизни. Иногда на развалинахъ человѣка выростаетъ ученый; но обыкновенно плоды такого поступка не могутъ не соотвѣтствовать сѣмени.

Что же касается до причины разногласія новой образованности съ нашею прежнею, то она заключается не въ томъ, чтобы онѣ въ самомъ дѣлѣ обѣ были непримиримы въ началахъ своихъ; но въ томъ, что до сихъ поръ еще характеръ образованности Европейской есть чисто раціональный, основанный не на признаніи высшей истины, но на совокупности личныхъ мнѣній, на перевѣсѣ логики надъ всѣми другими источниками познаванія,—между тѣмъ какъ въ характерѣ нашей образованности логическое развитіе составляетъ только одну зависимую часть умственнаго убѣжденія. Эта особенность современной образованности Запада была причиною, почему въ различныхъ странахъ Европы распространеніе наукъ производило различныя дѣйствія: въ земляхъ протестантскихъ, распространяясь въ народѣ, просвѣщеніе еще болѣе проницало его единствомъ одного основнаго начала;

въ земляхъ католическихъ, напротивъ того, оно было обыкновенно причиною раздвоенія и неустройства.

Отношенія нашего православнаго ученія къ развитію внѣшней науки столько же отличны отъ Римскосхоластической нетерпимости, сколько и отъ противоположнаго ему подчиненія вѣры подъ господство личнаго разума. Наша Церковь никогда не выставляла никакой системы человѣческой, никакого ученаго богословія, за основаніе своей истины, и потому не запрещала свободное развитіе мысли въ другихъ системахъ, не преслѣдовала ихъ, какъ опасныхъ враговъ, могущихъ поколебать ея основу. Не признавая, напримѣръ, ни одной системы астрономіи за безусловно истинную, за исключительно свою, она не имѣла нужды преслѣдовать Галилея за то, что земля обращается вокругъ солнца, не называла еретиками тѣхъ, кто признавалъ или не признавалъ Аристотеля.

Съ другой стороны, Церковь наша никогда не подвергала верховныхъ истинъ суду и власти личныхъ мнѣній, и потому никогда не измѣняла своего ученія.

Изъ этого очевидно, что и отношеніе нашей родной образованности къ просвѣщенію Западному должно быть совершенно особенное. Но прежде чѣмъ отношеніе это придетъ въ правильное устройство, прежде чѣмъ науки Запада переработаются въ нашемъ смыслѣ,—что можетъ сдѣлать писатель для народа?—Передавать ему частныя открытія наукъ? Но этого недостаточно, чтобы установить его внутренній образъ мыслей и оградить его отъ разрушительныхъ вліяній. Увѣщевать? Но для этого нужно прежде убѣдить. Что же остается ему дѣлать?

Мы думаемъ, что дѣятельность его только тогда принесетъ настоящіе плоды, когда высшимъ развитіемъ просвѣщенія сама наука станетъ въ гармонію съ нашею жизнію.

Но для этого недостаточно силъ одного писателя. Для этого нужно общее содѣйствіе всѣхъ людей мыслящихъ и неравнодушныхъ къ внутреннему достоинству человѣка вообще и къ благосостоянію своего отечества въ особенности.

Впрочемъ, если и безъ видимаго плода погибнетъ благонамѣренная дѣятельность частнаго человѣка, то можетъ ли

совершенно безъ плода погибнуть дѣло, оживленное искреннею мыслію блага? Одинъ не можетъ ничего; но если не будетъ одного, какъ будетъ два?

О романѣ О. П. Шишкиной: *Прокопій Ляпуновъ.*

Мы спѣшимъ, съ позволенія почтенной сочинительницы, раздѣлить съ читателями нашими то удовольствіе, которое доставило намъ чтеніе первыхъ главъ изъ новаго ея романа. Великое время, которое онъ возбуждаетъ въ воспоминаніи, живость разсказа, прекрасный слогъ, талантъ автора, ея любовь къ отечеству, ея добросовѣстное желаніе понять и представить въ настоящемъ видѣ событія нашей прошедшей жизни,—все это даетъ большое достоинство ея произведеніямъ и позволяетъ намъ обѣщать читателямъ еще болѣе интереса отъ этого новаго сочиненія, ибо предметъ повѣствованія становится здѣсь еще живѣе и многозначительнѣе, чѣмъ въ первомъ ея романѣ, которому этотъ служитъ продолженіемъ.

Но то уваженіе, которое мы имѣемъ къ литературнымъ заслугамъ сочинительницы, налагаетъ на насъ обязанность, не ограничиваясь общими похвалами, сказать откровенно мнѣніе наше объ этомъ родѣ словесности у насъ и объ его отношеніи къ ея таланту.

Историческій романъ явился на свѣтъ не потому только, что Вальтеръ Скоттъ понялъ въ немъ возможность новаго рода литературныхъ произведеній. Онъ былъ слѣдствіемъ господствующаго тогда стремленія Европы: оживить въ умахъ, воскресить въ воображеніи старый бытъ, уничтоженный новымъ и снова возвращенный возстановленіемъ прежняго порядка вещей, разрушеннаго революціей и Наполеономъ. Англія, живущая неразрывнымъ развитіемъ преданія, Англія, самый ожесточенный, неумолимый, задушевный врагъ Наполеона, была естественно впереди этого стремленія къ возстановленію стараго, прошедшаго; но и въ Англіи самой болѣе всего сочувствовало съ этимъ направленіемъ то сословіе, котораго вся сила и вся значительность заключается въ сохраненіи стараго, передъ напоромъ новизны. Вотъ отъ чего родоначальникъ историческихъ рома-

новъ могъ явиться только въ Англіи, среди ея аристократіи, въ минуту всеобщаго движенія къ прежнему порядку вещей. Вотъ отъ чего романы его, какъ новое поэтическое и вмѣстѣ ученовѣрное выраженіе этого направленія, имѣли успѣхъ невѣроятный. И послѣдователи Вальтеръ Скотта, изъ которыхъ, впрочемъ, ни одинъ не сравнялся съ нимъ въ исторической вѣрности красокъ и литературномъ достоинствѣ изложенія,—отъ того даже самые бездарные его послѣдователи, не остались безъ читателей, покуда продолжалось это общее направленіе. Историческій романъ сталъ въ одинъ разрядъ съ мебелью рококо, съ поддѣлкою подъ прежнія фижмы, съ гербами на ливреяхъ возвратившихся эмигрантовъ, т. е., сдѣлался дѣломъ моды, всегда основанной на какой нибудь сокрытой, хотя часто изуродованной мысли.

Но отъ чего мы Русскіе, у которыхъ послѣ Наполеона ничего не возстановлялось, кромѣ стѣнъ Москвы, ничто не обращалось изъ новаго въ старое, отъ чего мы такъ увлеклись этою модою? Это можетъ объясниться только тѣмъ, что литературная жизнь наша питается сочувствіемъ не съ нашею жизнію, а съ иноземными гостиными.

Замѣтимъ однако, что этотъ родъ словесности самъ по себѣ, независимо отъ моды, имѣетъ великіе недостатки. Главный изъ нихъ тотъ, что достоинство его зависитъ не столько отъ литературнаго таланта, сколько отъ глубокаго изученія исторіи и отъ вѣрности мѣстныхъ красокъ. Ибо при малѣйшей невѣрности онъ падаетъ ниже всякаго фантастическаго вымысла, который и въ невозможномъ имѣетъ свою внутреннюю правду; между тѣмъ какъ правда романа историческаго только внѣшняя, относительная къ исторіи, оскорбляя которую, онъ оскорбляетъ и умъ, и память, и чувство читателя, и лишается въ глазахъ его всякой цѣны. Успѣхъ дурныхъ романовъ ничего не доказываетъ; онъ свидѣтельствуетъ только, что большинство читателей въ знаніи исторіи было еще ниже сочинителя, и больше ничего.

Въ наше время, когда изданіемъ столькихъ драгоцѣнныхъ и неизвѣстныхъ прежде памятниковъ старины распространился

новый свѣтъ на нашу прошедшую жизнь, и возбудилось къ ней общее вниманіе, общая любовь мыслящихъ людей: историческій романъ могъ бы имѣть новый существенный смыслъ; но за то требуетъ и новыхъ труднѣйшихъ условій.

Кромѣ того, что мы теперь, познакомившись болѣе съ предметомъ, сдѣлались взыскательнѣе въ вѣрности его изображенія; кромѣ того, что эта взыскательность требуетъ отъ автора болѣе глубокаго изученія не только составленныхъ исторій, но и самыхъ памятниковъ нашей древности; кромѣ того, что такое глубокое изученіе уже не можетъ совершиться между дѣломъ, но должно быть предметомъ постоянной, пожизненной, трудной работы и сухихъ, неусыпныхъ розысканій; кромѣ того, что это такими усиліями доставшееся изученіе предмета должно быть одушевлено вѣрностью взгляда и искусствомъ живаго представленія; кромѣ всего этого, надобно прибавить еще и то, что самое это изученіе всѣхъ подробностей исторіи необходимо должно ограничить право изобрѣтенія и вымысла, и что тѣ вольности фантазіи, которыя могли быть даже достоинствомъ романа при полузнаніи предмета, становятся, при болѣе короткомъ съ нимъ знакомствѣ, уже не достоинствами, но недостатками, оскорбляющими внутреннее чувство читателя.

Отъ того мы думаемъ, что если историческій романъ у насъ долженъ явиться въ новомъ видѣ, то для этого, вѣроятно, долженъ родиться особый геній, и что до тѣхъ поръ всѣ произведенія этого рода непремѣнно будутъ ниже того, что авторъ ихъ могъ бы создать во всякой другой литературной сферѣ.

Основываясь на этихъ соображеніяхъ, мы думаемъ, что почтенная сочинительница прилагаемаго отрывка, обладающая столь замѣчательнымъ талантомъ, не почтетъ насъ за безвкусныхъ варваровъ, не умѣющихъ цѣнить ея блестящихъ литературныхъ достоинствъ, если мы прибавимъ къ сказанному, что удовольствіе, которое доставило намъ чтеніе этого отрывка, исполненнаго многихъ красотъ, было испытано нами не безъ примѣси нѣкотораго сожалѣнія къ избранному ею предмету, который самъ по себѣ составляетъ самую яркую, самую

глубокую, самую многозначительную и самую великую минуту во всей прошедшей жизни нашей. Здѣсь малѣйшая невѣрность является уже тяжелымъ диссонансомъ, малѣйшее приложеніе къ правдѣ измѣняетъ ея смыслъ, какъ прибавленіе всякаго новаго украшенія къ изображенію древней надписи, еще не до конца разгаданной, портитъ, не украшая.

—

О ХАРАКТЕРѢ ПРОСВѢЩЕНІЯ ЕВРОПЫ

И О ЕГО ОТНОШЕНІИ

КЪ ПРОСВѢЩЕНІЮ РОССІИ.

(Письмо къ гр. Е. Е. Комаровскому.)

Въ послѣднее свиданіе наше, мы много бесѣдовали съ вами о характерѣ просвѣщенія Европейскаго и объ его отличіяхъ отъ характера того просвѣщенія Россіи, которое принадлежало ей въ древнія времена, и котораго слѣды, до сихъ поръ еще, не только замѣчаются въ нравахъ, обычаяхъ и образѣ мыслей простаго народа, но проникаютъ, такъ сказать, всю душу, весь складъ ума, весь, если можно такъ выразиться, внутренній составъ Русскаго человѣка, не переработаннаго еще Западнымъ воспитаніемъ. Вы требовали отъ меня, чтобы я изложилъ мои мысли объ этомъ предметѣ на бумагѣ. Но тогда я не могъ исполнить вашего желанія. Теперь же, когда я долженъ писать о томъ же предметѣ статью для Московскаго Сборника, я прошу позволенія дать этой статьѣ форму письма къ вамъ: мысль, что я разговариваю съ вами, согрѣетъ и оживитъ мои кабинетныя размышленія.

Конечно, мало вопросовъ, которые въ настоящее время были бы важнѣе этого вопроса—объ отношеніи Русскаго просвѣщенія къ Западному. Отъ того, какъ онъ разрѣшается въ умахъ нашихъ, зависитъ не только господствующее направленіе нашей литературы, но, можетъ быть, и направленіе всей нашей умственной дѣятельности, и смыслъ нашей частной жизни, и характеръ общежительныхъ отношеній. Однакоже, еще не очень давно то время, когда этотъ вопросъ былъ почти невозможенъ, или, что все равно, разрѣшался такъ легко, что не стоило

труда его предлагать. Общее мнѣніе было таково, что различіе между просвѣщеніемъ Европы и Россіи существуетъ только въ степени, а не въ характерѣ, и еще менѣе въ духѣ или основныхъ началахъ образованности.—У насъ (говорили тогда) было прежде только варварство: образованность наша начинается съ той минуты, какъ мы начали подражать Европѣ, безконечно опередившей насъ въ умственномъ развитіи. Тамъ науки процвѣтали, когда у насъ ихъ еще не было; тамъ онѣ созрѣли, когда у насъ только начинаютъ распускаться. Отъ того тамъ учители, мы ученики; впрочемъ,—прибавляли обыкновенно съ самодовольствомъ,—ученики довольно смышленые, которые такъ быстро перенимаютъ, что скоро, вѣроятно, обгонятъ своихъ учителей.

«Кто бы могъ подумать, братцы, — говорилъ Петръ въ 1714 году, въ Ригѣ, осушая стаканъ на новоспущенномъ кораблѣ,—кто бы могъ думать тому 30 лѣтъ, что вы, Русскіе, будете со мною здѣсь, на Балтійскомъ морѣ строить корабли и пировать въ Нѣмецкихъ платьяхъ?—Историки,—прибавилъ онъ,—полагаютъ древнее сѣдалище наукъ въ Греціи; оттуда перешли онѣ въ Италію и распространились по всѣмъ землямъ Европы. Но невѣжество (*) нашихъ предковъ помѣшало имъ проникнуть далѣе Польши, хотя и Поляки находились прежде въ такомъ же мракѣ, въ какомъ сперва были и всѣ Нѣмцы и въ какомъ мы живемъ до сихъ поръ, и только благодаря безконечнымъ усиліямъ своихъ правителей, могли они, наконецъ, открыть глаза и усвоить себѣ Европейское знаніе, искусства и образъ жизни. Это движеніе наукъ на землѣ сравниваю я съ обращеніемъ крови въ человѣкѣ: и мнѣ сдается, что онѣ опять когда нибудь покинутъ свое мѣстопребываніе въ Англіи, Франціи и Германіи, и перейдутъ къ намъ на нѣсколько столѣтій, чтобы потомъ снова возвратиться на свою родину, въ Грецію.»

Эти слова объясняютъ увлеченіе, съ которымъ дѣйствовалъ Петръ, и во многомъ оправдываютъ его крайности. Любовь къ просвѣщенію была его страстью. Въ немъ одномъ видѣлъ онъ спасеніе для Россіи; а источникъ его видѣлъ въ одной Европѣ.

(*) Петръ употребилъ слово: die Unart.

Но его убѣжденіе пережило его цѣлымъ столѣтіемъ въ образованномъ, или, правильнѣе, въ переобразованномъ имъ классѣ его народа; и тому 30 лѣтъ едва ли можно было встрѣтить мыслящаго человѣка, который бы постигалъ возможность другаго просвѣщенія, кромѣ заимствованнаго отъ Западной Европы.

Между тѣмъ, съ тѣхъ поръ въ просвѣщеніи Западно-Европейскомъ и въ просвѣщеніи Европейско-Русскомъ произошла перемѣна.

Европейское просвѣщеніе, во второй половинѣ 19-го вѣка, достигло той полноты развитія, гдѣ его особенное значеніе выразилось съ очевидною ясностію для умовъ, хотя нѣсколько наблюдательныхъ. Но результатъ этой полноты развитія, этой ясности итоговъ, былъ почти всеобщее чувство недовольства и обманутой надежды. Не потому Западное просвѣщеніе оказалось неудовлетворительнымъ, чтобы науки на Западѣ утратили свою жизненность; напротивъ, онѣ процвѣтали, по видимому, еще болѣе, чѣмъ когда нибудь; не потому, чтобы та или другая форма внѣшней жизни тяготѣла надъ отношеніями людей или препятствовала развитію ихъ господствующаго направленія; напротивъ, борьба съ внѣшнимъ препятствіемъ могла бы только укрѣпить пристрастіе къ любимому направленію, и никогда, кажется, внѣшняя жизнь не устроивалась послушнѣе и согласнѣе съ ихъ умственными требованіями. Но чувство недовольства и безотрадной пустоты легло на сердце людей, которыхъ мысль не ограничивалась тѣснымъ кругомъ минутныхъ интересовъ, именно потому, что самое торжество ума Европейскаго обнаружило односторонность его коренныхъ стремленій; потому что, при всемъ богатствѣ, при всей, можно сказать, громадности частныхъ открытій и успѣховъ въ наукахъ, общій выводъ изъ всей совокупности знанія представилъ только отрицательное значеніе для внутренняго сознанія человѣка; потому что, при всемъ блескѣ, при всѣхъ удобствахъ наружныхъ усовершенствованій жизни, самая жизнь лишена была своего существеннаго смысла: ибо, не проникнутая никакимъ общимъ, сильнымъ убѣжденіемъ, она не могла быть ни украшена высокою надеждою, ни согрѣта глубокимъ сочувствіемъ. Многовѣковой

холодный анализъ разрушилъ всѣ тѣ основы, на которыхъ стояло Европейское просвѣщеніе отъ самаго начала своего развитія; такъ, что собственныя его коренныя начала, изъ которыхъ оно выросло, сдѣлались для него посторонними, чужими, противорѣчащими его послѣднимъ результатамъ; между тѣмъ какъ прямою собственностію его оказался этотъ самый разрушившій его корни анализъ, этотъ самодвижущійся ножъ разума, этотъ отвлеченный силлогизмъ, не признающій ничего, кромѣ себя и личнаго опыта, этотъ самовластный разсудокъ, или, какъ вѣрнѣе назвать эту логическую дѣятельность, отрѣшенную отъ всѣхъ другихъ познавательныхъ силъ человѣка, кромѣ самыхъ грубыхъ, самыхъ первыхъ чувственныхъ данныхъ, и на нихъ однихъ созидающую свои воздушныя, діалектическія построенія.

Впрочемъ, надобно вспомнить, что чувство недовольства и безнадежности не вдругъ обнаружилось въ Западномъ человѣкѣ при первомъ явномъ торжествѣ его разрушительной разсудочности. Опрокинувъ свои вѣковыя убѣжденія, онъ тѣмъ болѣе надѣялся на всемогущество своего отвлеченнаго разума, чѣмъ огромнѣе, чѣмъ крѣпче, чѣмъ объемлющѣе были эти убѣжденія, имъ разрушенныя. Въ первую минуту успѣха, его радость не только не была смѣшана съ сожалѣніемъ, но, напротивъ, упоеніе его самонадѣянности доходило до какой-то поэтической восторженности. Онъ вѣрилъ, что собственнымъ отвлеченнымъ умомъ можетъ сейчасъ же создать себѣ новую разумную жизнь и устроить небесное блаженство на переобразованной имъ землѣ. Страшные, кровавые опыты не пугали его; огромныя неудачи не охлаждали его надежды; частныя страданія налагали только вѣнецъ мученичества на его ослѣпленную голову; можетъ быть, цѣлая вѣчность неудачныхъ попытокъ могла бы только утомить, но не могла бы разочаровать его самоувѣренности, еслибы тотъ же самый отвлеченный разумъ, на который онъ надѣялся, силою собственнаго развитія, не дошелъ до сознанія своей ограниченной односторонности.

Этотъ послѣдній результатъ Европейской образованности, правда еще далеко не сдѣлавшійся всеобщимъ, но, очевидно, начинающій уже господствовать въ передовыхъ мыслителяхъ

Запада, принадлежитъ новѣйшей и, вѣроятно, уже окончательной эпохѣ отвлеченно-философскаго мышленія. Но мнѣнія философскія недолго остаются достояніемъ ученыхъ каѳедръ. Что́ нынче выводъ кабинетнаго мышленія, то́ завтра будетъ убѣжденіемъ массъ; ибо для человѣка, оторваннаго отъ всѣхъ другихъ вѣрованій, кромѣ вѣры въ раціональную науку, и не признающаго другаго источника истины, кромѣ выводовъ собственнаго разума, судьба философіи дѣлается судьбою всей умственной жизни. Въ ней не только сходятся всѣ науки и всѣ житейскія отношенія, и связываются въ одинъ узелъ общаго сознанія; но изъ этого узла, изъ этого общаго сознанія, снова исходятъ правительственныя нити во всѣ науки и во всѣ житейскія отношенія, даютъ имъ смыслъ и связь, и образовываютъ ихъ по своему направленію. Отъ того нерѣдко видѣли мы, какъ въ какомъ нибудь уголкѣ Европы созрѣваетъ едва замѣченная мысль въ головѣ какого нибудь труженика науки, котораго и лицо едва замѣтно толпѣ, его окружающей, и черезъ двадцать лѣтъ, эта незамѣтная мысль этого незамѣтнаго лица управляетъ умами и волею этой же самой толпы, являясь передъ ней въ какомъ нибудь яркомъ историческомъ событіи. Не потому, чтобы въ самомъ дѣлѣ какой нибудь кабинетный мыслитель изъ своего дымнаго угла могъ по своему произволу управлять исторіей; но потому, что исторія, проходя черезъ его систему, развивается до своего самосознанія. Онъ только замѣчаетъ и сводитъ въ одинъ общій итогъ совокупность господствующихъ результатовъ, и всякій произволъ въ движеніи его мысли отнимаетъ у нея всю силу надъ дѣйствительностію; ибо только та система дѣлается господствующею, которая сама есть необходимый выводъ изъ господствовавшихъ до нея убѣжденій. Такъ въ организмѣ народовъ, основывающихъ свои убѣжденія единственно на своихъ личныхъ разумѣніяхъ, голова философа является какъ необходимый естественный органъ, черезъ который проходитъ все кругообращеніе жизненныхъ силъ, отъ внѣшнихъ событій возвышаясь до внутренняго сознанія и отъ внутренняго сознанія снова возвращаясь въ сферу очевидной исторической дѣятельности. Посему можно сказать, что не мыслители Западные убѣдились въ односторонности

логическаго разума, но самъ логическій разумъ Европы, достигнувъ высшей степени своего развитія, дошелъ до сознанія своей ограниченности и, уяснивъ себѣ законы собственной дѣятельности, убѣдился, что весь объемъ его самодвижной силы не простирается далѣе отрицательной стороны человѣческаго знанія; что его умозрительное сцѣпливаніе выводныхъ понятій требуетъ основаній, почерпнутыхъ изъ другихъ источниковъ познаванія; что высшія истины ума, его живыя зрѣнія, его существенныя убѣжденія, всѣ лежатъ внѣ отвлеченнаго круга его діалектическаго процесса, и хотя не противорѣчатъ его законамъ, однакоже и не выводятся изъ нихъ, и даже не досягаются его дѣятельностію, когда она оторвана отъ своей исконной совокупности съ общею дѣятельностію другихъ силъ человѣческаго духа.

Такъ Западный человѣкъ, исключительнымъ развитіемъ своего отвлеченнаго разума утративъ вѣру во всѣ убѣжденія, не изъ одного отвлеченнаго разума исходящія, вслѣдствіе развитія этого разума потерялъ и послѣднюю вѣру свою въ его всемогущество. Такимъ образомъ былъ онъ принужденъ, или довольствоваться состояніемъ полускотскаго равнодушія ко всему, что выше чувственныхъ интересовъ и торговыхъ разсчетовъ (такъ сдѣлали многіе; но многіе не могли, ибо еще сохранившимися остатками прежней жизни Европы были развиты иначе), или долженъ былъ опять возвратиться къ тѣмъ отвергнутымъ убѣжденіямъ, которыя одушевляли Западъ прежде конечнаго развитія отвлеченнаго разума:—такъ сдѣлали нѣкоторые; но другіе не могли потому, что убѣжденія эти, какъ они образовались въ историческомъ развитіи Западной Европы, были уже проникнуты разлагающимъ дѣйствіемъ отвлеченнаго разума, и потому изъ первобытной сферы своей, изъ самостоятельной полноты и независимости, перешли на степень разумной системы, и отъ того являлись сознанію человѣка Западнаго какъ односторонность разума, вмѣсто того, чтобы быть его высшимъ, живительнымъ началомъ.

Что же оставалось дѣлать для мыслящей Европы? Возвратиться еще далѣе назадъ, къ той первоначальной чистотѣ этихъ основныхъ убѣжденій, въ какой они находились прежде влія-

нія на нихъ Западно-Европейской разсудочности? Возвратиться къ этимъ началамъ, какъ они были прежде самаго начала Западнаго развитія? Это было бы дѣломъ почти невозможнымъ для умовъ, окруженныхъ и проникнутыхъ всѣми обольщеніями и предразсудками Западной образованности. Вотъ, можетъ быть, почему большая часть мыслителей Европейскихъ, не въ силахъ будучи вынести ни жизни тѣсно эгоистической, ограниченной чувственными цѣлями и личными соображеніями, ни жизни односторонно умственной, прямо противорѣчащей полнотѣ ихъ умственнаго сознанія, чтобы не оставаться совсѣмъ безъ убѣжденій и не предаться убѣжденіямъ завѣдомо неистиннымъ,—обратились къ тому избѣгу, что каждый началъ въ своей головѣ изобрѣтать для всего міра новыя общія начала жизни и истины, отыскивая ихъ въ личной игрѣ своихъ мечтательныхъ соображеній, мѣшая новое съ старымъ, невозможное съ возможнымъ, отдаваясь безусловно самымъ неограниченнымъ надеждамъ, и каждый противорѣча другому и каждый требуя общаго признанія другихъ. Всѣ сдѣлались Колумбами, всѣ пустились открывать новыя Америки внутри своего ума, отыскивать другое полушаріе земли по безграничному морю невозможныхъ надеждъ, личныхъ предположеній и строго силлогистическихъ выводовъ.

Такое состояніе умовъ въ Европѣ имѣло на Россію дѣйствіе противное тому, какое оно въ послѣдствіи произвело на Западъ. Только немногіе, можетъ быть, и то развѣ на минуту, могли увлечься наружнымъ блескомъ этихъ безразсудныхъ системъ, обмануться искусственнымъ благообразіемъ ихъ гнилой красоты; но большая часть людей, слѣдившихъ за явленіями Западной мысли, убѣдившись въ неудовлетворительности Европейской образованности, обратили вниманіе свое на тѣ особенныя начала просвѣщенія, неоцѣненныя Европейскимъ умомъ, которыми прежде жила Россія и которыя теперь еще замѣчаются въ ней помимо Европейскаго вліянія.

Тогда начались живыя историческія розысканія, сличенія, изданія. Особенно благодѣтельны были въ этомъ случаѣ дѣйствія нашего правительства, открывшаго въ глуши монастырей, въ пыли забытыхъ архивовъ, и издавшаго въ свѣтъ столько

драгоцѣнныхъ памятниковъ старины. Тогда Русскіе ученые, можетъ быть въ первый разъ послѣ полутораста лѣтъ, обратили безпристрастный, испытующій взоръ внутрь себя и своего отечества, и, изучая въ немъ новые для нихъ элементы умственной жизни, поражены были страннымъ явленіемъ: они съ изумленіемъ увидѣли, что почти во всемъ, что касается до Россіи, ея исторіи, ея народа, ея вѣры, ея коренныхъ основъ просвѣщенія, и явныхъ, еще теплыхъ слѣдовъ этого просвѣщенія на прежней Русской жизни, на характерѣ и умѣ народа, — почти во всемъ, говорю я,—они были до сихъ поръ обмануты; не потому, чтобы кто нибудь съ намѣреніемъ хотѣлъ обмануть ихъ, но потому, что безусловное пристрастіе къ Западной образованности и безотчетное предубѣжденіе противъ Русскаго варварства, заслоняли отъ нихъ разумѣніе Россіи. Можетъ быть, и они сами прежде, подъ вліяніемъ тѣхъ же предразсудковъ, содѣйствовали къ распространенію того же ослѣпленія. Но обаяніе было такъ велико, что скрывало отъ нихъ самые явные предметы, стоявшіе, такъ сказать, предъ ихъ глазами; за то и пробужденіе совершается такъ быстро, что удивляетъ своею неожиданностію. Ежедневно видимъ мы людей, раздѣлявшихъ Западное направленіе, и нерѣдко между ними людей, принадлежащихъ къ числу самыхъ просвѣщенныхъ умовъ и самыхъ твердыхъ характеровъ, которые совершенно перемѣняютъ свой образъ мыслей единственно отъ того, что безпристрастно и глубоко обращаютъ свое вниманіе внутрь себя и своего отечества, изучая въ немъ—тѣ основныя начала, изъ которыхъ сложилась особенность Русскаго быта; въ себѣ—открывая тѣ существенныя стороны духа, которыя не находили себѣ ни мѣста, ни пищи, въ Западномъ развитіи ума.

Впрочемъ, понять и выразить эти основныя начала, изъ которыхъ сложилась особенность Русскаго быта, не такъ легко, какъ, можетъ быть, думаютъ нѣкоторые. Ибо коренныя начала просвѣщенія Россіи не раскрылись въ ея жизни до той очевидности, до какой развились начала Западнаго просвѣщенія въ его исторіи. Чтобы ихъ найти, надобно искать; они не бросаются сами въ глаза, какъ бросается образованность Европей-

ская. Европа высказалась вполнѣ. Въ девятьнадцатомъ вѣкѣ она, можно сказать, докончила кругъ своего развитія, начавшійся въ девятомъ. Россія, хотя въ первые вѣка своей исторической жизни, была образована не менѣе Запада, однакоже, вслѣдствіе посторонних и, повидимому, случайныхъ препятствій, была постоянно останавливаема на пути своего просвѣщенія, такъ, что для настоящаго времени могла она сберечь не полное и досказанное его выраженіе, но только одни, такъ сказать, намеки на его истинный смыслъ, одни его первыя начала и ихъ первые слѣды на умѣ и жизни Русскаго человѣка.

Въ чемъ же заключаются эти начала просвѣщенія Русскаго? Что представляютъ они особеннаго отъ тѣхъ началъ, изъ которыхъ развилось просвѣщеніе Западное? и возможно ли ихъ дальнѣйшее развитіе? и если возможно, то что обѣщаютъ они для умственной жизни Россіи? что могутъ принести для умственной жизни Европы?—Ибо, послѣ совершившагося сопроникновенія Россіи и Европы, уже невозможно предполагать ни развитія умственной жизни въ Россіи безъ отношенія къ Европѣ, ни развитія умственной жизни въ Европѣ безъ отношенія къ Россіи.

Начала просвѣщенія Русскаго совершенно отличны отъ тѣхъ элементовъ, изъ которыхъ составилось просвѣщеніе народовъ Европейскихъ. Конечно, каждый изъ народовъ Европы имѣетъ въ характерѣ своей образованности нѣчто особое; но эти частныя, племенныя и государственныя или историческія особенности не мѣшаютъ имъ всѣмъ составлять вмѣстѣ то духовное единство, куда каждая особая часть входитъ какъ живой членъ въ одно личное тѣло. Отъ того, посреди всѣхъ историческихъ случайностей, они развивались всегда въ тѣсномъ и сочувственномъ соотношеніи. Россія, отдѣлившись духомъ отъ Европы, жила и жизнію отдѣльною отъ нея. Англичанинъ, Французъ, Итальянецъ, Нѣмецъ, никогда не переставалъ быть Европейцемъ, всегда сохраняя притомъ свою національную особенность. Русскому человѣку, напротивъ того, надобно было почти уничтожить свою народную личность, чтобы сродниться съ образованностью Западною; ибо и наружный видъ, и внутренній складъ ума, взаимно другъ друга объясняющіе и

поддерживающіе, были въ немъ слѣдствіемъ совсѣмъ другой жизни, проистекающей совсѣмъ изъ другихъ источниковъ.

Кромѣ разностей племенныхъ, еще три историческія особенности дали отличительный характеръ всему развитію просвѣщенія на Западѣ: особая форма, черезъ которую проникало въ него Христіанство, особый видъ, въ которомъ перешла къ нему образованность древнеклассическаго міра, и наконецъ, особые элементы, изъ которыхъ сложилась въ немъ государственность.

Христіанство было душою умственной жизни народовъ на Западѣ, также какъ и въ Россіи. Но въ Западную Европу проникало оно единственно черезъ Церковь Римскую.

Конечно, каждый патріархатъ, каждое племя, каждая страна въ Христіанскомъ мірѣ, не переставали сохранять свою личную особенность, участвуя притомъ въ общемъ единствѣ всей Церкви. Каждый народъ, вслѣдствіе мѣстныхъ, племенныхъ или историческихъ случайностей развившій въ себѣ преимущественно одну какую нибудь сторону умственной дѣятельности, естественно долженъ былъ и въ духовной жизни своей, и въ писаніяхъ своихъ богослововъ, удерживать тотъ же свой особенный характеръ, свою, такъ сказать, природную физіономію, только просвѣтленную высшимъ сознаніемъ. Такъ богословскіе писатели Сирійскихъ странъ обращали, кажется, преимущественное вниманіе на внутреннюю, созерцательную жизнь человѣка, отрѣшеннаго отъ міра. Римскіе богословы занимались особенно стороною практической дѣятельности и логической связи понятій. Духовные писатели просвѣщенной Византіи болѣе другихъ, кажется, имѣли въ виду отношеніе Христіанства къ частнымъ наукамъ, вокругъ него процвѣтавшимъ, и сперва враждовавшимъ съ нимъ, а потомъ покорившимся ему. Богословы Александрійскіе, находясь въ двоякой борьбѣ: съ язычествомъ и Іудействомъ, окруженные философскими, теозофскими и гностическими школами, попреимуществу обращали вниманіе на умозрительную сторону Христіанскаго ученія. Различные пути вели къ одной общей цѣли, покуда стремящіеся по нимъ не уклонялись отъ общей цѣли. Вездѣ бывали частныя ереси, которыя всегда имѣли близкое

отношеніе къ господствующему направленію народовъ, гдѣ онѣ возникали; но онѣ уничтожались единомысліемъ Церкви Вселенской, соединявшей всѣ частныя Церкви въ одно святое согласіе. Бывали времена, когда опасность уклоненія угрожала и цѣлымъ патріархатамъ, когда ученіе, несогласное съ ученіемъ Вселенской Церкви, согласовалось однакоже съ господствующимъ направленіемъ и умственною особенностію народовъ, частную Церковь составлявшихъ; но въ эти времена испытанія, когда для частной Церкви предстоялъ рѣшительный выборъ: или отторгнуться отъ Церкви Вселенской, или пожертвовать своимъ частнымъ мнѣніемъ, Господь спасалъ Свои Церкви единодушіемъ всего Православнаго міра. Особенность каждой частной Церкви тогда только могла бы увлечь ее въ расколъ, когда бы она отдѣлилась отъ преданія и общенія съ другими Церквами; но, оставаясь вѣрною общему преданію и общему согласію любви, каждая частная Церковь, особымъ характеромъ своей духовной дѣятельности, только увеличивала общее богатство и полноту духовной жизни всего Христіанства. Такъ и Римская Церковь имѣла свою, такъ сказать, законную особенность, прежде чѣмъ отдѣлилась отъ Церкви Вселенской; но, отдѣлившись отъ нея, она естественно должна была эту частную свою особенность обратить въ исключительную форму, черезъ которую одну Христіанское ученіе могло проникать въ умы народовъ, ей подчиненныхъ.

Образованность древняго до-Христіанскаго міра, — второй элементъ, изъ котораго развилось просвѣщеніе Европы,— была извѣстна Западу до половины 15-го вѣка почти исключительно въ томъ особенномъ видѣ, какой она приняла въ жизни древняго языческаго Рима; но другая сторона ея, образованность Греческая и Азіатская, въ чистомъ видѣ своемъ почти не проникала въ Европу до самаго почти покоренія Константинополя. Между тѣмъ Римъ, какъ извѣстно, далеко не былъ представителемъ всего языческаго просвѣщенія: ему принадлежало только господство матеріяльное надъ міромъ, между тѣмъ какъ умственное господство надъ нимъ принадлежало и языку и образованности Греческой. Потому, всю опытность человѣческаго ума, все достояніе его, которое онъ добылъ себѣ

въ продолженіе шеститысячелѣтнихъ усилій, принимать единственно въ той формѣ, какую оно получило въ образованности Римской,—значило принимать его въ видѣ совершенно одностороннемъ, и неминуемо подвергаться опасности—сообщить эту односторонность и характеру собственной своей образованности. Такъ дѣйствительно и совершилось съ Европою. Когда же въ 15-мъ вѣкѣ, Греческіе изгнанники перешли на Западъ съ своими драгоцѣнными рукописями, то было уже поздно. Образованность Европы, правда, оживилась; но смыслъ ея остался тотъ же: складъ ума и жизни былъ уже заложенъ. Греческая наука расширила кругъ знанія и вкуса, разбудила мысли, дала умамъ полетъ и движеніе; но господствующаго направленія духа уже измѣнить не могла.

Наконецъ, третій элементъ просвѣщенія, образованность общественная, представляетъ ту особенность на Западѣ, что почти ни въ одномъ изъ народовъ Европы государственность не произошла изъ спокойнаго развитія національной жизни и національнаго самосознанія, гдѣ господствующія, религіозныя и общественныя понятія людей, воплощаясь въ бытовыхъ отношеніяхъ, естественно выростаютъ и крѣпнутъ и связываются въ одно общее единомысліе, правильно отражающееся въ стройной цѣльности общественнаго организма. Напротивъ, общественный бытъ Европы, по какой-то странной исторической случайности, почти вездѣ возникъ насильственно, изъ борьбы на смерть двухъ враждебныхъ племенъ: изъ угнетенія завоевателей, изъ противодѣйствія завоеванныхъ, и наконецъ изъ тѣхъ случайныхъ условій, которыми наружно кончались споры враждующихъ, несоразмѣрныхъ силъ.

Эти три элемента Запада: Римская Церковь, древне-Римская образованность и возникшая изъ насилій завоеванія государственность, были совершенно чужды древней Россіи. Принявъ ученіе Христіанское отъ Греціи, она постоянно находилась въ общеніи со Вселенскою Церковью. Образованность древне-языческаго міра переходила къ ней уже сквозь ученіе Христіанское, не дѣйствуя на нее одностороннимъ увлеченіемъ, какъ живой остатокъ какой нибудь частной народности;

только въ послѣдствіи, утвердившись въ образованности Христіанской, начинала она усвоивать себѣ послѣдніе результаты наукообразнаго просвѣщенія древняго міра, — когда Провидѣнію видимо угодно было остановить дальнѣйшій ходъ ея умственнаго развитія, спасая ее, можетъ быть, отъ вреда той односторонности, которая неминуемо стала бы ея удѣломъ, еслибы ея разсудочное образованіе началось прежде, чѣмъ Европа докончила кругъ своего умственнаго развитія, и когда, не обнаруживъ еще послѣднихъ выводовъ своихъ, она могла тѣмъ безотчетнѣе и тѣмъ глубже завлечь ее въ ограниченную сферу своего особеннаго развитія — Христіанство, проникнувъ въ Россію, не встрѣтило въ ней тѣхъ громадныхъ затрудненій, съ какими должно было бороться въ Римѣ и Греціи, и въ Европейскихъ земляхъ, пропитанныхъ Римскою образованностью. Чистому вліянію его ученія на внутреннюю и общественную жизнь человѣка Словенскій міръ не представлялъ тѣхъ неодолимыхъ препятствій, какія оно находило въ сомкнутой образованности міра классическаго и въ односторонней образованности народовъ Западныхъ. Во многомъ даже племенныя особенности Словенскаго быта помогали успѣшному осуществленію Христіанскихъ началъ. Между тѣмъ основныя понятія человѣка о его правахъ и обязанностяхъ, о его личныхъ, семейныхъ и общественныхъ отношеніяхъ, не составлялись насильственно изъ формальныхъ условій враждующихъ племенъ и классовъ, — какъ послѣ войны проводятся искусственныя границы между сосѣдними государствами по мертвой буквѣ выспореннаго трактата. Но, неиспытавъ завоеванія, Русскій народъ устроивался самобытно. Враги, угнетавшіе его, всегда оставались внѣ его, не мѣшаясь въ его внутреннее развитіе. Татары, Ляхи, Венгры, Нѣмцы и другіе бичи, посланные ему Провидѣніемъ, могли только остановить его образованіе, и дѣйствительно остановили его, но не могли измѣнить существеннаго смысла его внутренней и общественной жизни.

Между тѣмъ эти, чуждые Россіи, три элемента первоначальной образованности Европейской: Римская Церковь, древне-Римскій міръ и возникшая изъ завоеванія государственность опредѣлили весь кругъ дальнѣйшаго развитія Европы, — какъ

три точки въ пространствѣ опредѣляютъ круговую линію, которая черезъ нихъ проходитъ.

Вліяніе живыхъ еще развалинъ, уцѣлѣвшихъ отъ разрушенія остатковъ старой Римской образованности, на новорождающуюся образованность Запада—было всеобъемлющее. Проникая въ самое основное строеніе общественныхъ отношеній, въ законы, въ языкъ, въ нравы, въ обычаи, въ первое развитіе наукъ и искусствъ Европейскихъ, древній Римъ долженъ былъ поневолѣ сообщить болѣе или менѣе всѣмъ отношеніямъ Западнаго человѣка тотъ особенный характеръ, которымъ самъ онъ отличался отъ другихъ народовъ; и этотъ особенный характеръ всей совокупности отношеній, окружающихъ человѣка, по необходимости, долженъ былъ проникнуть въ самый, такъ сказать, внутренній составъ его жизни, переобразовывая болѣе или менѣе всѣ другія вліянія, согласно своему господствующему направленію.

Потому, главная особенность умственнаго характера Рима должна была отразиться и въ умственной особенности Запада. Но если мы захотимъ эту господствующую особенность Римскаго образованія выразить одною общею формулою, то не ошибемся, кажется, если скажемъ, что отличительный складъ Римскаго ума заключался въ томъ именно, что въ немъ наружная разсудочность брала перевѣсъ надъ внутреннею сущностью вещей. Этотъ характеръ, очевидно, представляетъ намъ общественный и семейный бытъ Рима, логически и нераскаянно уродовавшій естественныя и нравственныя отношенія людей, по внѣшней буквѣ случайно выразившагося закона. Тотъ же характеръ представляетъ намъ и поэзія Римлянъ, работавшая надъ художественнымъ усовершенствованіемъ внѣшнихъ формъ чужаго вдохновенія. То же представляетъ намъ ихъ языкъ, задавившій, подъ искусственною стройностію грамматическихъ конструкцій, естественную свободу и живую непосредственность душевныхъ движеній. Тотъ же характеръ видимъ мы въ самыхъ знаменитыхъ законахъ Римскихъ, гдѣ стройность внѣшней формальности доведена до столь изумительнаго логическаго совершенства, при изумительномъ тоже отсутствіи внутренней справедливости. То же наружное сцѣпленіе мыслей на счетъ внут-

ренней, живой полноты смысла представляетъ намъ и религія Римская, за внѣшними обрядами почти забывшая ихъ таинственное значеніе,—Римская религія,—это собраніе всѣхъ разнородныхъ, даже противорѣчащихъ другъ другу божествъ языческаго міра, наружно совмѣщенныхъ, внутренно разнорѣчащихъ, въ то же время логически соглашенныхъ въ одно символическое поклоненіе, гдѣ подъ покрываломъ философской связи скрывалось внутреннее отсутствіе вѣры. Тотъ же характеръ разсудочнаго направленія замѣчаемъ мы и въ нравахъ Римскихъ, гдѣ такъ высоко цѣнилась внѣшняя дѣятельность человѣка, и такъ мало обращалось вниманія на ея внутренній смыслъ; гдѣ гордость была добродѣтелью; гдѣ личное логическое убѣжденіе каждаго было единственнымъ руководствомъ его дѣйствій; гдѣ, потому, каждая личность сознавала себя не только за нѣчто особое, но и за нѣчто отличное отъ другихъ личностей, и не понимала къ нимъ иныхъ отношеній, кромѣ отношеній, логически выведенныхъ изъ наружныхъ условій жизни. Потому, Римлянинъ не зналъ почти другой связи между людьми, кромѣ связи общаго интереса; другаго единства, кромѣ единства партіи. Самый патріотизмъ Римлянина—безкорыстнѣйшее чувство, до котораго онъ могъ достигнуть, — былъ для него не тѣмъ, чѣмъ онъ былъ для Грека. Онъ не любилъ дыма отечества; даже дымъ Греческаго очага былъ для него привлекательнѣе. Онъ любилъ въ отечествѣ интересъ своей партіи и то особенно, что оно ласкало его гордость. Но непосредственное, общечеловѣческое чувство было почти заглушено въ душѣ Римлянина. Относительно же согражданъ своихъ понималъ онъ себя почти также, какъ его великій Римъ понималъ себя относительно другихъ городовъ, его окружавшихъ; равно готовый на союзъ и на войну, онъ рѣшался на то или другое по указанію разсчета, постоянно слушая внушенія той страсти, которая обыкновенно господствуетъ внутри ума сухо-логическаго и корыстно-дѣятельнаго: я говорю о страсти преобладанія надъ другими, которая въ душѣ Римлянина занимала то же мѣсто, какое въ душѣ сочувственнаго Грека занимала страсть безразсуднаго славолюбія. Однимъ словомъ, во всѣхъ особенностяхъ Римскаго человѣка, во всѣхъ изгибахъ умственной и душевной

дѣятельности, видимъ мы одну общую черту, что наружная строиность его логическихъ понятій была для него существеннѣе самой существенности, и что внутреннее равновѣсіе его бытія, если можно такъ выразиться, сознавалось имъ единственно въ равновѣсіи разсудочныхъ понятій или внѣшней формальной дѣятельности.

Христіанство, разумѣется, при самомъ появленіи своемъ среди языческаго міра, противорѣчило этому направленію корыстной личности и самомнительной разсудочности Римскаго человѣка. Обращая главную дѣятельность духа къ внутренней цѣльности бытія, оно не только противилось всякой страстности увлеченій, хотя бы и благовидными предлогами украшенной, но вмѣстѣ, возводя умъ къ живому средоточію самопознанія, оно боролось и съ тѣмъ состояніемъ духовнаго распаденія, гдѣ односторонняя разсудочность отрывается отъ другихъ силъ духа и думаетъ достигнуть истины наружною связностію понятій. Между тѣмъ, какъ для этой внѣшней, разсудочной мудрости Христіанская проповѣдь казалась безуміемъ,—съ высоты Христіанскаго ученія, эта надменная разсудочность являлась во всей бѣдности своей нечувственной слѣпоты. Потому, въ первые вѣка Церкви, видимъ мы въ богословскихъ писателяхъ даже Римскаго міра нерѣдкія нападенія на ложность языческаго философствованія. Однакоже господство чисто-христіанскаго направленія не могло совершенно изгладить изъ ихъ ума особенность Римской физіономіи, которая, какъ уже мы замѣтили, оставаясь въ своихъ законныхъ границахъ, не только не мѣшала истинному направленію духа, но, напротивъ, должна была еще увеличивать многостороннее богатство его проявленій, и только тамъ увлекала въ заблужденія, гдѣ ея излишествомъ нарушалось внутреннее равновѣсіе духа. Такъ Тертуліанъ, можетъ быть самый краснорѣчивый изъ богословскихъ писателей Рима, особенно поражаетъ своею блестящею логикою, наружною связностію своихъ положеній; многія изъ его произведеній навсегда остаются украшеніемъ Церкви, хотя самое излишество логической способности, или, лучше сказать, ея отдѣленность отъ другихъ силъ разума увлекла его въ ту крайность, гдѣ его ученіе уже оторвалось отъ ученія чисто-

Христіанскаго. Счастливѣе былъ его знаменитый ученикъ, Св. Кипріанъ, хотя не менѣе его замѣчателенъ особенностію своей логической силы. Но ни одинъ, можетъ быть, изъ древнихъ и новыхъ Отцевъ Церкви не отличался столько любовію къ логическому сцѣпленію истинъ, какъ Блаженный Августинъ, по преимуществу называемый Учителемъ Запада. Нѣкоторыя сочиненія его являются какъ бы одна, изъ кольца въ кольцо неразрывно сомкнутая, желѣзная цѣпь силлогизмовъ. Отъ того, можетъ быть, иногда увлекался онъ слишкомъ далеко, за наружною стройностію не замѣчая внутреннюю односторонность мысли, такъ, что въ послѣдніе годы своей жизни долженъ былъ самъ писать опроверженіе нѣкоторыхъ изъ своихъ прежнихъ утвержденій.

Но если эта особенная приверженность Римскаго міра къ наружному сцѣпленію понятій была небезопасна для Римскихъ богослововъ еще въ то время, когда Римская Церковь была живою частію Церкви Вселенской, когда общее сознаніе всего Православнаго міра удерживало каждую особенность въ законномъ равновѣсіи,—то понятно, что, послѣ отдѣленія Рима, эта особенность Римскаго ума должна была взять рѣшительный перевѣсъ въ характерѣ ученія Римскихъ богослововъ. Можетъ быть даже, эта Римская особенность, эта оторванная разсудочность, эта излишняя склонность къ наружному сцѣпленію понятій, была одною изъ главнѣйшихъ причинъ самаго отпаденія Рима. Конечно, не мѣсто здѣсь разбирать ни причины, ни обстоятельства этого отпаденія,—Римскій ли духъ преобладанія былъ тайнымъ побужденіемъ главныхъ дѣятелей, или другія причины: всѣ предположенія могутъ быть подвержены спору; но не подверженъ сомнѣнію самый предлогъ отпаденія: новое прибавленіе догмата къ прежнему символу, прибавленіе, которое, противъ древняго преданія и общаго сознанія Церкви, оправдывалось единственно логическими выводами Западныхъ богослововъ.

Мы потому особенно упоминаемъ здѣсь объ этомъ обстоятельствѣ, что оно лучше другихъ можетъ намъ объяснить характеръ Западной образованности, гдѣ Римская отрѣшенная разсудочность уже съ 9-го вѣка проникла въ самое ученіе богосло-

вовъ, разрушивъ своею односторонностію гармоническую цѣльность внутренняго умозрѣнія.

Съ этой точки зрѣнія для насъ становится понятнымъ, почему Западные богослозы, со всею разсудочною добросовѣстностію, могли не видать единства Церкви иначе, какъ въ наружномъ единствѣ епископства; почему наружнымъ дѣламъ человѣка могли они приписывать существенное достоинство; почему, при внутренней готовности души и при недостаткѣ этихъ наружныхъ дѣлъ, не понимали они для нея другаго средства спасенія, кромѣ опредѣленнаго срока чистилища; почему, наконецъ, могли они приписывать нѣкоторымъ людямъ даже избытокъ достоинства наружныхъ дѣлъ и вмѣнять этотъ избытокъ недостатку другихъ, тоже за какія нибудь наружныя дѣйствія, совершенныя для внѣшней пользы Церкви.

Такимъ образомъ, подчинивъ вѣру логическимъ выводамъ разсудка, Западная Церковь еще въ 9-мъ вѣкѣ положила внутри себя неминуемое сѣмя реформаціи, которая поставила ту же Церковь передъ судомъ того же логическаго разума, ею самою возвышеннаго надъ общимъ сознаніемъ Церкви Вселенской; и тогда еще мыслящій человѣкъ могъ уже видѣть Лютера изъ-за папы Николая 1-го, какъ, по словамъ Римскихъ католиковъ, мыслящій человѣкъ XVI вѣка могъ уже изъ-за Лютера предвидѣть Штрауса.

Очевидно, что та же нравственная причина, тотъ же перевѣсъ логической односторонности, который произвелъ ученіе о необходимости наружнаго единства Церкви, долженъ былъ породить и ученіе о непогрѣшаемости ея видимой главы Это было прямымъ слѣдствіемъ того особеннаго характера образованности, который начиналъ господствовать въ Западномъ мірѣ. Изъ этой же причины общаго состоянія умовъ въ Европѣ произошло и то обстоятельство, что Франкскій императоръ могъ предложить, а Римскій архіерей могъ принять свѣтское владычество въ своей эпархіи. Потомъ, по той же логической причинѣ, должно было полудуховное владычество папы распространиться надъ всѣми правителями Запада и породить все устройство, такъ называемой, Святой Римской Имперіи, и весь характеръ историческаго развитія среднихъ вѣковъ, гдѣ свѣт-

ская власть безпрестанно смѣшивалась съ духовною и безпрестанно боролась съ нею, взаимно приготовляя одна другой мѣсто для будущаго паденія во мнѣніи народномъ, между тѣмъ, какъ въ то же время, внутри человѣка Западнаго, происходила тоже борьба между вѣрою и разумомъ, между преданіемъ и личнымъ самомнѣніемъ; и какъ духовная власть Церкви искала себѣ основанія въ силѣ свѣтской, такъ духовное убѣжденіе умовъ Западныхъ искало себѣ основанія въ разсудочномъ силлогизмѣ.

Такъ искусственно устроивъ себѣ наружное единство, поставивъ надъ собою одну единую главу, соединившую власть духовную и свѣтскую, Церковь Западная произвела раздвоеніе въ своей духовной дѣятельности, въ своихъ внутреннихъ интересахъ и въ внѣшнихъ своихъ отношеніяхъ къ міру. Двойная башня, которая обыкновенно возвышается надъ католическимъ костеломъ, можетъ служить символомъ этого раздвоенія.

Между тѣмъ свѣтскіе правители, подчинившіеся главенству тривѣнчаннаго правителя Церкви, сомкнули такимъ образомъ феодальное устройство, такъ называемой, Святой Римской Имперіи. Можетъ быть, это былъ единственный разумный исходъ общественной жизни народовъ, которыхъ государственное устройство возникло изъ завоеванія. Ибо непримиримая борьба двухъ спорящихъ племенъ, угнетавшаго и угнетеннаго, произвела на все развитіе ихъ исторіи постоянную ненависть сословій, неподвижно другъ противъ друга стоящихъ, съ своими враждебными правами, съ исключительными преимуществами одного, съ глубокимъ недовольствомъ и безконечными жалобами другаго, съ упорною завистію возникшаго между ними средняго, съ общимъ и вѣчно болѣзненнымъ колебаніемъ ихъ относительнаго перевѣса, изъ котораго рождались наружныя, формальныя и насильственныя условія примиренія, которыми всѣ стороны оставались недовольными и которыя могли получить нѣкоторое утвержденіе въ сознаніи общественномъ только изъ начала, внѣ государства находящагося. Между тѣмъ, чѣмъ менѣе было правъ для сословія, происшедшаго отъ племени завоеваннаго, тѣмъ менѣе было правомѣрности и въ понятіяхъ сословія, происшедшаго отъ завоевателей. Каждая благородная личность

стремилась одѣлаться сама верховнымъ закономъ своихъ отношеній къ другимъ. Мысль объ общей государственности или народности не могла проникнуть въ ихъ независимое сердце, со всѣхъ сторонъ защищенное желѣзомъ и гордостію. Только ими же изобрѣтенныя и добровольно установленныя правила внѣшнихъ формальныхъ отношеній могли подчинить себѣ ихъ самоуправный произволъ. Такимъ образомъ, законы чести хотя родились изъ потребности времени, какъ единственно возможная замѣна закона при совершенной беззаконности, однакоже характеромъ своимъ обличаютъ такую односторонность общественнаго быта, такую крайнюю внѣшность и формальность личныхъ отношеній, и такое забвеніе ихъ существенной стороны, что, взятые отдѣльно отъ всей жизни Европейской, они одни могли бы служить полнымъ зеркаломъ всего развитія Западной общественности.

Каждый благородный рыцарь, внутри своего замка, былъ отдѣльное государство. Потому, и отношенія между благородными лицами могли имѣть только внѣшній, формальный характеръ. Такой же внѣшній, формальный характеръ должны были носить и отношенія ихъ къ другимъ сословіямъ. Потому, и развитіе права гражданскаго въ Западныхъ государствахъ получило тотъ же смыслъ внѣшней, спорно-буквальной формальности, какой лежалъ въ самой основѣ общественныхъ отношеній. Римское право, еще продолжавшее жить и дѣйствовать въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ городахъ Европы, еще болѣе укрѣпило это направленіе внѣшней формальности въ Европейской юриспруденціи. Ибо Римское право имѣетъ тотъ же внѣшній формальный характеръ, за наружною буквою формы забывающій внутреннюю справедливость; можетъ быть потому, что и Римская общественная жизнь также развилась изъ постоянной борьбы двухъ противоположныхъ народностей, насильственно въ одну государственность втѣсненныхъ.

Этимъ объясняется между прочимъ, отъ чего, чужое для Европейскихъ народовъ, Римское право такъ легко могло привиться къ нимъ, исключая тѣ немногія страны, гдѣ общественность возникла не изъ завоеванія, и которыя потому обѣщаютъ болѣе цѣльное развитіе въ будущемъ.

Но, начавшись насиліемъ, государства Европейскія должны были развиваться переворотами, ибо развитіе государства есть не что иное, какъ раскрытіе внутреннихъ началъ, на которыхъ оно основано. Потому Европейскія общества, основанныя насиліемъ, связанныя формальностію личныхъ отношеній, проникнутыя духомъ односторонней разсудочности, должны были развить въ себѣ не общественный духъ, но духъ личной отдѣленности, связываемой узлами частныхъ интересовъ и партій. Отъ чего исторія Европейскихъ государствъ хотя представляетъ намъ иногда внѣшніе признаки процвѣтанія жизни общественной, — но, въ самомъ дѣлѣ, подъ общественными формами скрывались постоянно однѣ частныя партіи, для своихъ частныхъ цѣлей и личныхъ системъ забывавшія о жизни цѣлаго государства. Партіи папскія, партіи императорскія, партіи городскія, партіи церковныя, придворныя, личныя, правительственныя, религіозныя, политическія, народныя, среднесословныя, даже партіи метафизическія, — постоянно боролись въ Европейскихъ государствахъ, стараясь каждая перевернуть его устройство, согласно своимъ личнымъ цѣлямъ. Потому, развитіе въ государствахъ Европейскихъ совершалось не спокойнымъ возрастаніемъ, но всегда посредствомъ болѣе или менѣе чувствительнаго переворота. Переворотъ былъ условіемъ всякаго прогресса, покуда самъ сдѣлался уже не средствомъ къ чему-нибудь, но самобытною цѣлью народныхъ стремленій.

Очевидно, что, при такихъ условіяхъ, образованность Европейская должна была окончиться разрушеніемъ всего умственнаго и общественнаго зданія, ею же самою воздвигнутаго.

Однакоже, это распаденіе разума на частныя силы, это преобладаніе разсудочности надъ другими дѣятельностями духа, которое въ послѣдствіи должно было разрушить все зданіе Европейской средневѣковой образованности, въ началѣ имѣло дѣйствіе противное и произвело тѣмъ быстрѣйшее развитіе, чѣмъ оно было одностороннѣе. Таковъ законъ уклоненія человѣческаго разума: наружность блеска, при внутреннемъ потемнѣніи.

Еще быстрѣе совершилось развитіе образованности Арабской, ибо оно было еще одностороннѣе, хотя имѣло то же

отвлеченно-разсудочное направленіе, какое приняла и средневѣковая Европа. Но просвѣщенію Магометанскому легче было обратить въ логическую формальность свои основныя убѣжденія, чѣмъ просвѣщенію Христіанскому, существенно живому и цѣльному. Систематическая связь отвлеченныхъ понятій была высшею цѣлью, до которой могло достигнуть умственное самосознаніе Магометанина, и которая лежала, можно сказать, въ самомъ основаніи его вѣры. Ибо, требуя отъ него только отвлеченнаго признанія нѣкоторыхъ историческихъ фактовъ и метафизическаго признанія единства Божества, она притомъ не требовала отъ него внутренней цѣльности самопознанія, но спокойно оставляла распавшуюся натуру человѣка въ ея непримиренной раздвоенности; она не указывала ему высшей цѣли бытія, но, напротивъ, указывала ему состояніе грубо-чувственныхъ наслажденій, не только какъ лучшую награду для здѣшней жизни, но даже какъ высшую цѣль будущей. Потому все, до чего могла доходить умственная потребность Магометанина, заключалось въ потребности отвлеченнаго логическаго единства, въ наружномъ порядкѣ его мыслей и систематической правильности ихъ взаимныхъ отношеній. Крайняя метафизическая задача, которую могла предлагать себѣ любознательность Магометанская, — эта, такъ сказать, поэзія Магометанскаго любомудрія, — заключалась въ составленіи видимыхъ формулъ для невидимой дѣятельности міра духовнаго: въ отысканіи талисманической связи между законами міра надзвѣзднаго и законами міра подлуннаго. Отсюда ихъ страсть къ логикѣ, отсюда ихъ астрологія, алхимія, хиромантія, и всѣ ихъ отвлеченно-разсудочныя и чувственно-духовныя науки. Отсюда также объясняется, почему Арабы хотя получили начало своей умственной образованности отъ Сирійскихъ Грековъ, хотя находились въ близкихъ сношеніяхъ съ Византіею, однакоже на ходъ просвѣщенія Греческаго не имѣли почти никакого вліянія. Но на Западную Европу произвели они тѣмъ сильнѣйшее дѣйствіе, что принесли туда весь блескъ своего процвѣтанія наукъ въ то время, когда Европа находилась въ состояніи почти совершеннаго невѣжества. Своимъ отвлеченно-логическимъ направленіемъ учености они, безъ сомнѣнія, содѣйствовали также къ усиле-

нію этого же направленія въ просвѣщеніи Европейскомъ, — примѣшавъ только, на нѣкоторое время, къ господствующему теченію Европейскаго мышленія, разноцвѣтную струю своихъ талисманическихъ умозрѣній. Они первые познакомили Латинскихъ богослововъ съ твореніями Аристотеля, которыя въ первый разъ сдѣлались извѣстны имъ въ переводѣ съ Арабскаго, вмѣстѣ съ Арабскими толкованіями:—такъ мало знакома имъ была Греческая образованность.

Аристотель, никогда не понятый вполнѣ, но до безконечности изучаемый въ частностяхъ, былъ, какъ извѣстно, душою схоластики, которая, въ свою очередь, была представительницею всего умственнаго развитія тогдашней Европы и самымъ яснымъ его выраженіемъ.

Схоластика была не что иное, какъ стремленіе къ наукообразному богословію. Ибо богословіе было тогда и высшею цѣлью и главнымъ источникомъ всякаго знанія. Задача схоластики состояла въ томъ, чтобы не только связать понятія богословскія въ разумную систему, но и подложить подъ нихъ разсудочно-метафизическое основаніе. Главными орудіями для того были творенія Блаженнаго Августина и логическія сочиненія Аристотеля. Высшее университетское развитіе заключалось въ діалектическихъ словопреніяхъ о предметахъ вѣры. Знаменитѣйшіе богословы старались выводить ея догматы изъ своихъ логическихъ умозаключеній. Начиная отъ Шотландца Еригена до XVI вѣка, можетъ быть, не было ни одного изъ нихъ, который бы не пытался свое убѣжденіе о бытіи Божіемъ поставить на остріе какого нибудь искусно выточеннаго силлогизма. Ихъ громадные труды были наполнены отвлеченныхъ тонкостей, логически сплетенныхъ изъ голо-разсудочныхъ понятій. Самыя несущественныя стороны мышленія были для нихъ предметомъ науки, причиною партій, цѣлью жизни.

Не отвлеченные споры номиналистовъ и реалистовъ, не странныя пренія о Евхаристіи, о благодати, о рожденіи Пресвятой Дѣвы и тому подобныхъ предметахъ, могутъ дать настоящее понятіе о духѣ схоластики и о состояніи умовъ того времени; но всего яснѣе выражаетъ ихъ то именно, что въ этихъ спорахъ составляло главный предметъ вниманія и занимало

мышленіе ученѣйшихъ философовъ: — т. е., составленіе произвольныхъ вопросовъ о несбыточныхъ предположеніяхъ, и разборъ всѣхъ возможныхъ доводовъ въ пользу и противъ нихъ.

Такая безконечная, утомительная игра понятій въ продолженіе семи сотъ лѣтъ, этотъ безполезный, передъ умственнымъ зрѣніемъ безпрестанно вертящійся калейдоскопъ отвлеченныхъ категорій, должны были неминуемо произвести общую слѣпоту къ тѣмъ живымъ убѣжденіямъ, которыя лежатъ выше сферы разсудка и логики; къ убѣжденіямъ, до которыхъ человѣкъ доходитъ не путемъ силлогизмовъ, но напротивъ, стараясь основать ихъ на силлогистическомъ выводѣ, только искажаетъ ихъ правду, когда не уничтожаетъ ее совершенно.

Живое, цѣльное пониманіе внутренней, духовной жизни и живое, непредупрежденное созерцаніе внѣшней природы равно изгонялись изъ оцѣпленнаго круга Западнаго мышленія, первое подъ именемъ «мистики»,—по натурѣ своей ненавистной для схоластической разсудочности (сюда относилась и та сторона ученія Православной Церкви, которая не согласовалась съ Западными системами);—второе преслѣдовалось прямо подъ именемъ «безбожія» (сюда относились тѣ открытія въ наукахъ, которыя разнорѣчили съ современнымъ понятіемъ богослововъ). Ибо схоластика сковала свою вѣру съ своимъ тѣснымъ разумѣніемъ науки въ одну неразрывную судьбу.

Потому, когда со взятіемъ Константинополя, свѣжій, неиспорченный воздухъ Греческой мысли повѣялъ съ Востока на Западъ, и мыслящій человѣкъ на Западѣ вздохнулъ легче и свободнѣе, то все зданіе схоластики мгновенно разрушилось. Однакоже, слѣды схоластической односторонности остались на умахъ, ею воспитанныхъ. Предметъ мышленія сталъ другой, и направленіе иное; но тотъ же перевѣсъ разсудочности и та же слѣпота къ живымъ истинамъ сохранились почти по прежнему.

Поучительный примѣръ тому представляетъ самъ знаменитый родоначальникъ новѣйшей философіи. Онъ думалъ, что рѣшительно сбросилъ съ себя узы схоластики; однако, не чувствуя того самъ, до того еще оставался запутанъ ими, что, не смотря на все свое геніальное разумѣніе формальныхъ законовъ разума, былъ такъ странно слѣпъ къ живымъ истинамъ, что свое внут-

реннее, непосредственное сознаніе о собственномъ своемъ бытіи почиталъ еще неубѣдительнымъ, покуда не вывелъ его изъ отвлеченнаго силлогистическаго умозаключенія! И этотъ примѣръ тѣмъ замѣчательнѣе, что не былъ личною особенностію философа, но выразилъ общее направленіе умовъ. Ибо логическій выводъ Декарта не остался его исключительною собственностію, но былъ принятъ съ восторгомъ и сдѣлался основаніемъ мышленія для большей части новѣйшихъ философовъ, почти до половины XVIII вѣка.—Можетъ быть, еще и теперь есть глубокомысленные люди, которые утверждаютъ на немъ несомнѣнность своего бытія и успокоиваютъ такимъ образомъ свою образованную потребность твердыхъ убѣжденій. По крайней мѣрѣ, пишущій эти строки еще живо помнитъ ту эпоху въ собственной своей жизни, когда подобный процессъ искусственнаго мышленія сладостно утолялъ для него жажду умственнаго успокоенія.

Я не говорю уже о той особенности Декарта, что, увлеченный строгою необходимостью своихъ умозаключеній, онъ добродушно могъ убѣдиться въ томъ, что всѣ животныя, выключая человѣка, суть только наружныя машины, искусно построенныя Создателемъ, и, не имѣя сознанія, не чувствуютъ ни боли, ни удовольствія.

Неудивительно послѣ того, что его ученикъ и преемникъ въ господствѣ философскаго развитія, знаменитый Спиноза, могъ такъ искусно и такъ плотно сковать разумные выводы о первой причинѣ, о высшемъ порядкѣ и устройствѣ всего мірозданія, что сквозь эту сплошную и неразрывную сѣть теоремъ и силлогизмовъ не могъ во всемъ созданіи разглядѣть слѣдовъ Живаго Создателя, ни въ человѣкѣ замѣтить его внутренней свободы. Тотъ же избытокъ логической разсудочности скрылъ отъ великаго Лейбница, за умственнымъ сцѣпленіемъ его отвлеченныхъ понятій, очевидное сцѣпленіе причины и дѣйствія, и для объясненія ихъ заставилъ его предположить свою Предустановленную Гармонію, — которая, впрочемъ, поэзіей своей основной мысли восполняетъ нѣсколько ея односторонность.

Я говорю: поэзія мысли восполняетъ нѣсколько ея односто-

ронность; ибо думаю, что когда къ достоинству логическому присоединяется достоинство изящное, или нравственное, то уже этимъ соединеніемъ силъ самъ разумъ возвращается болѣе или менѣе къ своей первобытной полнотѣ и потому приближается къ истинѣ.

Нужно ли продолжать исчисленіе послѣдующихъ представителей Западной философіи, чтобы, припоминая ихъ системы, убѣдиться въ общей односторонности Западнаго направленія? Нужно ли напоминать, какъ Юмъ—этотъ прямой и неминуемый результатъ другой вѣтви Западнаго любомудрія, послѣдователь Бакона, Локка и однородныхъ съ ними мыслителей, — безпристрастный Юмъ, силою безпристрастнаго разума, доказалъ, что въ мірѣ не существуетъ никакой истины, и правда и ложь подвержены одинакому сомнѣнію? Какъ знаменитый Кантъ, возбужденный Юмомъ и приготовленный Нѣмецкою школою, изъ самыхъ законовъ чистаго разума вывелъ неоспоримое доказательство, что для чистаго разума никакихъ доказательствъ о высшихъ истинахъ не существуетъ?

Отсюда, можетъ быть, оставался одинъ шагъ до правды; — но Западный міръ тогда еще не созрѣлъ для нея.

Изъ системы Канта развилась одна отвлеченная сторона въ системѣ Фихте, который удивительнымъ построеніемъ силлогизмовъ доказалъ, что весь внѣшній міръ есть только мнимый призракъ воображенія, и что существуетъ въ самомъ дѣлѣ только одно саморазвивающееся *Я*.—Отсюда Шеллингъ развилъ противоположную сторону гипотезы, т. е., что хотя внѣшній міръ дѣйствительно существуетъ, но душа міра есть не что иное, какъ это человѣческое *Я*, развивающееся въ бытіи вселенной для того только, чтобы сознать себя въ человѣкѣ. Гегель еще болѣе укрѣпилъ и распространилъ ту же систему саморазвитія человѣческаго самосознанія. Между тѣмъ, углубившись болѣе, чѣмъ кто либо прежде, въ самые законы логическаго мышленія, онъ, силою своей необыкновенной, громадной геніальности, довелъ ихъ до послѣдней полноты и ясности результатовъ, и тѣмъ далъ возможность тому же Шеллингу доказать односторонность всего логическаго мышленія. Такимъ образомъ, Западная философія теперь находится въ томъ положеніи, что

ни далѣе идти по своему отвлеченно-раціональному пути она уже не можетъ, ибо сознала односторонность отвлеченной раціональности; ни проложить себѣ новую дорогу не въ состояніи, ибо вся сила ея заключалась въ развитіи именно этой, отвлеченной раціональности (*).

Между тѣмъ, въ то же время, какъ Римское богословіе развивалось посредствомъ схоластической философіи, писатели Восточной Церкви, не увлекаясь въ односторонность силлогистическихъ построеній, держались постоянно той полноты и цѣльности умозрѣнія, которыя составляютъ отличительный признакъ Христіанскаго любомудрія. Ибо не надобно забывать, что все современное просвѣщеніе тогда сосредоточивалось въ Византіи. Древніе писатели Христіанскіе и языческіе, и особенно писатели-философы, были коротко знакомы образованнымъ Грекамъ,— и очевидные слѣды ихъ основательнаго изученія видны въ большей части духовныхъ твореній, до самой половины XV вѣка; между тѣмъ, какъ Западъ, необразованный и, можно даже сказать, невѣжественный сравнительно съ Византіей, до самаго почти XIV вѣка обращался въ своемъ мышленіи почти единственно въ кругу однихъ Латинскихъ писателей, за исключеніемъ только немногихъ Греческихъ. Только въ половинѣ XIV вѣка основана была первая ученая академія въ Италіи знаменитымъ монахомъ Варлаамомъ, учителемъ Петрарки, — тѣмъ самымъ несчастнымъ предателемъ Православной Церкви, который, заразившись Западною увѣренностію въ своей логической разумности, отвергалъ нѣкоторые, непонятные ему, догматы Христіанскаго ученія и былъ за то осужденъ Константинопольскимъ соборомъ и изгнанъ изъ Греціи съ безчестіемъ: но за то — тѣмъ съ большею честію принятъ въ Италіи.

Аристотель, безъ всякаго сомнѣнія, былъ лучше и основательнѣе извѣстенъ Грекамъ, чѣмъ Латинянамъ, хотя, можетъ быть, безъ тѣхъ дополненій, которыми обогатили его Арабскіе и Латинскіе ученые, и которыя, до самаго паденія схоластическаго воспитанія въ Европѣ, составляли необходимое условіе

(*) См. мои статьи: *О современномъ состояніи просвѣщенія*, въ 1-мъ и 2-мъ N N Москвит. 1845 года.

всякаго развитія ума на Западѣ. Однакоже, въ Греческихъ мыслителяхъ не только не видимъ мы особаго пристрастія къ Аристотелю, но, напротивъ того, въ большей части изъ нихъ замѣчаемъ явное предпочтеніе Платона;—не потому, конечно, чтобы Христіанскіе мыслители усвоивали себѣ языческія понятія того или другаго; но потому, вѣроятно, что самый способъ мышленія Платона представляетъ болѣе цѣльности въ умственныхъ движеніяхъ, болѣе теплоты и гармоніи въ умозрительной дѣятельности разума. Отъ того, почти то же отношеніе, какое мы замѣчаемъ между двумя философами древности, существовало и между философіей Латинскаго міра, какъ она вырабатывалась въ схоластикѣ, и тою духовною философіей, которую находимъ въ писателяхъ Церкви Восточной, особенно ясно выраженную въ Св. Отцахъ, жившихъ послѣ Римскаго отпаденія.

Достойно замѣчанія, что эта духовная философія Восточныхъ Отцевъ Церкви, писавшихъ послѣ X вѣка, — философія прямо и чисто Христіанская, глубокая, живая, возвышающая разумъ отъ разсудочнаго механизма къ высшему, нравственно свободному умозрѣнію,—философія, которая даже и для невѣрующаго мыслителя могла бы быть поучительною, по удивительному богатству и глубинѣ и тонкости своихъ психологическихъ наблюденій, — не смотря однакоже на всѣ свои достоинства (я говорю здѣсь единственно о достоинствахъ умозрительныхъ, оставляя въ сторонѣ значеніе богословское), была такъ мало доступна разсудочному направленію Запада, что не только никогда не была оцѣнена Западными мыслителями, но, что еще удивительнѣе, до сихъ поръ осталась имъ почти вовсе неизвѣстною. По крайней мѣрѣ, ни одинъ философъ, ни одинъ историкъ философіи, не упоминаетъ объ ней, хотя въ каждой исторіи философіи находимъ мы длинные трактаты о философіи Индѣйской, Китайской и Персидской. Самыя творенія Восточныхъ писателей оставались долго неизвѣстными въ Европѣ; многія до сихъ поръ еще остаются незнакомы имъ; другія хотя извѣстны, но оставлены безъ вниманія, ибо не были поняты; иныя изданы еще весьма недавно, и тоже не оцѣнены. Нѣкоторые богословскіе писатели Запада хотя и упоминали

о нѣкоторыхъ особенностяхъ писателей Восточныхъ, но такъ мало могли постигать эту особенность, что изъ ихъ словъ часто должно вывести заключеніе, прямо противоположное истинѣ. Наконецъ, ни въ одномъ почти изъ богословскихъ писателей Запада незамѣтно живаго слѣда того вліянія, которое необходимо должны бы были оставить на нихъ писанія Восточной Церкви, если бы они были извѣстны имъ хотя въ половину противъ того, какъ имъ извѣстны были писатели древне-языческіе. — Изъ этого должно исключить, можетъ быть, одного Ѳому Кемпійскаго,—или Герсона,—если только книга, имъ приписываемая, принадлежитъ дѣйствительно имъ и не есть, какъ нѣкоторые полагаютъ, переводъ съ Греческаго, передѣланный нѣсколько по Латинскимъ понятіямъ.

Конечно, въ писателяхъ Восточной Церкви, жившихъ послѣ отдѣленія Римской, нельзя искать ничего новаго относительно Христіанскаго ученія; ничего такого, чтобы не находилось въ писателяхъ первыхъ вѣковъ. Но въ томъ-то и заключается ихъ достоинство; въ томъ-то, скажу, и особенность ихъ, что они сохраняли и поддержали во всей чистотѣ и полнотѣ ученіе существенно - Христіанское, и, держась постоянно въ самомъ, такъ сказать, средоточіи истиннаго убѣжденія, отсюда могли яснѣе видѣть и законы ума человѣческаго, и путь, ведущій его къ истинному знанію, и внѣш ie признаки, и внутреннія пружины его разновидныхъ уклоненій.

Впрочемъ, и древніе Отцы Церкви, жившіе еще до отдѣленія Рима и, слѣдовательно, равно признаваемые Востокомъ и Западомъ, не всегда одинаково понимались на Западѣ и на Востокѣ. Это различіе могло произойти отъ того, что Востоку всегда были вполнѣ извѣстны *всѣ* писатели и учители Вселенской Церкви; Западнымъ же ученымъ были знакомы преимущественно Латинскіе и только нѣкоторые изъ Греческихъ писателей, на которыхъ они тоже смотрѣли сквозь готовыя уже понятія, почерпнутыя ими у Римскихъ учителей. Отъ того и въ позднѣйшія времена, когда они уже короче познакомились съ Греческою литературою, то все еще невольно продолжали смотрѣть на нее сквозь тоже ограниченное окно, если не съ цвѣтными, то съ тусклыми стеклами. Этимъ только можно объяснить

себѣ, какимъ образомъ они могли такъ долго удержаться въ односторонности своего разсудочнаго направленія, которое, иначе, должно бы было разрушиться отъ совокупнаго дѣйствія всѣхъ древнихъ Отцевъ Церкви. Сохраняя же свою односторонность, они или не замѣчали, или иногда даже вовсе не знали тѣхъ изъ древнихъ писателей, въ которыхъ особенно выражалась сторона, прямо противоположная этой ограниченности, и самодовольно отвергали ее, подъ названіемъ мистики!

Отсюда, кромѣ различія понятій, на Востокѣ и Западѣ происходитъ еще различіе и въ самомъ *способѣ* мышленія богословско-философскомъ. Ибо, стремясь къ истинѣ умозрѣнія, Восточные мыслители заботятся прежде всего о правильности внутренняго состоянія мыслящаго духа; Западные — болѣе о внѣшней связи понятій. Восточные, для достиженія полноты истины, ищутъ внутренней цѣльности разума: того, такъ сказать, средоточія умственныхъ силъ, гдѣ всѣ отдѣльныя дѣятельности духа сливаются въ одно живое и высшее единство. Западные, напротивъ того, полагаютъ, что достиженіе полной истины возможно и для раздѣлившихся силъ ума, самодвижно дѣйствующихъ въ своей одинокой отдѣльности. Однимъ чувствомъ понимаютъ они нравственное; другимъ — изящное; полезное — опять особымъ смысломъ; истинное понимаютъ они отвлеченнымъ разсудкомъ,—и ни одна способность не знаетъ, что дѣлаетъ другая, покуда ея дѣйствіе совершится. Каждый путь, какъ предполагаютъ они, ведетъ къ послѣдней цѣли, прежде чѣмъ всѣ пути сойдутся въ одно совокупное движеніе. Безчувственный холодъ разсужденія и крайнее увлеченіе сердечныхъ движеній почитаютъ они равно законными состояніями человѣка; и когда, въ XIV вѣкѣ, узнали ученые Запада о стремленіи Восточныхъ созерцателей: сохранять безмятежность внутренней цѣльности духа,—то издѣвались надъ этою мыслію, изобрѣтая для нея всякаго рода насмѣшливыя прозванія. Правда, они употребляютъ иногда тѣ же выраженія, какія и Восточные, говоря о «внутреннемъ сосредоточеніи духа», о «собраніи ума въ себѣ,» и тому подобное; но подъ этими словами обыкновенно разумѣютъ они другое: не сосредоточеніе, не собраніе, не цѣльность внутреннихъ силъ, а только ихъ крайнее напря-

женіе. Вообще можно сказать, что центръ духовнаго бытія ими не ищется. Западный человѣкъ не понимаетъ той живой совокупности высшихъ умственныхъ силъ, гдѣ ни одна не движется безъ сочувствія другихъ; того равновѣсія внутренней жизни, которое отличаетъ даже самыя наружныя движенія человѣка, воспитаннаго въ обычныхъ преданіяхъ Православнаго міра: ибо есть въ его движеніяхъ, даже въ самые крутые переломы жизни, что-то глубоко спокойное, какая-то неискусственная мѣрность, достоинство и вмѣстѣ смиреніе, свидѣтельствующія о равновѣсіи духа, о глубинѣ и цѣльности обычнаго самосознанія. Европеецъ, напротивъ того, всегда готовый къ крайнимъ порывамъ, всегда суетливый, — когда не театральный,—всегда безпокойный въ своихъ внутреннихъ и внѣшнихъ движеніяхъ, только преднамѣреннымъ усиліемъ можетъ придать имъ искусственную соразмѣрность.

Ученія Св. Отцевъ Православной Церкви перешли въ Россію, можно сказать, вмѣстѣ съ первымъ благовѣстомъ Христіанскаго колокола. Подъ ихъ руководствомъ, сложился и воспитался коренной Русскій умъ, лежащій въ основѣ Русскаго быта.

Обширная Русская земля, даже во времена раздѣленія своего на мѣлкія княжества, всегда сознавала себя какъ одно живое тѣло и не столько въ единствѣ языка находила свое притягательное средоточіе, сколько въ единствѣ убѣжденій, происходящихъ изъ единства вѣрованія въ церковныя постановленія. Ибо ея необозримое пространство было все покрыто, какъ бы одною непрерывною сѣтью, неисчислимымъ множествомъ уединенныхъ монастырей, связанныхъ между собою сочувственными нитями духовнаго общенія. Изъ нихъ единообразно и единосмысленно разливался свѣтъ сознанія и науки во всѣ отдѣльныя племена и княжества. Ибо не только духовныя понятія народа изъ нихъ исходили, но и всѣ его понятія нравственныя, общежительныя и юридическія, переходя черезъ ихъ образовательное вліяніе, опять отъ нихъ возвращались въ общественное сознаніе, принявъ одно, общее направленіе. Безразлично составляясь изо всѣхъ классовъ народа, изъ высшихъ и низшихъ ступеней общества, духовенство, въ свою очередь,

во всѣ классы и ступени распространяю свою высшую образованность, почерпая ее прямо изъ первыхъ источниковъ, изъ самаго центра современнаго просвѣщенія, который тогда находился въ Царьградѣ, Сиріи и на Святой Горѣ. И образованность эта такъ скоро возрасла въ Россіи, и до такой степени, что и теперь даже она кажется намъ изумительною, когда мы вспомнимъ, что нѣкоторые изъ удѣльныхъ князей XII и XIII вѣка уже имѣли такія библіотеки, съ которыми многочисленностію томовъ едва могла равняться, первая тогда на Западѣ, библіотека Парижская (1); что многіе изъ нихъ говорили на Греческомъ и Латинскомъ языкѣ также свободно, какъ на Русскомъ, а нѣкоторые знали притомъ и другіе языки Европейскіе (2); что въ нѣкоторыхъ, уцѣлѣвшихъ до насъ, писаніяхъ XV вѣка (3) мы находимъ выписки изъ Русскихъ переводовъ такихъ твореній Греческихъ, которыя не только не были извѣстны Европѣ, но даже въ самой Греціи утратились послѣ ея упадка и, только въ недавнее время и уже съ великимъ трудомъ, могли быть отрыты въ неразобранныхъ сокровищницахъ Аѳона; что въ уединенной тишинѣ монашескихъ келлій, часто въ глуши лѣсовъ, изучались и переписывались, и до сихъ поръ еще уцѣлѣли въ старинныхъ рукописяхъ, Словенскіе переводы тѣхъ Отцевъ Церкви, которыхъ глубокомысленныя писанія, исполненныя высшихъ богословскихъ и философскихъ умозрѣній, даже въ настоящее время едва ли каждому Нѣмецкому профессору любомудрія придутся по силамъ мудрости (хотя, можетъ быть, ни одинъ не сознается въ этомъ): наконецъ, когда мы вспомнимъ, что эта Русская образованность была такъ распространена, такъ крѣпка, такъ развита, и потому пустила такіе глубокіе корни въ жизнь Русскую, что, не смотря на то, что уже полтораста лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ монастыри наши перестали быть центромъ просвѣщенія; не смотря

(1) См. Шлецера п. им. на Нестора, томъ 1.

(2) См. Истор. Русск. Словесности. Проф. Шевырева. Выпускъ второй. — Эта книга, безъ сомнѣнія, одна изъ самыхъ замѣчательныхъ, вышедшихъ у насъ въ послѣднее время, должна, по вѣроятности, произвести рѣшительный переворотъ въ общемъ пониманіи нашей древней образованности.

(3) См. Писанія Нила Сорскаго.

на то, что вся мыслящая часть народа, своимъ воспитаніемъ и своими понятіями, значительно уклонилась, а въ нѣкоторыхъ и совсѣмъ отдѣлилась отъ прежняго Русскаго быта, изгладивъ даже и память объ немъ изъ сердца своего: — этотъ Русскій бытъ, созданный по понятіямъ прежней образованности и проникнутый ими, еще уцѣлѣлъ, почти неизмѣненно, въ низшихъ классахъ народа: онъ уцѣлѣлъ, — хотя живетъ въ нихъ уже почти безсознательно, уже въ одномъ обычномъ преданіи, уже несвязанный господствомъ образующей мысли . . . .

Какая же сила должна была существовать для того, чтобы произвести такое прочное дѣйствіе?—И эта твердость быта, слѣдствіе прежней образованности, замѣчается въ томъ самомъ народѣ, который такъ легко могъ измѣнить свою образованность языческую, когда принялъ Христіанское ученіе.

Потому, этотъ Русскій бытъ и эта прежняя, въ немъ отзывающаяся, жизнь Россіи драгоцѣнны для насъ, особенно по тѣмъ слѣдамъ, которые оставили на нихъ чистыя Христіанскія начала, дѣйствовавшія безпрепятственно на добровольно покорившіяся имъ племена Словенскія. И не природныя какія нибудь преимущества Словенскаго племени заставляютъ насъ надѣяться на будущее его процвѣтаніе: нѣтъ! племенныя особенности, какъ земля, на которую падаетъ умственное сѣмя, могутъ только ускорить или замедлить его первое развитіе; онѣ могутъ сообщить ему здоровую или тощую пищу; могутъ, наконецъ, ему дать свободный ходъ на Божьемъ свѣтѣ или заглушить его чужими растеніями; но самое свойство плода зависитъ отъ свойства сѣмени.

Какое бы ни было наше мнѣніе о пришествіи Варяговъ: добровольно ли вся Русская земля призвала ихъ, или одна партія накликала на другую; но ни въ какомъ случаѣ это пришествіе не было нашествіемъ чужаго племени; ни въ какомъ случаѣ также оно не могло быть завоеваніемъ, ибо, если черезъ полтораста лѣтъ такъ легко можно было выслать ихъ изъ Россіи, или, по крайней мѣрѣ, значительную ихъ часть, то какъ же могли бы они такъ легко завоевать ее прежде? Какъ могли

бы такъ безмятежно держаться въ ней противъ ея воли? (1) При нихъ спокойно и естественно совершалось образованіе ея общественныхъ и государственныхъ отношеній, безъ всякихъ насильственныхъ нововведеній, единственно вслѣдствіе внутренняго устройства ея нравственныхъ понятій. Со введеніемъ же Христіанства, нравственныя понятія Русскаго человѣка измѣнились, а вмѣстѣ съ ними и его общежительныя отношенія; и потому все общественное устройство Русской земли должно было въ своемъ развитіи принять также направленіе Христіанское.

Лучшимъ выраженіемъ той готовности, съ какою Русскій человѣкъ стремился съ самаго начала осуществить въ своей жизни всю полноту принятаго имъ новаго убѣжденія, можетъ служить первое, еще необдуманное (такъ прекрасно необдуманное!) желаніе Св. Владиміра: прощать всѣмъ преступникамъ. Сама Церковь первая остановила его отъ исполненія этого желанія, положивъ, такимъ образомъ, различіе между обязанностями лично-духовными и свѣтски-правительственными. Вмѣстѣ съ тѣмъ опредѣлила она, сначала навсегда, твердыя границы между собою и государствомъ, между безусловною чистотою своихъ высшихъ началъ и житейскою смѣшанностію общественнаго устройства, всегда оставаясь внѣ государства и его мірскихъ отношеній, высоко надъ ними, какъ недосягаемый, свѣтлый идеалъ, къ которому они должны стремиться, и который самъ не смѣшивался съ ихъ земными пружинами. Управляя личнымъ убѣжденіемъ людей, Церковь Православная никогда не имѣла притязанія насильственно управлять ихъ волею, или пріобрѣтать себѣ власть свѣтски-правительственную, или, еще менѣе, искать формальнаго господства надъ правительственною властію. Государство, правда, стояло Церковью: оно было тѣмъ крѣпче въ своихъ основахъ, тѣмъ связнѣе въ своемъ устройствѣ, тѣмъ цѣльнѣе въ своей внутренней жизни, чѣмъ болѣе проникалось ею. Но Церковь никогда не стреми-

(1) См. Москвит. 1845 г. N 3-й: *О древней Русской Исторіи*, статью моего брата, Петра Вас. Кирѣевскаго, котораго взглядъ на прежнюю Россію представляетъ, по моему мнѣнію, самую ясную картину ея первобытнаго устройства.

лась быть государствомъ, какъ и государство, въ свою очередь, смиренно сознавая свое мірское назначеніе, никогда не называло себя «святымъ». Ибо, если Русскую землю иногда называли: «святая Русь», то это единственно съ мыслію о тѣхъ святыняхъ мощей и монастырей и храмовъ Божіихъ, которыя въ ней находились; а не потому, чтобы ея устройство представляло сопроницаніе церковности и свѣтскости, какъ устройство «Святой Римской Имперіи».

Управляя такимъ образомъ общественнымъ составомъ, какъ духъ управляетъ составомъ тѣлеснымъ, Церковь не облекала характеромъ церковности мірскихъ устройствъ, подобныхъ рыцарско-монашескимъ орденамъ, инквизиціоннымъ судилищамъ и другимъ свѣтско-духовнымъ постановленіямъ Запада; но, проникая всѣ умственныя и нравственныя убѣжденія людей, она невидимо вела государство къ осуществленію высшихъ Христіанскихъ началъ, никогда не мѣшая его естественному развитію. И духовное вліяніе Церкви на это естественное развитіе общественности могло быть тѣмъ полнѣе и чище, что никакое историческое препятствіе не мѣшало внутреннимъ убѣжденіямъ людей выражаться въ ихъ внѣшнихъ отношеніяхъ. Неискаженная завоеваніемъ, Русская земля, въ своемъ внутреннемъ устройствѣ, не стѣснялась тѣми насильственными формами, какія должны возникать изъ борьбы двухъ ненавистныхъ другъ другу племенъ, принужденныхъ, въ постоянной враждѣ, устроивать свою совмѣстную жизнь. Въ ней не было ни завоевателей, ни завоеванныхъ. Она не знала ни желѣзнаго разграниченія неподвижныхъ сословій, ни стѣснительныхъ для одного преимуществъ другаго, ни истекающей оттуда политической и нравственной борьбы, ни сословнаго презрѣнія, ни сословной ненависти, ни сословной зависти. Она не знала, слѣдственно, и необходимаго порожденія этой борьбы: искусственной формальности общественныхъ отношеній и болѣзненнаго процесса общественнаго развитія, совершающагося насильственными измѣненіями законовъ и бурными переломами постановленій. И князья, и бояре, и духовенство, и народъ, и дружины княжескія, и дружины боярскія, и дружины городскія, и дружина земская,—всѣ классы и виды населенія были проник-

нуты однимъ духомъ, одними убѣжденіями, однородными понятіями, одинакою потребностію общаго блага. Могло быть разномысліе въ какомъ нибудь частномъ обстоятельствѣ; но въ вопросахъ существенныхъ — слѣдовъ разномыслія почти не встрѣчается.

Такимъ образомъ, Русское общество выросло самобытно и естественно, подъ вліяніемъ одного внутренняго убѣжденія, Церковью и бытовымъ преданіемъ воспитаннаго. Однакоже — или лучше сказать: *потому* именно, въ немъ не было и мечтательнаго равенства, какъ не было и стѣснительныхъ преимуществъ. Оно представляетъ не плоскость, а лѣстницу, на которой было множество ступеней; но эти ступени не были вѣчно неподвижными, ибо устанавливались естественно, какъ необходимые сосуды общественнаго организма, а не насильственно, случайностями войны, и не преднамѣренно, по категоріямъ разума.

Если бы кто захотѣлъ вообразить себѣ Западное общество феодальныхъ временъ, то не иначе могъ бы сложить объ немъ картину, какъ представивъ себѣ множество зàмковъ, укрѣпленныхъ стѣнами, внутри которыхъ живетъ благородный рыцарь съ своею семьею, вокругъ которыхъ поселена — подлая чернь. Рыцарь былъ лицо; чернь — часть его зàмка. Воинственныя отношенія этихъ личныхъ зàмковъ между собою и ихъ отношенія къ вольнымъ городамъ, къ королю и къ Церкви, — составляютъ всю исторію Запада.

Напротивъ того, воображая себѣ Русское общество древнихъ временъ, не видишь ни зàмковъ, ни окружающей ихъ подлой черни, ни благородныхъ рыцарей, ни борющагося съ ними короля. Видишь безчисленное множество маленькихъ общинъ, по всему лицу земли Русской разселенныхъ и имѣющихъ, каждая на извѣстныхъ правахъ, своего распорядителя, и составляющихъ, каждая, свое особое согласіе, или свой маленькій міръ: эти маленькіе міры или согласія сливаются въ другія, бóльшія согласія, которыя, въ свою очередь, составляютъ согласія областныя и, наконецъ, племенныя, изъ которыхъ уже слагается одно общее, огромное согласіе всей Русской земли, имѣющее надъ собою Великаго Князя всея Руси, на которомъ

утверждается вся кровля общественнаго зданія, опираются всѣ связи его верховнаго устройства.

Вслѣдствіе такихъ естественныхъ, простыхъ и единодушныхъ отношеній, и законы, выражающіе эти отношенія, не могли имѣть характеръ искусственной формальности; но, выходя изъ двухъ источниковъ: изъ бытоваго преданія и изъ внутренняго убѣжденія, они должны были, въ своемъ духѣ, въ своемъ составѣ и въ своихъ примѣненіяхъ, носить характеръ болѣе внутренней, чѣмъ внѣшней правды, предпочитая очевидность существенной справедливости — буквальному смыслу формы; святость преданія — логическому выводу; нравственность требованія — внѣшней пользѣ. Я говорю, разумѣется, не о томъ или другомъ законѣ отдѣльно, но о всей, такъ сказать, наклонности (тенденціи) древне-Русскаго права. Внутренняя справедливость брала въ немъ перевѣсъ надъ внѣшнею формальностію.

Между тѣмъ, какъ Римско-Западная юриспруденція отвлеченно выводитъ логическія заключенія изъ каждаго законнаго условія, говоря: *форма — это самый законъ*,— и старается всѣ формы связать въ одну разумную систему, гдѣ бы каждая часть, по отвлеченно-умственной необходимости, правильно развивалась изъ цѣлаго, и все вмѣстѣ составляло не только разумное дѣло, но *самый написанный разумъ*; право обычное, напротивъ того, какъ оно было въ Россіи, выростая изъ жизни, совершенно чуждалось развитія отвлеченно-логическаго. Законъ въ Россіи не изобрѣтался предварительно какими-нибудь учеными юрисконсультами; не обсуживался глубокомысленно и краснорѣчиво въ какомъ-нибудь законодательномъ собраніи, и не падалъ потомъ, какъ снѣгъ на голову, посреди всей удивленной толпы гражданъ, ломая у нихъ какой-нибудь уже заведенный порядокъ отношеній..... Логическое движеніе законовъ можетъ существовать только тамъ, гдѣ самая общественность основана на искусственныхъ условіяхъ; гдѣ, слѣдовательно, развитіемъ общественнаго устройства можетъ и должно управлять *мнѣніе* всѣхъ или нѣкоторыхъ. Но тамъ, гдѣ общественность основана на коренномъ единомысліи, тамъ твердость нравовъ, святость преданія и крѣпость обычныхъ отношеній

не могутъ нарушаться, не разрушая самыхъ существенныхъ условій жизни общества. Тамъ каждая насильственная перемѣна по логическому выводу была бы разрѣзомъ ножа въ самомъ сердцѣ общественнаго организма. Ибо общественность тамъ стоитъ *на убѣжденіяхъ*, и потому всякія *мнѣнія*, даже всеобщія, управляя ея развитіемъ, были бы для нея смертоносны.

Мнѣніе, убѣжденіе — двѣ совершенно особыя пружины двухъ, совершенно различныхъ, общественныхъ устройствъ. — Мнѣніе не тѣмъ только отличается отъ убѣжденія, что первое минутнѣе, второе тверже; первое — выводъ изъ логическихъ соображеній; второе—итогъ всей жизни; но въ политическомъ смыслѣ они имѣютъ еще другое несходство: убѣжденіе есть невыисканное сознаніе всей совокупности общественныхъ отношеній; мнѣніе есть преувеличенное сочувствіе только той сторонѣ общественныхъ интересовъ, которая совпадаетъ съ интересами одной партіи, и потому прикрываетъ ея своекорыстную исключительность обманчивымъ призракомъ общей пользы.

Отъ того въ обществѣ искусственномъ, основанномъ на формальномъ сочетаніи интересовъ, каждое улучшеніе совершается вслѣдствіе какого-нибудь преднамѣреннаго плана; новое отношеніе вводится потому, что нынѣшнее мнѣніе беретъ верхъ надъ вчерашнимъ порядкомъ вещей; каждое постановленіе насильственно измѣняетъ прежнее: развитіе совершается, какъ мы уже замѣтили, по закону переворотовъ — съ верху въ низъ или съ низу въ верхъ, смотря потому, гдѣ торжествующая партія сосредоточила свои силы, и куда торжествующее мнѣніе ихъ направило. Напротивъ того, въ обществѣ, устроившемся естественно изъ самобытнаго развитія своихъ коренныхъ началъ, каждый переломъ есть болѣзнь, болѣе или менѣе опасная; законъ переворотовъ, вмѣсто того, чтобы быть условіемъ жизненныхъ улучшеній, есть для него условіе распаденія и смерти: ибо его развитіе можетъ совершаться только гармонически и непримѣтно, по закону естественнаго возрастанія въ односмысленномъ пребываніи.

Одно изъ самыхъ существенныхъ отличій правомѣрнаго устройства Россіи и Запада составляютъ коренныя понятія о правѣ поземельной собственности. Римскіе гражданскіе законы, можно

сказать, суть всѣ не что иное, какъ развитіе безусловности этого права. Западно-Европейскія общественныя устройства также произошли изъ разновидныхъ сочетаній этихъ самобытныхъ правъ, въ основаніи своемъ неограниченныхъ и, только въ отношеніяхъ общественныхъ, принимающихъ нѣкоторыя взаимноусловныя ограниченія. Можно сказать: все зданіе Западной общественности стоитъ на развитіи этого личнаго права собственности, такъ, что и самая личность, въ юридической основѣ своей, есть только выраженіе этого права собственности.

Въ устройствѣ Русской общественности, личность есть первое основаніе, а право собственности только ея *случайное* отношеніе. Общинѣ земля принадлежитъ потому, что община состоитъ изъ семей, состоящихъ изъ лицъ, могущихъ землю воздѣлывать. Съ увеличеніемъ числа лицъ, увеличивается и количество земли, принадлежащее семьѣ; съ уменьшеніемъ — уменьшается. Право общины надъ землею ограничивается правомъ помѣщика, или вотчинника; право помѣщика условливается его отношеніемъ къ государству. Отношенія помѣщика къ государству зависятъ не отъ помѣстья его, но его помѣстье зависитъ отъ его личныхъ отношеній. Эти личныя отношенія опредѣляются столько же личными отношеніями его отца, сколько и собственными, теряются неспособностью поддерживать ихъ, или возраетаютъ решительнымъ перевѣсомъ достоинствъ надъ другими, совмѣстными личностями. Однимъ словомъ, безусловность поземельной собственности могла являться въ Россіи только какъ исключеніе. Общество слагалось не изъ частныхъ собственностей, къ которымъ приписывались лица, но изъ лицъ, которымъ приписывалась собственность.

Запутанность, которая въ послѣдствіи могла произойти отъ этихъ отношеній въ высшихъ слояхъ общества, при уничтоженіи мѣлкихъ княжествъ и сліяніи ихъ въ одно правительственное устройство, была случайная и имѣла основаніе свое, какъ кажется, въ причинахъ постороннихъ, являясь не какъ необходимое развитіе, но уже какъ нѣкоторое уклоненіе отъ правильнаго развитія основнаго духа всей Русской государственности. Впрочемъ, вовсякомъ случаѣ, это особенное, совершенно отличное отъ Запада, положеніе, въ которомъ человѣкъ понималъ себя

относительно поземельной собственности, должно было находиться въ связи со всею совокупностью его общественныхъ и общежительныхъ и нравственныхъ отношеній.

Потому, общежительныя отношенія Русскихъ были также отличны отъ Западныхъ. Я не говорю о различіи нѣкоторыхъ частныхъ формъ, которыя можно почитать несущественными случайностями народной особенности. Но самый характеръ народныхъ обычаевъ, самый смыслъ общественныхъ отношеній и частныхъ нравовъ, былъ совсѣмъ иной. Западный человѣкъ раздробляетъ свою жизнь на отдѣльныя стремленія и, хотя связываетъ ихъ разсудкомъ въ одинъ общій планъ, однакоже, въ каждую минуту жизни, является какъ иной человѣкъ. Въ одномъ углу его сердца живетъ чувство религіозное, которое онъ употребляетъ при упражненіяхъ благочестія; въ другомъ,—отдѣльно-силы разума и усилія житейскихъ занятій; въ третьемъ—стремленія къ чувственнымъ утѣхамъ; въ четвертомъ—нравственно-семейное чувство; въ пятомъ—стремленіе къ личной корысти; въ шестомъ—стремленіе къ наслажденіямъ изящно искусственнымъ; и каждое изъ частныхъ стремленій подраздѣляется еще на разные виды, сопровождаемые особыми состояніями души, которыя всѣ являются разрозненно одно отъ другаго и связываются только отвлеченнымъ разсудочнымъ воспоминаніемъ. Западный человѣкъ легко могъ поутру молиться съ горячимъ, напряженнымъ, изумительнымъ усердіемъ; потомъ отдохнуть отъ усердія, забывъ молитву и упражняя другія силы въ работѣ; потомъ отдохнуть отъ работы, не только физически, но и нравственно, забывая ея сухія занятія за смѣхомъ и звономъ застольныхъ пѣсенъ; потомъ забыть весь день и всю жизнь въ мечтательномъ наслажденіи искусственнаго зрѣлища. На другой день ему легко было опять снова начать оборачивать то же колесо своей наружно-правильной жизни.

Не такъ человѣкъ Русскій. Молясь въ церкви, онъ не кричитъ отъ восторга, не бьетъ себя въ грудь, не падаетъ безъ чувствъ отъ умиленія; напротивъ, во время подвига молитвеннаго онъ особенно старается сохранить трезвый умъ и цѣльность духа. Когда же не односторонняя напряженность чувствительности, но самая полнота молитвеннаго самосознанія

проникнетъ его душу, и умиленіе коснется его сердца; то слезы его льются незамѣтно, и никакое страстное движеніе не смущаетъ глубокой тишины его внутренняго состоянія. За то онъ не поетъ и застольныхъ пѣсенъ. Его обѣдъ совершается съ молитвою. Съ молитвою начинаетъ и оканчиваетъ онъ каждое дѣло. Съ молитвою входитъ въ домъ и выходитъ. Послѣдній крестьянинъ, являясь во дворецъ передъ лицо Великаго Князя (за честь котораго онъ, можетъ быть, вчера еще отваживалъ свою жизнь въ какомъ - нибудь случайномъ спорѣ съ Ляхами), не кланяется хозяину прежде, чѣмъ преклонится передъ изображеніемъ Святыни, которое всегда, очевидно, стояло въ почетномъ углу каждой избы, большой и малой.—Такъ Русскій человѣкъ каждое важное и неважное дѣло свое всегда связывалъ непосредственно съ высшимъ понятіемъ ума и съ глубочайшимъ средоточіемъ сердца.

Однакоже надобно признаться, что это постоянное стремленіе къ совокупной цѣльности всѣхъ нравственныхъ силъ могло имѣть и свою опасную сторону. Ибо только въ томъ обществѣ, гдѣ всѣ классы равно проникнуты однимъ духомъ; гдѣ повсемѣстно уважаемые и многочисленные монастыри,—эти народныя школы и высшіе университеты религіознаго государства,—вполнѣ владѣютъ надъ умами; гдѣ, слѣдовательно, люди, созрѣвшіе въ духовной мудрости, могутъ постоянно руководствовать другихъ, еще не дозрѣвшихъ: тамъ подобное расположеніе человѣка должно вести его къ высшему совершенству. Но когда, еще не достигнувъ до самобытной зрѣлости внутренней жизни, онъ будетъ лишенъ руководительныхъ заботъ высшаго ума, то жизнь его можетъ представить неправильное сочетаніе излишнихъ напряженій съ излишними изнеможеніями. Отъ того видимъ мы иногда, что Русскій человѣкъ, сосредоточивая всѣ свои силы въ работѣ, въ три дня можетъ сдѣлать больше, чѣмъ остсрожный Нѣмецъ не сдѣлаетъ въ тридцать; но за то, потомъ, уже долго не можетъ онъ добровольно приняться за дѣло свое. Вотъ почему, при такомъ недозрѣломъ состояніи и при лишеніи единодушнаго руководителя, часто для Русскаго человѣка самый ограниченный умъ Нѣмца, размѣряя по часамъ и

табличкѣ мѣру и степень его трудовъ, можетъ лучше, чѣмъ онъ самъ, управлять порядкомъ его занятій.

Но въ древней Россіи эта внутренняя цѣльность самосознанія, къ которой самые обычаи направляли Русскаго человѣка, отражалась и на формахъ его жизни семейной, гдѣ законъ постояннаго, ежеминутнаго самоотверженія былъ не геройскимъ исключеніемъ, но дѣломъ общей и обыкновенной обязанности. До сихъ поръ еще сохраняется этотъ характеръ семейной цѣльности въ нашемъ крестьянскомъ быту. Ибо, если мы захотимъ вникнуть во внутреннюю жизнь нашей избы, то замѣтимъ въ ней то обстоятельство, что каждый членъ семьи, при всѣхъ своихъ безпрестанныхъ трудахъ и постоянной заботѣ объ успѣшномъ ходѣ всего хозяйства, никогда въ своихъ усиліяхъ не имѣетъ въ виду своей личной корысти. Мысли о собственной выгодѣ совершенно отсѣкъ онъ отъ самаго корня своихъ побужденій. Цѣльность семьи есть одна общая цѣль и пружина. Весь избытокъ хозяйства идетъ безотчетно одному главѣ семейства; всѣ частныя заработки сполна и совѣстливо отдаются ему. И притомъ образъ жизни всей семьи обыкновенно мало улучшается и отъ излишнихъ избытковъ главы семейства; но частные члены не входятъ въ ихъ употребленіе и не ищутъ даже узнать величину ихъ: они продолжаютъ свой вѣчный трудъ и заботы съ одинакимъ самозабвеніемъ, какъ обязанность совѣсти, какъ опору семейнаго согласія. Въ прежнія времена это было еще разительнѣе: ибо семьи были крупнѣе и составлялись не изъ однихъ дѣтей и внуковъ, но сохраняли свою цѣльность, при значительномъ размноженіи рода. Между тѣмъ, и теперь еще можемъ мы ежедневно видѣть, какъ легко, при важныхъ несчастіяхъ жизни, какъ охотно, скажу даже, какъ радостно одинъ членъ семейства всегда готовъ добровольно пожертвовать собою за другаго, когда видитъ въ своей жертвѣ общую пользу своей семьи.

На Западѣ ослабленіе семейныхъ связей было слѣдствіемъ общаго направленія образованности: отъ высшихъ классовъ народа перешло оно къ низшимъ, прямымъ вліяніемъ первыхъ на послѣдніе и неудержимымъ стремленіемъ послѣднихъ: перенимать нравы класса господствующаго. Эта страстная

подражательность тѣмъ естественнѣе, чѣмъ однороднѣе умственная образованность различныхъ классовъ, и тѣмъ быстрѣе приноситъ плоды, чѣмъ искусственнѣе характеръ самой образованности, и чѣмъ болѣе она подчиняется личнымъ мнѣніямъ.

Въ высшихъ слояхъ Европейскаго общества, семейная жизнь, говоря вообще, весьма скоро стала, даже для женщинъ, дѣломъ почти постороннимъ. Отъ самаго рожденія дѣти знатныхъ родовъ воспитывались за глазами матери. Особенно въ тѣхъ государствахъ, гдѣ мода воспитывать дочерей внѣ семьи, въ отдѣленныхъ отъ нея непроницаемыми стѣнами монастыряхъ, сдѣлалась общимъ обычаемъ высшаго сословія, тамъ мать семейства вовсе почти лишена была семейнаго смысла. Переступая черезъ порогъ монастыря только для того, чтобы идти подъ вѣнецъ, она тѣмъ же шагомъ вступала въ заколдованный кругъ свѣтскихъ обязанностей, прежде, чѣмъ узнала обязанности семейныя. Потому, чувствительность къ отношеніямъ общественнымъ брала въ ней верхъ надъ отношеніями домашними. Самолюбивыя и шумныя удовольствія гостиной замѣняли ей тревоги и радости тихой дѣтской. Салонная любезность и умѣнье жить въ свѣтѣ, съ избыткомъ развиваясь на счетъ другихъ добродѣтелей, сдѣлались самою существенною частію женскаго достоинства. Скоро для обоихъ половъ блестящая гостиная обратилась въ главный источникъ удовольствій и счастія, въ источникъ ума и образованности, въ источникъ силы общественной, въ господствующую и всепоглощающую цѣль ихъ искусственной жизни. Оттуда,—особенно въ государствахъ, гдѣ воспитаніе женщинъ высшаго круга совершалось внѣ семьи,—произошло великолѣпное, обворожительное развитіе общежительныхъ утонченностей; вмѣстѣ съ этимъ развитіемъ и нравственное гніеніе высшаго класса, и въ немъ первый зародышъ, знаменитаго въ послѣдствіи, ученія о всесторонней эманципаціи женщины.

Въ Россіи, между тѣмъ, формы общежитія, выражая общую цѣльность быта, никогда не принимали отдѣльнаго, самосто-

ятельнаго развитія, оторваннаго отъ жизни всего народа, и потому не могли заглушить въ человѣкѣ его семейнаго смысла, ни повредить цѣльности его нравственнаго возрастанія. Рѣзкая особенность Русскаго характера въ этомъ отношеніи заключалась въ томъ, что никакая личность, въ общежительныхъ сношеніяхъ своихъ, никогда не искала выставить свою самородную особенность какъ какое-то достоинство; но все честолюбіе частныхъ лицъ ограничивалось стремленіемъ: быть правильнымъ выраженіемъ основнаго духа общества. Потому, какъ гостиная не правительствуетъ въ государствѣ, котораго всѣ части проникнуты сочувствіемъ со всею цѣльностію жизни общественной; какъ личное мнѣніе не господствуетъ въ обществѣ, которое незыблемо стоитъ на убѣжденіи: такъ и прихоть моды не властвуетъ въ немъ, вытѣсняясь твердостію общаго быта.

При такомъ устройствѣ нравовъ, простота жизни и простота нуждъ была не слѣдствіемъ недостатка средствъ и не слѣдствіемъ неразвитія образованности, но требовалась самымъ характеромъ основнаго просвѣщенія. На Западѣ роскошь была не противорѣчіе, но законное слѣдствіе раздробленныхъ стремленій общества и человѣка; она была, можно сказать, въ самой натурѣ искусственной образованности; ее могли порицать духовные, въ противность обычнымъ понятіямъ, но въ общемъ мнѣніи она была почти добродѣтелью. Ей не уступали, какъ слабости, но, напротивъ, гордились ею, какъ завиднымъ преимуществомъ. Въ средніе вѣка, народъ съ уваженіемъ смотрѣлъ на наружный блескъ, окружающій человѣка, и свое понятіе объ этомъ наружномъ блескѣ благоговѣйно сливалъ въ одно чувство съ понятіемъ о самомъ достоинствѣ человѣка. Русскій человѣкъ, больше золотой парчи придворнаго, уважалъ лохмотья юродиваго. Роскошь проникала въ Россію, но какъ зараза отъ сосѣдей. Въ ней извинялись; ей поддавались, какъ пороку, всегда чувствуя ея незаконность, не только религіозную, но и нравственную и общественную.

Западный человѣкъ искалъ развитіемъ внѣшнихъ средствъ облегчить тяжесть внутреннихъ недостатковъ. Русской чело-

вѣкъ стремился внутреннимъ возвышеніемъ надъ внѣшними потребностями избѣгнуть тяжести внѣшнихъ нуждъ. Еслибы наука о политической экономіи существовала тогда, то, безъ всякаго сомнѣнія, она не была бы понятна Русскому. Онъ не могъ бы согласить съ цѣльностію своего воззрѣнія на жизнь— особой науки о богатствѣ. Онъ не могъ бы понять, какъ можно съ намѣреніемъ раздражать чувствительность людей къ внѣшнимъ потребностямъ, только для того, чтобы умножить ихъ усилія къ вещественной производительности. Онъ зналъ, что развитіе богатства есть одно изъ второстепенныхъ условій жизни общественной и должно потому находиться не только въ тѣсной связи съ другими высшими условіями, но и въ совершенной имъ подчиненности.

Впрочемъ, если роскошь жизни еще могла, какъ зараза, проникнуть въ Россію, то искусственный комфортъ съ своею художественною изнѣженностію, равно какъ и всякая умышленная искусственность жизни, всякая разслабленная мечтательность ума, никогда не получили бы въ ней право гражданства,—какъ прямое и ясное противорѣчіе ея господствующему духу.

По той же причинѣ, если бы и изящныя искусства имѣли время развиться въ древней Россіи, то, конечно, приняли бы въ ней другой характеръ, чѣмъ на Западѣ. Тамъ развивались они сочувственно съ общимъ движеніемъ мысли, и потому та же раздробленность духа, которая въ умозрѣніи произвела логическую отвлеченность, въ изящныхъ искусствахъ породила мечтательность и разрозненность сердечныхъ стремленій. Оттуда языческое поклоненіе отвлеченной красотѣ. Вмѣсто того, чтобы смыслъ красоты и правды хранить въ той неразрывной связи, которая, конечно, можетъ мѣшать быстротѣ ихъ отдѣльнаго развитія, но которая бережетъ общую цѣльность человѣческаго духа и сохраняетъ истину его проявленій: Западный міръ, напротивъ того, основалъ красоту свою на обманѣ воображенія, на завѣдомо ложной мечтѣ, или на крайнемъ напряженіи односторонняго чувства, рождающагося изъ умышленнаго раздвоенія ума. Ибо Западный міръ не сознавалъ, что мечтательность есть сердечная ложь, и что

внутренняя цѣльность бытія необходима не только для истины разума, но и для полноты изящнаго наслажденія.

Это направленіе изящныхъ искусствъ шло не мимо жизни всего Западнаго міра. Изнутри всей совокупности человѣческихъ отношеній рождается свободное искусство и, явившись на свѣтъ, снова входитъ въ самую глубину человѣческаго духа, укрѣпляя его или разслабляя, собирая его силы или расточая ихъ. Отъ того, я думаю, ложное направленіе изящныхъ искусствъ еще глубже исказило характеръ просвѣщенія Европейскаго, чѣмъ само направленіе философіи, которая тогда только бываетъ пружиною развитія, когда сама результатъ его. Но добровольное, постоянное и, такъ сказать, одушевленное стремленіе къ умышленному раздвоенію внутренняго самознанія разщепляетъ самый корень душевныхъ силъ. Отъ того разумъ обращается въ умную хитрость, сердечное чувство—въ слѣпую страсть, красота—въ мечту, истина—въ мнѣніе; наука—въ силлогизмъ; существенность—въ предлогъ къ воображенію; добродѣтель—въ самодовольство, а театральность является неотвязною спутницею жизни, внѣшнею прикрышкою лжи, —какъ мечтательность служитъ ей внутреннею маскою.

Но назвавъ «самодовольство», я коснулся еще одного, довольно общаго отличія Западнаго человѣка отъ Русскаго. Западный, говоря вообще, почти всегда доволенъ своимъ нравственнымъ состояніемъ; почти каждый изъ Европейцевъ всегда готовъ, съ гордостію ударяя себя по сердцу, говорить себѣ и другимъ, что совѣсть его вполнѣ спокойна, что онъ совершенно чистъ передъ Богомъ и людьми, что онъ одного только проситъ у Бога, чтобы другіе люди всѣ были на него похожи. Если же случится, что самыя наружныя дѣйствія его придутъ въ противорѣчіе съ общепринятыми понятіями о нравственности: онъ выдумываетъ себѣ особую, оригинальную систему нравственности, вслѣдствіе которой его совѣсть опять успокоивается. Русскій человѣкъ, напротивъ того, всегда живо чувствуетъ свои недостатки, и чѣмъ выше восходитъ по лѣстницѣ нравственнаго развитія, тѣмъ болѣе требуетъ отъ себя, и потому тѣмъ менѣе бываетъ доволенъ собою. При уклоненіяхъ отъ истиннаго пути, онъ не ищетъ обмануть себя какимъ-

нибудь хитрымъ разсужденіемъ, придавая наружный видъ правильности своему внутреннему заблужденію; но, даже въ самыя страстныя минуты увлеченія, всегда готовъ сознать его нравственную незаконность.

Но остановимся здѣсь и соберемъ вмѣстѣ все сказанное нами о различіи просвѣщенія Западно-Европейскаго и древне-Русскаго; ибо, кажется, достаточно уже замѣченныхъ нами особенностей для того, чтобы, сведя ихъ въ одинъ итогъ, вывести ясное опредѣленіе характера той и другой образованности.

Христіанство проникало въ умы Западныхъ народовъ черезъ ученіе одной Римской Церкви, — въ Россіи оно зажигалось на свѣтильникахъ всей Церкви Православной; богословіе на Западѣ приняло характеръ разсудочной отвлеченности, — въ Православномъ мірѣ оно сохранило внутреннюю цѣльность духа; тамъ раздвоеніе силъ разума, — здѣсь стремленіе къ ихъ живой совокупности; тамъ движеніе ума къ истинѣ посредствомъ логическаго сцѣпленія понятій, — здѣсь стремленіе къ ней посредствомъ внутренняго возвышенія самосознанія къ сердечной цѣльности и средоточію разума; тамъ исканіе наружнаго, мертваго единства, — здѣсь стремленіе къ внутреннему, живому; тамъ Церковь смѣшалась съ государствомъ, соединивъ духовную власть со свѣтскою и сливая церковное и мірское значеніе въ одно устройство, смѣшаннаго характера, — въ Россіи она оставалась не смѣшанною съ мірскими цѣлями и устройствомъ; тамъ схоластическіе и юридическіе университеты, — въ древней Россіи молитвенные монастыри, сосредоточивавшіе въ себѣ высшее знаніе; тамъ разсудочное и школьное изученіе высшихъ истинъ, — здѣсь стремленіе къ ихъ живому и цѣльному познаванію; тамъ взаимное проростаніе образованности языческой и Христіанской, — здѣсь постоянное стремленіе къ очищенію истины; тамъ государственность изъ насилій завоеванія, — здѣсь изъ естественнаго развитія народнаго быта, проникнутаго единствомъ основнаго убѣжденія; тамъ враждебная разграниченность сословій, — въ древней Россіи ихъ единодушная совокупность, при естественной разновидности; тамъ искусственная связь рыцарскихъ замковъ съ ихъ принадлежностями составляетъ отдѣльныя государства, — здѣсь совокупное согласіе всей земли духовно

выражаетъ нераздѣлимое единство; тамъ поземельная собственность — первое основаніе гражданскихъ отношеній, — здѣсь собственность только случайное выраженіе отношеній личныхъ; тамъ законность формально логическая, — здѣсь — выходящая изъ быта; тамъ наклонность права къ справедливости внѣшней, —здѣсь предпочтеніе внутренней; тамъ юриспруденція стремится къ логическому кодексу,—здѣсь, вмѣсто наружной связности формы съ формою, ищетъ она внутренней связи правомѣрнаго убѣжденія съ убѣжденіями вѣры и быта; тамъ законы исходятъ искусственно изъ господствующаго мнѣнія, — здѣсь они рождались естественно изъ быта; тамъ улучшенія всегда совершались насильственными перемѣнами, — здѣсь стройнымъ естественнымъ возрастаніемъ; тамъ волненіе духа партій, здѣсь незыблемость основнаго убѣжденія; тамъ прихоть моды,—здѣсь твердость быта; тамъ шаткость личной самозаконности,—здѣсь крѣпость семейныхъ и общественныхъ связей; тамъ щеголеватость роскоши и искусственность жизни, — здѣсь простота жизненныхъ потребностей и бодрость нравственнаго мужества; тамъ изнѣженность мечтательности, — здѣсь здоровая цѣльность разумныхъ силъ; тамъ внутренняя тревожность духа, при разсудочной увѣренности въ своемъ нравственномъ совершенствѣ, — у Русскаго — глубокая тишина и спокойствіе внутренняго самосознанія, при постоянной недовѣрчивости къ себѣ и при неограниченной требовательности нравственнаго усовершенія; однимъ словомъ, тамъ раздвоеніе духа, раздвоеніе мыслей, раздвоеніе наукъ, раздвоеніе государства, раздвоеніе сословій, раздвоеніе общества, раздвоеніе семейныхъ правъ и обязанностей, раздвоеніе нравственнаго и сердечнаго состоянія, раздвоеніе всей совокупности и всѣхъ отдѣльныхъ видовъ бытія человѣческаго, общественнаго и частнаго; — въ Россіи, напротивъ того, преимущественное стремленіе къ цѣльности бытія внутренняго и внѣшняго, общественнаго и частнаго, умозрительнаго и житейскаго, искусственнаго и нравственнаго. Потому, если справедливо сказанное нами прежде, то *раздвоеніе* и *цѣльность, разсудочность* и *разумность*, будутъ послѣднимъ выраженіемъ Западно-Европейской и древне-Русской образованности.

Но здѣсь естественно приходитъ вопросъ: отъ чего же

образованность Русская не развилась полнѣе образованности Европейской, прежде введенія въ Россію просвѣщенія Западнаго? Отъ чего не опередила Россія Европу? Отъ чего не стала она во главѣ умственнаго движенія всего человѣчества, имѣя столько залоговъ для правильнаго и всеобъемлющаго развитія духа?

Въ объясненіе этого сказать: что если развитіе Русскаго ума отдалилось на нѣсколько вѣковъ отъ того времени, когда оно, по вѣроятности, должно было совершиться, то это произошло по высшей волѣ Провидѣнія,—значило бы сказать мысль справедливую, но не отвѣтную. Святое Провидѣніе не безъ нравственной причины человѣка продолжаетъ или сокращаетъ назначенный ему путь. Отъ Египта до Обѣтованной земли, Израильскій народъ могъ совершить въ 40 дней то путешествіе черезъ пустыни Аравійскія, которое онъ совершалъ 40 лѣтъ только потому, что душа его удалялась отъ чистаго стремленія къ Богу, его ведущему.

Но мы говорили уже, что каждый патріархатъ во Вселенской Церкви, каждый народъ, каждый человѣкъ, принося на служеніе ей свою личную особенность, въ самомъ развитіи этой особенности встрѣчаетъ опасность для своего внутренняго равновѣсія и для своего согласнаго пребыванія въ общемъ духѣ Православія.

Въ чемъ же заключалась особенность Россіи, сравнительно съ другими народами міра Православнаго, и гдѣ таилась для нея опасность?—И не развилась ли эта особенность въ нѣкоторое излишество, могущее уклонить ея умственное направленіе отъ прямаго пути къ назначенной ему цѣли?

Здѣсь, конечно, могутъ быть только гадательныя предположенія. Что касается до моего личнаго мнѣнія, то я думаю, что особенность Россіи заключалась въ самой полнотѣ и чистотѣ того выраженія, которое Христіанское ученіе получило въ ней,—во всемъ объемѣ ея общественнаго и частнаго быта. Въ этомъ состояла главная сила ея образованности; но въ этомъ же таилась и главная опасность для ея развитія. Чистота выраженія такъ сливалась съ выражаемымъ духомъ, что человѣку легко было смѣшать ихъ значительность, и наружную форму

уважать наравнѣ съ ея внутреннимъ смысломъ. Отъ этого смѣшенія, конечно, ограждалъ его самый характеръ Православнаго ученія, преимущественно заботящагося о цѣльности духа. Однако же разумъ ученія, принимаемаго человѣкомъ, не совершенно уничтожаетъ въ немъ обще-человѣческую слабость. Въ человѣкѣ и въ народѣ, нравственная свобода воли не уничтожается никакимъ воспитаніемъ и никакими постановленіями. Въ XVI вѣкѣ, дѣйствительно, видимъ мы, что уваженіе къ формѣ уже во многомъ преобладаетъ надъ уваженіемъ духа. Можетъ быть, начало этого неравновѣсія должно искать еще и прежде; но въ XVI вѣкѣ оно уже становится видимымъ. Нѣкоторыя поврежденія, вкравшіяся въ богослужебныя книги, и нѣкоторыя особенности въ наружныхъ обрядахъ Церкви упорно удерживались въ народѣ, не смотря на то, что безпрестанныя сношенія съ Востокомъ должны бы были вразумить его о несходствахъ съ другими Церквами. Въ то же время видимъ мы, что частныя юридическія постановленія Византіи не только изучались, но и уважались наравнѣ почти съ постановленіями обще-Церковными, и уже выражается требованіе: примѣнять ихъ къ Россіи, какъ бы они имѣли всеобщую обязательность. Въ то же время въ монастыряхъ, сохранявшихъ свое наружное благолѣпіе, замѣчался нѣкоторый упадокъ въ строгости жизни. Въ то же время, правильное въ началѣ, образованіе взаимныхъ отношеній бояръ и помѣщиковъ начинаетъ принимать характеръ уродливой формальности запутаннаго мѣстничества. Въ то же время близость Уніи, страхомъ чуждыхъ нововведеній, еще болѣе усиливаетъ общее стремленіе къ боязливому сохраненію всей, даже наружной и буквальной цѣлости въ коренной Русской Православной образованности.

Такимъ образомъ уваженіе къ преданію, которымъ стояла Россія, нечувствительно для нея самой, перешло въ уваженіе болѣе наружныхъ формъ его, чѣмъ его оживляющаго духа. Оттуда произошла та односторонность въ Русской образованности, которой рѣзкимъ послѣдствіемъ былъ Іоаннъ Грозный, и которая, черезъ вѣкъ послѣ, была причиною расколовъ и, потомъ, своею ограниченностью должна была въ нѣкоторой

части мыслящихъ людей произвести противоположную себѣ, другую односторонность: стремленіе къ формамъ чужимъ и къ чужому духу.

Но корень образованности Россіи живетъ еще въ ея народѣ и, что всего важнѣе, онъ живетъ въ его Святой, Православной Церкви. Потому на этомъ только основаніи, и ни на какомъ другомъ, должно быть воздвигнуто прочное зданіе просвѣщенія Россіи.... Построеніе же этого зданія можетъ совершиться тогда, когда тотъ классъ народа нашего, который не исключительно занятъ добываніемъ матеріальныхъ средствъ жизни, и которому, слѣдовательно, въ общественномъ составѣ преимущественно предоставлено значеніе: выработывать мысленно общественное самосознаніе, — когда этотъ классъ говорю я, до сихъ поръ проникнутый Западными понятіями, наконецъ полнѣе убѣдится въ односторонности Европейскаго просвѣщенія; когда онъ живѣе почувствуетъ потребность новыхъ умственныхъ началъ; когда, съ разумною жаждою полной правды, онъ обратится къ чистымъ источникамъ древней Православной вѣры своего народа, и чуткимъ сердцемъ будетъ прислушиваться къ яснымъ еще отголоскамъ этой Святой вѣры отечества въ прежней, родимой жизни Россіи. Тогда, вырвавшись изъ-подъ гнета разсудочныхъ системъ Европейскаго любомудрія, Русскій образованный человѣкъ, въ глубинѣ особеннаго, недоступнаго для Западныхъ понятій, живаго, цѣльнаго умозрѣнія Святыхъ Отцевъ Церкви, найдетъ самые полные отвѣты именно на тѣ вопросы ума и сердца, которые всего болѣе тревожатъ душу, обманутую послѣдними результатами Западнаго самосознанія. А въ прежней жизни отечества своего онъ найдетъ возможность понять развитіе другой образованности.

Тогда возможна будетъ въ Россіи наука, основанная на самобытныхъ началахъ, отличныхъ отъ тѣхъ, какія намъ предлагаетъ просвѣщеніе Европейское. Тогда возможно будетъ въ Россіи искусство, на самородномъ корнѣ расцвѣтающее (1).

---

(1) О современномъ состояніи искусства и о характерѣ его будущаго развитія было еще въ 1845 году высказано нѣсколько глубокихъ мыслей А. С. Хомяковымъ, въ его статьѣ: *Письмо въ Петербургъ*, напечатанной въ 2-мъ N Москвитянина того года; но тогда воззрѣніе это было, кажется, еще прежде-

Тогда жизнь общественная въ Россіи утвердится въ направленіи, отличномъ отъ того, какое можетъ ей сообщить образованность Западная.

Однакоже, говоря: «направленіе,» я неизлишнимъ почитаю прибавить, что этимъ словомъ я рѣзко ограничиваю весь смыслъ моего желанія. Ибо, если когда нибудь случилось бы мнѣ увидѣть во снѣ, что какая либо изъ внѣшнихъ особенностей нашей прежней жизни, давно погибшая, вдругъ воскресла посреди насъ и въ прежнемъ видѣ своемъ вмѣшалась въ настоящую жизнь нашу; то это видѣніе не обрадовало бы меня. Напротивъ, оно испугало бы меня. Ибо такое перемѣщеніе прошлаго въ новое, отжившаго въ живущее, было бы тоже, что перестановка колеса изъ одной машины въ другую, другаго устройства и размѣра: въ такомъ случаѣ или колесо должно сломаться, или машина. Одного только желаю я, чтобы тѣ начала жизни, которыя хранятся въ ученіи Святой Православной Церкви, вполнѣ проникнули убѣжденія всѣхъ степеней и сословій нашихъ; чтобы эти высшія начала, господствуя надъ просвѣщеніемъ Европейскимъ и не вытѣсняя его, но напротивъ, обнимая его своею полнотою, дали ему высшій смыслъ и послѣднее развитіе, и чтобы та *цѣльность* бытія, которую мы замѣчаемъ въ древней, была навсегда удѣломъ настоящей и будущей нашей Православной Россіи....

—

временно для нашей публики; ибо литература наша не отозвалась на эти живыя мысли тѣмъ отвѣтомъ, какой бы должно было ожидать отъ нея при болѣе сознательномъ расположеніи умовъ.

О НЕОБХОДИМОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ

НОВЫХЪ НАЧАЛЪ

для

ФИЛОСОФІИ.

—

Недавно еще стремленіе къ философіи было господствующимъ въ Европѣ. Даже политическіе вопросы занимали второе мѣсто, подчиняясь рѣшенію философскихъ системъ и отъ нихъ заимствуя свой окончательный смыслъ и свою внутреннюю значительность. Но въ послѣднее время интересъ къ философіи видимо ослабѣлъ, а съ 48-го года отношенія между ею и политикой совершенно перемѣнились: все вниманіе людей мыслящихъ поглощается теперь вопросами политическими; сочиненій философскихъ почти не выходитъ; философскія системы занимаютъ немногихъ,—и по справедливости. Для отвлеченнаго, систематическаго мышленія нѣтъ мѣста въ тѣснотѣ громадныхъ общественныхъ событій, проникнутыхъ всемірною значительностію и смѣняющихся одно другимъ съ быстротою театральныхъ декораціи.

Къ тому же самое философское развитіе въ Европѣ достигло той степени зрѣлости, когда появленіе новой системы уже не можетъ такъ сильно и такъ видимо волновать умы, какъ прежде оно волновало ихъ, поражая противоположностію новыхъ выводовъ съ прежними понятіями. То направленіе къ раціональному самомышленію, которое началось на Западѣ около временъ реформаціи, и котораго первыми представителями въ философіи были Баконъ и Декартъ, постоянно возрастая и распространяясь въ продолженіе трехъ съ половиною столѣтій, то

раздробляясь на множество отдѣльныхъ системъ, то совокупляясь въ ихъ крупные итóги, и переходя такимъ образомъ всѣ ступени своего возможнаго восхожденія, достигло, наконецъ, послѣдняго всевмѣщающаго вывода, далѣе котораго умъ Европейскаго человѣка уже не можетъ стремиться, не измѣнивъ совершенно своего основнаго направленія. Ибо, когда человѣкъ отвергаетъ всякій авторитетъ, кромѣ своего отвлеченнаго мышленія, то можетъ ли онъ идти далѣе того воззрѣнія, гдѣ все бытіе міра является ему прозрачной діалектикой его собственнаго разума, а его разумъ самосознаніемъ всемірнаго бытія? Очевидно, что здѣсь конечная цѣль, которую только можетъ предположить себѣ отвлеченный разумъ, отдѣленный отъ другихъ познавательныхъ силъ,—цѣль, къ которой онъ шелъ въ продолженіе вѣковъ, до которой онъ достигъ въ наше время, и выше которой ему искать уже нѐчего. Лишившись возможности идти впередъ, философія можетъ только распространяться въ ширину, развиваться въ подробностяхъ и подводить всѣ отдѣльныя знанія подъ одинъ общій смыслъ. По этой причинѣ видимъ мы, что современные мыслители Запада, какъ бы ни были различны мнѣнія каждаго, почти всѣ стоятъ на одинакой высотѣ основныхъ началъ. Послѣдователи Гегеля говорятъ языкомъ болѣе школьнымъ, не читавшіе его говорятъ языкомъ болѣе человѣческимъ; но почти всѣ, даже и не слыхавшіе его имени, выражаютъ то главное убѣжденіе, которое служитъ основаніемъ и является послѣднимъ выводомъ его системы. Это убѣжденіе, такъ сказать, въ воздухѣ современной образованности. Потому, если мы видимъ, что мало выходитъ философскихъ книгъ, мало спорятъ о философскихъ вопросахъ; если мы замѣчаемъ, что интересъ къ философскимъ системамъ ослабѣлъ; то изъ этого не слѣдуетъ еще заключать, чтобы ослабѣлъ интересъ къ самому мышленію философскому. Напротивъ, оно болѣе, чѣмъ когда нибудь, проникло во всѣ другія области разума. Каждое явленіе въ общественной жизни и каждое открытіе въ наукахъ ложится въ умѣ человѣка далѣе предѣловъ своей видимой сферы и, связываясь съ вопросами общечеловѣческими, принимаетъ раціонально-философское значеніе. Самая всемірность событій общественныхъ помогаетъ такому направленію ума. Инте-

ресъ простылъ къ школьному построенію системъ; но тѣмъ съ большимъ усиліемъ стремится каждый образованный человѣкъ протянуть руководительную нить своей отвлеченной мысли сквозь всѣ лабиринты общественной жизни, сквозь всѣ чудеса новыхъ открытій въ наукахъ и всю безконечность ихъ возможныхъ послѣдствій. Возникновеніе новыхъ системъ философскихъ кончилось, но господство раціональной философіи продолжается.

Это раціональное мышленіе, которое въ новѣйшей философіи Германіи получило свое окончательное сознаніе и выраженіе, связываетъ всѣ явленія современнаго Европейскаго просвѣщенія въ одинъ общій смыслъ и даетъ имъ одинъ общій характеръ. Каждое движеніе жизни проникнуто тѣмъ же духомъ, каждое явленіе ума наводитъ на тѣ же философскія убѣжденія. Несогласія этихъ раціонально-философскихъ убѣжденій съ ученіями вѣры внушили нѣкоторымъ Западнымъ Христіанамъ желаніе противопоставить имъ другія философскія воззрѣнія, основанныя на вѣрѣ. Но самыя блестящія усилія Западно-Христіанскихъ мыслителей послужили только къ тому, чтобъ еще болѣе доказать прочное господство раціонализма. Ибо противники философіи, стараясь опровергнуть ея выводы, не могутъ, однакоже, оторваться отъ того основанія, изъ котораго произошла философія ходомъ естественнаго развитія, и изъ котораго только насиліемъ могутъ быть вынуждены другія послѣдствія. По этой причинѣ многіе благочестивые люди на Западѣ, пораженные этимъ неудержимымъ стремленіемъ мысли къ невѣрію, желая спасти вѣру, совсѣмъ отвергаютъ всякую философію, какъ нѣчто несовмѣстное съ религіей, и осуждаютъ разумъ вообще, какъ нѣчто противное вѣрѣ. Но эти благочестивые люди на Западѣ не замѣчаютъ, что такимъ гоненіемъ разума они еще болѣе самихъ философовъ вредятъ убѣжденіямъ религіознымъ. Ибо что́ это была бы за религія, которая не могла бы вынести свѣта науки и сознанія? Что́ за вѣра, которая несовмѣстна съ разумомъ?

Между тѣмъ кажется, что вѣрующему человѣку на Западѣ почти не остается другаго средства спасти вѣру, какъ сохранять ея слѣпоту и сберегать боязливо отъ соприкосновенія съ разумомъ. Это несчастное, но необходимое послѣдствіе

внутренняго раздвоенія самой вѣры. Ибо гдѣ ученіе вѣры хотя сколько-нибудь уклонилось отъ своей основной чистоты, тамъ это уклоненіе, развиваясь мало по малу, не можетъ не явиться противорѣчіемъ вѣрѣ. Недостатокъ цѣльности и внутренняго единства въ вѣрѣ принуждаетъ искать единства въ отвлеченномъ мышленіи. Человѣческій разумъ, получивъ одинакія права съ Божественнымъ Откровеніемъ, сначала служитъ основаніемъ религіи, а потомъ замѣняетъ ее собою.

Но говоря о раздвоеніи вѣры и объ отвлеченно-раціональномъ основаніи религіи, я разумѣю не одни протестантскія исповѣданія, гдѣ авторитетъ преданія замѣняется авторитетомъ личнаго разумѣнія. Въ Латинствѣ не менѣе протестантства видимъ мы отвлеченный разумъ въ самой основѣ вѣроученія, не смотря на то, что въ борьбѣ съ протестантствомъ Латинство отвергаетъ раціонализмъ, опираясь на одно преданіе. Ибо только въ противорѣчіи протестантизму поставляетъ Латинство церковное преданіе выше человѣческаго разума; но, въ отношеніи къ Церкви Вселенской, Римъ въ дѣлахъ вѣры даетъ преимущество отвлеченному силлогизму передъ святымъ преданіемъ, хранящимъ общее сознаніе всего Христіанскаго міра въ живой и неразрывной цѣльности. Это предпочтеніе силлогизма преданію было даже единственнымъ условіемъ отдѣльнаго и самостоятельнаго возникновенія Рима. Ибо какъ могла бы Римская Церковь оторваться иначе отъ Церкви Вселенской? Она отпала отъ нея только потому, что хотѣла ввести въ вѣру новые догматы, неизвѣстные церковному преданію и порожденные случайнымъ выводомъ логики Западныхъ народовъ. Отсюда произошло то первое раздвоеніе въ самомъ основномъ началѣ Западнаго вѣроученія, изъ котораго развилась сперва схоластическая философія внутри вѣры, потомъ реформація въ вѣрѣ и наконецъ философія внѣ вѣры. Первые раціоналисты были схоластики; ихъ потомство называется Гегельянцами.

Но направленіе Западныхъ философій было различно, смотря по тѣмъ исповѣданіямъ, изъ которыхъ онѣ возникали; ибо каждое особое исповѣданіе непремѣнно предполагаетъ особое отношеніе разума къ вѣрѣ. Особое отношеніе разума къ вѣрѣ

опредѣляетъ особый характеръ того мышленія, которое изъ него рождается.

Римская Церковь оторвалась отъ Церкви Вселенской вслѣдствіе вывода разума формально-логическаго, искавшаго наружной связи понятій и изъ нея выводившаго свои заключенія о сущности. Такой только наружный разумъ и могъ отторгнуть Римъ отъ Церкви, поставивъ свой силлогизмъ выше живаго сознанія всего Христіанства. Лишившись опоры Вселенскаго преданія и общаго и единомысленнаго сочувствія всей Церкви, Церковь Римская должна была искать утвержденія на какой-нибудь богословской системѣ. Но какъ разумъ человѣческій, особенно разсудочный, можетъ различно постигать Божественное, согласно различію личныхъ понятій каждаго, и какъ противорѣчія въ богословскихъ разсужденіяхъ не могли уже разрѣшаться внутреннимъ согласіемъ всей Церкви, видимой и невидимой, Церкви всѣхъ вѣковъ и народовъ, — то единомысліе Западныхъ Христіанъ должно было ограждаться внѣшнимъ авторитетомъ іерархіи. Такимъ образомъ внѣшній авторитетъ, независимо отъ внутренняго, сдѣлался послѣднимъ основаніемъ вѣры. Потому, отношенія вѣры и разума приняли тотъ характеръ, что разумъ долженъ былъ *слѣпо* покоряться вѣроученію, утверждаемому внѣшнею властію видимой Церкви; слѣпо:—потому что нельзя было искать никакой внутренней причины для того или другаго богословскаго мнѣнія, когда истинность или ложность мнѣнія рѣшалась случайнымъ разумѣніемъ іерархіи. Отсюда схоластика со всѣми ея разсудочными утонченностями, безпрестанно соглашавшая требованія разума съ утвержденіями іерархіи и, соглашая ихъ, безпрестанно удалявшаяся отъ нихъ въ безчисленное множество еретическихъ системъ и толкованій.

Между тѣмъ, предоставивъ разуму іерархіи, независимо отъ преданія и отъ всей полноты Церкви, высшій судъ надъ Божественными истинами, Римская Церковь должна была вмѣстѣ признать свою іерархію источникомъ всякой истины и подчинить приговору того же іерархическаго мнѣнія весь объемъ человѣческаго мышленія, все развитіе ума въ наукахъ и жизни общественной. Ибо все болѣе или менѣе касается вопросовъ

Божественной истины, и если однажды разумъ іерархіи переступилъ границы Божественнаго Откровенія, то не было причины ему остановиться въ своемъ движеніи. Примѣръ Галилея не исключеніе: онъ выражаетъ постоянный законъ общаго отношенія Западной Церкви къ человѣческому мышленію. Потому, для спасенія разума отъ совершеннаго ослѣпленія или отъ совершеннаго безвѣрія, реформація была необходима и должна была возникнуть изъ того же самаго начала, изъ котораго Римская Церковь выводила свое право на отдѣльную самобытность и всевмѣшательство. Вся разница заключалась въ томъ, что право суда надъ Божественнымъ Откровеніемъ, сохранявшимся въ преданіи, перенесено было изъ разума временной іерархіи въ разумъ всего современнаго Христіанства. Вмѣсто одного внѣшняго авторитета, равно обязательнаго для всѣхъ, основаніемъ вѣры сдѣлалось личное убѣжденіе каждаго.

Это была другая крайность того же уклоненія отъ истины. Границы между естественнымъ разумомъ человѣка и Божественнымъ Откровеніемъ были равно нарушены, какъ въ Римской Церкви, такъ и въ протестантскихъ исповѣданіяхъ, но различнымъ образомъ; потому и отношенія ихъ къ просвѣщенію были различныя. Тамъ основаніемъ вѣры было преданіе, подчиненное суду одной іерархіи, обуздывавшей такимъ образомъ общее развитіе разума своимъ случайнымъ разумѣніемъ и старавшейся втѣснить всякое мышленіе въ одну условную форму; здѣсь отъ преданія осталась одна буква Писанія, которой смыслъ зависѣлъ отъ личнаго пониманія каждаго.

Отъ этихъ двухъ отношеній должно было возникать совершенно противоположное направленіе умовъ. Подъ вліяніемъ Латинства, надобно было уму волею-неволею подвести все свое знаніе подъ одну систему. Главная истина была дана; способъ ея разумѣнія опредѣленъ; многія черты ея отношенія къ разуму обозначены; оставалось только всю совокупность мышленія согласить съ данными понятіями, устранивъ изъ разума все, что могло имъ противорѣчить. Въ протестантствѣ, напротивъ того, кромѣ буквы Писанія, въ руководство уму даны были только нѣкоторыя личныя мнѣнія реформаторовъ, несогласныхъ между собою въ самыхъ существенныхъ началахъ. Ибо

коренныя отношенія человѣка къ Богу, отношенія свободной воли къ благодати и предопредѣленію, и тому подобныя разумныя отношенія вѣры съ самаго начала понимались ими совершенно различно. Отъ того разумъ человѣческій долженъ былъ искать общаго основанія для истины, мимо преданій вѣры, внутри собственнаго мышленія. Отсюда по необходимости должна была возникнуть философія раціональная, стремящаяся не развить данную истину, не проникнуться ею, не возвыситься до нея, но прежде всего—найти ее. Впрочемъ, не имѣя единаго и твердаго основанія для истины въ вѣрѣ, могъ ли человѣкъ не обратиться къ отвлеченному отъ вѣры мышленію? Самая любовь къ Божественной истинѣ заставляла его искать философіи раціональной. Если же раціональная философія, развиваясь внѣ Божественнаго преданія, увлекла человѣка къ безвѣрію, то первая вина этого несчастія лежитъ, конечно, не на протестантизмѣ, но на Римѣ, который, имѣя уже истину и составляя живую часть живой Церкви, сознательно и преднамѣренно отъ нея откололся.

Заботясь болѣе о наружномъ единствѣ и о внѣшнемъ владычествѣ надъ умами, чѣмъ о внутренней истинѣ, Римъ сохранялъ для своей іерархіи монополію разумѣнія и не могъ дѣйствовать иначе, если не хотѣлъ распасться на множество противорѣчащихъ толковъ. Народъ не долженъ былъ мыслить, не долженъ былъ понимать Богослуженія, не долженъ былъ даже читать Божественнаго Писанія. Онъ могъ только слушать, не понимая, и слушаться, не разсуждая; онъ почитался безсознательной массой, на которой стояло зданіе Церкви, и которая должна была оставаться безсознательною, чтобы Церковь стояла. Потому, почти всякое самобытное мышленіе, искренно и естественно возникавшее внутри Римской Церкви, по необходимости обращалось въ оппозицію противъ нея. Почти всѣ замѣчательные мыслители отвергались ею и преслѣдовались. Каждое движеніе ума, несогласное съ ея условными понятіями, было ересью; ибо ея понятія, заклейменныя авторитетомъ іерархіи, оффиціально проникали во всѣ области разума и жизни.

Реформація, напротивъ того, способствовала развитію просвѣщенія народовъ, которыхъ она спасла отъ умственнаго

угнетенія Рима, самаго невыносимаго изо всѣхъ угнетеній. Въ этомъ заключается главная заслуга реформаціи, возвратившей человѣку его человѣческое достоинство и завоевавшей ему право быть существомъ разумнымъ. Однакоже, въ этой разумности не было силы, которая бы постоянно подымала ее выше естественной обыкновенности. Оторванные отъ сочувствія съ единою истинною Церковью, которая отъ нихъ заслонялась Римомъ, протестантскіе народы не видали вокругъ себя ничего Божественнаго, кромѣ буквы Писанія и своего внутренняго убѣжденія, и въ радости освобожденія отъ умственной неволи они просмотрѣли въ обожаемой буквѣ Писанія ту истину, что Господь принесъ на землю не одно ученіе, но вмѣстѣ основалъ и Церковь, которой обѣщалъ непрерывное существованіе до конца вѣковъ, и что ученіе Свое утвердилъ Онъ въ Своей Церкви, а не внѣ ея. Между собою и первыми вѣками Христіанства протестанты не видали ничего, кромѣ лжи и заблужденія; они думали, что, вопреки обѣтованій Спасителя, врата адовы одолѣли Церковь, что Церковь Божія умирала до нихъ, и что имъ предоставлено было воскресить ее собою, опираясь на Священномъ Писаніи. Но Священное Писаніе, не проникнутое единомысленнымъ разумѣніемъ, принимало особый смыслъ по личнымъ понятіямъ каждаго. По этой причинѣ, и чтобы удовлетворить всѣмъ личнымъ сознаніямъ, надобно было не только найти общее основаніе истины въ разумѣ человѣка вообще, но непремѣнно въ той части его разума, которая доступна *всякой* отдѣльной личности. Потому философія, возбужденная протестантизмомъ, преимущественно должна была ограничиваться областію разума логическаго, равно принадлежащаго каждому человѣку, каковы бы ни были его внутренняя высота и устроеніе. Совокупленіе всѣхъ познавательныхъ способностей въ одну силу, внутренняя цѣльность ума, необходимая для сознанія цѣльной истины, не могли быть достояніемъ всѣхъ. Только разумъ отношеній, разумъ отрицательный, логическій, могъ признаваться за общій авторитетъ; только онъ могъ требовать безусловнаго признанія своихъ выводовъ отъ каждой особенной личности.

По этой причинѣ видимъ мы, что философія раціональная

развивалась почти исключительно въ земляхъ протестантскихъ. Ибо то, что́ называютъ философіей Французской, есть собственно Англійская философія, перенесенная во Францію во времена ослабленія вѣры. Хотя Декартъ былъ Французъ, и хотя въ половинѣ XVII-го вѣка почти всѣ мыслящіе люди Франціи держались его системы, но, не смотря на то, уже въ началѣ XVIII-го она исчезла сама собой изъ общаго убѣжденія, —такъ мало она была согласна съ особеннымъ характеромъ народнаго мышленія. Измѣненіе, которое хотѣлъ въ ней произвести Мальбраншъ, имѣло еще менѣе прочности. Между тѣмъ для Германскаго мышленія Декартъ сдѣлался родоначальникомъ всей философіи.

Можетъ быть, во Франціи могла бы возникнуть своя философія, положительная, если бы Боссюэтовъ галликанизмъ не ограничился дипломатической формальностію, но развился полнѣе, сознательнѣе и внутреннѣе, и освободилъ Французскую образованность отъ умственнаго угнетенія Рима прежде, чѣмъ она утратила вѣру. Начала этой возможной для Франціи философіи заключались въ томъ, что было общаго между убѣжденіями Поръ-Рояля и особенными мнѣніями Фенелона. Ибо, кромѣ несходства съ оффиціальными понятіями Рима, между ними было то общее, что они стремились къ развитію внутренней жизни и въ ея глубинѣ искали живой связи между вѣрою и разумомъ, выше сферы наружнаго сцѣпленія понятій. Поръ-Рояль и Фенелонъ получили это направленіе изъ одного источника, изъ той части Христіанскаго любомудрія, которую они нашли въ древнихъ Отцахъ Церкви и которую не вмѣщало въ себя Римское ученіе. Мысли Паскаля могли быть плодотворнымъ зародышемъ этой новой для Запада философіи. Его неконченное сочиненіе не только открывало новыя основанія для разумѣнія нравственнаго порядка міра, для сознанія живаго отношенія между Божественнымъ Промысломъ и человѣческою свободою, но еще заключало въ себѣ глубокомысленныя наведенія на другой способъ мышленія, отличающійся равно отъ Римско-схоластическаго и отъ раціонально-философскаго. Если бы эти искры его мыслей соединились въ общемъ сознаніи съ тѣми, которыя согрѣвали душу Фенелона, когда онъ,

въ защиту Гюйонъ, собиралъ ученія Св. Отцевъ о внутренней жизни; то изъ совмѣстнаго ихъ пламени должна была загорѣться новая, самобытная философія, которая, можетъ быть, могла бы спасти Францію отъ безвѣрія и его послѣдствій. Конечно, эта философія не была бы чистой истиной, потому что все таки она оставалась бы внѣ Церкви; но она ближе подходила бы къ ней, чѣмъ всѣ раціональныя умозрѣнія. Но происки іезуитовъ разрушили Поръ-Рояль съ его уединенными мыслителями; съ ними погибло и рождавшееся живительное направленіе ихъ мыслей. Холодная, торжественная логика Боссюэта не поняла того, что было живаго и теплаго въ уклоненіи Фенелона отъ оффиціальнаго мышленія Рима и съ самодовольствомъ принудила его авторитетомъ папы отрѣчься отъ своихъ завѣтныхъ убѣжденій, изъ уваженія къ папской непогрѣшимости. Такимъ образомъ, самобытная философія Франціи замерла въ самомъ зародышѣ, и образованность Французская, требовавшая какого-нибудь умственнаго дыханія, должна была подчиниться хохоту Вольтера и законамъ чужой философіи, которая явилась тѣмъ враждебнѣе для религіозныхъ убѣжденій Франціи, что не имѣла съ ними ничего общаго. Въ Англіи система Локка могла еще кое-какъ уживаться съ вѣрою, подлѣ которой она выростала; но во Франціи она приняла характеръ разрушительный, перешла черезъ Кондильяка въ Гельвеція и распространеніемъ своимъ уничтожила послѣдніе остатки вѣры.

Такимъ образомъ въ тѣхъ народахъ, которыхъ умственная жизнь подлежала Римской Церкви, самобытная философія была невозможна. Но, однакоже, развитіе образованности требовало сознающаго ее и связующаго мышленія. Между живою наукою міра и формальною вѣрою Рима лежала пропасть, чрезъ которую мыслящій католикъ долженъ былъ дѣлать отчаянный прыжокъ. Этотъ прыжокъ не всегда былъ подъ силу человѣческому разуму и не всегда по совѣсти искреннему Христіанину. Отъ того, родившись въ земляхъ протестантскихъ, раціональная философія распространилась и на католическія, проникла всю образованность Европы однимъ общимъ характеромъ и прежнее единомысліе вѣры Западныхъ народовъ замѣнила единомысліемъ отвлеченнаго разума.

Но не вдругъ мысль человѣка дошла до своего послѣдняго вывода. Только мало по малу отбрасывала она отъ себя всѣ постороннія данныя, находя ихъ недостаточно вѣрными для основнаго утвержденія первой истины. Сначала дѣятельность ея распалась на двѣ стороны. Въ народахъ происхожденія Романскаго, которые, по своей исторической натурѣ, стремились сливать внутреннее самосознаніе съ внѣшностію жизни, возникла философія опытная или чувственная, восходившая отъ частныхъ наблюденій къ общимъ итогамъ и изъ порядка внѣшней природы выводившая всѣ законы бытія и разумѣнія. Въ народахъ Германскаго происхожденія, носившихъ, также вслѣдствіе своей исторической особенности, внутри себя постоянное чувство раздѣленія жизни внѣшней отъ внутренней, возникло стремленіе вывести изъ самыхъ законовъ разума законы для внѣшняго бытія. Наконецъ, обѣ философіи соединились въ одно умственное воззрѣніе, основанное на тождествѣ разума и бытія и развивавшее изъ этого тождества ту форму мышленія, которая обнимала всѣ другія философіи, какъ отдѣльныя ступени неконченной лѣстницы, ведущей къ одной цѣли.

Но, происходя изъ совокупности Западно-Европейской образованности и вмѣщая въ себѣ общій результатъ ея умственной жизни, новѣйшая философія, какъ и вся новѣйшая образованность Европы въ послѣднемъ процвѣтаніи своемъ совершенно отдѣлилась отъ своего корня. Ея выводы не имѣютъ ничего общаго съ ея прошедшимъ. Она относится къ нему, не какъ довершающая, но какъ разрушающая сила. Совершенно независимо отъ своего прошедшаго, она является теперь, какъ самобытно новое начало, рождаетъ новую эпоху для умственной и общественной жизни Запада. Опредѣлить настоящій характеръ ея вліянія на Европейскую образованность еще весьма трудно, ибо ея особенное вліяніе только начинаетъ обозначаться; конечные плоды его еще таятся въ будущемъ.

Однакоже, недавность господства этой новой системы надъ прежними философскими убѣжденіями Европы не даетъ намъ права думать, чтобы основныя положенія этой послѣдней системы и ея діалектическій процессъ мышленія были исключительною принадлежностію нашего времени. Въ общей жизни

человѣчества новѣйшая философія не такъ нова, какъ полагаютъ обыкновенно. Она новость для новой исторіи, но для человѣческаго разума вообще она вещь бывалая, и потому будущія послѣдствія ея господства надъ умами болѣе или менѣе уже обозначились въ прошедшемъ. Ибо тотъ же духъ мышленія господствовалъ въ образованномъ мірѣ за нѣсколько сотъ лѣтъ до Рождества Христова. Основныя убѣжденія Аристотеля, —не тѣ, которыя ему приписывали его средневѣковые толкователи, но тѣ, которыя выходятъ изъ его сочиненій,—совершенно тождественны съ убѣжденіями Гегеля. А тотъ способъ діалектическаго мышленія, который обыкновенно почитаютъ за исключительную особенность и за своеобразное открытіе Гегеля, составлялъ, еще прежде Аристотеля, явную принадлежность Элеатовъ, такъ что, читая Платонова Парменида, кажется, будто въ словахъ ученика Гераклитова мы слышимъ самого Берлинскаго профессора, разсуждающаго о діалектикѣ, какъ о главномъ назначеніи философіи и ея настоящей задачѣ, видящаго въ ней чудотворную силу, которая превращаетъ каждую опредѣленную мысль въ противоположную и изъ нея рождаетъ опять новое опредѣленіе, и полагающаго отвлеченныя понятія о бытіи, небытіи и возникновеніи въ начало мыслительнаго процесса, обнимающаго все бытіе и знаніе. Потому, разница новаго философа отъ древнихъ заключается не въ основной точкѣ зрѣнія, до которой возвысился разумъ, не въ особенномъ способѣ мышленія, имъ изобрѣтенномъ, но единственно въ доконченной полнотѣ систематическаго развитія и въ этомъ богатствѣ умственныхъ пріобрѣтеній, которое любознательность человѣка могла собрать ему въ теченіе своихъ двухъ тысячелѣтнихъ исканій. Разумъ стоитъ на той же ступени, — не выше, и видитъ ту же послѣднюю истину,—не далѣе; только горизонтъ вокругъ яснѣе обозначился.

Кажется, умъ Западнаго человѣка имѣетъ особое сродство съ Аристотелемъ. Въ самое начало Западно-Европейской образованности заложено было сочувствіе къ его мышленію. Но схоластики пользовались его системою только для того, чтобы утверждать на ней другую истину, не изъ нея непосредственно выведенную, но принятую ими изъ преданія. Когда же

съ возрожденіемъ наукъ, упалъ безграничный авторитетъ Аристотеля, то, казалось, сочувствіе съ нимъ утратилось навсегда. Освобожденіе отъ него праздновалось по Европѣ съ какимъ-то восторгомъ, какъ великое и спасительное событіе для ума человѣческаго. Гегель шелъ по другой дорогѣ, и внѣ системы Аристотеля; но однакоже сошелся съ нимъ и въ послѣднемъ выводѣ, и въ основномъ отношеніи ума къ истинѣ, Онъ построилъ другую систему, но такъ, какъ бы её построилъ самъ Аристотель, если бы воскресъ въ наше время, и если бы, не перемѣняя уровня, на которомъ стоялъ разумъ человѣческій въ его время, онъ только подвелъ къ своей точкѣ зрѣнія вопросы современной образованности. Ученики Гегеля, подставляя свою терминологію, вмѣсто Аристотелевской, узнаютъ въ его системѣ, хотя не полное, но вѣрное отраженіе системы ихъ учителя. Голосъ новаго міра отозвался прежнимъ отголоскомъ міра прошедшаго.

Древняя Греческая философія возникла также не прямо изъ Греческихъ вѣрованій, но ихъ вліяніемъ, и подлѣ нихъ, возникла изъ ихъ внутренняго разногласія. Внутреннее разногласіе вѣры принуждало къ отвлеченной разумности. Отвлеченная разумность и живая, пестрая осязательность противорѣчащихъ ученій вѣры, противополагаясь другъ другу въ сущности, могли мириться внутри сознанія Грека только въ созерцаніяхъ изящнаго и, можетъ быть, еще въ скрытомъ значеніи мистерій. Потому, Греческое изящное стоитъ между ощутительностію Греческой миѳологіи и отвлеченною разумностію ея философіи. Прекрасное для Грека сдѣлалось средоточіемъ всей умственной жизни. Развитіе смысла изящнаго составляетъ, можно сказать, всю сущность Греческой образованности, внутренней и внѣшней. Но въ самой натурѣ этого изящнаго лежали предѣлы его процвѣтанія; одинъ изъ его элементовъ уничтожался возрастаніемъ другаго. По мѣрѣ развитія разумности, ослаблялась вѣра миѳологическая, съ которой вмѣстѣ увядала Греческая красота. Ибо прекрасное также, какъ истинное, когда не опирается на существенное, улетучивается въ отвлеченность. Возрастая на развалинахъ вѣрованій, философія подкопала ихъ и вмѣстѣ сломила живую пружину развитія Грече-

ской образованности. Бывъ сначала ея выраженіемъ, въ концѣ своего возрастанія философія явилась противорѣчіемъ прежней Греческой образованности, и хотя носила еще наружные признаки ея миѳологіи, но имѣла отдѣльную отъ нея самобытность. Она зародилась и возрастала въ понятіяхъ Греческихъ; но, созрѣвши, сдѣлалась достояніемъ всего человѣчества, какъ отдѣльный плодъ разума, округлившійся и созрѣвшій, и оторвавшійся отъ своего естественнаго корня.

Такъ съ конечнымъ развитіемъ Греческой образованности окончилось, можно сказать, владычество языческихъ вѣрованій надъ просвѣщеніемъ человѣчества; не потому, чтобы не оставалось еще вѣрующихъ язычниковъ, но потому, что передовая мысль образованности была уже внѣ языческой вѣры, обращая миѳологію въ аллегорію. Только недоразвитая и, слѣдовательно, безсильная мысль могла оставаться языческою; развиваясь, она подпала власти философіи.

Съ этой отрицательной стороны, Греческая философія является въ жизни человѣчества, какъ полезная воспитательница ума, освободившая его отъ ложныхъ ученій язычества и своимъ разумнымъ руководствомъ приведшая его въ то безразличное состояніе, въ которомъ онъ сдѣлался способнымъ къ принятію высшей истины. Философія приготовила поле для Христіанскаго посѣва.

Но между Аристотелемъ и общимъ подчиненіемъ міроваго просвѣщенія ученію Христіанскому прошло много вѣковъ, въ продолженіе которыхъ многія различныя и противорѣчащія системы философіи питали, утѣшали и тревожили разумъ. Однакоже, крайности этихъ системъ принадлежали немногимъ: общее состояніе просвѣщенія подчинялось тому, что было общаго крайностямъ, составляя ихъ середину. Между добродѣтельною гордостію стоиковъ и чувственною философіею епикурейцевъ, между заманчивою высотою заоблачныхъ построеній ума въ ново-Платонической школѣ и безчувственною, неумолимою, всеискореняющею сохою скептицизма стояла философія Аристотеля, къ которой безпрестанно возвращался умъ отъ крайнихъ уклоненій, и которая въ самыя односторонности уклонившагося отъ нея мышленія впускала логическія сѣти своей

равнодушной системы. Потому можно сказать, что въ древнемъ до-Христіанскомъ мірѣ были нѣкоторые философы различныхъ, противорѣчащихъ другъ другу сектъ; но вся масса мыслящаго человѣчества, вся нравственная и умственная сила просвѣщенія принадлежала Аристотелю. Какое же именно вліяніе имѣла философія Аристотеля на просвѣщеніе и нравственное достоинство человѣка? Рѣшеніе этого вопроса важно не для одной исторіи міра прошедшаго.

Самый ясный и самый короткій отвѣтъ на этотъ вопросъ могъ бы, кажется, заключаться въ нравственномъ и умственномъ настроеніи тѣхъ вѣковъ, когда эта философія господствовала. Римскій гражданинъ временъ кесаревскихъ былъ живымъ отпечаткомъ ея убѣжденій. Ибо не отдѣльныя истины, логическія или метафизическія, составляютъ конечный смыслъ всякой философіи, но то отношеніе, въ которое она поставляетъ человѣка къ послѣдней искомой истинѣ, то внутреннее требованіе, въ которое обращается умъ, ею проникнутый. Ибо всякая философія, въ полнотѣ своего развитія, имѣетъ двойной результатъ, или, правильнѣе, двѣ стороны послѣдняго результата: одна — общій итогъ сознанія, другая—господствующее требованіе, изъ этого итога возникающее. Послѣдняя истина, на которую опирается умъ, указываетъ и на то сокровище, котораго человѣкъ пойдетъ искать въ наукѣ и въ жизни. Въ концѣ философской системы, между ея исконной истиной и ея искомой цѣлью, лежитъ уже не мысль, имѣющая опредѣленную формулу, но одинъ, такъ сказать, духъ мысли, ея внутренняя сила, ея сокровенная музыка, которая сопровождаетъ всѣ движенія души убѣжденнаго ею человѣка. И этотъ внутренній духъ, эта живая сила свойственна не однимъ высшимъ философіямъ, доконченной и сомкнутой въ своемъ развитіи. Система принадлежитъ школѣ; ея сила, ея конечное требованіе принадлежатъ жизни и просвѣщенію всего человѣчества.

Но, надобно сознаться, философія Аристотеля, когда она не служила подкрѣпленіемъ чужой системы, а дѣйствовала самобытно, имѣла на просвѣщеніе человѣчества весьма грустное вліяніе, прямо противоположное тому, какое она имѣла на своего перваго ученика, великаго завоевателя Востока. Стремленіе

къ лучшему въ кругу обыкновеннаго, къ благоразумному въ ежедневномъ смыслѣ этого слова, къ возможному, какъ оно опредѣляется внѣшнею дѣйствительностію, — были крайними выводами той разумности, которая внушалась системою Аристотеля. Но эти внушенія не пришлись по мѣркѣ только одного ученика; другимъ всѣмъ они были по плечу. Слушая ихъ, Александръ, кажется, тѣмъ напряженнѣе развивалъ свою противоположную имъ самобытность, какъ бы на перекоръ совѣтамъ учителя. Можетъ быть даже, безъ этого понужденія благоразумной посредственности въ немъ бы не развилась вся крайность его неблагоразумной геніальности. Но остальное человѣчество тѣмъ охотнѣе подчинялось вліянію разсудочной философіи, что, при отсутствіи высшихъ убѣжденій, стремленіе къ земному и благоразумно обыкновенному само собой становится господствующимъ характеромъ нравственнаго міра.

Система Аристотеля разорвала цѣльность умственнаго самосознанія и перенесла корень внутреннихъ убѣжденій человѣка, внѣ нравственнаго и эстетическаго смысла, въ отвлеченное сознаніе разсуждающаго разума. Орудія, которыми она познавала истину, ограничивались логическою дѣятельностію ума и безучастною наблюдательностію внѣшняго міра. Наружное бытіе и выразимая, словесная сторона мысли составляли ея единственныя данныя, изъ которыхъ она извлекала то, что можетъ изъ нихъ извлечься логическимъ сцѣпленіемъ понятій,—и надобно сознаться, извлекла изъ нихъ все, что этимъ путемъ могло быть извлечено изъ нихъ въ то время. Дѣйствительность въ глазахъ Аристотеля была полнымъ воплощеніемъ высшей разумности. Всѣ разногласія міра физическаго и нравственнаго были только мнимыя и не только терялись въ общей гармоніи, но были необходимыми звуками для ея вѣчно неизмѣняемой полноты. Міръ, по его мнѣнію, никогда не былъ лучше и не будетъ; онъ всегда достаточно прекрасенъ, ибо никогда не начинался, какъ никогда не кончится, и вѣчно останется цѣлъ и неизмѣненъ въ общемъ объемѣ, безпрестанно измѣняясь и уничтожаясь въ частяхъ своихъ. Но эта полнота и удовлетворительность міра представлялась ему въ холодномъ порядкѣ отвлеченнаго единства. Высшее благо видѣлъ онъ въ мышленіи, разумѣю-

щемъ это единство сквозь разнообразіе частныхъ явленій, при внѣшнемъ довольствѣ и спокойствіи жизни: физическій и умственный комфортъ.

Когда человѣкъ освободится отъ нуждъ житейскихъ, говорилъ онъ, тогда только начинаетъ онъ любомудрствовать (между тѣмъ какъ, по убѣжденію стоической школы, только одна мудрость можетъ освободить человѣка отъ нуждъ и тяжестей житейскихъ). Добродѣтель, по мнѣнію Аристотеля, не требовала высшей сферы бытія, но состояла въ отысканіи золотой середины между порочными крайностями. Она происходила изъ двухъ источниковъ: изъ отвлеченнаго вывода разума, который, какъ отвлеченный, не давалъ силы духу и не имѣлъ понудительности существенной, и изъ привычки, которая слагалась частію изъ отвлеченнаго желанія согласить волю съ предписаніями разума, частію изъ случайности внѣшнихъ обстоятельствъ.

Очевидно, что такой образъ мыслей могъ произвести очень умныхъ зрителей среди разнообразныхъ явленій человѣчества, но совершенно ничтожныхъ дѣятелей. И дѣйствительно, философія Аристотеля дѣйствовала разрушительно на нравственное достоинство человѣка. Подкопавъ всѣ убѣжденія, лежащія выше разсудочной логики, она уничтожила и всѣ побужденія, могущія поднять человѣка выше его личныхъ интересовъ. Нравственный духъ упалъ; всѣ пружины внутренней самобытности ослабѣли; человѣкъ сдѣлался послушнымъ орудіемъ окружающихъ обстоятельствъ, разсуждающимъ, но невольнымъ выводомъ внѣшнихъ силъ,—умною матеріей, повинующеюся силѣ земныхъ двигателей, выгоды и страха. Немногіе примѣры стоической добродѣтели составляютъ только рѣдкія исключенія, яркія противоположности общему настроенію, и больше подтверждаютъ, чѣмъ ослабляютъ понятіе о всеобщемъ отсутствіи внутренней самобытности. Ибо стоицизмъ могъ возникнуть только, какъ напряженное противорѣчіе, какъ грустный протестъ, какъ отчаянное утѣшеніе немногихъ противъ подлости всѣхъ. Между тѣмъ даже тѣ мыслители, которые не исключительно слѣдовали Аристотелю, но только изучали его систему, безсознательно вносили результаты его ученія

даже въ свое понимание другихъ философовъ. Такъ Цицеронъ, въ борьбѣ между гибелью отечества и личною безопасностію, ищетъ оправданія своему малодушію въ Платонѣ; но Платонъ для него имѣетъ только тотъ смыслъ, который согласенъ съ Аристотелемъ. Потому, онъ утѣшается мыслію, что Платонъ не совѣтуетъ безполезно сопротивляться силѣ и вмѣшиваться въ дѣла народа, который выжилъ изъ ума. Нравственное ничтожество было общимъ клеймомъ всѣхъ и каждаго;—а еслибы во времена кесарей, при совершенномъ упадкѣ внутренняго достоинства человѣка, была внѣшняя образованность еще болѣе развита; если бы извѣстны были желѣзныя дороги и электрическіе телеграфы и пексаны и всѣ открытія, которыя подчиняютъ міръ власти бездушнаго разсчета, тогда,—мудрено бы было сказать, что тогда вышло бы изъ бѣднаго человѣчества.

Таково было вліяніе философіи древней, и преимущественно Аристотелевской, на просвѣщеніе человѣчества. На землѣ человѣку уже не оставалось спасенія. Только Самъ Богъ могъ спасти его.

Однакоже Христіанство, измѣнивъ духъ древняго міра и воскресивъ въ человѣкѣ погибшее достоинство его природы, не безусловно отвергло древнюю философію. Ибо вредъ и ложь философіи заключались не въ развитіи ума, ею сообщаемомъ, но въ ея послѣднихъ выводахъ, которые зависѣли отъ того, что она почитала себя высшею и единственною истиной, и уничтожались сами собою, какъ скоро умъ признавалъ другую истину выше ея. Тогда философія становилась на подчиненную степень, являлась истиною относительной и служила средствомъ къ утвержденію высшаго начала въ сферѣ другой образованности.

Боровшись на смерть съ ложью языческой миѳологіи, Христіанство не уничтожало языческой философіи, но, принимая ее, преобразовывало согласно своему высшему любомудрію. Величайшія свѣтила Церкви: Іустинъ, Климентъ, Оригенъ, во сколько онъ былъ православенъ, Аѳанасій, Василій, Григорій и большая часть изъ великихъ Святыхъ Отцевъ, на которыхъ, такъ сказать, утверждалось Христіанское ученіе среди языче-

ской образованности, были не только глубоко знакомы съ древнею философіею, но еще пользовались ею для разумнаго построенія того перваго Христіанскаго любомудрія, которое все современное развитіе наукъ и разума связало въ одно всеобъемлющее созерцаніе вѣры. Истинная сторона языческой философіи, проникнутая Христіанскимъ духомъ, явилась посредницею между вѣрою и внѣшнимъ просвѣщеніемъ человѣчества. И не только въ тѣ времена, когда Христіанство еще боролось съ язычествомъ, но и во все послѣдующее существованіе Византіи, видимъ мы, что глубокое изученіе Греческихъ философовъ было почти общимъ достояніемъ всѣхъ учителей Церкви. Ибо Платонъ и Аристотель могли быть только полезны для Христіанскаго просвѣщенія, какъ великіе естествоиспытатели разума, но не могли быть опасны для него, покуда на верху образованности человѣческой стояла истина Христіанская. Ибо не надобно забывать, что въ борьбѣ съ язычествомъ Христіанство не уступало ему разума, но, проникая его, подчиняло своему служенію всю умственную дѣятельность міра настоящаго и прошедшаго, во сколько онъ былъ извѣстенъ. Но если гдѣ была опасность для Христіанскаго народа уклониться отъ истиннаго ученія, то опасность эта преимущественно таилась въ невѣжествѣ. Развитіе разумнаго знанія, конечно, не даетъ спасенія, но ограждаетъ отъ лжезнанія. Правда, что гдѣ умъ и сердце уже однажды проникнуты Божественною истиной, тамъ степень учености дѣлается вещію постороннею. Правда также, что сознаніе Божественнаго равно вмѣстимо для всѣхъ ступеней разумнаго развитія. Но чтобы проникать, одушевлять и руководить умственную жизнь человѣчества, Божественная истина должна подчинить себѣ внѣшній разумъ, должна господствовать надъ нимъ, не оставаться внѣ его дѣятельности. Она должна въ общемъ сознаніи стоять выше другихъ истинъ, какъ начало властвующее, проникая весь объемъ просвѣщенія, для каждаго частнаго лица поддерживаться единомысліемъ общественной образованности. Невѣжество, напротивъ того, отлучаетъ народы отъ живаго общенія умовъ, которымъ держится, движется и выростаетъ истина посреди людей и народовъ. Отъ невѣжества разума,

при самыхъ правильныхъ убѣжденіяхъ сердца, рождается ревность не по разуму, изъ которой, въ свою очередь, происходитъ уклоненіе разума и сердца отъ истинныхъ убѣжденій.

Такъ было съ Западомъ передъ его отпаденіемъ. Невѣжество народовъ подвергло ихъ умственную жизнь непреодолимому вліянію оставшихся слѣдовъ язычества, которые сообщили ихъ мышленію разсудочный характеръ Римской наружно-логической отвлеченности и этимъ уклоненіемъ разума заставили ихъ искать наружнаго единства Церкви, вмѣсто единства духовнаго. Невѣжество также увлекло ихъ въ излишнюю ревность противъ Аріанъ, такъ что, не довольствуясь отверженіемъ ихъ ереси, они составили, въ прямую противоположность Аріанамъ, новый догматъ о Божествѣ, подъ вліяніемъ того же наружно-логическаго мышленія,—догматъ, который они почитали истиннымъ только потому, что онъ былъ прямо противоположенъ одному виду ереси, забывъ, что прямая противоположность заблужденію обыкновенно бываетъ не истина, но только другая крайность того же заблужденія.

Такимъ образомъ, вслѣдствіе невѣжества Западныхъ народовъ, самое стремленіе къ единству Церкви оторвало ихъ отъ этого единства, а самое стремленіе къ Православію оторвало ихъ отъ Православія.

Конечно, не *одно* невѣжество оторвало Западъ отъ Церкви; невѣжество—только несчастіе, и отторженіе человѣчества отъ спасительной истины не могло совершиться безъ нравственной вины. Но въ невѣжествѣ была возможность и основаніе для этой вины; безъ него и властолюбіе папъ не могло бы имѣть успѣха. Только при совокупномъ дѣйствіи папскаго властолюбія и народнаго невѣжества, могло совершиться незаконное прибавленіе къ символу,—это первое торжество раціонализма надъ вѣрою и незаконное признаніе главенства папъ, это постоянная преграда возвращенію Запада къ Церкви. Но, однажды оторвавшись отъ нея, Римское исповѣданіе уже, какъ по готовому скату горы, само собою спустилось до всѣхъ тѣхъ уклоненій, которыя все болѣе и болѣе удаляли его отъ истины и произвели всю особенность Западнаго просвѣщенія со всѣми его послѣдствіями для него и для насъ. Я говорю:

для насъ, ибо судьба всего человѣчества находится въ живой и сочувственной взаимности, не всегда замѣтной, но тѣмъ не менѣе дѣйствительной. Отпаденіе Рима лишило Западъ чистоты Христіанскаго ученія и въ тоже время остановило развитіе общественной образованности на Востокѣ. Что должно было совершаться совокупными усиліями Востока и Запада, то̀ уже сдѣлалось не подъ силу одному Востоку, который такимъ образомъ былъ обреченъ только на сохраненіе Божественной истины въ ея чистотѣ и святости, не имѣя возможности воплотить ее во внѣшней образованности народовъ.

Кто знаетъ? Можетъ быть, этому внѣшнему безсилію Востока суждено было продолжаться до той эпохи, когда, въ замѣну отпавшаго Рима, возрастетъ и созрѣетъ другой народъ, просвѣтившійся истиннымъ Христіанствомъ въ то самое время, когда отъ Востока отпадалъ Западъ; можетъ быть, этому новому народу суждено придти въ умственную возмужалость именно въ то время, когда просвѣщеніе Запада силою собственнаго своего развитія уничтожитъ силу своего иноученія и изъ ложныхъ убѣжденій въ Христіанствѣ перейдетъ къ безразличнымъ убѣжденіямъ философскимъ, возвращающимъ міръ во времена до-Христіанскаго мышленія. Ибо иноученіе Христіанское менѣе способно принять истину, чѣмъ совершенное отсутствіе Христіанскихъ убѣжденій. Тогда для господства истиннаго Христіанства надъ просвѣщеніемъ человѣка будетъ, по крайней мѣрѣ, открыта внѣшняя возможность.

Ибо нѣтъ сомнѣнія, что всѣ дѣйствія и стремленія частныхъ людей и народовъ подчиняются невидимому, едва слышному, часто совсѣмъ незамѣтному теченію общаго нравственнаго порядка вещей, увлекающему за собой всякую общую и частную дѣятельность. Но этотъ общій порядокъ составляется изъ совокупности частныхъ воль. Есть минуты, есть положенія, когда ходъ вещей стоитъ, такъ сказать, на перевѣсѣ, и одно движеніе воли рѣшаетъ то или другое направленіе.

Такая минута была для Запада въ эпоху его отклоненія. Ибо хотя невѣжество народное тяготѣло надъ дѣйствіями папъ, одна конѣтъ сомнѣнія, что въ это время твердая и рѣшительная

воля одного изъ нихъ могла бы еще преодолѣть заблужденіе народовъ и удержать истину въ Западной Церкви. Была роковая минута, когда судьбу всего міра Господь видимо вложилъ въ руку одного. Устоитъ онъ въ истинѣ,—и міръ спасенъ отъ тысячелѣтнихъ заблужденій и бѣдствій, народы развиваются въ чувственномъ общеніи вѣры и разума, совокупно уничтожая остатки язычества въ умѣ и жизни общественной; Востокъ передаетъ Западу свѣтъ и силу умственнаго просвѣщенія, Западъ дѣлится съ Востокомъ развитіемъ общественности; вездѣ просвѣщеніе созидается на твердомъ камнѣ Божественнаго Откровенія; лучшія силы духа не тратятся на безполезные перевороты, новымъ вредомъ разрушенія уничтожающіе прежній вредъ злоустройства; лучшій цвѣтъ народовъ не гибнетъ отъ истребительнаго нашествія внѣшнихъ варваровъ, или непреодолѣннаго угнетенія внутренняго языческаго насилія, продолжающаго торжествовать надъ образованностію Христіанскихъ народовъ; общественная жизнь, возрастая стройно, не разрушаетъ каждымъ успѣхомъ прежнихъ пріобрѣтеній и не ищетъ ковчега спасенія въ земныхъ разсчетахъ промышленности, или въ надзвѣздныхъ построеніяхъ утопій; общая образованность опирается не на мечту и не на мнѣніе, но на самую истину, на которой утверждается гармонически и незыблемо:—все это зависѣло отъ одной минуты и, можетъ быть, было во власти одного человѣка. Но человѣкъ не устоялъ,—и Западная образованность, лишенная сочувствія съ Церковью Вселенскою, направилась къ земнымъ цѣлямъ; Восточная, связанная насиліемъ еще преобладающаго язычества и лишенная помощи Западныхъ собратій, затворилась въ монастыряхъ.

Впрочемъ въ XVI-мъ вѣкѣ была, кажется, еще другая минута, когда для Западнаго міра былъ возможенъ возвратъ. Писанія Святыхъ Отцевъ, перенесенныя изъ Греціи послѣ паденія, открыли глаза многимъ Европейцамъ, показавъ имъ различіе между ученіемъ Христіанскимъ и Римскимъ; въ то же время злоупотребленія Римской Церкви достигли такихъ громадныхъ размѣровъ, что народы пришли къ ясному убѣжденію въ необходимости церковнаго преобразованія. Но какъ

совершить это преобразованіе,—еще не было рѣшено ни въ чьемъ сознаніи.

«Я изучаю теперь папскія декреталіи,—писалъ тогда Лютеръ къ Меланхтону,—и нахожу въ нихъ столько противорѣчій и лжи, что не въ силахъ повѣрить, чтобы Самъ Духъ Святый внушалъ ихъ, и чтобы на нихъ должна была основываться наша вѣра. Послѣ этого займусь изученіемъ Вселенскихъ Соборовъ и посмотрю, не на нихъ ли вмѣстѣ съ Священнымъ Писаніемъ (и уже мимо декреталій папскихъ) должно утверждаться ученіе Церкви?»

Если бы въ это время Лютеръ вспомнилъ, что цѣлая половина человѣчества, называющагося Христіанами, признаетъ Вселенскихъ Соборовъ только семь, а не шестнадцать, и что эта половина Христіанскаго человѣчества чиста отъ тѣхъ злоупотребленій Западной Церкви, которыя возмутили его душу праведнымъ негодованіемъ, — тогда, можетъ быть, вмѣсто того, чтобы сочинять новое исповѣданіе по своимъ личнымъ понятіямъ, онъ могъ бы прямо обратиться къ Церкви Вселенской. Тогда онъ могъ бы еще это сдѣлать; ибо въ убѣжденіяхъ Германскихъ народовъ не было еще ничего рѣшеннаго, кромѣ ненависти къ папѣ и желанія избѣгнуть отъ Римскихъ беззаконій. За нимъ послѣдовали бы всѣ воздвигнутые имъ народы, и Западъ опять могъ бы соединиться съ Церковью; тѣмъ болѣе, что остатки Гусситства были одною изъ главнѣйшихъ причинъ успѣховъ Лютера, а Гусситство, какъ извѣстно, было проникнуто воспоминаніями и отголосками Церкви Православной (*). Но Лютеръ не захотѣлъ вспомнить о Православной Церкви и, вмѣсто семи Соборовъ, сличалъ между собою всѣ тѣ, которые Римляне называютъ Вселенскими. Вслѣдствіе этого сличенія онъ писалъ къ Меланхтону: «Я изучалъ опредѣленія Соборовъ; они также противорѣчатъ одинъ другому, какъ декре-

(*) Замѣчательно, что Моравскіе братья, которыхъ вѣроученіе, по большей части, измѣнилось вліяніемъ протестантскихъ исповѣданій, до сихъ поръ однако, одни изъ всего Западнаго міра исповѣдаютъ догматъ о Св. Троицѣ согласно съ ученіемъ Православной Церкви. Но они сами не сознаютъ еще всей важности этого отличія. Общій характеръ Западной образованности еще не вмѣщаетъ въ себя этого сознанія.

таліи папскія: видно, намъ остается принять за основаніе вѣры одно Священное Писаніе».

Такъ совершалась реформація. Недоразумѣніе,—вольное или невольное, одинъ Богъ знаетъ,—рѣшило ея судьбу. Когда же, въ XVII-мъ вѣкѣ, протестанты посылали къ Восточнымъ патріархамъ вопросъ о вѣрѣ, — было уже поздно. Мнѣнія протестантовъ уже сложились и загорѣлись всѣмъ жаромъ новыхъ убѣжденій и новыхъ еще неиспытанныхъ надеждъ.

Упоминая объ этихъ отношеніяхъ обще-народныхъ убѣжденій къ случайностямъ нравственнаго произвола частныхъ лицъ, мы не уклоняемся отъ своего предмета. Напротивъ, мы составили бы себѣ ложное понятіе о развитіи человѣческаго мышленія, если бы отдѣлили ее отъ вліянія нравственной и исторической случайности. Нѣтъ ничего легче, какъ представить каждый фактъ дѣйствительности въ видѣ неминуемаго результата высшихъ законовъ разумной необходимости; но ничто не искажаетъ такъ настоящаго пониманія исторіи, какъ эти мнимые законы разумной необходимости, которые въ самомъ дѣлѣ суть только законы разумной возможности. Все должно имѣть свою мѣру и стоять въ своихъ границахъ. Конечно, каждая минута въ исторіи человѣчества есть прямое послѣдствіе прошедшей и рождаетъ грядущую. Но одна изъ стихій этихъ минутъ есть свободная воля человѣка. Не хотѣть ее видѣть значитъ хотѣть себя обманывать и замѣнять внѣшнею стройностію понятій дѣйствительное сознаніе живой истины.

Изъ этихъ двухъ минутъ жизни Западной Европы, когда она могла присоединиться къ Церкви Православной, — и не присоединилась, только по случайному дѣйствію человѣческой воли, — мы видимъ, что образованность Европы хотя совершенно отлична отъ характера образованности Православной, однакоже не такъ далека отъ нея, какъ представляется при первомъ воззрѣніи. Въ самой сущности ея лежитъ необходимость отдѣльныхъ періодовъ развитія, между которыми она является свободною отъ предыдущихъ вліяній и способною избрать то или другое направленіе.

Однакоже, если при началѣ реформаціи была возможность двухъ исходовъ, то, послѣ ея развитія, уже не было другой, кромѣ

исполнившейся. Строить зданіе вѣры на личныхъ убѣжденіяхъ народа — тòже, что строить башню по мыслямъ каждаго работника. Общаго между вѣрующими протестантами были только нѣкоторыя особыя понятія ихъ первыхъ предводителей, буква Священнаго Писанія и естественный разумъ, на которомъ ученіе вѣры должно было сооружаться. Въ настоящее время едва ли найдется много лютеранскихъ пасторовъ, которые бы во всемъ были согласны съ исповѣданіемъ Аугсбургскимъ, хотя, при вступленіи въ должность, всѣ обѣщаются принимать его за основаніе своего вѣроученія. Между тѣмъ естественный разумъ, на которомъ должна была утвердиться Церковь, переросъ вѣру народа. Понятія философскія все болѣе и болѣе замѣняли и замѣняютъ понятія религіозныя. Пройдя эпоху невѣрія сомнѣвающагося, потомъ эпоху невѣрія фанатическаго, мысль человѣка перешла наконецъ къ невѣрію равнодушно-разсуждающему, а вмѣстѣ съ тѣмъ и къ сознанію внутренней пустоты, требующей живаго убѣжденія, которое бы связывало человѣка съ человѣкомъ не холоднымъ согласіемъ въ отвлеченныхъ убѣжденіяхъ, не наружною связью внѣшнихъ выгодъ, но внутреннимъ сочувствіемъ цѣльнаго бытія, одною любовью, однимъ разумомъ и однимъ стремленіемъ проникнутаго.

Но гдѣ найдетъ Западъ эти живыя убѣжденія? Воротиться къ тому, чему онъ вѣрилъ прежде, уже невозможно. Насильственные возвраты, искусственная вѣра—тòже, что стараніе нѣкоторыхъ охотниковъ до театра убѣдить себя, что декорація—дѣйствительность.

Раздробивъ цѣльность духа на части и отдѣленному логическому мышленію предоставивъ высшее сознаніе истины, человѣкъ въ глубинѣ своего самосознанія оторвался отъ всякой связи съ дѣйствительностію и самъ явился на землѣ существомъ отвлеченнымъ, какъ зритель въ театрѣ, равно способный всему сочувствовать, все одинаково любить, ко всему стремиться, подъ условіемъ только, чтобы физическая личность его ни отъ чего не страдала и не безпокоилась. Ибо только отъ одной физической личности не могъ онъ отрѣшиться своею логическою отвлеченностію.

Потому не только вѣра утратилась на Западѣ, но вмѣстѣ съ ней

погибла и поэзія, которая безъ живыхъ убѣжденій должна была обратиться въ пустую забаву и сдѣлалась тѣмъ скучнѣе, чѣмъ исключительнѣе стремилась къ одному вообразимому удовольствію.

Одно осталось серьезное для человѣка: это промышленность; ибо для него уцѣлѣла одна дѣйствительность бытія: его физическая личность. Промышленность управляетъ міромъ безъ вѣры и поэзіи. Она въ наше время соединяетъ и раздѣляетъ людей; она опредѣляетъ отечество, она обозначаетъ сословія, она лежитъ въ основаніи государственныхъ устройствъ, она движетъ народами, она объявляетъ войну, заключаетъ миръ, измѣняетъ нравы, даетъ направленіе наукамъ, характеръ—образованности; ей покланяются, ей строятъ храмы, она дѣйствительное божество, въ которое вѣрятъ нелицемѣрно и которому повинуются. Безкорыстная дѣятельность сдѣлалась невѣроятною; она принимаетъ такое же значеніе въ мірѣ современномъ, какое во времена Сервантеса получила дѣятельность рыцарская.

Впрочемъ мы всего еще не видимъ. Неограниченное господство промышленности и послѣдней эпохи философіи, можно сказать, только начинается. Рука объ руку одна съ другой, имъ слѣдуетъ еще пройти весь кругъ новаго развитія Европейской жизни. Трудно понять, до чего можетъ достигнуть Западная образованность, если въ народахъ не произойдетъ какой нибудь внутренней перемѣны. Эта возможная перемѣна, очевидно, можетъ заключаться только въ перемѣнѣ основныхъ убѣжденій, или, другими словами, въ измѣненіи духа и направленія философіи,—ибо въ ней теперь весь узелъ человѣческаго самосознанія.

Но характеръ господствующей философіи, какъ мы видѣли, зависитъ отъ характера господствующей вѣры. Гдѣ она и не происходитъ отъ нея непосредственно, гдѣ даже является ея противорѣчіемъ, философія все таки рождается изъ того особеннаго настроенія разума, которое сообщено ему особеннымъ характеромъ вѣры. Тотъ же смыслъ, которымъ человѣкъ понималъ Божественное, служитъ ему и къ разумѣнію истины вообще.

Подъ вліяніемъ Римскаго исповѣданія, этотъ смыслъ былъ логическая разсудочность, которая, однакоже, дѣйствовала только

отрывочно, не имѣя возможности собраться въ свою отдѣльную цѣльность, ибо полнота ея дѣятельности разрушалась вмѣшательствомъ внѣшняго авторитета.

Подъ вліяніемъ исповѣданій протестантскихъ, эта разсудочность достигла полнаго развитія въ своей отдѣленности и, сознавая себя въ этой полнотѣ своего развитія, какъ нѣчто высшее, назвала себя разумомъ (die Vernunft), въ противоположность отъ прежней своей отрывчатой дѣятельности, для которой оставила названіе разсудка (der Verstand).

Но для насъ, воспитанныхъ внѣ Римскаго и протестантскаго вліянія, ни тотъ, ни другой способъ мышленія не могутъ быть вполнѣ удовлетворительны. Хотя мы и подчиняемся образованности Запада, ибо не имѣемъ еще своей, но только до тѣхъ поръ можемъ подчиняться ей, покуда не сознаемъ ея односторонности.

Въ Церкви Православной отношеніе между разумомъ и вѣрою совершенно отлично отъ Церкви Римской и отъ протестантскихъ исповѣданій. Это отличіе заключается между прочимъ въ томъ, что въ Православной Церкви Божественное Откровеніе и человѣческое мышленіе не смѣшиваются; предѣлы между Божественнымъ и человѣческимъ не переступаются ни наукою, ни ученіемъ Церкви. Какъ бы ни стремилось вѣрующее мышленіе согласить разумъ съ вѣрою, но оно никогда не приметъ никакого догмата Откровенія за простой выводъ разума, никогда не присвоитъ выводу разума авторитетъ Откровеннаго догмата. Границы стоятъ твердо и нерушимо. Никакой патріархъ, никакое собраніе епископовъ, никакое глубокомысленное соображеніе ученаго, никакая власть, никакой порывъ такъ называемаго общаго мнѣнія какого бы ни было времени не могутъ прибавить новаго догмата, ни измѣнить прежній, ни приписать его толкованію власть Божественнаго Откровенія и выдать такимъ образомъ изъясненіе человѣческаго разума за святое ученіе Церкви, или смѣшать авторитетъ вѣчныхъ и незыблемыхъ истинъ Откровенія въ область наукъ, подлежащихъ развитію, измѣняемости, ошибкамъ и личной совѣсти каждаго. Всякое распространеніе Церковнаго ученія далѣе предѣловъ Церковнаго преданія само собою выходитъ изъ сферы

Церковнаго авторитета и является, какъ частное мнѣніе, болѣе или менѣе уважительное, но уже подлежащее суду разума. И чье бы ни было новое мнѣніе, не признанное прежними вѣками, хотя бы мнѣніе цѣлаго народа, хотя бы большей части всѣхъ Христіанъ какого нибудь времени,—но если бы оно захотѣло выдать себя за догматъ Церкви, то этимъ притязаніемъ оно исключило бы себя изъ Церкви. Ибо Церковь Православная не ограничиваетъ своего самосознанія какимъ нибудь временемъ,—сколько бы это время ни почитало себя разумнѣе прежнихъ; но вся совокупность Христіанъ всѣхъ вѣковъ, настоящаго и прошедшихъ, составляетъ одно недѣлимое, вѣчно для нея живущее собраніе вѣрныхъ, связанныхъ единствомъ сознанія столько же, сколько общеніемъ молитвы.

Такая неприкосновенность предѣловъ Божественнаго Откровенія, ручаясь за чистоту и твердость вѣры въ Православной Церкви, съ одной стороны ограждаетъ ея ученіе отъ неправильныхъ перетолкованій естественнаго разума, съ другой—ограждаетъ разумъ отъ неправильнаго вмѣшательства Церковнаго авторитета. Такъ что для православнаго Христіанина всегда будетъ равно непонятно и то, какъ можно жечь Галилея за несогласіе его мнѣній съ понятіями Церковной іерархіи, и то, какъ можно отвергать достовѣрность Апостольскаго посланія за несогласіе истинъ, въ немъ выраженныхъ, съ понятіями какого нибудь человѣка или какого нибудь времени.

Но чѣмъ яснѣе обозначены и чѣмъ тверже стоятъ границы Божественнаго Откровенія, тѣмъ сильнѣе потребность вѣрующаго мышленія—согласить понятіе разума съ ученіемъ вѣры. Ибо истина одна, и стремленіе къ сознанію этого единства есть постоянный законъ и основное побужденіе разумной дѣятельности.

Чѣмъ свободнѣе, чѣмъ искреннѣе вѣрующій разумъ въ своихъ естественныхъ движеніяхъ, тѣмъ полнѣе и правильнѣе стремится онъ къ Божественной истинѣ. Для православномыслящаго ученіе Церкви не пустое зеркало, которое каждой личности отражаетъ ея очертаніе; не Прокрустова постель, которая уродуетъ живыя личности по одной условной мѣркѣ; но высшій идеалъ, къ которому только можетъ стремиться вѣрующій разумъ, конечный край высшей мысли, руководительная

звѣзда, которая горитъ на высотѣ неба и, отражаясь въ сердцѣ, освѣщаетъ разуму его путь къ истинѣ.

Но, чтобы согласить разумъ съ вѣрою, для православномыслящаго недостаточно устроивать разумныя понятія сообразно положеніямъ вѣры, избирать соотвѣтственныя, исключать противныя и такимъ образомъ очищать разумъ отъ всего противорѣчащаго вѣрѣ. Если бы въ такой отрицательной дѣятельности заключались отношенія православнаго мышленія къ вѣрѣ, то и результаты этого отношенія были бы такіе же, какъ на Западѣ. Понятія, несогласныя съ вѣрою, происходя изъ того же источника и такимъ же способомъ, какъ и понятія согласныя съ нею, имѣли бы одинакое съ ними право на признаніе, и въ самой основѣ самосознанія произошло бы то болѣзненное раздвоеніе, которое рано или поздно, но неминуемо уклонило бы мышленіе внѣ вѣры.

Но въ томъ-то и заключается главное отличіе православнаго мышленія, что оно ищетъ не отдѣльныя понятія устроить сообразно требованіямъ вѣры, но самый разумъ поднять выше своего обыкновеннаго уровня, — стремится самый источникъ разумѣнія, самый способъ мышленія возвысить до сочувственнаго согласія съ вѣрою.

Первое условіе для такого возвышенія разума заключается въ томъ, чтобы онъ стремился собрать въ одну недѣлимую цѣльность всѣ свои отдѣльныя силы, которыя въ обыкновенномъ положеніи человѣка находятся въ состояніи разрозненности и противорѣчія; чтобы онъ не признавалъ своей отвлеченной логической способности за единственный органъ разумѣнія истины; чтобы голосъ восторженнаго чувства, не соглашенный съ другими силами духа, онъ не почиталъ безошибочнымъ указаніемъ правды; чтобы внушенія отдѣльнаго эстетическаго смысла, независимо отъ другихъ понятій, онъ не считалъ вѣрнымъ путеводителемъ для разумѣнія высшаго міроустройства; даже,—чтобы господствующую любовь своего сердца, отдѣльно отъ другихъ требованій духа, онъ не почиталъ за непогрѣшительную руководительницу къ постиженію высшаго блага; но чтобы постоянно искалъ въ глубинѣ души

того внутренняго корня разумѣнія, гдѣ всѣ отдѣльныя силы сливаются въ одно живое и цѣльное зрѣніе ума.

И для разумѣнія истины въ этомъ собраніи всѣхъ душевныхъ силъ, разумъ не будетъ приводить мысль, ему предстоящую, послѣдовательно и отдѣльно на судъ каждой изъ своихъ отдѣльныхъ способностей, стараясь согласить всѣ ихъ приговоры въ одно общее значеніе. Но въ цѣльномъ мышленіи, при каждомъ движеніи души, всѣ ея струны должны быть слышны въ полномъ аккордѣ, сливаясь въ одинъ гармоническій звукъ.

Внутреннее сознаніе, что есть въ глубинѣ души живое общее средоточіе для всѣхъ отдѣльныхъ силъ разума, сокрытое отъ обыкновеннаго состоянія духа человѣческаго, но достижимое для ищущаго, и одно достойное постигать высшую истину,—такое сознаніе постоянно возвышаетъ самый образъ мышленія человѣка: смиряя его разсудочное самомнѣніе, онъ не стѣсняетъ свободы естественныхъ законовъ его разума; напротивъ, укрѣпляетъ его самобытность и вмѣстѣ съ тѣмъ добровольно подчиняетъ его вѣрѣ. Тогда на всякое мышленіе, исходящее изъ высшаго источника разумѣнія, онъ смотритъ, какъ на неполное, и потому невѣрное знаніе, которое не можетъ служить выраженіемъ высшей истины, хотя можетъ быть полезнымъ на своемъ подчиненномъ мѣстѣ, и даже иногда быть необходимою ступенью для другаго знанія, стоящаго на ступени еще низшей.

Потому, свободное развитіе естественныхъ законовъ разума не можетъ быть вредно для вѣры православно-мыслящаго. Православно-вѣрующій можетъ заразиться невѣріемъ, и то только при недостаткѣ внѣшней самобытной образованности,—но не можетъ, какъ мыслящій другихъ исповѣданій, естественнымъ развитіемъ разума придти къ невѣрію. Ибо его коренныя понятія о вѣрѣ и разумѣ предохраняютъ его отъ этого несчастія. Вѣра для него не слѣпое понятіе, которое потому только въ состояніи *вѣры*, что не развито естественнымъ разумомъ, и которое разумъ долженъ *возвысить* на степень *знанія*, разложивъ его на составныя части и показавъ такимъ образомъ, что въ немъ нѣтъ ничего особеннаго, чего бы и безъ

Божественнаго Откровенія нельзя было найти въ сознаніи естественнаго разума; она также не одинъ внѣшній авторитетъ, передъ которымъ разумъ долженъ слѣпнуть; но авторитетъ вмѣстѣ внѣшній и внутренній, высшая разумность, живительная для ума. Для нея развитіе разума естественнаго служитъ только ступенями, и, превышая обыкновенное состояніе ума, она тѣмъ самымъ вразумляетъ его, что онъ отклонился отъ своей первоестественной цѣльности и этимъ вразумленіемъ побуждаетъ къ возвращенію на степень высшей дѣятельности. Ибо православно-вѣрующій знаетъ, что для цѣльной истины нужна цѣльность разума, и исканіе этой цѣльности составляетъ постоянную задачу его мышленія.

При такомъ убѣжденіи, вся цѣпь основныхъ началъ естественнаго разума, могущихъ служить исходными точками для всѣхъ возможныхъ системъ мышленія, является ниже разума вѣрующаго, какъ въ бытіи внѣшней природы вся цѣпь различныхъ органическихъ существъ является ниже человѣка, способнаго при всѣхъ степеняхъ развитія къ внутреннему Богосознанію и молитвѣ.

Находясь на этой высшей степени мышленія, православно-вѣрующій легко и безвредно можетъ понять всѣ системы мышленія, исходящія изъ низшихъ степеней разума, и видѣть ихъ ограниченность и вмѣстѣ относительную истинность. Но для мышленія, находящагося на низшей степени, высшая непонятна и представляется неразуміемъ. Таковъ законъ человѣческаго ума вообще.

Эта независимость основной мысли православно-вѣрующаго отъ низшихъ системъ, могущихъ прикасаться его уму, не составляетъ исключительной принадлежности однихъ ученыхъ богослововъ и находится, такъ сказать, въ самомъ воздухѣ Православія. Ибо какъ бы ни мало были развиты разсудочныя понятія вѣрующаго, но каждый православный сознаетъ во глубинѣ души, что истина Божественная не обнимается соображеніями обыкновеннаго разума и требуетъ высшаго, духовнаго зрѣнія, которое пріобрѣтается не наружною ученостію, но внутреннею цѣльностію бытія. Потому истиннаго Богомыслія ищетъ онъ тамъ, гдѣ думаетъ встрѣтить вмѣстѣ и чистую цѣльную жизнь, которая ручается ему за цѣльность разума,

а не тамъ, гдѣ возвышается одна школьная образованность. Потому также весьма рѣдки случаи, чтобы православно-вѣрующій утратилъ свою вѣру единственно вслѣдствіе какихъ нибудь логическихъ разсужденій, могущихъ измѣнить его разсудочныя понятія. По большей части онъ увлекается къ невѣрію, а не убѣждается имъ. Онъ теряетъ вѣру не отъ умственныхъ затрудненій, но вслѣдствіе соблазновъ жизни, и своими разсудочными соображеніями ищетъ только оправдать въ собственныхъ глазахъ своихъ свое сердечное отступничество. Въ послѣдствіи уже безвѣріе укрѣпляется въ немъ какою нибудь разумною системою, замѣняющею прежнюю вѣру; такъ что тогда ему уже трудно бываетъ опять возвратиться къ вѣрѣ, не прочистивъ предварительно дороги для своего разума. Но покуда онъ вѣритъ сердцемъ, для него логическое разсужденіе безопасно. Ибо для него нѣтъ мышленія, оторваннаго отъ памяти о внутренней цѣльности ума, о томъ средоточіи самосознанія, гдѣ настоящее мѣсто для высшей истины и гдѣ не одинъ отвлеченный разумъ, но вся совокупность умственныхъ и душевныхъ силъ кладутъ одну общую печать достовѣрности на мысль, предстоящую разуму,—какъ на Аѳонскихъ горахъ каждый монастырь имѣетъ только одну часть той печати, которая, слагаясь вмѣстѣ изо всѣхъ отдѣльныхъ частей, на общемъ соборѣ монастырскихъ предстоятелей составляетъ одну законную печать Аѳона.

По этой же причинѣ въ мышленіи православно-вѣрующаго совокупляется всегда двойная дѣятельность: слѣдя за развитіемъ своего разумѣнія, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ слѣдитъ и за самымъ способомъ своего мышленія, постоянно стремясь возвысить разумъ до того уровня, на которомъ бы онъ могъ сочувствовать вѣрѣ. Внутреннее сознаніе, или иногда только темное чувство этого искомаго, конечнаго края ума, присутствуетъ неотлучно при каждомъ движеніи его разума, при каждомъ, такъ сказать, дыханіи его мысли, и если когда нибудь возможно развитіе самобытной образованности въ мірѣ православно-вѣрующемъ, то очевидно, что эта особенность православнаго мышленія, исходящая изъ особеннаго отношенія разума къ вѣрѣ, должна опредѣлить ея господствующее

направленіе. Такое только мышленіе можетъ со временемъ освободить умственную жизнь православнаго міра отъ искажающихъ вліяній посторонняго просвѣщенія, также какъ и отъ удушающаго гнета невѣжества, равно противныхъ просвѣщенію православному. Ибо развитіе мышленія, дающее тотъ или другой смыслъ всей умственной жизни, или, лучше сказать, развитіе философіи, условливается соединеніемъ двухъ противоположныхъ концовъ человѣческой мысли: того, гдѣ она сопрягается съ высшими вопросами вѣры, и того, гдѣ она прикасается развитію наукъ и внѣшней образованности.

Философія не есть одна изъ наукъ, и не есть вѣра. Она общій итогъ и общее основаніе всѣхъ наукъ, и проводникъ мысли между ними и вѣрою.

Гдѣ есть вѣра, и нѣтъ развитія разумной образованности, тамъ и философіи быть не можетъ.

Гдѣ есть развитіе наукъ и образованности, но нѣтъ вѣры, или вѣра исчезла ,— тамъ убѣжденія философскія замѣняютъ убѣжденія вѣры и, являясь въ видѣ предразсудка, даютъ направленіе мышленію и жизни народа. Не всѣ, раздѣляющіе философскія убѣжденія, изучали системы, изъ которыхъ онѣ исходятъ; но всѣ принимаютъ послѣдніе выводы этихъ системъ, такъ сказать, на вѣру въ убѣжденіе другихъ. Опираясь на эти умственные предразсудки съ одной стороны, а съ другой—возбуждаясь текущими вопросами современной образованности, разумъ человѣческій порождаетъ новыя системы философіи, соотвѣтствующія взаимному отношенію установившихся предубѣжденій и текущей образованности.

Но тамъ, гдѣ вѣра народа имѣетъ одинъ смыслъ и одно направленіе, а образованность, заимствованная отъ другаго народа, имѣетъ другой смыслъ и другое направленіе,—тамъ должно произойти одно изъ двухъ: или образованность вытѣснитъ вѣру, порождая соотвѣтственныя себѣ убѣжденія философскія; или вѣра, преодолѣвая въ мыслящемъ сознаніи народа эту внѣшнюю образованность, изъ самаго соприкосновенія съ нею произведетъ свою философію, которая дастъ другой смыслъ образованности внѣшней и проникнетъ ее господствомъ другаго начала.

Послѣднее совершилось, когда Христіанство явилось среди образованности языческой. Не только наука, но и самая философія языческая обратилась въ орудіе Христіанскаго просвѣщенія и, какъ подчиненное начало, вошло въ составъ философіи Христіанской.

Покуда внѣшнее просвѣщеніе продолжало жить на Востокѣ, до тѣхъ поръ процвѣтала тамъ и православно-Христіанская философія. Она погасла только вмѣстѣ съ свободою Греціи и съ уничтоженіемъ ея образованности. Но слѣды ея сохраняются въ Писаніяхъ Святыхъ Отцевъ Православной Церкви, какъ живыя искры, готовыя вспыхнуть при первомъ прикосновеніи вѣрующей мысли и опять засвѣтить путеводительный фонарь для разума, ищущаго истины.

Но возобновить философію Св. Отцевъ въ томъ видѣ, какъ она была въ ихъ время, невозможно. Возникая изъ отношенія вѣры къ современной образованности, она должна была соотвѣтствовать и вопросамъ своего времени, и той образованности, среди которой она развилась. Развитіе новыхъ сторонъ наукообразной и общественной образованности требуетъ и соотвѣтственнаго имъ новаго развитія философіи. Но истины, выраженныя въ умозрительныхъ Писаніяхъ Св. Отцевъ, могутъ быть для нея живительнымъ зародышемъ и свѣтлымъ указателемъ пути.

Противопоставить эти драгоцѣнныя и живительныя истины современному состоянію философіи; проникнуться, повозможности, ихъ смысломъ; сообразить въ отношеніи къ нимъ всѣ вопросы современной образованности, всѣ логическія истины, добытыя наукою, всѣ плоды тысячелѣтнихъ опытовъ разума среди его разносторонних дѣятельностей; изо всѣхъ этихъ соображеній вывести общія слѣдствія, соотвѣтственныя настоящимъ требованіямъ просвѣщенія,—вотъ задача, рѣшеніе которой могло бы измѣнить все направленіе просвѣщенія въ народѣ, гдѣ убѣжденія Православной вѣры находятся въ разногласіи съ заимствованною образованностію.

Но для удовлетворительнаго рѣшенія этой великой задачи нужна совокупная дѣятельность людей единомысленныхъ.

Философія, которая не хочетъ оставаться въ книгѣ и стоять на полкѣ, но должна перейти въ живое убѣжденіе,—должна также и развиться изъ живаго взаимно-дѣйствія убѣжденій, разнообразно, но единомышленно стремящихся къ одной цѣли. Ибо все, что есть существеннаго въ душѣ человѣка, выростаетъ въ немъ только общественно. Потомъ необходимо, чтобы личныя убѣжденія пришли не въ предположительное, но въ дѣйствительное столкновеніе съ вопросами окружающей образованности. Ибо только изъ дѣйствительныхъ отношеній къ существенности загараются тѣ мысли, которыя освѣщаютъ умъ и согрѣваютъ душу.

Но чтобы понять отношенія, которыя философія древнихъ Св. Отцевъ можетъ имѣть къ современной образованности, недостаточно прилагать къ ней требованія нашего времени; надобно еще постоянно держать въ умѣ ея связь съ образованностію, ей современною, чтобы отличить то, что въ ней есть существеннаго, отъ того, что только временное и относительное. Тогда не та была степень развитія наукъ, не тотъ характеръ этого развитія, и не то волновало и смущало сердце человѣка, что волнуетъ и смущаетъ его теперь.

Древній міръ былъ въ непримиримомъ противорѣчіи съ Христіанствомъ: не только тогда, когда Христіанство боролось съ многобожіемъ, но и тогда, когда государство называло себя Христіанскимъ. Міръ и Церковь были двѣ противныя крайности, которыя взаимно другъ друга исключали въ сущности, хотя терпѣли другъ друга наружно. Язычество не уничтожилось съ многобожіемъ. Оно процвѣтало въ устройствѣ государственномъ, въ законахъ, въ Римскомъ правительствѣ, своекорыстномъ, бездушномъ, насильственномъ и лукавомъ; въ чиновникахъ, нагло продажныхъ и открыто двоедушныхъ; въ судахъ, явно подкупныхъ и вопіющую несправедливость умѣвшихъ одѣвать въ формальную законность; въ нравахъ народа, проникнутыхъ лукавствомъ и роскошью, въ его обычаяхъ, въ его игракъ, однимъ словомъ, во всей совокупности общественныхъ отношеній Имперіи. Константинъ Великій призналъ правительство Христіанскимъ, но не успѣлъ его переобразовать согласно духу Христіанскому. Физическое

мученичество прекратилось, но нравственное осталось. Великое дѣло было — законное и гласное признаніе истины Христіанства; но воплощеніе этой истины въ государственномъ устройствѣ требовало времени. Если бы преемники Константина были проникнуты такимъ же искреннимъ уваженіемъ къ Церкви, то, можетъ быть, Византія могла бы сдѣлаться Христіанскою. Но ея правители по большей части были еретики или отступники и угнетали Церковь, подъ видомъ покровительства, пользуясь ею только, какъ средствомъ для своей власти. Между тѣмъ самый составъ Римской Имперіи былъ таковъ, что для правящей ею власти едва ли возможно было отказаться отъ своего языческаго характера. Римская власть была отвлеченно-государственная; подъ правительствомъ не было народа, котораго бы оно было выраженіемъ, съ которымъ его сочувственныя отношенія могли бы устроивать лучшую жизнь государства. Римское правительство было внѣшнею и насильственною связью многихъ разнородныхъ народностей, чуждыхъ другъ другу по языку и нравамъ и враждебныхъ по интересамъ. Крѣпость правительства основывалась на равновѣсіи народныхъ враждебностей. Насильственный узелъ связывалъ людей, но не соединялъ ихъ. Всякій общественный и мѣстный духъ, которымъ дышетъ и держится нравственность общественная, былъ противенъ правительству. У народовъ остались родины, но отечество исчезло и не могло возникнуть иначе, какъ изъ внутренняго единомыслія. Одна Церковь Христіанская оставалась живою, внутреннею связью между людьми; одна любовь къ небесному отечеству соединяла ихъ; одно единомысліе въ вѣрѣ вело къ сочувствію жизненному; одно единство внутреннихъ убѣжденій, укрѣпляясь въ умахъ, могло со временемъ привести и къ лучшей жизни на землѣ. Потому, стремленіе къ единомыслію и единодушію въ Церкви было полнымъ выраженіемъ и любви къ Богу, и любви къ человѣчеству, и любви къ отечеству, и любви къ истинѣ. Между гражданиномъ Рима и сыномъ Церкви не было ничего общаго. Христіанину оставалась одна возможность для общественной дѣятельности, которая заключалась въ полномъ и безусловномъ протестѣ

противъ міра. Чтобы спасти внутреннія убѣжденія, Христіанинъ Византійскій могъ только умереть для общественной жизни. Такъ онъ дѣлалъ, идя на мученичество; такъ дѣлалъ, уходя въ пустыни, или запираясь въ монастырь. Пустыня и монастырь были не главнымъ, но, можно сказать, почти единственнымъ поприщемъ для Христіанскаго нравственнаго и умственнаго развитія человѣка; ибо Христіанство не уклонялось умственнаго развитія, но, напротивъ, вмѣщало его въ себѣ.

Вслѣдствіе такого порядка вещей, вопросы современной образованности не могли имѣть характера общественнаго, потому и философія должна была ограничиться развитіемъ внутренней, созерцательной жизни. Интересъ историческій, который основывается на интересѣ общественномъ, также не могъ входить въ ея сферу. Нравственные вопросы касались ея также только въ той мѣрѣ, въ какой они относились къ одинокой внутренней жизни. Но внѣшняя жизнь человѣка и законы развитія отношеній семейныхъ, гражданскихъ, общественныхъ и государственныхъ, почти не входили въ ея объемъ. Хотя общія начала для этихъ отношеній находятся въ ея общихъ понятіяхъ о человѣкѣ, но они не получили наукообразнаго вывода. Можетъ быть, общія нравственныя понятія тѣмъ чище и глубже раскрывались въ одинокихъ умозрѣніяхъ монастырей, чѣмъ менѣе къ нимъ примѣшивались временныя мірскія вліянія. Но ихъ внутренняя чистота и глубина не имѣли той полноты наружнаго развитія, какой требовало бы отъ нихъ другое время и другое состояніе внѣшней образованности.

Однакоже, между вопросами внутренней, созерцательной жизни того времени и между вопросами современной намъ общественно-философской образованности есть общее; это— человѣческій разумъ. Естество разума, разсматриваемое съ высоты сосредоточеннаго Богомыслія, испытанное въ самомъ высшемъ развитіи внутренняго, духовнаго созерцанія, является совсѣмъ въ другомъ видѣ, чѣмъ въ какомъ является разумъ, ограничивающійся развитіемъ жизни внѣшней и обыкновенной. Конечно, общіе его законы тѣ же. Но, восходя на высшую ступень развитія, онъ обнаруживаетъ новыя стороны и новыя

силы своего естества, которыя бросаютъ новый свѣтъ и на общіе его законы.

То понятіе о разумѣ, которое выработалось въ новѣйшей философіи и котораго выраженіемъ служитъ система Шеллинго-Гегельянская, не противорѣчило бы безусловно тому понятію о разумѣ, какое мы замѣчаемъ въ умозрительныхъ твореніяхъ Святыхъ Отцевъ, еслибы только оно не выдавало себя за высшую познавательную способность, и вслѣдствіе этого притязанія на высшую силу познаванія, не ограничивало бы самую истину только той стороной познаваемости, которая доступна этому отвлеченно-раціональному способу мышленія.

Всѣ ложные выводы раціональнаго мышленія зависятъ только отъ его притязанія на высшее и полное познаніе истины. Если бы оно сознало свою ограниченность и видѣло въ себѣ одно изъ орудій, которыми познается истина, а не единственное орудіе познаванія; тогда и выводы свои оно представило бы, какъ условные и относящіеся единственно къ его ограниченной точкѣ зрѣнія, и ожидало бы другихъ, высшихъ и истиннѣйшихъ выводовъ отъ другаго, высшаго и истиннѣйшаго способа мышленія. Въ этомъ смыслѣ принимается оно мыслящимъ Христіаниномъ, который, отвергая его послѣдніе результаты, тѣмъ съ большею пользою для своего умственнаго развитія можетъ изучать его относительную истину, принимая, какъ законное достояніе разума, все, что есть вѣрнаго и объяснительнаго въ самомъ одностороннемъ развитіи его умозрѣній.

Впрочемъ, если бы разумъ философскій созналъ свою ограниченность, то, развиваясь даже внутри ея, онъ принялъ бы другое направленіе, могущее его привести къ высшей полнотѣ знанія. Но это сознаніе ограниченности было бы смертнымъ приговоромъ его безусловному авторитету: потому онъ всегда боялся этого сознанія, и тѣмъ болѣе, что оно всегда было близко къ нему. Чтобы избѣжать его, онъ безпрестанно мѣнялъ свои формы. Едва понимали его недостаточность, какъ онъ ускользалъ отъ этого пониманія, являясь въ другомъ видѣ и оставляя свой прежній образъ, какъ простую чешую въ рукахъ своихъ противниковъ. Такъ: чтобы избѣжать упрековъ

въ недостаточности, онъ перешелъ отъ формально-логическихъ доказательствъ къ опытнымъ наблюденіямъ съ одной стороны, съ другой—къ внутреннему сознанію истины, и назвалъ прежнее свое мышленіе *разсудочнымъ*, а новое *разумнымъ*. Обнаруживъ вслѣдствіе своего развитія въ новой формѣ также и ея недостаточность, онъ назвалъ и ее *разсудочною* и перешелъ къ *чистому разуму*. Когда же Якоби обличалъ ограниченность теорій чистаго разума, какъ онѣ выразились въ системѣ Канта и Фихте, то въ концѣ своей длинной и многолѣтней полемики, узналъ къ своему удивленію, что все, сказанное имъ о *разумѣ*, должно относиться къ *разсудку*. Теорія Канта и Фихте оказалась разсудочная; развитіе разума должно было только начаться въ системѣ Шеллинга и Гегеля. «Теперь только, — писалъ Гегель въ 1802 году, указывая на систему Шеллинга,—теперь только можетъ начаться собственно философія *разума;* ибо циклъ разсудочнаго развитія окончился системою Фихте.»

Такимъ образомъ разумъ, какъ его понимаетъ послѣдняя философія, не смѣшиваетъ себя съ логическимъ разсудкомъ, заключающимся въ формальномъ сцѣпленіи понятій и движущимся посредствомъ силлогистическихъ выводовъ и доказательствъ. Разумъ въ послѣднемъ своемъ видѣ выводитъ свое знаніе, по законамъ умственной необходимости, не изъ отвлеченнаго понятія, но изъ самаго корня самосознанія, гдѣ бытіе и мышленіе соединяются въ одно безусловное тождество. Его мыслительный процессъ заключается не въ логическомъ развитіи, движущемся посредствомъ отвлеченныхъ умозаключеній, но въ развитіи діалектическомъ, исходящемъ изъ самой сущности предмета. Предметъ мышленія, предстоя зрѣнію ума, самъ собою прелагается изъ вида въ видъ, изъ понятія въ понятіе, безпрестанно возрастая въ полнѣйшее значеніе. Умъ, вглядываясь въ предметъ своего мышленія, открываетъ въ немъ внутреннее противорѣчіе, уничтожающее прежнее объ немъ понятіе. Это противорѣчащее, отрицательное понятіе, представляясь уму, также обнаруживаетъ свою несостоятельность и открываетъ въ себѣ необходимость положительной основы, таящейся въ немъ, которая такимъ образомъ уже является,

какъ соединеніе положительнаго и отрицательнаго опредѣленія въ одно *сложное* (конкретное). Но это новое понятіе, въ свою очередь, едва представляется уму въ видѣ послѣдняго результата сознаванія, какъ уже въ этомъ притязаніи на конечную самобытность обличаетъ свою несостоятельность и открываетъ свою отрицательную сторону. Эта отрицательная сторона опять приводитъ свою положительную, которая снова подвергается тому же видоизмѣнительному процессу, покуда наконецъ совершится весь кругъ діалектическаго развитія мысли, восходящей отъ перваго начала сознанія къ общей и чистой отвлеченности мышленія, которая вмѣстѣ есть и общая существенность. Отсюда тѣмъ же діалектическимъ способомъ сознаніе наполняется всѣмъ развитіемъ бытія и мышленія, какъ тождественнаго явленія одной осуществленной разумности и самосознающейся существенности.

Но, высказавъ свое послѣднее слово, философскій разумъ далъ вмѣстѣ съ тѣмъ возможность уму сознать его границы. Вслѣдствіе того же діалектическаго процесса, который служилъ разуму къ построенію его философіи, самъ этотъ діалектическій процессъ подвергся тому же разлагающему воззрѣнію и явился предъ разумнымъ сознаніемъ, какъ одна отрицательная сторона знанія, обнимающая только возможную, а не дѣйствительную, истину и требующая въ пополненіе себѣ другаго мышленія, не предположительно, а положительно сознающаго и стоящаго столько же выше логическаго саморазвитія, сколько дѣйствительное событіе выше простой возможности.

Это сознаніе ограниченности и неудовлетворительности послѣдняго выраженія философскаго мышленія составляетъ теперь высшую степень умственнаго развитія Запада. Это не мнѣніе какихъ нибудь дилетантовъ философіи; не возгласы людей, нападающихъ на философію по причинѣ какихъ нибудь постороннихъ интересовъ; это даже не судъ такихъ людей, какъ Краузе и Баадеръ, которые своимъ философскимъ глубокомысліемъ во многомъ помогали развитію послѣдней философіи, но не имѣли довольно власти надъ умами для того, чтобы ихъ протестъ противъ ея безусловной истинности могъ измѣнить направленіе

философскаго развитія. Они сильно дѣйствовали на другомъ поприщѣ, которое проходитъ невидимо между наукою и жизнію; но ни одинъ изъ нихъ не образовалъ особой философской школы (*). Односторонность и неудовлетворительность раціональнаго мышленія и послѣдней философіи, какъ его полнѣйшаго проявленія, созналъ и выразилъ въ очевидной и неопровержимой ясности тотъ же самый великій мыслитель, который первый создалъ послѣднюю философію и возвысилъ, по признанію Гегеля, раціональное мышленіе отъ формальной разсудочности къ существенной разумности.

Ибо послѣдняя философія Нѣмецкая столько же принадлежитъ Шеллингу, сколько и Гегелю. Она начата была Шеллингомъ, имъ утверждена на своемъ новомъ основаніи, имъ развита во многихъ отдѣльныхъ частяхъ, имъ вмѣстѣ съ Гегелемъ введена въ общее сознаніе Германіи. Гегель долго почитался ученикомъ и послѣдователемъ Шеллинга. Ему принадлежитъ ея подробнѣйшее развитіе, обнимающее всѣ отросли наукъ и представляющее доконченную круглоту наукообразно построенной системы. Потому, Шеллингъ и могъ такъ ясно сознать ограниченность этой философіи, что она была его собственная мысль (**).

(*) Халибеусъ не можетъ входить въ категорію философовъ, противныхъ послѣднему направленію философіи. Ибо хотя его начала въ самомъ основаніи нѣсколько разногласятъ съ воззрѣніемъ Гегеля на общіе законы разума, но эти разногласія не выводятъ его изъ сферы раціональнаго отвлеченнаго мышленія. Герресъ, бывшій однимъ изъ знаменитѣйшихъ послѣдователей Шеллинга и перешедшій отъ философіи къ вѣрѣ, также не могъ имѣть вліянія на общее развитіе ума, потому что его переходъ совершился не вслѣдствіе правильнаго развитія сознанія, но вслѣдствіе его личной особенности и постороннихъ вліяній.

(**) Гегель въ своей исторіи философіи обозначаетъ нѣкоторыя отличія своей системы отъ Шеллинговой; но эти отличія принадлежатъ тому періоду Шеллинговой философіи, когда его мышленіе уже начало принимать другое направленіе, о чемъ, впрочемъ, и самъ Гегель упоминаетъ. Единственное различіе между первою системою Шеллинга и системою Гегеля заключается въ способѣ изложенія основной мысли. Ибо то внутреннее противорѣчіе мысли, которое Шеллингъ представляетъ въ совокупномъ проявленіи двухъ полярностей и ихъ тождества, у Гегеля является въ послѣдовательномъ движеніи сознаванія отъ одного опредѣленія мысли къ противоположному. Что же касается до *умственнаго созерцанія*, о которомъ говорилъ Шеллингъ и

Авторитетъ Шеллинга и еще болѣе очевидная справедливость его возрѣнія на ограниченность раціональнаго мышленія видимо поколебали въ Германіи безусловную довѣренность къ выводамъ послѣдняго любомудрія и были одной изъ причинъ охлажденія умовъ къ философіи. Конечно, Гегельянцы еще остались и останутся надолго, ибо весь характеръ современной образованности сочувствуетъ ихъ направленію. Но когда мысль на самой вершинѣ своего развитія сознала свою несостоятельность, то новое направленіе уже возможно. Большинство, составляющее толпу, еще долго можетъ оставаться въ отжившихъ убѣжденіяхъ; но прежняго огня увѣренности убѣжденіе толпы въ нихъ не вложитъ. Знаменитый Эрдманъ называетъ себя послѣднимъ Могиканомъ изъ учениковъ Гегеля. Новыхъ философскихъ знаменитостей уже не видно,—и врядъ ли онѣ уже возможны.

Но послѣдняя система Шеллинга не могла еще имѣть настоящаго дѣйствія на умы, потому что соединяетъ въ себѣ двѣ противоположныя стороны, изъ которыхъ одна несомнѣнно истинная, а другая почти столько же несомнѣнно ложная: первая—отрицательная, показывающая несостоятельность раціональнаго мышленія; вторая—положительная, излагающая построеніе новой системы. Но эти двѣ стороны не имѣютъ между собой необходимой связи и могутъ быть отдѣлены одна отъ другой, и непремѣнно будутъ отдѣлены. Тогда отрицательное вліяніе Шеллингова мышленія будетъ еще несравненно сильнѣе. Убѣдившись въ ограниченности самомышленія и въ необходимости Божественнаго Откровенія, хранящагося въ преданіи, и вмѣстѣ съ тѣмъ въ необходимости живой вѣры, какъ высшей разумности и существенной стихіи познаванія, Шеллингъ не обратился къ Христіанству, но перешелъ къ нему естественно, вслѣдствіе глубокаго и правильнаго развитія своего разумнаго самосознанія: ибо въ основной глубинѣ человѣческаго разума, въ самой природѣ его заложена

которое не вмѣщалось въ систему Гегеля, то оно и въ Шеллинговой первой системѣ не имѣетъ существеннаго значенія. Объ немъ Шеллингъ упоминаетъ, но не развиваетъ его. Это было только предчувствіе будущаго направленія его мысли.

возможность сознанія его коренныхъ отношеній къ Богу. Только оторвавшимъ отъ этой существенной глубины, или не достигнувъ ея, можетъ мысль человѣческая кружиться въ отвлеченномъ забвеніи своихъ основныхъ отношеній. Шеллингъ же, по своей врожденной геніальности и по необычайному развитію своего философскаго глубокомыслія, принадлежалъ къ числу тѣхъ существъ, которыя рождаются не вѣками, но тысячелѣтіями.

Но, стремясь къ Божественному Откровенію, гдѣ могъ онъ найти его чистое выраженіе, соотвѣтствующее его разумной потребности вѣры?—Бывъ отъ рожденія протестантомъ, Шеллингъ былъ, однакоже, столько искренемъ и добросовѣстенъ въ своихъ внутреннихъ убѣжденіяхъ, что не могъ не видать ограниченности протестантизма, отвергающаго преданіе, которое хранилось въ Римской Церкви, и часто выражалъ это воззрѣніе свое; такъ что долгое время по Германіи ходили слухи, что Шеллингъ перешелъ къ Римской Церкви. Но Шеллингъ также ясно видѣлъ и въ Римской Церкви смѣшеніе преданія истиннаго съ неистиннымъ, Божественнаго съ человѣческимъ.

Тяжелое должно быть состояніе человѣка, который томится внутреннею жаждою Божественной истины и не находитъ чистой религіи, которая бы могла удовлетворить этой всепроникающей потребности. Ему оставалось одно: собственными силами добывать и отыскивать изъ смѣшеннаго Христіанскаго преданія то, что соотвѣтствовало его внутреннему понятію о Христіанской истинѣ. Жалкая работа—сочинять себѣ вѣру!

Здѣсь руководствовался онъ не одними умозрительными соображеніями, которыхъ недостаточность такъ ясно сознавалъ, но, кромѣ Священнаго Писанія, искалъ опоры для мысли въ дѣйствительномъ Богосознаніи всего человѣчества, во сколько оно сохраняло преданіе первобытнаго Божественнаго Откровенія человѣку. Въ миѳологіи древнихъ народовъ находилъ онъ слѣды хотя искаженнаго, но не утраченнаго Откровенія. То существенное отношеніе къ Богу, въ которомъ находилось первое человѣчество, распадаясь на различные виды, сообразно размѣтленію различныхъ народностей, въ каждой народности являлось въ особой ограниченной формѣ, и этою особою

формою Богосознанія опредѣляло самую особенность народности. Но внутри всѣхъ этихъ болѣе или менѣе искажающихъ ограниченій оставались неизмѣнныя черты общаго существеннаго характера Откровенія. Согласіе этихъ общихъ внутреннихъ и основныхъ началъ каждой миѳологіи съ основными началами Христіанскаго преданія выражало для Шеллинга чистую истину Божественнаго Откровенія.

Такой взглядъ на исторію человѣческихъ вѣрованій могъ бы быть весьма питателенъ для Христіанской мысли, если бы она предварительно уже стояла на твердомъ основаніи. Но неопредѣленность предварительнаго убѣжденія и вмѣстѣ неопредѣленность внутренняго значенія миѳологіи, подлежащихъ болѣе или менѣе произвольному толкованію изыскателя, были причиною, что Шеллингова Христіанская философія явилась и не Христіанскою, и не философіей: отъ Христіанства отличалась она самыми главными догматами, отъ философіи—самымъ способомъ познаванія.

Къ томуже, требуя истины существенной, основанной не на отвлеченномъ умозрѣніи, но на мышленіи, проникнутомъ вѣрою, Шеллингъ не обратилъ вниманія на тотъ особенный образъ внутренней дѣятельности разума, который составляетъ необходимую принадлежность вѣрующаго мышленія. Ибо образъ разумной дѣятельности измѣняется, смотря по той степени, на которую разумъ восходитъ. Хотя разумъ одинъ, и естество его одно, но его образы дѣйствія различны, также какъ и выводы, смотря по тому, на какой степени онъ находится, и какая сила имъ движетъ и дѣйствуетъ. Ибо эта движущая и оживляющая сила происходитъ не отъ мысли, предстоящей разуму, но изъ самаго внутренняго состоянія разума исходитъ она къ мысли, въ которой находитъ свое успокоеніе и чрезъ которую уже сообщается другимъ разумнымъ личностямъ.

Эта внутренняя природа разума обыкновенно ускользаетъ отъ вниманія Западныхъ мыслителей. Привыкнувъ къ мышленію отвлеченно-логическому, гдѣ все знаніе зависитъ отъ формальнаго развитія предмета мышленія и гдѣ весь смыслъ поглощается выразимою стороною мысли, они не обращаютъ вниманія на ту внутреннюю силу ума, которая въ предметахъ

живаго знанія, превосходящаго формальность логическаго сцѣпленія, совершаетъ движеніе мышленія, постоянно сопровождаетъ его, носится, такъ сказать, надъ выраженіемъ мысли и сообщаетъ ей смыслъ, невмѣстимый внѣшнимъ опредѣленіемъ, и результаты, независимые отъ наружной формы. Потому, въ писаніяхъ Св. Отцевъ искалъ Шеллингъ выраженія Богословскихъ догматовъ, но не цѣнилъ ихъ умозрительныхъ понятій о разумѣ и о законахъ высшаго познаванія. По этой причинѣ положительная сторона его системы, не имѣя внутренняго характера вѣрующаго мышленія, хотя мало нашла сочувствія въ Германіи, но еще менѣе можетъ найти его въ Россіи. Ибо Россія можетъ увлекаться логическими системами иноземныхъ философій, которыя для нея еще новы; но для любомудрія вѣрующаго она строже другихъ земель Европы, имѣя высокіе образцы духовнаго мышленія въ древнихъ Св. Отцахъ и въ великихъ духовныхъ писаніяхъ всѣхъ временъ, не исключая и настоящаго. За то отрицательная сторона Шеллинговой системы, обнимающая несостоятельность раціональнаго мышленія, врядъ ли можетъ быть такъ безпристрастно оцѣнена въ Германіи, сроднившейся съ своимъ отвлеченнымъ и логическимъ мышленіемъ, какъ въ Россіи, гдѣ, послѣ перваго, юношескаго увлеченія чужою системою, человѣкъ свободнѣе можетъ возвратиться къ существенной разумности,—особенно, когда эта существенная разумность согласна съ его историческою своеобразностію.

Потому я думаю, что философія Нѣмецкая, въ совокупности съ тѣмъ развитіемъ, которое она получила въ послѣдней системѣ Шеллинга, можетъ служить у насъ самою удобною ступенью мышленія отъ заимствованныхъ системъ къ любомудрію самостоятельному, соотвѣтствующему основнымъ началамъ древне-Русской образованности и могущему подчинить раздвоенную образованность Запада цѣльному сознанію вѣрующаго разума.

—

ОТРЫВКИ.

Древне-Русская, православно-Христіанская образованность, лежавшая въ основаніи всего общественнаго и частнаго быта Россіи, заложившая особенный складъ Русскаго ума, стремящагося ко внутренней цѣльности мышленія, и создавшая особенный характеръ коренныхъ Русскихъ нравовъ, проникнутыхъ постоянною памятью объ отношеніи всего временнаго къ вѣчному и человѣческаго къ Божественному, — эта образованность, которой слѣды до сихъ поръ еще сохраняются въ народѣ, была остановлена въ своемъ развитіи прежде, чѣмъ могла принести прочный плодъ въ жизни или даже обнаружить свое процвѣтаніе въ разумѣ. На поверхности Русской жизни господствуетъ образованность заимствованная, возросшая на другомъ корнѣ. Противорѣчіе основныхъ началъ двухъ спорящихъ между собою образованностей есть главнѣйшая, если не единственная, причина всѣхъ золъ и недостатковъ, которые могутъ быть замѣчены въ Русской землѣ. Потому, примиреніе обѣихъ образованностей въ такомъ мышленіи, котораго основаніе заключало бы въ себѣ самый корень древне-Русской образованности, а развитіе состояло бы въ сознаніи всей образованности Западной и въ подчиненіи ея выводовъ (1) господствующему духу православно-Христіанскаго любомудрія, — такое примирительное мышленіе могло бы быть началомъ новой умственной жизни въ Россіи и, — кто знаетъ? — можетъ быть, нашло бы отголоски и на Западѣ, среди искреннихъ мыслителей, безпристрастно ищущихъ истины.

Чья вина была въ томъ, что древне-Русская образованность

---

(1) Разумѣется, не насильственномъ, а въ томъ подчиненіи, которое естественно происходитъ изъ сознанія сравнительной высоты самыхъ началъ. *Изд.*

не могла развиться и господствовать надъ образованностью Запада? — Вина ли внѣшнихъ историческихъ обстоятельствъ, или внутренняго ослабленія духовной жизни Русскаго человѣка? Рѣшеніе этого вопроса не касается нашего предмета. Замѣтимъ только, что характеръ просвѣщенія, стремящагося во внутренней, духовной цѣльности, тѣмъ отличается отъ просвѣщенія логическаго, или чувственно-опытнаго, или вообще основаннаго на развитіи распавшихся силъ разума, что послѣднее, не имѣя существеннаго отношенія къ нравственному настроенію человѣка, не возвышается и не упадаетъ отъ его внутренней высоты или низости, но, бывъ однажды пріобрѣтено, остается навсегда его собственностію, независимо отъ настроенія его духа. Просвѣщеніе духовное, напротивъ того, есть знаніе живое: оно пріобрѣтается по мѣрѣ внутренняго стремленія къ нравственной высотѣ и цѣльности, и исчезаетъ вмѣстѣ съ этимъ стремленіемъ, оставляя въ умѣ одну наружность своей формы. Его можно погасить въ себѣ, если не поддерживать постоянно того огня, которымъ оно загорѣлось.

По этой причинѣ, кажется, нельзя не предположить, что хотя сильныя внѣшнія причины, очевидно, противились развитію самобытной Русской образованности, однакоже упадокъ ея совершился и не безъ внутренней вины Русскаго человѣка. Стремленіе къ внѣшней формальности, которое мы замѣчаемъ въ Русскихъ раскольникахъ, даетъ поводъ думать, что въ первоначальномъ направленіи Русской образованности произошло нѣкоторое ослабленіе еще гораздо прежде Петровскаго переворота. Когда же мы вспомнимъ, что въ концѣ 15-го и въ началѣ 16-го вѣка были сильныя партіи между представителями тогдашней образованности Россіи, которыя начали смѣшивать Христіанское съ Византійскимъ, и по Византійской формѣ хотѣли опредѣлить общественную жизнь Россіи, еще искавшую тогда своего равновѣсія; то мы поймемъ, что въ это самое время и, можетъ быть, въ этомъ самомъ стремленіи и начинался упадокъ Русской образованности. Ибо дѣйствительно, какъ скоро Византійскіе законы стали вмѣшиваться въ дѣло Русской общественной жизни, и для грядущаго Россіи начали брать образцы изъ преднедшаго порядка Восточно-

Римской Имперіи; то въ этомъ движеніи ума уже была рѣшена судьба Русской коренной образованности. Подчинивъ развитіе общества чужой формѣ, Русскій человѣкъ тѣмъ самымъ лишилъ себя возможности живаго и правильнаго возрастанія въ самобытномъ просвѣщеніи, и хотя сохранилъ святую истину въ чистомъ и неискаженномъ видѣ, но стѣснилъ свободное въ ней развитіе ума и тѣмъ подвергся сначала невѣжеству, потомъ, вслѣдствіе невѣжества, подчинился непреодолимому вліянію чужой образованности.

Хотя просвѣщеніе иноземное принадлежитъ почти исключительно высшему, такъ называемому, *образованному* классу Русскаго народа, а первобытное просвѣщеніе Россіи хранится, не развиваясь, въ нравахъ, обычаяхъ и внутреннемъ складѣ ума, такъ называемаго, простаго народа,—однакожъ, противорѣчіе этихъ двухъ просвѣщеній отзывается равно вредными послѣдствіями на оба класса. Ни тутъ, ни тамъ, нѣтъ ничего цѣльнаго, однороднаго. Ни иноземная образованность не можетъ принести даже тѣхъ плодовъ, какіе она приноситъ въ другихъ странахъ, ибо не находитъ для себя корня въ землѣ; ни коренная образованность не можетъ сохранять своего значенія, потому что вся внѣшняя жизнь проникнута другимъ смысломъ. Въ нравственномъ отношеніи такое противорѣчіе еще вреднѣе, чѣмъ въ умственномъ, и большая часть пороковъ Русскаго человѣка, которые приписываются разнымъ случайнымъ причинамъ, происходятъ единственно отъ этого основнаго разногласія Русской жизни.

Самый образъ распространенія внѣшней иноземной образованности посреди Русскаго народа уже опредѣляетъ характеръ ея нравственнаго вліянія. Ибо распространеніе это совершается, какъ я уже сказалъ, не силою внутренняго убѣжденія, но силою внѣшняго соблазна, или внѣшней необходимости. Въ обычаяхъ и нравахъ своихъ отцевъ Русскій человѣкъ видитъ что-то святое; въ обычаяхъ и нравахъ привходящей образованности онъ видитъ только приманчивое или выгодное, или просто насильственно неразумное. Потому, обыкновенно онъ поддается образованности противъ совѣсти, какъ злу, которому противостоять не нашелъ въ себѣ силы. Принимая

чужіе нравы и обычаи, онъ не измѣняетъ своего образа мыслей, но ему измѣняетъ. Сначала увлекается или поддается, потомъ уже составляетъ себѣ образъ мыслей, согласный съ своимъ образомъ жизни. Потому, чтобы сдѣлаться образованнымъ, ему прежде нужно сдѣлаться болѣе или менѣе отступникомъ отъ своихъ внутреннихъ убѣжденій. Какія послѣдствія должно имѣть такое начало образованности на нравственный характеръ народа, — легко отгадать заочно. Правда, до сихъ поръ, слава Богу, Русскій народъ еще не теряетъ своей чистой вѣры и многихъ драгоцѣнцѣнныхъ качествъ, которыя изъ этой вѣры рождаются; но, по несчастію, нельзя не сознаться, что онъ потерялъ уже одну изъ необходимыхъ основъ общественной добродѣтели: уваженіе къ святынѣ *правды*.

Здѣсь коснулись мы такого предмета, о которомъ едва ли можетъ говорить равнодушно человѣкъ, сколько нибудь любящій свое отечество. Ибо если есть какое зло въ Россіи, если есть какое либо неустройство въ ея общественныхъ отношеніяхъ, если есть вообще причины страдать Русскому человѣку, то всѣ онѣ первымъ корнемъ своимъ имѣютъ неуваженіе къ святости правды.

Да, къ несчастію, Русскому человѣку легко солгать. Онъ почитаетъ ложь грѣхомъ общепринятымъ, неизбѣжнымъ, почти не стыднымъ, какимъ-то внѣшнимъ грѣхомъ, происходящимъ изъ необходимости внѣшнихъ отношеній, на которыя онъ смотритъ, какъ на какую-то неразумную силу. Потому, онъ не задумавшись готовъ отдать жизнь за свое убѣжденіе, претерпѣть всѣ лишенія для того, чтобы не запятнать своей совѣсти, и въ то же время лжетъ за копѣйку барыша, лжетъ за стаканъ вина, лжетъ изъ боязни, лжетъ изъ выгоды, лжетъ безъ выгоды. Такъ удивительно сложились его понятія въ послѣднее полуторастолѣтіе. Онъ совершенно не дорожитъ своимъ внѣшнимъ словомъ. Его слово—это не онъ, это его вещь, которою онъ владѣетъ на правѣ Римской собственности, то есть, можетъ ее употреблять и истреблять, не отвѣчая ни передъ кѣмъ. Онъ не дорожитъ даже своею присягою. На площади каждаго города можно видѣть калачниковъ, которые каждый торгъ ходятъ по десяти разъ въ день присягать въ томъ, что они не видали драки, бывшей передъ ихъ глазами.

При каждой покупкѣ земли, при каждомъ вводѣ во владѣніе, собираются всѣ окружные сосѣди присягать, сами не зная въ чемъ и не интересуясь узнать этого.—И это отсутствіе правды у того самаго народа, котораго древніе путешественники хвалили за правдолюбіе, который такъ дорожилъ присягою, что даже въ правомъ дѣлѣ скорѣе готовъ былъ отказаться отъ своего иска, чѣмъ произнести клятву!

А между тѣмъ, лишившись правдивости слова, какъ можетъ человѣкъ надѣяться видѣть устройство правды въ его общественныхъ отношеніяхъ? Покуда не возвратитъ онъ въ себѣ безусловное уваженіе къ правдѣ слова, какимъ внѣшнимъ надзоромъ можно уберечь общество отъ тѣхъ злоупотребленій, которыя только самимъ обществомъ могутъ быть замѣчены, оцѣнены и исправлены?

Но это отсутствіе правды, благодаря Бога, проникло еще не въ самую глубину души Русскаго человѣка; еще есть сферы жизни, гдѣ святость правды и вѣрность слову для него остались священными. На этой части его сердца, уцѣлѣвшей отъ заразы, утверждается возможность его будущаго возрожденія. Много путей открывается передъ мыслію, по которымъ Русскій человѣкъ можетъ идти къ возрожденію въ прежнюю стройность жизни. Всѣ они съ большею или меньшею вѣроятностію могутъ вести къ желанной цѣли, ибо достиженіе этой цѣли еще возможно, покуда силы Русскаго дука еще не утрачены, покуда вѣра въ немъ еще не погасла, покуда на господственномъ состояніи его духа еще лежитъ печать прежней цѣльности бытія. Но одно достовѣрно и несомнѣнно, что тотъ вредъ, который чужая образованность производитъ въ умственномъ и нравственномъ развитіи Русскаго народа, не можетъ быть устраненъ насильственнымъ удаленіемъ отъ этой образованности или отъ ея источника,—Европейской науки. Ибо, во первыхъ, это удаленіе невозможно. Никакіе карантины не остановятъ мысли и только могутъ придать ей силу и заманчивость тайны. Во вторыхъ, если бы и возможно было остановить входъ новыхъ мыслей, то это было бы еще вреднѣе для Русской образованности, ибо въ Россіи движется уже такъ много прежде вошедшихъ понятій Запада, что новыя

могли бы только ослабить вредъ прежнихъ, разлагая и разъясняя, и доводя до своего отвлеченнаго основанія, съ которымъ вмѣстѣ должны они или упасть, или остаться. Ибо въ настоящее время все развитіе Европейскаго ума, сознаваясь, разлагается до своего послѣдняго начала, которое само сознаетъ свою неудовлетворительность. Между тѣмъ какъ, оставаясь неконченными и несознанными, но только требующими приложенія и воплощенія, прежнія понятія Запада могли бы быть тѣмъ вреднѣе въ Россіи, что лишились бы своего противодѣйствія въ собственномъ развитіи. Если бы не узнала Россія Шеллинга и Гегеля, то какъ уничтожилось бы господство Вольтера и энциклопедистовъ надъ Русскою образованностію? Но, наконецъ, если бы даже и возможно было совершенно изгнать Западную образованность изъ Россіи, то кратковременное невѣжество подвергло бы ее опять еще сильнѣйшему вліянію чужаго просвѣщенія. Россія опять воротилась бы къ той эпохѣ Петровскаго преобразованія, когда введеніе всего Западнаго, только потому что оно не Русское, почиталось уже благомъ для Россіи, ибо влекло за собой образованность. И что же вышло бы изъ этого? Всѣ плоды полуторастолѣтняго ученичества Россіи были бы уничтожены для того, чтобы ей снова начать тотъ же курсъ ученія.

Одинъ изъ самыхъ прямыхъ путей къ уничтоженію вреда отъ образованности иноземной, противорѣчащей духу просвѣщенія Христіанскаго, былъ бы, конечно, тотъ, чтобы развитіемъ законовъ самобытнаго мышленія подчинить весь смыслъ Западной образованности господству православно-Христіанскаго убѣжденія. Ибо мы видѣли, что Христіанское любомудріе иначе понимается Православною Церковію, чѣмъ какъ оно понимается Церковью Римскою или протестантскими исповѣданіями. Затрудненія, которыя встрѣчало Христіанское мышленіе на Западѣ, не могутъ относиться къ мышленію православному. Для развитія же этого самобытнаго православнаго мышленія не требуется особой геніальности. Напротивъ, геніальность, предполагающая непремѣнно оригинальность, могла бы даже повредить полнотѣ истины. Развитіе этого мышленія должно быть общимъ дѣломъ всѣхъ людей вѣрую-

щихъ и мыслящихъ, знакомыхъ съ писаніями св. Отцевъ и съ Западною образованностію. Данныя къ нему готовы: съ одной стороны, Западное мышленіе, силою собственнаго развитія дошедшее до сознанія своей несостоятельности и требующее новаго начала, котораго еще не знаетъ; съ другой, глубокое, живое и чистое любомудріе св. Отцевъ, представляющее зародышъ этого высшаго философскаго начала. Его простое развитіе, соотвѣтственное современному состоянію науки и сообразное требованіямъ и вопросамъ современнаго разума, составило бы само собой, безъ всякихъ остроумныхъ открытій, ту новую науку мышленія, которая должна уничтожить болѣзненное противорѣчіе между умомъ и вѣрою, между внутренними убѣжденіями и внѣшнею жизнію

Но любомудріе св. Отцевъ представляетъ только зародышъ этой будущей философіи, которая требуется всею совокупностію современной Русской образованности, — зародышъ живой и ясный, но нуждающійся еще въ развитіи и не составляющій еще самой науки философіи. Ибо философія не есть основное убѣжденіе, но мысленное развитіе того отношенія, которое существуетъ между этимъ основнымъ убѣжденіемъ и современною образованностію. Только изъ такого развитія своего получаетъ она силу сообщать свое направленіе всѣмъ другимъ наукамъ, будучи вмѣстѣ ихъ первымъ основаніемъ и послѣднимъ результатомъ. Думать же, что у насъ уже есть философія готовая, заключающаяся въ св. Отцахъ, было крайне ошибочно. Философія наша должна еще создаться, и создаться, какъ я сказалъ, не однимъ человѣкомъ, но выростать на виду, сочувственнымъ содѣйствіемъ общаго единомыслія.

Можетъ быть, для того благое Провидѣніе и попустило Русскому народу перейти черезъ невѣжество къ подчиненію иноземной образованности, чтобы въ борьбѣ съ чужими стихіями православное просвѣщеніе овладѣло, наконецъ, всѣмъ умственнымъ развитіемъ современнаго міра, доставшимся ему въ удѣлъ отъ всей прежней умственной жизни человѣчества, и чтобы, обогатившись мірскою мудростію, истина Христіанская тѣмъ полнѣе и торжественнѣе явила свое господство надъ относительными истинами человѣческаго разума. Ибо, не смотря

на видимое преобладаніе иноземной образованности, не смотря на тотъ вредъ, который она принесла нравственному характеру народа, поколебавъ въ одномъ классѣ чувство правды, въ другомъ поколебавъ вмѣстѣ и правду, и истину,—не смотря на все зло, ею причиненное, еще остались въ Россіи, еще есть въ ней несомнѣнные залоги возрожденія въ прежнюю православную цѣльность. Эти залоги—живая вѣра народа въ Св. Православную Церковь, память его прежней исторіи и явно уцѣлѣвшіе слѣды прежней внутренней цѣльности его существованія, сохранившіеся въ обычномъ и естественномъ настроеніи его духа,—въ этомъ еще не замолкнувшемъ отголоскѣ прежней его жизни, воспитанной внутри однороднаго общественнаго состава, насквозь проникнутаго православнымъ ученіемъ Церкви. Такъ разсматривая внимательно и хладнокровно отношеніе Западной философіи къ Русскому просвѣщенію, кажется, безъ самообольщенія можно сказать, что время для полнаго и общаго переворота Русскаго мышленія уже не далеко. Ибо когда мы сообразимъ, какъ неудовлетворительность Западнаго любомудрія требуетъ новаго начала, котораго оно не находитъ во всемъ объемѣ Западнаго просвѣщенія; какъ это высшее начало знанія хранится внутри Православной Церкви; какъ живительно для ума и науки могло быть развитіе мысли, сообразное этому высшему началу; какъ самое богатство современнаго внѣшняго знанія могло бы служить побужденіемъ для этого развитія и его опорою въ разумѣ человѣка; какъ нестѣснительно было бы оно для всего, что есть истиннаго въ естественныхъ пріобрѣтеніяхъ человѣческаго разума,—какъ живительно для всего, что требуетъ жизни,—какъ удовлетворительно могло бы оно отвѣчать на всѣ вопросы ума и сердца, требующіе и не находящіе себѣ разрѣшенія;—когда мы сообразимъ все это, то намъ не то кажется сомнительнымъ, скоро ли разовьется, но то удивительнымъ, отъ чего до сихъ поръ еще не развилось у насъ это новое самосознаніе ума, такъ настоятельно требуемое всею совокупностью нашей умственной и нравственной образованности. Возможность такого знанія такъ близка къ уму всякаго образованнаго и вѣрующаго человѣка, что, казалось бы, достаточно

одной случайной искры мысли, чтобы зажечь огонь неугасимаго стремленія къ этому новому и живительному мышленію, долженствующему согласить вѣру и разумъ, наполнить пустоту, которая раздвоетъ два міра, требующіе соединенія, утвердить въ умѣ человѣка истину духовную видимымъ ея господствомъ надъ истиною естественною, и возвысить истину естественную ея правильнымъ отношеніемъ къ духовной, и связать наконецъ обѣ истины въ одну живую мысль; ибо истина одна, какъ одинъ умъ человѣка, созданный стремиться къ Единому Богу.

—

Указанія Св. Отцевъ приметъ вѣрующее любомудріе за первыя данныя для своего разумѣнія, тѣмъ болѣе, что указанія эти не могутъ быть отгаданы отвлеченнымъ мышленіемъ. Ибо истины, ими выражаемыя, были добыты ими изъ внутренняго непосредственнаго опыта и передаются намъ, не какъ логическій выводъ, который и нашъ разумъ могъ бы сдѣлать, но какъ извѣстія очевидца о странѣ, въ которой онъ былъ.

Если не на всѣ вопросы ума найдетъ вѣрующая философія готовые отвѣты въ писаніяхъ Св. Отцевъ, то, основываясь на истинахъ, ими выраженныхъ, и на своемъ верховномъ убѣжденіи, она будетъ искать въ совокупности этихъ двухъ указаній прямаго пути къ разумѣнію другихъ предметовъ знанія. И во всякомъ случаѣ способъ мышленія разума вѣрующаго будетъ отличенъ отъ разума, ищущаго убѣжденія или опирающагося на убѣжденіе отвлеченное. Особенность эту, кромѣ твердости коренной истины, будутъ составлять тѣ данныя, которыя разумъ получитъ отъ святыхъ мыслителей, просвѣщенныхъ высшимъ зрѣніемъ, и то стремленіе къ внутренней цѣльности, которое не позволяетъ уму принять истину мертвую за живую, и наконецъ та крайняя совѣстливость, съ которою искренняя вѣра отличаетъ истину вѣчную и Божественную отъ той, которая можетъ быть (добыта) мнѣніемъ человѣка или народа или времени.

—

Задача: Разработываніе общественнаго самосознанія.

Истинныя убѣжденія благодѣтельны и сильны только въ совокупности своей.

Добрыя силы въ одиночествѣ не ростутъ. Рожь заглохнетъ между сорныхъ травъ.

—

Распаденіе единства Богопознанія на разнообразныя влеченія къ частнымъ благамъ и на разнорѣчащіе признаки частныхъ истинъ.

—

Слово должно быть не ящикъ, въ который заключается мысль, но проводникъ, который передаетъ его другимъ; не подвалъ, куда складываются сокровища ума и знанія, но дверь, черезъ которую они выносятся. И странный законъ этихъ сокровищъ: чѣмъ болѣе ихъ выносится наружу, тѣмъ болѣе ихъ остается въ хранилищѣ. Дающая рука не оскудѣетъ.

—

Слово, какъ прозрачное тѣло духа, должно соотвѣтствовать всѣмъ его движеніямъ. Потому, оно безпрестанно должно мѣнять свою краску, сообразно безпрестанно измѣняющемуся сцѣпленію и разрѣшенію мыслей. Въ его переливчатомъ смыслѣ должно трепетать и отзываться каждое дыханье ума. Оно должно дышать свободою внутренней жизни. Потому слово, окостенѣлое въ школьныхъ формулахъ, не можетъ выражать духа, какъ трупъ не выражаетъ жизни. Однакожъ, измѣняясь въ оттѣнкахъ своихъ, оно не должно перемѣнчиваться въ внутреннемъ составѣ.

—

Для одного отвлеченнаго мышленія существенное вообще недоступно. Только существенность можетъ прикасаться существенному. Отвлеченное мышленіе имѣетъ дѣло только съ границами и отношеніями понятій. Законы разума и вещества, которые составляютъ его содержаніе, сами по себѣ не имѣютъ существенности, но являются только совокупностью отношеній. Ибо существеннаго въ мірѣ есть только разумно-

свободная личность. Она одна имѣетъ самобытное значеніе. Все остальное имѣетъ значеніе только относительное. Но для раціональнаго мышленія живая личность разлагается на отвлеченные законы саморазвитія, или является произведеніемъ постороннихъ началъ, и въ обоихъ случаяхъ теряетъ свой настоящій смыслъ.

—

Потому отвлеченное мышленіе, касаясь предметовъ вѣры, по наружности можетъ быть весьма сходно съ ея ученіемъ; но въ сущности имѣетъ совершенно отличное значеніе, именно потому, что въ немъ недостаетъ смысла существенности, который возникаетъ изъ внутренняго развитія смысла цѣльной личности.

Весьма во многихъ системахъ раціональной философіи видимъ мы, что догматы о единствѣ Божества, о Его всемогуществѣ, о Его премудрости, о Его духовности и вездѣсущіи, даже о Его троичности,—возможны и доступны уму невѣрующему. Онъ можетъ даже допустить и объяснить всѣ чудеса, принимаемыя вѣрою, подводя ихъ подъ какую нибудь особую формулу. Но все это не имѣетъ религіознаго значенія, только потому, что раціональному мышленію невмѣстимо сознаніе о живой личности Божества и о Ея живыхъ отношеніяхъ къ личности человѣка.

—

Сознаніе объ отношеніи живой Божественной личности къ личности человѣческой служитъ основаніемъ для вѣры, или, правильнѣе, вѣра есть то самое сознаніе, болѣе или менѣе ясное, болѣе или менѣе непосредственное. Она не составляетъ чисто человѣческаго знанія, не составляетъ особаго понятія въ умѣ или сердцѣ, не вмѣщается въ одной какой либо познавательной способности, не относится къ одному логическому разуму, или сердечному чувству, или внушенію совѣсти; но обнимаетъ всю цѣльность человѣка, и является только въ минуты этой цѣльности и соразмѣрно ея полнотѣ. Потому главный характеръ вѣрующаго мышленія заключается въ стремленіи

собрать всѣ отдѣльныя части души въ одну силу, отыскать то внутреннее средоточіе бытія, гдѣ разумъ и воля, и чувство, и совѣсть, и прекрасное, и истинное, и удивительное, и желанное, и справедливое, и милосердное, и весь объемъ ума сливается въ одно живое единство, и такимъ образомъ возстановляется существенная личность человѣка въ ея первозданной недѣлимости.

Не форма мысли, предстоящей уму, производитъ въ немъ это сосредоточеніе силъ; но изъ умственной цѣльности исходитъ тотъ смыслъ, который даетъ настоящее разумѣніе мысли.

—

Это стремленіе къ умственной цѣльности, какъ необходимое условіе разумѣнія высшей истины, всегда было неотъемлемою принадлежностію Христіанскаго любомудрія. Со временъ Апостоловъ до нашихъ временъ оно составляетъ его исключительное свойство. Но съ отпаденія Западной Церкви оно осталось преимущественно въ Церкви Православной. Другія Христіанскія исповѣданія хотя не отвергаютъ его законности, но и не почитаютъ его необходимымъ условіемъ для разумѣнія Божественной истины. По мнѣнію Римскихъ богослововъ и философовъ, кажется, было достаточно, чтобъ авторитетъ Божественныхъ истинъ былъ однажды признанъ, для того, чтобъ дальнѣйшее разумѣніе и развитіе этихъ истинъ могло уже совершаться посредствомъ мышленія отвлеченно-логическаго. Можетъ быть, по особому пристрастію къ Аристотелю, богословскія сочиненія ихъ носятъ характеръ логическаго изложенія. Самый ходъ мышленія совершался наружнымъ оцѣпленіемъ понятій. Подъ догматъ вѣры искали они подвести логическое оправданіе. Въ этомъ логическомъ изложеніи, изъ отвлеченно-разсудочнаго разумѣнія догматовъ, тоже, какъ отвлеченный выводъ, раздались требованія нравственныя. Странное рожденіе живаго изъ мертваго! Мудреное требованіе силы во имя мысли, которая сама не имѣетъ ея!

—

Отдѣленное отъ другихъ познавательныхъ силъ, логическое

мышленіе составляетъ естественный характеръ ума, отпадщаго отъ своей цѣльности. Весь порядокъ вещей, происшедшій вслѣдствіе этого раздвоеннаго состоянія человѣка, самъ собою влечетъ его мышленіе къ этой логической отдѣленности. Потому-то вѣра и превышаетъ естественный разумъ, что онъ опустился ниже своего первоестественнаго уровня. Потому, и не необходимо для него возвыситься къ первообразному единству, чтобъ проникнуться вѣрою (*).

—

Не для всѣхъ возможны, не для всѣхъ необходимы занятія богословскія; не для всѣхъ доступно занятіе любомудріемъ; не для всѣхъ возможно постоянное и особое упражненіе въ томъ внутреннемъ вниманіи, которое очищаетъ и соираетъ умъ къ высшему единству; но для всякаго возможно и необходимо связать направленіе своей жизни съ своимъ окореннымъ убѣжденіемъ вѣры, согласить съ нимъ главное занятіе и каждое особое дѣло, чтобъ всякое дѣйствіе было выраженіемъ одного стремленія, каждая мысль искала одного основанія, каждый шагъ велъ къ одной цѣли. Безъ того жизнь человѣка не будетъ имѣть никакого смысла, умъ его будетъ счетною машиной, сердце—собраніемъ бездушныхъ струнъ, въ которыхъ свищетъ случайный вѣтеръ; никакое дѣйствіе не будетъ имѣть нравственнаго характера, и человѣка собственно не будетъ. Ибо человѣкъ—это его вѣра.

—

И нѣтъ такого неразвитаго сознанія, которому бы не подъ силу было проникнуться основнымъ убѣжденіемъ Христіанской вѣры. Ибо нѣтъ такого тупаго ума, который бы не могъ понять своей ничтожности и необходимости высшаго откровенія; нѣтъ такого ограниченнаго сердца, которое бы не могло разумѣть возможность другой любви, выше той, которую возбуждаютъ въ немъ предметы земные; нѣтъ такой совѣсти,

(*) Ибо это возвышеніе будетъ уже отъ нея. *Изд.*

которая бы не чувствовала невидимаго существованія высшаго нравственнаго порядка; нѣтъ такой слабой воли, которая бы не могла рѣшиться на полное самопожертвованіе за высшую любовь своего сердца. А изъ такихъ силъ слагается вѣра. Она есть живая потребность искупленія и безусловная за него благодарность. Въ этомъ вся его сущность. Отсюда получаетъ свой свѣтъ и смыслъ все послѣдующее развитіе вѣрующаго ума и жизни.

—

Духовное общеніе каждаго Христіанина съ полнотою всей Церкви.

Онъ знаетъ, что во всемъ мірѣ идетъ та же борьба, какая совершается въ его внутреннемъ самосознаніи, борьба между свѣтомъ и тьмою, между стремленіемъ къ высшей гармоніи и цѣльности бытія, и пребываніемъ въ естественномъ разногласіи и разъединенности, между свободою воли человѣка, созидающею духовную личность, и покорностью внѣшнимъ влеченіямъ, обращающимъ его въ орудіе чужихъ силъ; между великодушнымъ самоотверженіемъ и боязливымъ себялюбіемъ, однимъ словомъ, между дѣломъ искупленія и свободы и насильственною властію естественнаго, разстроеннаго порядка вещей.

Какъ бы ни мало было развито это сознаніе, но онъ знаетъ что во внутреннемъ устройствѣ души своей онъ дѣйствуетъ не одинъ, и не для одного себя; что онъ дѣлаетъ общее дѣло всей Церкви, всего рода человѣческаго, для котораго совершилось искупленіе и котораго онъ только нѣкоторая часть. Только вмѣстѣ со всею Церковью и въ живомъ общеніи съ нею можетъ онъ спастись.

—

Каждая нравственная побѣда въ тайнѣ одной Христіанской души есть уже духовное торжество для всего Христіанскаго міра. Каждая сила духовная, создавшаяся внутри одного человѣка, невидимо влечетъ къ себѣ и подвигаетъ силы всего нравственнаго міра. Ибо какъ въ мірѣ физическомъ небесныя

свѣтила притягиваются другъ къ другу безъ всякаго вещественнаго посредства, такъ и въ мірѣ духовномъ каждая личность духовная, даже безъ видимаго дѣйствія, уже однимъ пребываніемъ своимъ на нравственной высотѣ, подымаетъ, привлекаетъ къ себѣ все сродное въ душахъ человѣческихъ. Но въ физическомъ мірѣ каждое существо живетъ и поддерживается только разрушеніемъ другихъ; въ духовномъ мірѣ созиданіе каждой личности созидаетъ всѣхъ, и жизнію всѣхъ дышетъ каждая.

—

Во всѣ времена были и есть люди, проникнутые высшимъ свѣтомъ и силою вѣры. Отъ нихъ, какъ лучи отъ звѣздъ, расходится истинное ученіе вѣры по всему Христіанскому міру. Въ исторіи Церкви можно видѣть часто видимые способы этого свѣта, какъ онъ проникаетъ изъ мѣстъ, озаренныхъ высшимъ ученіемъ, въ страны, гдѣ оно затемнялось волею человѣка; какъ погасалъ этотъ свѣтъ въ мѣстахъ, которыя прежде всего болѣе освящались имъ, и какъ опять зажигается онъ, принесенный изъ другихъ странъ, прежде лежавшихъ во тьмѣ. Ибо благодать истины никогда не оскудѣваетъ въ царствѣ Божіемъ.

Исторія Аѳона.

—

Духовная Іерархія.—Лѣстница Іакова.—Живыя истины—не тѣ, которыя составляютъ мертвый капиталъ въ умѣ человѣка, которыя лежатъ на поверхности его ума и могутъ пріобрѣтаться внѣшнимъ ученіемъ, но тѣ, которыя зажигаютъ душу, которыя могутъ горѣть и погаснуть, которыя даютъ жизнь жизни, которыя сохраняются въ тайнѣ сердечной и, по природѣ своей, не могутъ быть явными и общими для всѣхъ; ибо, выражаясь въ словахъ, остаются незамѣченными, выражаясь въ дѣлахъ, остаются непонятными для тѣхъ, кто не испыталъ ихъ непосредственнаго прикосновенія. По этой-то причинѣ особенно драгоцѣнны для каждаго Христіанина писанія Св. Отцевъ. Они говорятъ о странѣ, въ которой были.

—

Отношеніе вѣры къ разуму, или какую степень знанія составляетъ вѣра?

Различныя отношенія внутренняго самосознанія къ Богопознанію.

—

Сознаніе всепроникающей связности и единства вселенной предшествуетъ понятію о единой причинѣ бытія и возбуждаетъ разумное сознаніе единства Творца.

Неизмѣримость, гармонія и премудрость мірозданія наводятъ разумъ на сознаніе всемогущества и премудрости Создателя.

Но единство, всемогущество, премудрость и всѣ другія понятія о Божественности первой причины, которыя разумъ можетъ извлечь изъ созерцанія внѣшняго мірозданія, еще не внушаютъ ему того сознанія о живой и личной самосущности Создателя, которое даетъ существенность нашимъ умственнымъ къ Нему отношеніямъ, перелагая самое внутреннее движеніе нашихъ мыслей и чувствъ къ Нему изъ сферы умозрительной отвлеченности въ сферу живой, отвѣтственной дѣятельности.

—

Это сознаніе, совершенно измѣняющее характеръ нашего Богомыслія, и которое мы не можемъ извлечь прямо изъ одного созерцанія внѣшняго мірозданія, возникаетъ въ душѣ нашей тогда, когда къ созерцанію міра внѣшняго присоединится самостоятельное и неуклонное созерцаніе міра внутренняго и нравственнаго, раскрывающаго предъ зрѣніемъ ума сторону высшей жизненности въ самыхъ высшихъ соображеніяхъ разума.

—

Вѣ—ране довѣренность къ чужому увѣренію, но дѣйствительное событіе внутренней жизни, чрезъ которое человѣкъ

входитъ въ существенное общеніе съ Божественными вещами (съ высшимъ міромъ, съ небомъ, съ Божествомъ).

—

Главная причина заблужденія человѣка заключается въ томъ, что онъ не знаетъ, что любитъ и чего хочетъ.

—

Потребность счастія, потребность любви, потребность гармоніи, потребность правды, потребность сочувствія, потребность умиленія, потребность дѣятельности, потребность самозабвенія, потребность саморазумѣнія, — всѣ эти законныя и существенныя потребности человѣческаго сердца происходятъ изъ одного общаго корня жизни, до котораго немногіе доводятъ свое самосознаніе.

Справедливость, правда рѣже любви, потому что она труднѣе, стóитъ болѣе пожертвованій и менѣе усладительна.

—

Мы охотно удвоили бы наши пожертвованія, только бы уменьшить наши обязанности. Какъ часто встрѣчается человѣкъ великодушный и вмѣстѣ несправедливый, благотворительный и неблагодарный, щедрый и скупой, расточительный на то, что не должно тратить, и скупой на то, что обязанъ давать; преданный по прихоти, жесткій съ тѣми, кто имѣетъ право на его преданность, ненавистный, можетъ быть, въ томъ кругу, куда поставило его Провидѣніе, и достойный любви и удивленія, какъ скоро выходитъ изъ него; охотникъ въ дѣлахъ человѣколюбія и бѣглецъ изъ рядовъ обязанностей, и воображающій, что можетъ произвольнымъ и часто безполезнымъ пожертвованіемъ уплатить нарушеніе самыхъ существенныхъ, самыхъ близкихъ обязанностей. Не труды, не пожертвованія, не опасности, ему противна правильность порядка. Ему легче быть возвышеннымъ, нежели честнымъ. Но не скажу: ему легче быть милосерднымъ, нежели справедливымъ, ибо милосердіе несправедливаго—не милосердіе.

—

Въ добрѣ и злѣ все связано. Добро одно, какъ истина одна. Справедливость къ милосердію, какъ стволъ дерева къ его верхушкѣ.

—

Мышленіе, отдѣленное отъ сердечнаго стремленія, есть также развлеченіе для души, какъ и безсознательная веселость. Чѣмъ глубже такое мышленіе, чѣмъ оно важнѣе по видимому, тѣмъ въ сущности дѣлаетъ оно человѣка легкомысленнѣе. Потому, серьезное и сильное занятіе науками принадлежитъ также къ числу средствъ развлеченія, средствъ для того, чтобы разсѣяться, чтобы отдѣлаться отъ самого себя. Эта мнимая серьезность, мнимая дѣльность разгоняетъ истинную. Удовольствія свѣтскія дѣйствуютъ не такъ успѣшно и не такъ быстро.

—

Чувство возстановленія (исцѣленія) нашего внутренняго единства и гармоніи.

—

Вѣровать — это получать изъ сердца то свидѣтельство, которое Самъ Богъ далъ своему Сыну.

—

Вѣра—взоръ сердца къ Богу.

—

Справедливость, нравственность, духъ народа, достоинство человѣка, святость законности могутъ сознаваться только въ совокупности съ сознаніемъ вѣчныхъ религіозныхъ отношеній человѣка.

—

Міръ свободной воли имѣетъ свою правду въ мірѣ вѣчной нравственности.

ОГЛАВЛЕНІЕ

второй части.

—

Стр.

Обозрѣніе современнаго состоянія литературы . . . 1
Жизнь Стефенса 59
Рѣчь Шеллинга 172
Сочиненія Паскаля, изданныя Кузенемъ 185
Публичныя лекціи проф. Шевырева объ исторіи Русской Словесности. 190
Сельское хозяйство 196
Библіографическія статьи 200
О характерѣ просвѣщенія Европы и о его отношеніи къ просвѣщенію Россіи 229
О необходимости и возможности новыхъ началъ для философіи. 291
Отрывки 326

—

323

Acme
Bookbinding Co., Inc.
300 Summer Street
Boston, Mass. 02210

3 2044 009 900 770

THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

Harvard College Widener Library
Cambridge, MA 02138 (617) 495-2413

WIDENER
DEC 2 3 1998
BOOK DUE
CANCELLED

WIDENER
JUN 2 5 1999
BOOK DUE
CANCELLED

WIDENER
SEP 1 0 2000
BOOK DUE

WIDENER
SEP 1 0 2000
MAY 0 5 2002
BOOK DUE
CANCELLED